**Артур Конан-Дойль**

# Повести и рассказы разных лет

**Соприкосновение**

Занятно порою поразмышлять о людях, что жили в одну эпоху, сыграли заглавные роли на одних подмостках, в одной жизненной пьесе, и при этом не только не встретились, но даже и не знали о существовании друг друга. Только представьте: Великий Могол Бабур завоевывал Индию как раз, когда Эрнандо Кортес завоевывал Мексику, но они, скорее всего, друг о друге и не слыхивали. Или вот превосходный пример: мог ли император Октавиан Август знать о задумчивом и ясноглазом пареньке из плотницкой мастерской, которому было суждено изменить облик всего мира? Впрочем, орбиты исполинов все же могли соприкоснуться, пересечься и снова разойтись в необъятной вечности. И они расставались, так и не постигнув истинного величия друг друга. Так произошло и на этот раз.

Дело было вечером, в финикийском порту Тире, примерно за одиннадцать сотен лет до пришествия Христа. Здесь проживало в то время четверть миллиона жителей — богатые купеческие дома с тенистыми садами растянулись на семь миль вдоль побережья. Остров же, по которому получил свое название город, стоял неподалеку от берега, и возвышались на нем в основном храмы и различные общественные сооружения. Среди храмов выделялся величественный Мелмот: его нескончаемые колоннады целиком занимали часть острова, обращенную на Сидонский порт. Сам же древний Сидон лежал всего в двадцати милях к северу и между ним и его детищем Тиром непрестанно сновали корабли.

Постоялых дворов тогда еще не было. Путники победнее находили приют у радушных горожан, а знатных гостей принимали под свой кров храмы, и слуги священников расторопно исполняли их прихоти. В тот вечер взоры многих финикийских зевак приковывали два весьма примечательных человека, стоявших меж колонн Мелмота. В одном из них повадка и стать выдавали большого вождя. Полная приключений жизнь оставила на его лице неизгладимый след: в резких, мужественных чертах читались и безрассудная храбрость, и холодная выдержка. Лоб был широк и высок, взгляд — задумчив и проницателен: мудрости на этом челе было не меньше, чем отваги. Как и пристало высокородному греку, он был облачен в белоснежную льняную тунику и пурпурную накидку, в складках которой, на шитом золотом поясе, прятался короткий меч. Костюм дополняли светло-коричневые кожаные сандалии на обнаженных ногах да белый головной платок. Дневной зной уже спал, с моря дул вечерний ветерок, и грек сдвинул платок назад, подставив каштановые кудри его ласкам.

Его спутник был приземист, кряжист и смугл. Воловья шея и темная накидка производили впечатление довольно мрачное, лишь ярко-алая шерстяная шапка оживляла картину. С высокородным вождем он вел себя почтительно, но без подобострастия. Между ними чувствовалась доверительная близость людей, не раз деливших опасность и сплоченных общим делом.

— Наберись терпения, мой господин, — говорил он. — Дай мне два, самое большее — три дня, и мы выступим на общем смотре не хуже других. А приползи мы на Тенедос, недосчитавшись десятка весел и с изорванным в клочья парусом, — ничего кроме насмешек не услышим.

Грек в пурпурной накидке нахмурился и топнул ногой.

— Проклятье! Нам следовало прибыть туда давным-давно! Откуда налетел этот шторм, когда на небе ни тучки, ни облачка? Эол сыграл с нами презлую шутку!

— Не мы одни пострадали, господин мой. Затонули две критские галеры. И лоцман Трофим утверждает, что один из аргосских кораблей тоже получил пробоину, — молю Зевса, чтоб это не был корабль Менелая… Поверь, на общем смотре мы будем не из последних.

— К счастью, Троя стоит в десяти милях от берега, а не на море. Хороши бы мы были, пошли они нам навстречу флот! Умом я понимаю, что мы выбрали лучший выход: зайти в Тир и привести судно в порядок. Но смириться не могу! Пока под нашими веслами не вспенится вода, покоя мне не видать. Иди же, Силюкас, поторопи их. Да понастойчивей!

Старшина поклонился и ушел, а вождь остался под портиком храма. Он не сводил глаз с огромной полуразобранной галеры, на которой суетились мастера. Чуть поодаль, на рейде, одиннадцать галер поменьше ждали, пока починят флагман. Попадая на палубы, закатные лучи бликовали на бронзовых латах и шлемах: эти греки — сотни греков! — выступили в поход с явно воинственными намерениями. Остальные же корабли в портовой бухте были купеческие: одни забирали товар на борт, другие, наоборот, выгружали тюки на пристань. У подножья лестницы, что вела к портику Мелмота, пришвартовались три широкие баржи с мидиями. Скоро двустворчатые раковины с жемчужинками внутри перекидают деревянными лопатами на повозки и отправят на знаменитые красильни Тира: именно там отделывают и

украшают пышные наряды. Рядом причалил корабль из Британии с грузом олова. Ящики с драгоценным металлом, столь необходимым для производства бронзы, бережно передавали по цепочке из рук в руки — и аккуратно устанавливали на высокие фуры. Грек невольно улыбнулся: слишком уж неподдельно дивится неотесанный мужлан-оловянщик из Корнуолла, разглядывая величественную колоннаду Мелмота и возвышающийся за ним фронтон святилища Астарты. Впрочем, друзья-товарищи не дали ему глазеть долго: подхватив его под руки, они потащили его на дальний конец причала к питейному дому, справедливо полагая, что назначение этого здания он поймет быстрее и лучше.

Грек, все еще улыбаясь, направился, было, в храм, но дорогу ему заступил один из безбородых, гладковыбритых жрецов Ваала.

— Господин мой, ходят слухи, что ты выступил в долгий и опасный поход. У твоих воинов длинные языки, и цель похода уже ни для кого не тайна.

— Ты прав, — ответил грек. — Впереди у нас нелегкие времена. Но куда тяжелее было бы отсиживаться дома, зная, что честь великих ахейцев попрана грязным азиатским псом.

— Я слышал, вся Греция приняла горячее участие в этом споре?

— Верно. Все вожди — от Фессалии до Малеи — подняли своих людей за правое дело. В авлидской бухте собралось галер числом до двенадцати сотен.

— Что ж, войско и впрямь несметное, — согласился жрец. — А есть ли среди вас вещуны и пророки? Раскрылось ли вам, что ждет вас на бранном пути?

— Да, с нами пророк по имени Калхас. И войну он предрек долгую. Лишь на десятый год грекам суждена победа.

— Слабое утешение! Так ли велика цель, за которую надо отдать десять лет жизни?

— Я готов отдать не десять лет, а всю жизнь — лишь бы сровнять с землей гордый Илион и вернуть Елену во дворец на холм Аргоса!

— Я — жрец Ваала, и я помолюсь, чтобы вам сопутствовала удача, — сказал финикиец. — Говорят, эти троянцы — стойкие воины, а их предводитель, сын Приама Гектор, умен и могуч.

Грек горделиво усмехнулся.

— Иным и не вправе быть противник длинновласых греков. Как иначе он сможет противостоять сыну Атрея — Агамемнону из златообильных Микен, или сыну Пелея Ахиллесу с его мирмидонянами?! Но все это в руках судьбы… Скажи-ка лучше, что вон там за люди? Их вождь, похоже, рожден для великих дел.

Высокий мужчина в длинном белом одеянии, с золотой повязкой на ниспадающих на плечи золотисто-каштановых кудрях, ступал широко и упруго: видно, привык к просторам, а не к тесным городским улочкам. Лицо его было румяно и благородно, на упрямом, квадратном подбородке кудрявилась короткая жесткая борода. Он смотрел попеременно то вверх, на вечернее небо, то вниз, на скользящие по водам суда, и в голубых глазах его сквозила возвышенная задумчивость, присущая поэтам. Рядом шагал юноша с лютней, шагал легко и изящно — словно прекрасная музыка в человечьем обличье. С другого же боку от вождя, с сияющим щитом и тяжелым копьем, шел грозный оруженосец, и было ясно, что никто и никогда не застанет его хозяина врасплох. Следом шумной толпой двигалась свита: темноволосые, горбоносые, вооруженные до зубов воины алчно зыркали туда-сюда при виде чужого, бьющего через край богатства. Кожа их была смугла, как у арабов, но одеты и вооружены они были куда лучше, чем дикие дети пустыни.

— Это обыкновенные варвары, — ответил жрец. — Он — маленький царек, правит где-то среди гор, напротив Филистии. Сюда наведывается, потому что затеял построить город Иебус, — хочет сделать его столицей. А раздобыть древесину, камень да и мастеровых по своему вкусу он может только в Тире. Юнец с лютней — его сын. Впрочем, все это малоинтересно, мой господин. Пойдем лучше со мной в наружный придел храма. Там сидит жрица Астарты, пророчица Алага. Она предскажет, что ждет тебя в Трое. Быть может, ты покинешь Тир ободренный — как многие мужи, которым она оказала эту услугу.

Грека не пришлось долго уговаривать: в те времена его соплеменники всеми способами стремились заглянуть в будущее и с трепетом относились к оракулам, знамениям и приметам. Он последовал за жрецом в святилище, к знаменитой пифии — высокой, красивой женщине

средних лет, восседавшей за каменным столом, на котором стояла то ли чаша, то ли поднос с песком. В правой руке она держала халцедоновое стило и чертила на гладком песке причудливые линии, а подбородком опиралась на другую руку. На вошедших она даже не взглянула — лишь рука задвигалась быстрее, выписывая палочки и зигзаги. Потом она вдруг заговорила — по-прежнему не поднимая глаз, высоким и странным голосом, чуть нараспев — точно ветер зашелестел среди листвы.

— Кто же ты, чужеземец, что пришел к прислужнице великой Астарты? Что привело тебя в Тир, к Алаге?.. Вижу остров, что лежит к западу отсюда, и старца-отца, и жену твою, и сына, который еще мал и не готов к битвам, и тебя самого — царя твоего народа. Верно ли говорю я?

— Да, жрица, это чистая правда, — подтвердил грек.

— Многие побывали здесь до тебя, но не встречала я мужа более славного. И через три тысячи лет люди будут ставить в пример твою отвагу и мудрость. Будут вспоминать верную жену твою, не забудут ни отца твоего, ни сына — их имена будут на людских устах, когда все обратится в прах, когда падут величественный Сидон и царственный Тир.

— Алага! Ты шутишь! — воскликнул жрец.

— Я лишь изрекаю то, что диктуют небеса. Десять лет проведешь ты в тщетных усилиях, потом победишь. Соратники твои почиют на лаврах — но не ты. Тебя ждут новые беды… Ах! — Пророчица вдруг вздрогнула, и рука ее заработала еще быстрее.

— Что случилось, Алага? — обеспокоился жрец.

Женщина подняла безумный, вопрошающий взгляд. Но смотрела она не на жреца и не на грека, а мимо — на дверь в дальнем углу. Грек обернулся. Порог переступили двое — те, кого он недавно встретил на улице: златовласый царь варварского племени и юноша с лютней.

— Чудо из чудес! — вскричала пифия. — Великие сошлись в этих стенах в один и тот же день и час! Я только что говорила, что не встречала прежде мужа более славного. Но вот он — тот, кто выше тебя! Ибо он и далее его сын — да-да, вот этот юноша, что робко мнется у двери! — пребудут с людьми в веках, когда мир расширит свои границы далеко за Геркулесовы столпы. Приветствую тебя, чужестранец! Приступай же к своим трудам, не медли! Труды твои не описать моими скупыми словами. — Тут женщина поднялась, уронила стило и мгновенно скрылась.

— Все, — промолвил жрец. — Никогда прежде не слышал я от нее таких речей.

Грек с любопытством взглянул на варвара.

— Ты говоришь по-гречески? — спросил он.

— Не очень хорошо. Но понимаю. Ведь я провел целый год в Зиклаге, у филистимлян.

— Похоже, боги судили нам с тобой сыграть важную роль в истории.

— Бог един, — поправил грека варварский царь.

— Ты полагаешь? Впрочем, сейчас не время для долгих споров. Лучше назови свое имя, род и объясни, какие труды ты затеял. Вдруг нам еще доведется услышать друг о друге. Сам я — Одиссей, царь Итаки. Еще меня называют Улисс. Отец мой — Лаэрт, сын — юный Телемах, и я намерен разрушить город Трою.

— Дело моей жизни — отстроить заново город Иебус, мы называем его Иерусалим. Пути наши вряд ли пересекутся вновь, но, возможно, ты когда-нибудь вспомнишь, что повстречал Давида, второго царя иудеев, и его сына — юного Соломона, который, надеюсь, сменит меня на троне.

И он пошел прочь — в темноту ночи, к ожидавшей на улице грозной свите. Грек же спустился к морю, чтобы поторопить мастеров с починкой корабля и наутро отправиться в путь.

*1922 г.*

**Святотатец**

В то мартовское утро 92 года от Рождества Христова еще только начинало светать, а длинная Семита Альта уже была запружена народом. Торговцы и покупатели, спешащие по делу и праздношатающиеся заполняли улицу. Римляне всегда были ранними пташками, и многие патриции предпочитали принимать клиентов уже с шести утра. Такова была старая добрая республиканская традиция, до сих пор соблюдаемая приверженцами консервативных взглядов. Сторонники более современных обычаев нередко проводили ночи в пиршествах и погоне за наслаждениями. Тем же, кто успел приобщиться к новому, но еще не отрешился от старого, порой приходилось туго. Не успев толком соснуть после бурно проведенной ночи, они приступали к делам, составляющим ежедневный круг обязанностей римской знати, с больной головой и отупевшими мозгами.

Именно так чувствовал себя в то мартовское утро Эмилий Флакк. Вместе со своим коллегой по Сенату Каем Бальбом он провел ночь на одной из пирушек во дворце на Палатине, печально знаменитых царившей на них смертной тоской; император Домициан приглашал туда только избранных приближенных. Вернувшись к дому Флакка, друзья задержались у входа и стояли теперь под сводами обрамленной гранатовыми деревцами галереи, предшествующей перистилю. Оба давно привыкли доверять друг другу и сейчас, не стесняясь, дали волю всю ночь сдерживаемому недовольству, на все корки ругая тягостно унылый банкет.

— Если б он хотя бы кормил гостей! — возмущался Бальб, невысокий, краснолицый холерик со злыми, подернутыми желтизной глазами. — А что мы ели? Клянусь жизнью, мне нечего вспомнить! Перепелиные яйца, что-то рыбное, потом птица какая-то неведомая, ну и, конечно, его неизменные яблоки.

— Из всего вышеперечисленного, — заметил Флакк, — он отведал только яблок. Признай по справедливости, что ест он еще меньше, чем предлагает. По крайней мере, никому не придет в голову сказать о нем, как о Вителлии, что своим аппетитом он пустил по миру всю Империю.

— Да, и жаждой тоже, как ни велика она у него. То терпкое сабинское, которым он нас поил, стоит всего нескольких сестерциев за амфору. Его пьют только возчики в придорожных тавернах. Всю ночь я мечтал о глотке густого фалернского из моих подвалов или сладкого коанского, разлива года взятия Титом Иерусалима. Послушай, может быть, еще не поздно? Давай смоем эту жгучую гадость с неба.

— Ничего не выйдет. Зайди лучше ко мне и выпей горькой настойки. Мой греческий лекарь Стефанос знает чудодейственный рецепт от утреннего похмелья. Что? Тебя ждут клиенты? Ну, как знаешь. Увидимся в Сенате.

Патриций вошел в атриум, нарядно украшенный редкостными цветами и наполненный сладким многоголосьем певчих птиц. На входе в зал его поджидал готовый к исполнению своих утренних обязанностей юный нубийский раб Лебс. Он был одет в снежно-белую тунику и такой же тюрбан. Одной рукой мальчик держал поднос с бокалами, а в другой графин с прозрачной жидкостью, настоенной на лимонных корках.

Хозяин наполнил один из бокалов горькой ароматной микстурой и собирался уже выпить, но так и не донес руку до рта, остановленный внезапным ощущением, что в доме у него произошло нечто из ряда вон выходящее. Все вокруг него, казалось, кричало о случившейся беде: испуганные глаза чернокожего подростка, встревоженное лицо хранителя атриума, сбившиеся в кучку угрюмые и молчаливые ординарии во главе с прокуратором или мажордомом, собравшиеся приветствовать своего повелителя. Врач Стефанос, александрийский чтец Клейос, дворецкий Пром — все отворачивались и отводили глаза, лишь бы не встретить тревожно-вопросительный взгляд хозяина.

— Да что, во имя Плутона, с вами со всеми случилось? — воскликнул изумленный сенатор, чье терпение после ночи обильных возлияний лучше было не испытывать. — Почему вы тут стоите, повесив носы? Стефанос, Ваккул, в чем дело? Послушай, Пром, ты же глава всех моих слуг в этом доме! Что произошло? Почему ты прячешь от меня глаза?

Дородный дворецкий, чье жирное лицо осунулось и покрылось пятнами, положил руку на запястье стоящего рядом с ним слуги.

— Сергий отвечает за атриум, мой господин. Ему и надлежит поведать тебе об ужасном несчастье, случившемся в твое отсутствие.

— Ну, нет, это сделал Дат. Приведите его и пускай он сам отвечает, недовольным голосом

отказался Сергий.

Терпение патриция кончилось.

— А ну, говори сию же секунду, негодяй! — закричал он в гневе. — Еще минута, и я прикажу отвести тебя в эргастул. С колодками на ногах и кандалами на руках ты быстро научишься повиноваться! Говори, я приказываю! И не вздумай медлить!

— Венера, — пролепетал слуга, — греческая статуя работы Праксителя…

Сенатор издал вопль отчаяния и ринулся в дальний уголок атриума, где в маленькой нише за шелковым занавесом хранилась драгоценная статуя величайшее сокровище не только его художественной коллекции, но, быть может, и всего мира. Резким движением раздвинув ширму, он замер в немой ярости перед обезображенной богиней. Красный светильник с благовонным маслом, всегда горевший у подножия, был разбит, а содержимое его разлилось. Огонь на алтаре угас, венок с головы статуи был сброшен. Но не это было самым страшным. Прекрасное тело обнаженной богини, изваянное из блестящего пантелийского мрамора пять веков назад вдохновенным греком и сохранившее до сей поры белизну и прелесть, подверглось — о, гнусное святотатство! варварскому осквернению. Три пальца на изящной простертой руке были отбиты и валялись тут же на пьедестале. Над нежной грудью виднелась темная отметина от раскрошившего мрамор удара. Эмилий Флакк, самый тонкий и опытный ценитель изящного во всем Риме, хрипел и задыхался, держась за горло и взирая на ущерб, нанесенный его любимой скульптуре. Но вот он повернулся, обратив к рабам перекошенное судорогой лицо, и обнаружил, к своему вящему удивлению, что ни один из них даже не смотрит в его сторону. Все слуги застыли в почтительных позах, обратив взоры ко входу в перистиль. Теперь уже и сам хозяин увидел, кто вошел в его дом несколько мгновений назад. Весь его гнев моментально улетучился, уступив место смиренному раболепию, мало в чем отличному от поведения прислуги.

Посетителю было сорок три года. На чисто выбритом лице выделялись большие, налитые кровью глаза и четко очерченный нос. Массивная голова покоилась на короткой толстой, бычьей шее — отличительный признак всего семейства Флавиев. Он прошел через перистиль чванной раскачивающейся походкой человека, везде чувствующего себя дома. Но вот он остановился, подбоченился, рассеянно окинул взглядом склонившихся рабов и воззрился на хозяина. Грубое раскрасневшееся лицо гостя перекосилось в презрительной полуусмешке.

— Как же так, Эмилий? — заговорил он. — А меня уверяли, что в твоем доме самый образцовый порядок во всем Риме. Я вижу, ты сегодня чем-то озабочен?

— Чем могу я быть озабочен, когда сам Цезарь соблаговолил удостоить нас своим присутствием под крышей этого дома? — возразил царедворец. — Воистину, ты не мог преподнести мне более неожиданного и желанного подарка.

— Ерунда, просто я кое-что припомнил, — отмахнулся Домициан. — Когда ты и все остальные покинули меня, я не смог заснуть, и тогда мне пришло в голову подышать утренним воздухом, а заодно навестить тебя и увидеть, наконец, твою знаменитую греческую Венеру, о которой ты столь красноречиво распространялся в промежутках между возлияниями. Но, судя по твоему виду и виду твоих слуг, мой визит, похоже, оказался не ко времени.

— Нет-нет, повелитель, не говори так! Но я и в самом деле нахожусь в большом затруднении. По воле судеб твой благословенный приход совпал по времени с одним происшествием, как раз касающимся той самой статуи, к которой ты милостиво соизволил выразить интерес. Вот она, прямо перед тобою, и ты собственными глазами можешь узреть, как жестоко с ней обошлись!

— Клянусь Плутоном и всеми богами подземного мира, — воскликнул император, — что, будь она моей, кое-кто из вас пошел бы на корм рыбам! — с этими словами Домициан устремил гневный взгляд на съежившихся от страха рабов. — Ты всегда отличался излишним мягкосердечием, Эмилий. Все говорят, что в твоем доме цепи и кандалы давно заржавели без применения. Но это уж точно переходит все границы! Я лично прослежу за тем, как ты будешь разбираться с виновными. Кто ответственен за случившееся?

— Раб по имени Сергий, поскольку он следит за атриумом, — ответил Флакк. — Выйди вперед, Сергий. Что ты имеешь сказать в свое оправдание?

Дрожащий раб приблизился к хозяину.

— Если господин позволяет мне говорить, я скажу, что преступление совершил Дат-

христианин.

— Дат? Кто это?

— Матулатор, мой господин. Я даже не знал, что он из этих ужасных людей, иначе никогда не допустил бы его сюда. Он пришел со своей метлой, чтобы убрать птичий помет. Взор его упал на Венеру, и в то же мгновение он набросился на нее и дважды ударил деревянной палкой от метлы. Мы все кинулись на него и оттащили прочь. Но увы! Увы! Было уже слишком поздно, — несчастный успел отбить у богини три пальца.

Император хмуро усмехнулся, а тонкое лицо патриция побледнело от ярости.

— Где он? — спросил Флакк.

— В эргастуле, господин, с колодкой на шее.

— Привести его сюда и собрать всех рабов.

Через несколько минут вся задняя часть атриума оказалась заполнена пестрой толпой слуг, исполняющих многочисленные обязанности по ведению хозяйства в доме знатного римского вельможи. Здесь присутствовал аркарий, или счетовод, с заткнутым за ухо стилом; лоснящийся от жира прегустатор, пробующий каждое блюдо, — он служил барьером между ядом и желудком господина; рядом с ним находился его предшественник, потерявший рассудок двадцать лет назад, отравившись соком канидийского дурмана; келарий, хранитель винного погреба, покинувший свои драгоценные амфоры, тоже явился на зов хозяина; был здесь повар с половником в руке; пришел напыщенный номенклатор, чьей обязанностью было объявлять имена приглашенных гостей, а вместе с ним кубикуларий, рассаживающий их за столом, силенциарий, отвечающий за тишину и порядок в доме, структор, расставляющий столы, карп-тор, разделывающий пищу, кинерарий, возжигающий огонь, и многие, многие другие.

Кто в страхе, кто с интересом, — все собрались посмотреть, как будут судить злополучного Дата.

За спинами мужчин прятался рой хихикающих и перешептывающихся женщин и девушек из бельевой, прачечной и ткацкой — Марии, Керузы, Амариллиды вставали на цыпочки или выставляли симпатичные любопытные мордашки поверх плеч представителей сильной половины прислуги. Сквозь эту толпу с трудом пробились двое дюжих молодцов, ведущих обвиняемого. Это был маленький смуглый человечек с грубыми чертами лица, неряшливо торчащей бородой и безумными глазами, горящими каким-то мощным внутренним огнем. Руки его были связаны за спиной, а шею охватывал тяжелый деревянный ошейник или фурка, одеваемый обычно на непокорных рабов. Кровоточащая царапина на щеке свидетельствовала о том, что в предыдущей потасовке ему уже крепко досталось.

— Это ты — мусорщик Дат? — задал первый вопрос патриций.

Преступник гордо выпрямился.

— Да, — сказал он, — мое имя Дат.

— Ответь мне, ты испортил мою статую?

— Да, я.

Ответ прозвучал с бесшабашной дерзостью, вызывающей невольное уважение. К гневу хозяина присоединилось острое любопытство.

— Почему ты так поступил? — спросил он.

— Это был мой долг!

— Почему же ты считаешь своим долгом уничтожать собственность хозяина?

— Потому что я христианин! — глаза его недобро сверкнули на смуглом лице. — Потому что нет другого бога, кроме Всевышнего и Предвечного, а все прочие суть идолища поганые. Какое отношение имеет эта голая шлюха к Тому, чьим одеянием служит свод небесный, а весь мир — лишь подставка для ног? Служа Ему, разбил я твою статую.

Домициан с усмешкой посмотрел на патриция.

— Ты ничего от него не добьешься. Эти всегда так рассуждают, даже со львами на арене. Аргументы всех римских философов бессильны переубедить их. Стоя пред моим лицом, они нагло отказываются принести жертву в мою честь. Никогда еще мне не приходилось иметь дела с таким невозможным народом. На твоем месте я бы долго не раздумывал.

— Что же посоветует великий Цезарь?

— Сегодня днем состоятся игры. Я собираюсь показать нового охотничьего леопарда, присланного мне в подарок царем Нумидии. Этот раб может позабавить нас, когда голодный зверь начнет обнюхивать ему пятки.

Патриций на мгновение задумался. Он всегда по-отечески относился к слугам, и сама мысль отдать кого-то из них на растерзание была для него ненавистна. Быть может, все-таки, если этот твердолобый фанатик раскается в содеянном, ему удастся сохранить жизнь. Во всяком случае, попытаться стоило.

— Твое преступление заслуживает смерти, — сказал он. — Можешь ли ты привести какие-нибудь доводы в свою защиту, учитывая, что разбитая тобой статуя стоит в сотни раз дороже тебя самого?

Раб пристально поглядел на хозяина.

— Я не страшусь смерти, — сказал он. — Моя сестра Кандида умерла на арене, и я готов последовать ее примеру. Это верно, что я испортил твою статую, но взамен могу предложить тебе нечто во много раз более ценное. Хочешь обрести Слово Истины вместо твоего разбитого идола?

Император расхохотался.

— Ты ничего от него не добьешься, Эмилий, — повторил он. — Я давно знаю это проклятое семя. Он сам говорит, что готов умереть. Так зачем же ему мешать?

Но патриций по-прежнему медлил. Он решил предпринять последнюю попытку.

— Развяжите ему руки, — приказал он стражникам. — Теперь снимите фурку с его шеи. Так! Вот видишь, Дат, я освободил тебя, чтобы показать, что я тебе доверяю. Я не стану наказывать тебя, если ты сейчас признаешь свою ошибку перед всеми и подашь тем добрый пример всем моим домочадцам.

— Каким образом должен я признать свою ошибку? — спросил раб.

— Склони голову перед богиней и попроси ее о прощении за причиненный вред. Тогда, быть может, ты заслужишь и мое прощение.

— Хорошо, отведите меня к ней, — сказал христианин.

Эмилий Флакк бросил на императора торжествующий взгляд. Добротой и тактом он добился того, чего не смог добиться насилием Домициан.

Дат остановился перед искалеченной Венерой. Затем, внезапным рывком, он выдернул дубинку из руки одного из охранников, прыгнул на пьедестал и осыпал прекрасную мраморную женщину градом ударов. Раздался треск, и правая рука с глухим стуком упала на землю. Еще удар — и за правой последовала левая. Флакк приплясывал и вопил в ужасе, пока слуги отрывали взбесившегося святотатца от беззащитной статуи. Безжалостный смех Домициана потряс стены и эхом отозвался в зале.

— Ну, и что ты теперь скажешь, друг мой? — воскликнул он. — Все еще мнишь себя мудрее своего императора? Или по-прежнему считаешь, что христианина возможно укротить добротой?

Эмилий Флакк устало вытер пот со лба.

— Он твой, великий Цезарь. Поступай с ним, как тебе заблагорассудится.

— Приведете его к гладиаторскому входу в цирк за час до начала игр, распорядился император. — Ну что ж, Эмилий, ночка у нас прошла весело. Моя Лигурийская галера ждет у причала на набережной. Пойдем прокатимся до Остии и обратно и освежим головы, прежде чем государственные дела потребуют твоего присутствия в Сенате.

*1911 г.*

**Великан Максимин**

История изобилует множеством примеров странных поворотов судьбы. Великие мира сего часто оказываются повержены во прах и вынуждены приспосабливаться к новым обстоятельствам. Малые бывают возвышены на время, чтобы, в свою очередь, впасть в безвестность. Богатейшие монархи превращаются в нищих монахов, бесстрашные завоеватели утрачивают прежнее мужество, евнухи и женщины сокрушают армии и королевства. Человеческая фантазия не в силах изобрести ничего нового, и любая жизненная ситуация есть лишь повторение некогда уже сыгранной драмы. И все же, в общей массе знаменитых человеческих судеб и удивительных событий, таких как, например, уход в монастырь Карла V или царствование императора Юстиниана, история великана Максимина стоит особняком. С позволения читателя, я изложу ниже исключительно строгие исторические факты, лишь слегка обработав их литературно, чего никогда не позволил бы себе ни один настоящий ученый. Перед вами одновременно и рассказ, и историческая хроника.

В самом сердце Фракии, милях в десяти к северу от горной цепи Родоп, лежит долина Арпесс, получившая свое название от реки, бегущей по дну долины. Через Арпесс проходит большая дорога с востока на запад. Пятого июня 210 года по этой дороге возвращалась из успешного похода против аланов небольшая, но грозная римская армия. Она состояла из трех легионов: Юпитера, Каппадокийского и Геркулеса. В авангарде шли десять турм галльской конницы, а замыкал колонну полк Батавских конников — телохранителей императора Септимия Севера, лично возглавлявшего кампанию. Крестьяне, заполнившие окрестные холмы, с безразличием глазели на длинную вереницу пропыленной, обремененной тяжким грузом снаряжения пехоты, но те же крестьяне восторженными кликами встречали сияющие золотом доспехи и высокие медные шлемы кавалеристов с плюмажами из конского волоса. Они бурно приветствовали дюжих гвардейцев, любуясь их военной выправкой и статью вороных скакунов. Настоящий солдат знает, что именно усталым пехотинцам с их короткими мечами, тяжелыми копьями и переброшенными за спину квадратными щитами обязан Рим тем трепетом, который испытывают перед ним враги Империи. Но в глазах невежественных фракийцев не они, а блистательные конные Аполлоны олицетворяли собой торжество римского оружия и поддерживали устои трона облаченного в пурпурную тогу властелина, ехавшего впереди.

В одной из разбросанных по склонам групп зрителей, наблюдавших с почтительного расстояния за пышной военной процессией, находились двое мужчин, чей облик вызывал повышенный интерес соседей. Первый из них не представлял собой ничего особенного. Был он невысок, бедно одет, а рано поседевшая голова, согбенный стан, морщины и мозоли без слов говорили о трудной жизни, прожитой в горах и связанной с обработкой земли, пастьбой коз и рубкой леса. Зато наружность его юного спутника была поистине замечательной. Она-то и привлекала изумленные взгляды собравшихся зевак. Юноша обладал богатырской статью, какой природа наделяет своих избранников не чаще раза или двух за целое поколение. Рост его, от защищенных грубыми сандалиями подошв до макушки, покрытой гривой нечесаных, спутавшихся волос, составлял восемь футов и два дюйма. Несмотря на огромные размеры, фигура молодого человека вовсе не выглядела тяжеловесной или неуклюжей. В мышцах шеи и широких плечах не было ни унции лишнего мяса или жира, а стройность и гибкость мощного стана наводили на сравнение с молодой сосенкой. Сильно потертая одежда из коричневой кожи плотно обтягивала тело гиганта. Короткая накидка из невыделанной овчины была небрежно перекинута через плечо. Смелый взгляд синих глаз, соломенные волосы и светлая кожа говорили о готской или скандинавской крови в жилах юноши, а глуповато-восторженное изумление на открытом добродушном лице от зрелища марширующих внизу войск свидетельствовало о простой и бедной событиями жизни, проведенной до этой минуты в глухом уголке Македонских гор.

— Правильно говорила твоя мать, когда советовала оставить тебя дома, произнес пожилой мужчина с тревогой. — Боюсь, после этого рубить лес и таскать дрова покажется тебе скучным занятием.

— Когда я в следующий раз увижу мать, то надену ей на шею золотое ожерелье, — уверенно заявил юный великан. — А тебе, отец, я обещаю наполнить кошель золотыми монетами.

Старик испуганно посмотрел на сына.

— Ты же не покинешь нас, Текла?! Что мы будем без тебя делать?

— Мое место там, внизу, среди этих людей, — ответил молодой человек. Я был рожден не для того, чтобы гонять коз и носить поленья. Есть место, где меня смогут оценить по достоинству и заплатить наивысшую цену. И место это в рядах Императорской Гвардии. Не говори больше ничего, отец, я твердо решил и не отступлюсь! Пускай сегодня ты плачешь, наступит время, —

будешь смеяться от счастья. Я отправляюсь в Рим вместе с солдатами.

Дневной переход римского легионера в полном походном снаряжении составлял двадцать миль. В тот день, однако, была пройдена лишь половина необходимой дистанции, когда серебряные горны сигнальщиков протрубили радостную весть об остановке. Причину раннего окончания марша смешавшим ряды солдатам объявили декурионы. В честь дня рождения Геты, младшего сына императора, было решено устроить состязания. Кроме того, всем была обещана двойная порция вина. Но железная дисциплина римской армии неукоснительно требовала, чтобы определенные действия во время привала были выполнены, невзирая ни на какие обстоятельства. Первоочередным и главным среди них являлось сооружение укрепленного стана. Аккуратно сложив оружие по порядку прохождения колонн, легионеры взялись за топоры и лопаты. Привычная работа весело спорилась в умелых руках, и вскоре крутая насыпь и зияющий ров надежно оградили лагерь от ночного нападения. Покончив с работой, шумные, смеющиеся, оживленно жестикулирующие тысячные толпы потянулись к поросшей травой поляне, где должны были состояться соревнования. Длинный зеленый склон пригорка, полого спускающийся к арене, вместил всю армию. Зрители привольно расположились на солнышке, сбросили пропыленные туники, расправили уставшие члены и с интересом следили за выступлением избранных атлетов, потягивая вино, заедая его фруктами и пирожками и вовсю наслаждаясь мирным отдыхом, как умеют это только те, кому слишком редко выпадает подобный случай.

Закончился бег на пять миль. Как обычно, его выиграл декурион Бренн из легиона Геркулеса, признанный чемпион в беге на длинные дистанции. Под одобрительные вопли сослуживцев из легиона Юпитера рядовой Капелл победил в прыжках в длину и высоту. Большой Бребикс из галльской конницы одержал верх над долговязым гвардейцем Сереном в толкании пятидесятифунтового каменного ядра. Солнце на западе собиралось уже нырнуть за горную гряду, золотя последними лучами серебристую ленту реки Арпесс, когда последние два участника состязаний в борьбе должны были встретиться в решающей схватке. Ловкому гибкому греку, которому прозвище Пифон давно заменило полученное от рождения имя, противостоял здоровенный малый из дикторской стражи, волосатый, с бычьей шеей, огромный, как сам Геркулес, и хорошо знакомый многим из присутствующих, кому на собственной шкуре довелось ощутить тяжесть его карающей десницы.

Когда оба борца приблизились к месту поединка, облаченные единственно в набедренные повязки, их появление было встречено ревом болельщиков, причем сторонники каждого из бойцов старались перекричать противную сторону. Одни поддерживали ликтора за его римское происхождение, другие предпочитали грека, исходя из своих собственных соображений. И вдруг шум оваций затих, словно по мановению волшебной палочки. Все головы повернулись к дальнему от арены склону. Люди вскакивали с мест, вытягивали шеи, показывали пальцами, позабыв про атлетов, пока, в наступившей тишине, все взоры не оказались прикованы к фигуре одного-единственного человека, быстро спускающегося с холма по направлению к ним. Косматая овчина покрывала широкие плечи одинокого великана. В руке он держал тяжелую дубину. Лучи заходящего светила играли в гриве волос незнакомца, обрамляя его лицо золотистым ореолом. Казалось, будто сам бог-покровитель этих пустынных и бесплодных земель зачем-то спустился с гор. Даже сам император поднялся из кресла и широко раскрытыми от изумления глазами следил за приближением таинственного существа.

Незнакомец, уже известный нам под именем Теклыфракийца, словно не замечал, что оказался в центре внимания. Он продолжал шагать с легкостью и грацией оленя, пока не достиг границы сборища, но не остановился, а двинулся дальше, ловко лавируя между рядами зрителей. Перепрыгнув через веревки, ограждавшие арену, он направился прямо к императору. Направленное в его грудь копье послужило предупреждением, что дальше приближаться нельзя. Тогда он опустился на правое колено и произнес несколько слов на готском наречии.

— Великий Юпитер! — вскричал потрясенный император. — Вот это телосложение! Никогда не видел ничего подобного. Что он говорит? Что ему от меня нужно? Откуда он и как его зовут?

Подоспевший толмач перевел ответы варвара.

— О, великий Цезарь, он говорит, что происходит из хорошего рода. Отец его гот, а мать из племени аланов. Еще он говорит, что зовут его Текла, а хочет он одного — служить императору с оружием в руках.

Император усмехнулся.

— Для такого здоровяка обязательно что-нибудь найдется, ну хотя бы пост привратника в моем дворце на Палатине, — заметил он, обращаясь к одному из префектов. — Вот бы пустить его прогуляться по Форуму так, как сейчас! Держу пари, что половина римских дам потеряет голову при одном его виде. Поговори с ним, Красе. Ты же знаешь его язык.

Римский офицер повернулся к великану.

— Цезарь согласен принять тебя на службу и взять с собой. Ты будешь служить привратником в его дворце.

Юный варвар вскочил на ноги. Щеки его покраснели от обиды.

— Я готов служить простым солдатом, — воскликнул он, — но никогда и никому, даже самому Цезарю, не стану служить лакеем! Если Цезарь хочет испытать меня, пусть выставит на поединок со мной любого из своих телохранителей.

— Клянусь тенью Милона, вот это нахал! воскликнул император. — Что скажешь, Красе? Поймаем парня на слове?

— Как того пожелает Цезарь, — сказал префект, — осмелюсь только заметить, что хорошие рубаки слишком редко встречаются в наши дни, чтобы позволить им убивать Друг друга просто для развлечения. Быть может, варвар согласится помериться силами в борьбе…

— Превосходно! — вскричал император. — Вот Пифон, а вот ликтор Вар. Оба готовы к схватке. Взгляни на них, варвар, и сам выбирай, с кем будешь бороться. Что он говорит? Сразу с обоими?! Ну, тогда он либо король борцов, либо король хвастунов, а кто именно, мы скоро узнаем. Пускай делает, что хочет. Сломает шею, — кроме себя винить будет некого.

Под смешки собравшихся крестьянский сын сбросил с плеч овчинную накидку, а кожаную одежду даже не позаботился снять. Оба борца с интересом ожидали приближающегося к ним соперника. Насмешки зрителей сменились громогласным одобрительным ревом, когда он молниеносным движением обхватил одной рукой поперек туловища сначала грека, а затем второй — римлянина. Держа обоих в стальном захвате, могучим рывком он оторвал их от земли, зажал под мышками, и, как те ни брыкались, пронес по всему периметру арены. Дойдя до императорского трона, варвар небрежно швырнул побежденных атлетов к его подножию, после чего, склонившись перед Цезарем, занял место среди бешено аплодирующих легионеров, откуда с бесстрастным лицом наблюдал за последними видами соревнований.

Было еще светло, когда разыграли последний приз, и солдаты вернулись в лагерь. Император Север приказал подать коня и в сопровождении своего любимца префекта Красса отправился на прогулку по извилистой тропе, опоясывающей долину. Их разговор касался размещения войск по гарнизонам после возвращения в Рим. Проехав несколько миль, Север случайно оглянулся и с удивлением узрел могучую фигуру варвара, легкой трусцой неотступно следующего по пятам за императорским скакуном.

— Этот горец — настоящая находка. Он не только силен, как Геркулес, но и резв, как Меркурий, — заметил с улыбкой император, обращаясь к спутнику. Давай-ка проверим, насколько обгонят его наши сирийские лошади.

Оба римлянина перешли на галоп и не сдерживали коней, пока те не проскакали добрую милю на полной скорости, достойной лучших представителей этой великолепной породы. Только тогда они придержали лошадей, остановились и поглядели назад. И что же? Великан-варвар хоть и отстал, но совсем ненамного, и бег его сохранил быстроту и легкость, а железные мускулы силу и неистощимую выносливость. Римский император дождался, пока юный атлет не поравнялся с ним, а затем обратился с вопросом:

— Ответь, почему ты последовал за мной?

— Потому что я надеюсь и в будущем всегда следовать за тобой, Цезарь, ответил молодой человек, чье раскрасневшееся лицо находилось почти на одном уровне с лицом сидящего на коне римлянина.

— Клянусь богом войны, на всем белом свете мне не найти лучшего слуги! — воскликнул император. — Решено! Ты будешь моим личным телохранителем и самым близким к моей персоне человеком.

Гигант преклонил колено.

— Моя жизнь и сила принадлежат тебе, Цезарь, и я не прошу другой награды, кроме

позволения отдать их тебе без остатка.

Красе прервал этот короткий диалог, обратившись к императору с предложением:

— Раз уж он будет теперь неотлучно находиться при тебе, Цезарь, было бы неплохо дать бедняге какое-нибудь имя, которое твой язык будет в состоянии выговорить. Текла звучит слишком грубо и жестко, как порождение этих голых скал.

Император на мгновение задумался.

— Ну что ж, раз мне выпало дать ему имя, самым подходящим будет, пожалуй, Максим, потому что такого великана не сыскать больше нигде.

— Слышишь, ты? — сказал префект. — Цезарь соизволил дать тебе римское имя, поскольку ты теперь находишься у него на службе. С этой минуты тебя зовут уже не Текла, а Максим. Можешь повторить это за мной?

— Мак-си-мин… — повторил варвар, стараясь правильно произнести новое слово.

Император расхохотался над забавным акцентом юноши.

— Ладно, пускай останется Максимин. И запомни, Максимин, что с нынешнего дня ты не просто солдат, но личный телохранитель Цезаря. Как только вернемся в Рим, обещаю тебе позаботиться о приличествующем твоему рангу наряде. А пока присоединяйся к стражникам впредь до дальнейших распоряжений.

Наутро римская армия возобновила марш, оставив за спиной цветущую долину Арпесс. Великан-новобранец, по-прежнему облаченный в коричневую кожу и овчинную накидку, гордо вышагивал по дороге бок о бок со всадниками Императорской Гвардии. Далеко позади остался скромный деревянный домик в долине, затерянной в горах Македонии, где двое стариков безутешно проливали горькие слезы и молили богов присмотреть за их мальчиком, зачем-то решившим обратить свое лицо в сторону Рима.

Ровно двадцать пять лет минуло с того дня, когда сын фракийского крестьянина Текла превратился в императорского гвардейца Максимина. То были не лучшие годы для Рима. Канули в прошлое дни расцвета Империи при Адриане и Траяне. Кончился золотой век обоих Антонинов, когда на высших постах находились действительно самые достойные и мудрые, сменившись эпохой слабых и жестоких правителей. Север, в чьих жилах текла африканская кровь, был мужественным, решительным и непреклонным воином. Но он скончался в далеком Йорке, проведя зиму в сражениях с каледонскими горцами, чье племя с тех пор пользовалось исключительно римской военной амуницией. Сын его, более известный под уничижительным прозвищем Каракалла, правил в течение шести лет, наполненных безумными оргиями и бессмысленной жестокостью, пока кинжал разгневанного солдата не отомстил за нанесенный достоинству и доброму имени римлян урон. Ничем не проявивший себя Макрин занимал ставший опасным трон всего год, после чего тоже был зарезан, уступив место самому, пожалуй, абсурдному из всех монархов — неописуемому Гелиогабалу с вечно накрашенным лицом. Тот, в свою очередь, был изрезан на куски взбунтовавшимися гвардейцами, посадившими на его место Севера Александра, благородного юношу, едва достигшего семнадцатилетнего возраста. Он правил в продолжение вот уже тринадцати лет, с переменным успехом стараясь вернуть хоть немного прежней добродетели и стабильности загнивающей Империи. К сожалению, пойдя таким путем, он нажил немало сильных врагов, одолеть которых императору недоставало сил, а перехитрить — ума.

А что же Великан Максимин? — спросите вы. Его мужественную восьмифутовую фигуру видели долы Шотландии и горные перевалы Грампиана. Он проводил в последний путь Севера и воевал под началом его сына. Он сражался в Армении, Дакии и Германии. Его произвели в центурионы прямо на поле боя после того, как он голыми руками разломал по бревнышку частокол вокруг одного из скандинавских поселений, открыв тем самым дорогу штурмующим. Его сила была предметом как шуток, так и открытого преклонения со стороны солдат. По армии о нем ходили легенды. Особенно часто повторялись вокруг походных костров рассказы о победе над знаменитым поединщиком-германцем, когда они бились на топорах на одном из рейнских островков, и о кулачном ударе, которым Максимин сломал ногу скифскому жеребцу. Со временем он забирался все выше по служебной лестнице, пока не стал, после четверти века беспорочной службы, трибуном Четвертого легиона и комиссаром по набору новобранцев для всей армии. Свой первый урок армейской дисциплины каждый новый рекрут получал именно от него, либо ежась под яростным взглядом пронзительно-синих глаз, либо будучи вздернут над землей одной могучей рукой и по-отечески охажен другой.

Ночь сгустилась над укрепленным лагерем Четвертого легиона, расположившегося на галльском берегу Рейна. По ту сторону залитой лунным светом реки, в непроходимых чащах лесов, тянувшихся до самого горизонта, скрывались дикие и неукротимые германские племена. Отблески ночного светила играли на шлемах часовых, расставленных вдоль воды. Далеко-далеко, на противоположном, берегу, мигала красная точка — сигнальный костер неприятеля.

Великан Максимин сидел близ своего шатра, уставившись на тлеющие поленья. Его окружало с дюжину подчиненных ему офицеров. Он сильно изменился со дня первого нашего знакомства с ним в долине Арпесс. Его мощная фигура по-прежнему сохраняла стройность, а в мышцах таилась все та же нечеловеческая сила. И все-таки он заметно постарел. Некогда свежее и открытое юношеское лицо осунулось и огрубело; лишения и опасности избороздили морщинами девственно гладкую кожу на лбу и щеках. Не было больше роскошной гривы золотых волос, поредевших под гнетом редко снимаемого шлема. Нос заострился и еще сильнее стал напоминать ястребиный клюв. В глазах притаилась несвойственная ему прежде хитрость, а выражение лица сделалось циничным и порой пугающим. Когда Максимин был молод, любой малыш доверчиво просился к нему на руки. Сейчас тот же ребенок с испуганным ревом убежал бы прочь, едва встретившись с ним взглядом. Вот что сделали двадцать пять лет, проведенные в обществе римских Орлов, с Теклой, сыном фракийского крестьянина. Сейчас он слушал, сам будучи немногословен по натуре, как болтают между собой его центурионы. Один из них, сицилиец Бальб, только что вернулся из лагеря главных сил в Майнце, всего в четырех милях отсюда, и рассказывал о прибытии в город из Рима императора Александра. Остальные жадно впитывали каждую новость, ибо время настало неспокойное и слухи о больших переменах носились в воздухе.

— Сколько он привел с собой войск? — спросил Лабин, чернобровый ветеран из Южной Галлии. — Готов поставить месячное жалованье, что он не решился посетить в одиночку преданные ему легионы.

— С ним нет больших сил, — ответил Бальб. — Десять или двенадцать когорт преторианцев и горстка конницы.

— Ну, тогда он сам сунул голову в пасть льву! — воскликнул молодой отчаянный Сульпиций, родом из Пентаполиса Африканского. — И как же его встретили?

— С холодком. Когда он объезжал ряды, почти не было слышно приветственных возгласов.

— Парни созрели для бунта, — заметил Лабин, — и нечему тут удивляться. Мы, солдаты, удерживаем Империю на остриях наших копий, а эти ленивые твари, именующие себя римскими гражданами, пожинают плоды наших трудов. Ну почему солдат не имеет права воспользоваться тем, что он заработал? Они бросают нам, как кость, динарий в день и считают, что этого вполне достаточно.

— Точно! — прокряхтел седобородый ворчун. — Им плевать, что мы теряем руки и ноги, проливаем кровь и платим своими жизнями, охраняя границы от варваров. И все ради того, чтобы они могли спокойно пировать и наслаждаться цирковыми представлениями. Римские бродяги и бездельники имеют бесплатный хлеб, бесплатное вино, бесплатные игры… А что имеем мы? Пограничные стычки да солдатскую кашу!

Максимин издал утробный смешок.

— Старый Планк вечно ворчит, — сказал он, — но мыто знаем, что даже за все сокровища мира он не сменит доспехи воина на тогу гражданина. Ты давно выслужил право доживать век в своей конуре, старый пес. Только пожелай, и можешь отправляться восвояси грызть свою косточку и ворчать на покое.

— Ну нет! Я слишком стар для таких перемен. Я буду следовать за Орлами, пока не сдохну. Но и я предпочитаю умереть, служа настоящему воину, а не какому-то сирийцу в длинном платье, да еще из такого рода, где женщины ведут себя, как мужчины, а мужчины, как женщины.

В кругу офицеров раздался смех. Семена недовольства и мятежа пустили в лагере столь глубокие корни, что даже крамольный выпад старого центуриона ни у кого не вызвал протеста. Максимин поднял свою тяжелую, как у мастифа, голову и в упор посмотрел на Бальба.

— Не упоминали ль солдаты чьего-либо имени? — спросил он с намеком в голосе.

Полное молчание было ему ответом. Шелест ветра в ветвях сосен и плеск воды в реке

сделались вдруг громкими на фоне воцарившейся тишины, Бальб пристально изучал лицо командира.

— Имена двоих передавались шепотом из уст в уста, — заговорил он наконец. — Первым был легат Асентий Поллион, вторым же...

Пылкий Сульшщий внезапно вскочил с места и принялся вопить во весь голос, размахивая над головой выхваченной из костра пылающей головней:

— Максимин! Император Максимин Август! Кто знает, как могло такое случиться? Еще час назад ни одна живая душа не могла даже помыслить об этом. И вот в какое-то мгновение невозможное обернулось свершившимся фактом. Не успело еще заглохнуть эхо от криков распаленного молодого африканца, как его призыв был подхвачен воинами легиона в шатрах, у сигнальных костров, несущими караул на берегу. "Да здравствует Максимин! Да здравствует император Максимин!" — доносилось отовсюду. Со всех сторон сбегались люди, полуодетые, с горящими безумием глазами и перекошенными криком ртами, освещая путь пылающими факелами или просто зажженными пучками соломы. Десятки рук подхватили великана и вознесли его на импровизированный трон, держащийся на плечах и бычьих шеях самых дюжих легионеров.

— В лагерь! Все в лагерь! — орали они. — Да здравствует Цезарь Максимин! Да здравствует солдатский император!

В эту же самую ночь молодой император Север Александр решил прогуляться за пределами лагеря, разбитого прибывшими с ним преторианцами. Его сопровождал всего один человек, которого император считал своим другом, капитан Императорской Гвардии Лициний Проб. Они вели между собой серьезный разговор, с тревогой обсуждая хмурые лица и вызывающее поведение солдат. Тягостное предчувствие грядущей беды угнетало сердце императора и, как в зеркале, отражалось на суровом бородатом лице его спутника.

— Не нравится мне все это, Цезарь, — говорил он, — и мой тебе совет прямо на рассвете отправиться дальше на юг.

— Сам посуди, — отвечал император, — разве могу я, не потеряв чести, бежать от опасности? Да что, в конце концов, они против меня имеют? Какое зло я им причинил, что они готовы восстать против своего повелителя, позабыв присягу?

— Солдаты как дети, которым все время хочется чего-нибудь новенького. Разве ты не слышал своими ушами их ропот, когда объезжал ряды? Нет, Цезарь, бежать надо завтра же, а твои верные преторианцы позаботятся о том, чтобы не было погони. В легионах найдутся верные тебе когорты, и если мы объединим силы...

Отдаленный шум оборвал беседу. То был низкий рокочущий звук, подобный прибою. Далеко внизу на дороге двигалось беспорядочное скопище огней, то мигающих и гаснущих, то вспыхивающих вновь. Огни приближались с путающей быстротой, в то время как хриплый, беспорядочный рев нарастал, превращаясь в уже различимые ухом слова, — слова страшные и зловещие, рвущиеся из тысяч глоток. Лициний бесцеремонно ухватил императора за запястье и потащил в укрытие за придорожными кустами.

— Тише, Цезарь! Тише, если дорожишь жизнью! — зашептал он. — Одно слово — и нам конец!

Скорчившись в ночной темноте, они провожали взглядами текущую мимо процессию. В неверном свете факелов бесновались, размахивая руками, какие-то одержимые люди с бородатыми, искаженными лицами, то алыми, то серыми, в зависимости от освещения. До ушей доносился топот множества ног, грубые голоса и лязг металла о металл. Внезапно из мрака возникло видение. Невероятных размеров человек словно плыл над толпой. Его широкие плечи слегка сутулились, но лицо озарялось свирепым торжеством, а взгляд грозных ястребиных глаз устремлялся вперед, поверх линии окружающих щитов. Всего на мгновение возник он в коптящем кольце огней и тут же снова пропал во мраке.

— Кто это? — спросил, запинаясь, император. — И почему они называют его Цезарем?

— Вне всякого сомнения, это Максимин, бывший фракийский крестьянин, ответил предводитель преторианцев, окидывая своего хозяина странным взглядом. — Они ушли, Цезарь. Бежим скорее к твоему шатру.

Но не успели они пуститься в бегство, как новая волна шума, во много раз громче первой, достигла их слуха. И если первую можно было сравнить с рокотом прибоя, то вторая

напоминала бушующий ураган. Двадцать тысяч солдатских глоток в главном лагере слились в едином вопле, эхом разорвавшем ночную тьму и заставившем задрожать в недоумении и страхе сидящих за много миль отсюда вокруг своих костров германцев.

— Аве! — ревели голоса. — Аве Максимин Август!

На вознесенных над головами щитах стоял Великан Максимин, обводя взглядом море обращенных к нему лиц. Его необузданная натура дикаря ликовала при звуке приветствий, но один лишь пылающий взор выдавал, что творится у него в душе. Он простер руку над орущими солдатами, подобно охотнику, успокаивающему взбудораженную собачью свору. Ему поднесли венок из дубовых листьев. Под приветственный звон выхваченных из ножен мечей Максимин возложил его себе на голову. Неожиданно толпа прямо перед ним забурлила и раздалась, освободив крохотный пятачок открытого пространства. Какой-то офицер в форме Преторианской Гвардии опустился на колени. Кровь обагряла его лицо и обнаженные до локтей руки. Капли крови стекали с клинка его обнаженного меча. Даже Лициний не смог остаться в стороне, захваченный всеобщим порывом.

— Да здравствует Цезарь! — воскликнул он, склоняя голову перед гигантом. — Я прямо от Александра. Он уже никогда больше не будет тебя беспокоить!

Три года восседал на троне «солдатский» император. Но дворцом ему служил походный шатер, а подданными — милые его сердцу легионеры. С ними он был всесилен, — без них он был ничем. С ними он прошел от одного края Империи до другого, сражаясь с германцами, даками, сарматами и снова германцами. Но Рим ничего не знал о своем повелителе и открыто роптал против такого хозяина, который ни во что не ставит ни саму столицу, ни мнение ее граждан, и Который не удосужился за три года ни разу побывать в ее стенах. Против постоянно отсутствующего Цезаря плелись интриги и составлялись заговоры. Узнав об этом, он дал почувствовать недовольным тяжесть своей десницы, как когда-то внушал молодым новобранцам необходимость воинской дисциплины. Он ничего не знал и не хотел знать о консулах, Сенате и гражданских правах. Его собственная воля и сила оружия были единственным предметом, доступным его пониманию. В торговле и искусствах он смыслил столь же мало, как в тот день, когда покинул отчий дом во Фракии. Вся необъятная Империя представляла собой, в его понимании, только машину для производства денег, которые шли на содержание легионов. Если он не получит этих денег в срок, солдаты могут обидеться. Разве в ту памятную ночь они не для того вознесли его на щитах, чтобы он, в свою очередь, свято блюл их интересы? И если приходилось для добывания нужных сумм потрясти городскую казну или осквернить парочку храмов, — ну что ж, где-то ведь надо их брать. Вот такой бесхитростный взгляд на вещи был у Великана Максимина.

Со временем, однако, сопротивление стало нарастать, и тогда всю свою яростную энергию и решительность, давшие ему власть над столь же энергичными и решительными людьми, он бросил на тушение готового возгореться пожара. С юных лет он привык жить в гуще кровопролития. Чужие жизнь и смерть не имели в его глазах практически никакого значения. Со свирепостью дикаря обрушивался он на тех, кто осмеливался противостоять ему, а на удар отвечал еще более сильным ударом. Тень Великана закрыла черным крылом всю Империю от Британии до Сирии. В характере его начала проявляться удивительно изощренная мстительность. Безграничная власть позволила расцвести пышным цветом ростку каждого заложенного в его душе порока и толкнула, в конечном счете, на путь преступлений.

В прежние времена он не раз подвергался взысканиям за чрезмерную грубость. Теперь он с мелочной злопамятностью изливал свой гнев за былые обиды на прежних начальников. Часами он мог сидеть, уперев в раскрытые ладони крутой подбородок, а локти поставив на колени, и припоминать час за часом все промахи и неприятности первых лет службы, когда эти язвительные римляне никогда не упускали случая лишний раз проехаться в его адрес или зло подшутить над его ростом или недостатком образования. Сам Максимин так и не научился писать, но его сын Вер заносил под диктовку вспомнившиеся имена на восковые таблицы, которые отправлялись губернатору Рима. Многие именитые граждане, давно забывшие о нанесенной некогда обиде, внезапно оказывались вынуждены оплачивать прошлые грехи кровью.

В Африке вспыхнуло восстание, подавленное одним из приближенных военачальников, но одна только весть о начавшемся мятеже заставила всколыхнуться весь Рим. Сенат словно обрел свой прежний дух, равно как и римские граждане. Их больше нельзя было запугать легионами. Максимин повел свои войска от границы, намереваясь основательно пограбить мятежную столицу, но на пути к ней столкнулся с поистине всенародным сопротивлением. Деревни опустели, фермы стояли покинутые, скот и урожай с полей исчезли без следа. На пути легионов встретился укрепленный стенами городок Аквилея. Максимин попытался взять

его с наскока, но получил решительный отпор. Штурмом преодолеть стены не удалось, а для осады в округе не было никаких запасов провианта. В войсках начался голод и появилась масса недовольных. Им не было дела до того, кто будет императором. В конце концов, чем Максимин был лучше любого из них? И за каким дьяволом восстанавливать против себя всю Империю, поддерживая его? Император видел вокруг себя угрюмые лица и косые взгляды и понимал, что конец близок.

В ту ночь император был со своим сыном Вером у себя в шатре. Речь Максимина звучала непривычно тихо и мягко. Юноша никогда прежде не слышал отца, разговаривающим таким образом. Он говорил так только с Паулиной, матерью мальчика. Она умерла много лет назад, и вся доброта и нежность, таившиеся в мощном теле гиганта, казалось, ушли вместе с ней. Но в ту ночь в шатре дух Паулины словно незримо витал над ним, утешая и укрепляя его душу.

— Я хочу, чтобы ты вернулся в наши родные фракийские горы, — говорил император. — Я испробовал все, мой мальчик, и могу точно сказать, что никакое наслаждение, даваемое властью, не может сравниться с дуновением горного ветерка, доносящего ранним летним утром запах выгоняемого стада. На тебя они не могут держать зла. Не думаю, что тебе что-то грозит. Только держись подальше от Рима и римлян. У старого Эвдокса денег хватит на все с избытком. Он ждет тебя за валом лагеря с парой лошадей. Отправляйся прямо в долину Арпесс, парень. Твой отец вышел оттуда, и там ты найдешь родню. Купи себе усадьбу, заведи скотину и никогда больше не пытайся ходить путями власти, по которым Величие и Смерть шагают рука об руку. Да хранят тебя боги, Вер, и да будет безопасной твоя дорога во Фракию.

Сын поцеловал руку отцу и покинул шатер, а император поплотнее закутался в плащ и погрузился в глубокое раздумье. В ленивом мозгу медленно ворочались воспоминания о былом. Всплывали в памяти первые счастливые деньки, годы службы под началом Севера, Британия, долгие кампании, лишения и битвы, приведшие, в конечном итоге, к той безумной ночи на берегах Рейна. Тогда солдаты его обожали. Сегодня же он прочел в их глазах свой смертный приговор. В чем же он провинился перед ними? Да, он сотворил немало зла, но солдатам всегда было грех жаловаться. Конечно, если начать все сначала, он уделял бы больше внимания простым гражданам и меньше — войскам. Он постарался бы завоевать сердца и любовь добром, а не силой, и жить ради мира, а не ради войны. Если бы все начать сначала!

Снаружи послышались чьи-то шаркающие шаги, осторожный шепоток и бряцание оружия. Бородатое лицо просунулось в шатер. Он хорошо знал эту смуглую африканскую рожу! Зловеще рассмеявшись, Максимин выпростал из плаща руку и взял со стола лежащий перед ним меч.

— Входи, Сульпиций, — сказал он. — Я знаю, сегодня ты не станешь кричать: "Да здравствует император Максимин!". Я тебе успел надоесть, да и ты надоел мне порядком. Клянусь богами, я буду только рад положить всему конец. Входи и делай свое дело, но помни, что мне интересно будет узнать, скольких из вас я смогу забрать с собой в могилу.

Они толпились у входа в шатер, заглядывая внутрь через плечо друг друга, но ни один не отваживался первым вступить в схватку с гигантом, оскалившим зубы в издевательской усмешке. Но вот из кучки заговорщиков выставили какой-то предмет, насаженный на острие копья. Увидев его, Максимин издал скорбный стон и выронил меч из внезапно ослабевших пальцев.

— Зачем же вы мальчика-то? — с трудом выговорил он, сотрясаясь в рыданиях. — Он бы никому из вас не помешал! Ладно, кончайте со мной. Я с радостью последую за ним.

Они навалились на него всей сворой. Они рубили, кололи и резали, пока колени великана не подломились, и окровавленное тело не рухнуло наземь.

— Тиран умер! — кричали они. — Тиран умер!

Этот крик был подхвачен солдатами в лагере и защитниками осажденного города. Те и другие с одинаковой радостью орали во весь голос:

— Он умер! Великан Максимин умер!

Я сижу в кабинете и разглядываю лежащий передо мной на столе динарий, выпущенный в годы правления Максимина, Он почти такой же новенький, как в тот день, когда был отчеканен в храме Юноны Монеты. По окружности выбита надпись с перечислением громких титулов: Император Максимин, Великий Понтифик, Верховный Трибун и прочая. В центре выпуклое изображение в профиль: огромная голова с массивной челюстью, грубое лицо воина

и перерезанный морщинами лоб. Несмотря на пышный перечень, это лицо крестьянина, и, глядя на него, я представляю не римского императора, а огромного деревенского увальня, спустившегося по зеленому склону в тот памятный летний день, когда римский Орел впервые поманил его своим крылом.

*1911 г.*

**Прибытие первого корабля**

"Ex ovo omnia."

Мой дорогой Красе!

Когда ты со своим легионом покинул Британию, я обещал время от времени писать письма, если подвернется возможность отправить послание в Рим, и держать тебя в курсе всех мало-мальски значительных событий, происходящих здесь. Лично я страшно рад, что остался, в то время как войска и великое множество гражданского населения предпочли вернуться домой. Конечно, жизнь тут не сахар, а климат просто адский, зато три мои путешествия в Балтию, благодаря здешним высоким ценам на янтарь, уже принесли мне столько, что вскоре я рассчитываю уйти на покой и доживать свой век под собственным фиговым деревом. Может быть, хватит даже на небольшую виллу в Байе или Посуоли, где я смогу вволю понежиться на солнышке и забыть вечные туманы этого проклятого острова. Еще я рисую себя владельцем маленькой фермы и в предвкушении читаю «Георгики», вот только, когда по крыше хлещет дождь, а за окном завывает ветер, Италия кажется такой недостижимо далекой…

В предыдущем послании я уже писал, как обстоят дела в Британии. Бедняги-туземцы, совсем разучившиеся воевать за те столетия, что мы охраняли их покой, теперь совершенно беспомощны перед пиктами и скоттами татуированными варварами с севера, — которые повсеместно устраивают набеги и вообще творят, что хотят. Пока они держались родных северных мест, южане, самые многочисленные и цивилизованные из всех бриттов, не обращали на них никакого внимания. Только сейчас, когда эти разбойники начали добираться аж до Лондона, лентяи и лежебоки наконец-то проснулись. Здешний король Вортигерн не годен ни на что, кроме пьянства и распутства. Поэтому он отправил послов на Балтийское побережье к северогерманским племенам в надежде получить от них военную помощь. Скверно, конечно, когда в дом к тебе забрался медведь, но мне представляется едва ли разумным, если для исправления положения зовут на подмогу стаю свирепых волков. Однако ничего лучшего изобрести не удалось. Приглашение было отправлено и с готовностью принято. Вот здесь-то на сцене и появляется моя скромная персона. Занимаясь торговлей янтарем, я выучился болтать на саксонском наречии, и в результате был спешно отправлен к берегам Кента, чтобы встретить там наших новых союзников. Мое прибытие совпало с появлением первого корабля, и я хочу поведать тебе о своих впечатлениях. Я абсолютно уверен, что высадка в Англии этих воинственных германцев окажется событием исторической важности, и надеюсь не утомить твой любознательный ум, углубляясь в подробности.

Произошло это в день Меркурия, сразу же после праздника Вознесения Господа Нашего Иисуса Христа. Я занял позицию для наблюдения на южном берегу реки Темзы, как раз в том месте, где она разворачивается в обширную дельту. Там есть островок под названием Танет, — он-то и был избран для первой высадки гостей на британскую землю. Не успел я подъехать, как показался большой красный корабль под всеми парусами, как выяснилось, передовой из трех посланных судов. На мачте развевалось полотнище с изображением белой лошади — отличительным знаком этого племени. Палуба была запружена народом. В лучах яркого солнца величественный алый корабль со снежно-белыми парусами и рядами блистающих металлических щитов вдоль бортов представлял на фоне голубизны воды и неба такую великолепную картину, какую редко приходится видеть.

Я сразу погрузился в шлюпку и отправился навстречу. По предварительной договоренности, ни один из саксов не имел права ступать на берег, пока сам король не явится для беседы с их вождями. Вскоре я добрался до борта корабля. Нос его был украшен резным позолоченным изображением дракона. Ряды длинных весел пенили воду с обоих бортов. Подняв голову и посмотрев наверх, я увидел множество людей в железных шлемах, в свою очередь глазеющих на меня. К моему крайнему удивлению и радости, среди них я узнал Черного Эрика, с которым вот уже несколько лет подряд имел торговые дела в Венте. Как только я поднялся на палубу, он сердечно приветствовал меня и сразу сделался моим другом, советчиком и проводником. Это обстоятельство немало помогло мне, так как по натуре варвары холодны и заносчивы с незнакомцами, но если кто-нибудь из их числа может за вас поручиться, они сразу становятся открытыми и гостеприимными. И все же, несмотря на все старания не показать этого, нрав их таков, что к чужеземцам они относятся с некоторой долей высокомерия, а кое-кто, особенно из низкорожденных, с презрением.

Да, встреча с Эриком была для меня редкостной удачей. Он смог вкратце познакомить меня с обстановкой, прежде чем я предстал перед Кенной, командующим этим кораблем. Экипаж судна, по словам вождя, состоял из представителей трех родов: Кенны, Ланса и Гасты. Член

каждого рода называется по имени его главы путем добавления к нему суффикса «инг». Таким образом, прибывшие на этом корабле могли при знакомстве называть себя Кеннингами, Дансингами и Гастингами. Мне уже приходилось на Балтике сталкиваться с тем, что поселения получали названия по родовому имени обитающих там людей, причем каждый род старался держаться обособленно. Не вызывает сомнений, что в названиях британских городов и сел вскоре появятся похожие, — дайте только этим парням возможность твердо стать обеими ногами на земле!

Мужчины по большей части выглядели крепкими и рослыми. Встречались блондины и рыжие, но больше было темноволосых. К моему удивлению, на борту я заметил несколько женщин. В ответ на мой вопрос, Эрик пояснил, что они всегда стараются брать с собой женщин, когда только возможно. В отличие от римских дам, женщины варваров не только не служат обузой в походе, но и оказывают мужчинам немалую помощь, в том числе и советом. Позже я припомнил, что наш безупречный историк Тацит уже отмечал в своих трудах эту особенность германских племен. Всё законы племени принимаются общим голосованием. Женщины права голоса пока не имеют, но в пользу такого решения уже сделано много заявлений, и принятие закона о женском и мужском равноправии ожидается в скором времени, хотя многие из женщин против этого нововведения. В беседе с Эриком я заметил, как удачно иметь на корабле несколько женщин, которые могут составить друг дружке компанию, на что тот в нескольких словах развеял мои заблуждения. Оказывается, жены вождей не желают иметь ничего общего с женами простых офицеров, а те, в свою очередь, с женами рядовых воинов. Так что никакой дружеской компании в здешнем женском обществе не было и быть не могло. В качестве иллюстрации к своим словам Эрик незаметно указал мне на Эдиту, жену Кенны. Эта краснолицая пожилая матрона шествовала по палубе с важным видом и высоко вздернутым подбородком, в упор не замечая встречных женщин, как будто их вовсе не существовало на свете.

Пока я предавался беседе с моим другом Эриком, на палубе затеялась перебранка. Люди оставляли свои занятия и спешили к ссорящимся, причем по их лицам было видно, как интересует всех предмет спора. Мы с Эриком тоже пробились сквозь толпу, так как мне хотелось как можно больше узнать о нравах и обычаях этого варварского племени. Свара разыгралась по поводу ребенка, — голубоглазого малыша со светлыми кудряшками, — донельзя удивленного поднятым вокруг него шумом. По одну сторону от мальчика стоял величественного вида седобородый старик, претендующий, судя по жестикуляции, на право обладания ребенком. Противостоял ему худой аскет с серьезным, озабоченным выражением лица, энергично протестующий против передачи малыша седобородому. Эрик шепнул мне на ухо, что старик — верховный жрец племени, отвечающий за ритуальные жертвоприношения великому богу германцев Водену, тогда как у его тощего соперника имелись, как выяснилось, другие взгляды. Нет, не в отношении Водена, а в отношении способов и порядка поклонения ему. Большинство собравшихся стояло за старого жреца, но и у его младшего противника тоже нашлось немало защитников. То были сторонники более либеральных методов отправления религиозных обрядов, предпочитающие изобретать свои собственные моления, а не повторять старые каноны. Раскол этот был слишком глубоким и давнишним, чтобы сторонники различных подходов вдруг, в одночасье, изменили свои взгляды, но обе стороны стремились внушить свою точку зрения подрастающему поколению. Вот чем объяснялось противостояние двух служителей Водена, до того разозлившихся друг на друга, что аргументы каждого начали уже переходить за рамки допустимого. Некоторые из собравшихся даже обнажили короткие саксы — ножи, от которых племя саксов получило свое название, — и от кровопролития спасло лишь появление кряжистого рыжеволосого воина, силой проложившего себе путь в середину сборища. Громовым голосом он приказал положить конец распре:

— От вас, жрецов, вечно спорящих о предметах, недоступных человеческому пониманию, на этом корабле больше неприятностей, чем от всех опасностей плавания в открытом море! — воскликнул он. — Ну почему вы не можете мирно служить Водену, которого все мы чтим и признаем, и не обращать внимания на мелкие различия, по которым мнения не совпадают? Если вы поднимаете такой хай по поводу того, кто из вас должен обучать детей, я вынужден буду запретить это обоим! Пускай уж лучше они довольствуются тем, чему научат их матери.

Разгневанные жрецы удалились с явно недовольными физиономиями, а Кенна — это он произнес речь — приказал дать сигнал к общему сбору команды. Мне понравилось независимое поведение этих людей. Кенна был их верховным вождем, но ни один не выказывал ему подобострастия, с каким римский легионер привык выслушивать своего претора. К нему относились как к первому среди равных, с уважением, но без фамильярности, что только подчеркивает высокую степень личного достоинства и самоуважения даже в среде рядовых варваров.

По нашим римским меркам, слова вождя, обращенные к воинам, не отличались обилием

эпитетов и метафор, равно как и красноречием, зато короткие точные фразы били прямо в цель. Во всяком случае, именно так воспринимали их слушатели. Начал он с напоминания о том, что все они покинули родину из-за недостатка свободных земель и что путь назад для всех них заказан. На родных берегах не было больше места, где они могли бы свободно и независимо существовать. Еще он сказал, что остров Британия мало населен, а значит, у каждого есть шанс стать основателем собственного рода.

— От тебя, Уитга, — сказал он, обращаясь к одному их дружинников, пойдет род Уютингов, а ты, Букка, станешь отцом-основателем большой деревни, где твои дети и дети твоих детей — все Буккинги — будут благословлять твое имя и храбрость за те обширные земли, которыми они станут владеть.

В речи Кенны не было слов о чести и славе. Он лишь кратко упомянул о своей надежде, что каждый выполнит свой долг. В ответ на это каждый из воинов с силой ударил мечом по щиту, так что звон, должно быть, донесся до прибрежных поселений бриттов. Взгляд его неожиданно упал на меня. Он спросил, не я ли посланец от Вортигерна; получив утвердительный ответ, вождь приказал следовать за ним в каюту, где уже собрались на совет остальные вожди — Ланс и Гаста.

Вообрази меня, мой дорогой Красе, в крошечной кабинке с низким потолком в обществе трех гигантов-варваров, рассевшихся вокруг. Каждый из них был облачен в некое подобие туники шафранового цвета, поверх которой одевается кольчужная рубаха. Железные шлемы венчали бычьи рога, но из-за тесноты их пришлось снять и положить на стол. Как к большинство саксонской знати, эти трое брили бороды, зато волосы отпускали на всю длину, а густые светлые усы опускались чуть ли не до самых плеч. Они спокойны, медлительны, где-то даже неуклюжи, но я со страхом представляю, какой ужасной может быть их ярость в битве.

По складу ума они чрезвычайно практичны и любознательны. Не успел я сесть, как был засыпан градом вопросов. Их интересовали численность бриттов, природные богатства королевства, условия торговли и тому подобные предметы. Вытянувши из меня достаточно сведений, они углубились в обсуждение их, да так увлеклись, что начисто позабыли о моем присутствии. Примечательно, что каждый вопрос, возникший в процессе обсуждения, решался ими исключительно голосованием. Оставшийся в меньшинстве неизменно подчинялся воле большинства, хотя делал это зачастую с недовольной миной. В одном из таких случаев Ланс, почему-то чаще других оказывавшийся в меньшинстве, пригрозил даже вынести обсуждаемый вопрос на общее собрание всей команды. Конфликты возникали, главным образом, из-за несовпадения точек зрения на будущую политику. Если Кенна и Гаста стремились к расширению власти саксов и возвеличению своего племени в глазах всего света, то Ланс придерживался того мнения, что следует меньше думать о завоеваниях и больше уделять внимания развитию благосостояния их последователей. В то же время, Ланс показался мне самым воинственным из трех. Даже сейчас, в мирное время, он никак не мог забыть былые раздоры с соплеменниками. Ни один из двух других, похоже, не испытывал к нему добрых чувств. Кенна и Гаста, как легко можно было заметить, гордились своим высоким положением и постоянно ссылались на благородных предков, придававших дополнительный вес их власти и авторитету. Ланс же, несмотря на не менее благородное происхождение, выступал каждый раз как бы с позиций рядовых членов племени, заявляя при этом, что интересы большинства перевешивают привилегии избранных. Одним словом, Красе, если бы ты мог вообразить Гракха с рожей разбойника, с одной стороны, и двух пиратов-патрициев, с другой, то составил бы верное представление о произведенном на меня впечатлении.

Во всех их высказываниях мне удалось подметить одну небольшую особенность, значительно меня успокоившую. Признаюсь тебе, что люблю бриттов, среди которых я провел большую часть жизни, и желаю им только добра. Приятно было поэтому постоянно слышать из уст варваров, что главной и единственной целью их прибытия является защита интересов островитян. Любое упоминание о собственной выгоде звучало вскользь и серьезно не обсуждалось. Я рискнул попросить разъяснений, как согласуется такая позиция с речью Кенны, в которой он пообещал по сто кож земли каждому из мужчин на корабле. Услышав мой вопрос, все три вождя несказанно удивились и даже обиделись на мои подозрения, затем очень убедительно объяснили, в чем я заблуждаюсь. Поскольку бритты пригласили их для охраны своих земель, разве не будет наилучшим способом для выполнения этой задачи осесть на выделенных наделах, чтобы постоянно находиться под рукой для оказания помощи? Более того, они заявили, что со временем надеются так организовать и обучить аборигенов, что те сами окажутся в состоянии постоять за себя. Ланс, с невесть откуда взявшимся красноречием, начал даже распространяться о величии и благородстве возложенной на них миссии, на что двое его собратьев принялись с жаром стучать по столу кружками с медом (кувшин этого мерзостного напитка стоял на столе) в знак одобрения и поддержки.

Еще я обратил внимание, насколько любопытны, серьезны и в то же время нетерпимы варвары в религиозных вопросах. О христианстве они ничего не ведают. Им известно, конечно, что бритты исповедуют эту веру, но о сущности ее саксы не имеют ни малейшего представления. Тем не менее, они без рассуждений приняли за аксиому, что их собственное поклонение Водену есть единственно верное и праведное, а христианская вера ложная и потому неприемлемая. "Эта мерзкая религия", "печальное заблуждение", "достойная сожаления ошибка" — вот эпитеты, которые они употребляют, когда речь заходит о христианстве. Вместо того, чтобы испытывать жалость к заблуждающимся, по их мнению, они сразу загораются праведным гневом при каждом упоминании об этой весьма щекотливой теме. Более того, они всерьез заявляют, что не пощадят ни сил, ни времени, чтобы исправить положение, то и дело хватаясь при этом за рукояти своих широких обоюдоострых мечей. Ну что ж, милый мой Красе, ты, наверное, успел уже устать от меня и моих саксов, хотя я постарался лишь кратко описать этих людей и их обычаи. С тех пор, как я начал это письмо, мне довелось побывать и на двух других прибывших кораблях. Их команды во многом схожи с экипажем первого, и не приходится сомневаться, что отличительные черты этих людей присущи всему их племени. Они храбры, выносливы и очень настойчивы во всех своих начинаниях. В то же время бритты, — несравненно более развитая в духовном отношении раса, — заметно уступают им в целеустремленности. Обладая ярким воображением и быстрым умом, они видят сразу несколько путей, тогда как саксы — только один. Они больше подвержены страстям, но и легче впадают в отчаяние. Когда я смотрел с палубы первого саксонского судна на берег, где собралась волнующаяся, взбудораженная толпа встречающих бриттов, и мысленно сравнил их с окружающими меня молчаливыми, полными решимости людьми, мне вдруг показалось смертельно опасным связываться с такими союзниками. Это ощущение угрозы было столь острым, что я не выдержал и обратился к стоящему рядом и пожирающему глазами сборище на берегу Кенне:

— А ведь эта земля будет безраздельно принадлежать вам задолго до того, как вы закончите выполнять взятые обязательства! — промолвил я с горечью.

Глаза его сверкнули.

— Очень может быть! — воскликнул он, но тут же спохватился, что сказал лишнего, и поправился:

— Но мы здесь долго не задержимся, уж будьте покойны!

*1911 г.*

**Алая звезда**

Дом Феодосиса, известного купца, который вел торговлю с восточными странами, находился в лучшей части Константинополя, неподалеку от церкви Святого Деметрия. Рядом синело море. Хозяин нередко устраивал праздники, славившиеся по всему городу своей пышностью. Говорят, сам император не раз заходил сюда и веселился вместе со всеми.

В тот вечер, о котором пойдет речь, — а было это 4 ноября 630 года от Рождества Христова — гости разошлись рано. Осталось лишь двое самых близких друзей. Как и хозяин, они занимались торговлей, и удача сопутствовала им. Все трое расположились на белокаменной веранде и мирно беседовали, потягивая вино. По одну сторону от них раскинулось Мраморное море, где вдали мерцали огоньки кораблей, а по другую, указывая на вход в Босфорский пролив, горели огни двух маяков, Почти у ног виднелась узкая полоска воды. В воздухе стоял легкий туман, и только одинокая красная звезда светила в темноте на южном небосклоне.

Ночь обещала быть прохладной. Но огонь пылал ярко, поленья потрескивали, было тепло и уютно. Трое друзей вели непринужденную беседу. Они вспоминали былое. В те дни, когда они только начинали вести торговлю, им не раз приходилось рисковать жизнью.

Хозяин заговорил о своих путешествиях в далекую Африку, в страну мавров. Много недель, день и ночь, шел караван по пустыне. Феодосис боялся сбиться с пути и напряженно следил, чтобы полоска моря была справа. Позади остались развалины Карфагена, но они все шли и шли, пока не достигли берега океана. Волны набегали на желтую кромку песка, а справа, над морем, высилась огромная скала. Там начинались Геркулесовы Столбы. Рассказчик описывал темнокожих великанов, свирепых львов и чудовищных змей.

Затем настал черед рассказывать Деметрию, суровому сицилийцу лет шестидесяти. Он поведал друзьям, как разбогател. Ему пришлось путешествовать через Дунай, в страну свирепых гуннов. Он с трудом добрался до густых лесов Германии, Там протекала река, которую местные жители называли Эльбой. Он вспоминал великанов, медлительных и неторопливых, но легко теряющих рассудок от вина, припоминал внезапные ночные ссоры и битвы; описывал деревушки, приютившиеся среди густого леса. Он рассказывал о кровавых жертвах богам, о медведях и волках, которые рыскали по лесным тропам.

Третий — Мануэль Дукас, молодой купец, торговавший золотом и страусовыми перьями, — молчал. Имя его было известно по всему Леванту. Он сидел тихо, внимательно слушая рассказы товарищей. Наконец друзья обратились к нему и попросили что-нибудь рассказать. И вот, подперев щеку рукой и устремив взгляд на красную звезду, горящую на небе, молодой человек заговорил.

— Эта звезда напомнила мне одну историю, — начал он. — Я не знаю, как зовется это светило. Конечно, старый астроном Ласкарис сказал бы, но у меня нет желания спрашивать. В это время года я всегда ищу эту звезду на небе, и она всегда светится в одном и том же месте. Но порой мне кажется, что она становится все краснее и больше.

Десять лет назад я путешествовал по Абиссинии. Мне везло, я удачно закупил товары и уже отправлялся в обратный путь. Мой караван состоял из ста тяжело навьюченных верблюдов. В тюках лежали кожа, слоновая кость, специи и многое другое. Я купил эти товары на побережье и переправил в пяти или шести лодках к заливу. Наконец мы причалили возле Савы — это место, откуда караваны пускаются в путь. Итак, я снарядил верблюдов и нанял для охраны человек сорок бродяг-арабов. Мы тронулись в путь, рассчитывая добраться до Макорабы. Это город паломников, отсюда много караванов направляются на север, в Иерусалим и в Сирию.

Дорога была долгой и трудной. Слева от нас тянулся залив. Днем от солнечного сияния он казался расплавленным золотом, а когда солнце садилось, цвет воды менялся, и она становилась алой, как кровь.

Справа от нас раскинулась безжизненная пустыня, тянувшаяся, насколько мне было известно, через всю Аравию и дальше, в Персидское царство. Много дней мы не встречали никаких признаков жизни. Кроме наших груженых верблюдов и погонщиков, одетых в лохмотья, на многие мили не было видно ни души. В пустыне песок заглушает шаги животных. Мы двигались день за днем, но казалось, что стоим на месте: ничто вокруг не менялось, и это походило на странный сон. Я часто скакал позади каравана и с изумлением рассматривал причудливые фигуры, которые внезапно возникали передо мной. Странно было думать, что это настоящие люди. И мне казалось невероятным, что сам я Мануэль Дукас и живу в Константинополе… Да, странная земля, и странные люди окружали тогда меня…

Время от времени там, далеко в море, появлялись белые треугольные паруса. Я знал, что это пираты, и радовался, что они далеко от нас, в море. Пару раз возле самой кромки воды мы видели каких-то карликов. Их трудно было даже назвать людьми, они скорее походили на обезьян: брели молча, пили из луж и ели, что подвернется под руку. Их звали рыбоеды — о них когда-то рассказывал старик Геродот.

Да, они принадлежали к самой низшей расе. Наши погонщики-арабы в ужасе шарахались от них: все знали, что если ты умрешь здесь, в пустыне, эти маленькие люди набросятся на труп, как вороны, и не оставят ни косточки. Они что-то резко кричали и махали руками, когда мы проходили мимо. Мы знали, что они могут уплыть далеко в море, если погнаться за ними. Говорят, что даже акулы брезгливо отворачивались, проплывая мимо их дурно пахнущих тел.

Так мы путешествовали в течение десяти дней, останавливаясь на ночлег возле крохотных полувысохших колодцев. Мы обычно вставали очень рано и шли допоздна. Но во время нестерпимой полуденной жары приходилось делать привал. Деревьев не было, и мы останавливались в жалкой тени барханов или пристраивались рядом с верблюдами, стараясь хоть как-то скрыться от палящего солнца. На седьмой день мы достигли места, где следовало повернуть и отправиться в глубь страны, в Макорабу. Мы уже закончили наш полуденный привал и собирались двигаться дальше. Солнце палило нещадно. Я поднял глаза и вдруг увидел нечто странное: на небольшом бугре, справа от нас, возникла мужская фигура футов сорок высотой. В руке человек сжимал копье, казалось, оно было длиной с корабельную мачту. Вы удивляетесь, друзья, — теперь представьте мои чувства! Но разум шепнул мне, что страшное создание всего лишь араб-бродяга, чья фигура казалась увеличенной во много раз благодаря горячему солнцу.

Однако моих спутников реальный призрак волновал гораздо больше. Подвывая от страха, они сбились в кучу, отчаянно жестикулируя и показывая руками на отдаленную фигуру. Я увидел, что человек этот был не один: со всех барханов виднелись головы в тюрбанах. Предводитель охранников подбежал ко мне и сказал о причине их страха. По некоторым особенностям чалмы они были уверены, что эти люди принадлежат к племени дильва — самому жестокому и бессовестному среди бедуинов. Очевидно, они устроили здесь засаду и поджидали наш караван. Я с отчаяньем подумал о своих трудах и стараниях в Абиссинии, о долгом и опасном путешествии, о всех препятствиях, которые мне пришлось преодолеть. Меня приводила в бешенство мысль, что в последний момент я потерял все — не только прибыль, которую собирался выручить, но и все свои сбережения, которые вложил в купленные товары. Но было очевидно, что грабителей слишком много и обороняться бессмысленно, дай Бог, если удастся остаться в живых. И вот я мысленно вручил свою душу Святой Елене и с отчаяньем стал следить за приближением грабителей.

Я обратился к Святой Елене и обещал ей изрядное воздаяние, если она спасет меня. Я не поскупился и пообещал пожертвовать самые толстые восковые свечи — те, что продают по четыре штуки за фунт. В этот миг до меня донесся вопль радости — это кричали мои спутники. Я вскочил на тюк, чтобы увидеть, в чем дело. Признаюсь, я тоже не смог сдержать крика радости: я увидел на горизонте большой караван. Там было, по крайней мере, сотен пять верблюдов; их сопровождала вооруженная охрана. Вероятно, они направлялись из Макорабы. Вы знаете, существует неписаный закон для всех владельцев караванов помогать друг другу, если в пустыне доведется столкнуться с грабителями. Теперь, вместе с новым караваном, мы представляли грозную силу. Грабители сразу это поняли и мгновенно исчезли: казалось, их поглотили пески. Подбежав поближе, я смог увидеть только облачко пыли, клубящееся над барханами, да вдали маячили шеи верблюдов, и слегка поблескивали копья всадников. Но вскоре и они исчезли из виду.

Но тут я понял, что вместо одной опасности меня подстерегала другая. Вначале я надеялся, что новый караван принадлежит какому-нибудь римлянину или, по крайней мере, сирийцу-христианину. Но оказалось, что им владели арабы. Разумеется, арабы-торговцы, которые живут в городах, не столь воинственны, как бедуины. Но сердце араба не знает закона и сожалений, поэтому, когда я увидел несколько сот человек, столпившихся полукругом возле наших верблюдов и жадно глазеющих на ящики с драгоценными металлами и тюки со страусовыми перьями, я стал готовиться к худшему.

Караван пришельцев возглавлял человек весьма примечательной наружности. На вид ему было около сорока. У него были благородные черты лица и густая темная борода, Глаза его пылали, в них чувствовалась огромная сила. В жизни не видывал таких глаз! В ответ на мои приветствия и изъявления благодарности он отвесил поклон и стоял в молчании, оглядывая богатство, которое неожиданно оказалось в его власти. Спутники его перешептывались, и я чувствовал, как растет напряжение.

К предводителю подошел молодой воин — казалось, он был с ним в дружеских отношениях. Юноша выразил словами желание своих товарищей.

— О, почтенный, — начал он. — Без сомнения, эти люди и их богатства ниспосланы нам свыше. Когда мы вернемся в святые места, кто из правоверных осмелится усомниться, что это перст Божий?

Но предводитель покачал головой:

— Нет, Али, так нельзя. Этот человек, я вижу, римлянин, и мы не можем обращаться с ним как с идолопоклонником.

— Но ведь он не правоверный! — воскликнул юноша, хватаясь за огромный кинжал, который болтался у пояса. — Позволь — и он расстанется не только со своими товарами, но и с жизнью, если откажется принять истинную веру.

Предводитель улыбнулся и покачал головой:

— Нет, Али, ты слишком горяч. Сейчас во всем мире не найти и трех сотен правоверных. И наши руки будут по локоть в крови, если мы станем отбирать жизнь и собственность у тех, кто не разделяет нашу веру. Запомни, юноша, что милосердие и честность — поводья и уздечка истинной веры.

— Но только для верующих, — возразил жестокий юнец.

— Нет, для всех. Это закон Аллаха. Но все же, — при этих словах лицо незнакомца потемнело, а глаза засверкали, — может настать день, когда наше милосердие иссякнет и горе тогда тем, кто не услышит нас. Тогда опустится меч Аллаха, и никому не будет пощады. Вначале меч поразит идолопоклонников. И это случится, когда весь мой народ, все мои родичи будут рассеяны по всему свету. И швырнут тогда в навозную кучу триста шестьдесят идолов. А Кааба станет домом и храмом Бога, который не будет знать соперников ни на земле, ни на небесах.

Тут предводитель умолк. Его спутники столпились вокруг; руки их крепко сжимали копья. Они не сводили горящих взоров с его лица. Их губы дрожали, ноздри раздувались от фанатического восторга — я понял, какой любовью и уважением пользуется среди них этот человек.

— Мы будем терпеливы, — продолжал он, — но однажды — через год — придет день, когда архангел Гавриил даст мне знать, что время слов миновало и наступил час меча. Да, нас мало, и мы слабы, но если на то будет Его воля, кто тогда посмеет сопротивляться нам? Ты ведь исповедуешь иудейскую веру, о, незнакомец?

— Нет, — ответил я.

— Что ж, тем лучше для тебя, — продолжал он с тем же выражением гнева на лице. — Сначала падут идолопоклонники, затем иудеи, ибо они не знают тех пророков, которых сами предсказывали. Последним настанет черед христиан, которые следовали за истинным пророком, но согрешили в том, что путали творение и Творца. Да, для каждого в свой черед настанет судный день — для идолопоклонников, для иудеев, и для христиан.

Во время этой речи оборванцы, окружавшие его, потрясали своими копьями. Они были очень серьезны. Но глянув на их лохмотья и убогое оружие, я не мог сдержать улыбки, — так нелепы казались их угрозы. Я представил себе, что будет, если они столкнутся в битве с воинами нашего императора, или со всадниками римской конницы. Но, разумеется, я держал эти мысли при себе: у меня не было ни малейшего желания стать мучеником за веру и пасть первой жертвой.

Наступил вечер. Было решено, что два каравана остановятся на ночлег вместе — никто не мог быть уверен, что грабители не вернутся. Я пригласил предводителя арабов отужинать со мной, и после долгого разговора со своими спутниками он пришел ко мне. Однако мое гостеприимство оказалось тщетным: он даже не притронулся к бутылке прекрасного вина, которую я раскупорил специально для него.

Не стал он пробовать изысканные блюда, которыми я потчевал его, а удовлетворился черствой лепешкой, финиками и водой. После трапезы мы уселись подле тлеющего костра: над нами раскинулся небесный свод. Небеса были темно-синего цвета, и на них ярко сияли звезды; такие звезды можно увидеть только в пустыне. Перед нами лежал наш лагерь. Было очень

тихо, и лишь временами доносилось чье-то глухое бормотание или резкий крик шакала.

Я сидел напротив незнакомца, и отблеск огня падал на его благородные черты, отражаясь в глубине огромных, страстных глаз. Да, странное это было бдение, и я никогда его не забуду. Во время моих странствий я разговаривал со многими мудрецами, но никто не производил на меня такого впечатления.

И все же многое из его беседы казалось мне странным и непонятным, хотя, как вам известно, я говорю по-арабски как настоящий араб, Да, это был необычный разговор. Порой незнакомец говорил как несмышленый ребенок, порой — как страстный фанатик, а иногда казался мне пророком или философом. Он рассказывал истории о демонах, чудесных видениях, о проклятиях — такими рассказами старухи вечерами развлекают детей. Но были и другие рассказы: он вещал мне с горящими глазами, как беседовал с ангелами о помыслах Создателя, о конце мира. И я смутно чувствовал, что нахожусь в обществе не простого смертного, а человека, который является посланцем свыше.

Видимо, были причины, почему он отнесся ко мне с таким доверием. Он видел во мне посредника, который потом отправится в Константинополь и в Римскую Империю. Вероятно, он надеялся, что подобно тому, как Святой Павел принес в Европу христианство, я принесу его учение в свой родной город. Увы! Каково бы ни было его учение, боюсь, апостола из меня не выйдет — я скроен из другого материала. И все же в ту долгую ночь в Аравии он от всей души стремился обратить меня в свою веру. У него была с собой священная книга, написанная, как он уверял меня, со слов ангела. Он записал эти слова на табличках из кости, и теперь они находились в сумке, притороченной к седлу одного из верблюдов. Он прочел мне некоторые главы. Но хотя заповеди были хороши, язык, которым они излагались, показался мне диким и странным. Были мгновения, когда я едва сдерживался. Жесты его были величавы и обдуманны, и в эти минуты трудно было представить, что передо мной всего лишь странник, ведущий караван верблюдов, а не один из величайших людей на земле.

— Когда Бог даст мне достаточно сил — а это будет через несколько лет, — заявил он, — я объединю всю Аравию под своими знаменами. Затем я распространю свое учение в Сирию и Египет. Когда я сделаю это, то отправлюсь в Персию, и пусть выбирают: вера или меч. Покорив Персию, нетрудно будет победить и Малую Азию, а потом я направлюсь в Константинополь.

Я закусил губу, чтобы не рассмеяться.

— И сколько же пройдет времени, пока твои победоносные войска достигнут Босфора? — осторожно осведомился я.

— Такие вещи в руках Божьих, а мы — лишь Его рабы, — ответил он. Может статься, я уйду из мира прежде, чем мне удастся закончить начатое. Но прежде чем умрут наши дети, все, о чем я говорю тебе, сбудется. Посмотри на эту звезду, — добавил он, указывая на яркую планету, горящую прямо у нас над головами. — Это символ Христа. Посмотри, как ясно и спокойно она сияет, как его учение, как вся его жизнь, А вот эта звезда, — продолжил он, протягивая руку к туманной звезде над горизонтом, — моя, и она говорит о войне, о каре, которая постигнет грешников. Но обе звезды — это звезды, и каждая делает то, что предопределено Аллахом.

Да, вот о чем я вспомнил сегодня, глядя на эту звезду. Красная, яростная, она все еще сияет на юге, и я вижу ее так же ясно, как в ту ночь, в пустыне. Наверное, там, под этой звездой, бродит по свету тот человек. А может быть, его зарезал какой-нибудь фанатик — собрат по вере, или он пал в стычке между дикими племенами. Если так, то это — конец моей истории. Но если он еще жив… Было в его глазах и во всем его облике нечто такое, что заставляет меня думать, что Магомет, сын Абдуллы, — так его звали — еще скажет миру о себе и о своей вере.

*1911 г.*

**Эпигон Джорджа Борроу**

"Такое просто-напросто невозможно: люди этого не выносят. Уж я-то знаю — пытался."

Воистину, я пытался — и мой опыт, может статься, кого-то заинтересует. Я ушел в мир Джорджа Борроу с головой, особенно увлекли меня его «Лавенгро» и "Цыганский барон", — я позаботился о том, чтобы подчинить мои мысли, речь, стиль поведения манере мастера — и вот однажды погожим летним днем я отправился вести жизнь, о которой читал. Так я оказался в Сассексе, на проселочной дороге, ведущей от железнодорожной станции к деревушке Свайнхерст.

Я шел, скрашивая прогулку тем, что перебирал в памяти всех основателей графства — начиная с Сердика, грозы морей, грабителя морестранников, и Эллы, его сына, который, по словам барда, был на наконечник копья выше любого великана в своей дружине. Я дважды упомянул об этом, беседуя с крестьянами, встретившимися мне на дороге. Один из них, тощий верзила с веснушчатым лицом, бочком проскользнул мимо меня и торопливо припустил к станции. Другой, ростом поменьше, а годами постарше, стоял, завороженно слушая, как я цитировал ему тот отрывок из саксонской хроники, что начинается фразой: "И пришел Лейа и привел сорок четыре больших корабля — и люди той земли выступили против него." Я как раз объяснял ему, что хроника эта частью написана монахами Сент-Олбани, продолжение же ее создано в монастыре Петерборо — но тут он вдруг шмыгнул в калитку и скрылся из виду.

Деревенька Свайнхерст представляет собой длинную вереницу деревянных домишек, выстроенных в раннеанглийском стиле. Один из них был чуть повыше остальных — облик его и висевшая над входом вывеска свидетельствовали, что это — деревенский кабачок, и я направил свои шаги к нему, ибо с того самого момента, как я покинул Лондон, во рту моем не было ни росинки, У входа стоял крепыш пяти футов и восьми дюймов роста, в черном плаще и сероватых панталонах — я обратился к нему в манере мастера:

— Почему корона и роза? — поинтересовался я, указывая на висевшую над нашими головами вывеску.

Он как-то странно на меня покосился. Отмечу, что его поведение в целом произвело на меня весьма странное впечатление.

— А что? — спросил он, чуть подаваясь назад.

— Это же королевская эмблема, — ответил я.

— Ну да. А чем еще может быть корона?

— А вы хоть знаете, чья она?

— Простите, пожалуйста, — пробормотал он, пытаясь пройти.

— Чья корона? — спросил я настойчивее.

— Откуда ж мне знать?

— Но ведь на ней роза! — воскликнул я. — Роза, символ Тюдоров, Первый из них, Тюдор-ап-Тюдор, спустился с Уэльских гор — и его потомки по сей день сидят на английском троне. Тюдор, — продолжал я, протискиваясь между незнакомцем и дверью трактира, хотя, казалось, он не прочь был войти первым, — принадлежал к тому же роду, что и Оуэн Глендовер, знаменитый предводитель разбойников, которого ни в коем случае не следует путать с Оуэном Гвинеддом, отцом Мэдока Морского, — о том бард сложил знаменитый енглин, который на гэллике звучит как...

Я уже собирался процитировать знаменитые строки Дафидд-ап-Гвилина, когда этот человек, смотревший на меня, покуда я говорил, пристально и как-то чудно, оттер меня плечом и вошел в трактир.

— Судя по всему, я действительно приехал в Свайнхерст, — недаром название означает "свиная роща", — намеренно громко сказал я вслед невежде. С этими словами на устах вслед за незнакомцем я вступил в трактир и обнаружил, что мой не отличающийся вежливостью собеседник уже пристроился в углу, рядом с огромным креслом. Еще четыре типа наиразличной наружности пили пиво за центральным столом, а небольшого роста человечек,

весьма подвижный, в черном лоснящемся сюртуке, судя по всему, много на своем веку повидавшем, стоял у холодного камина. Решив, что это и есть хозяин трактира, я поинтересовался, чем здесь можно пообедать.

Он усмехнулся и объявил, что вряд ли сможет ответить на мой вопрос.

— Но, приятель, разве так трудно сказать, что там у вас готово на кухне?

— Даже с этим я ничем не могу вам помочь. Однако не сомневаюсь, что трактирщик рассеет все наши недоумения, — и он позвонил в колокольчик, после чего с кухни послышался голос, и перед нами возник хозяин трактира.

— Что бы вы хотели заказать? — осведомился он.

Я подумал о наставнике и попросил принести холодный свиной окорок, пиво и чай, чтобы запить мой обед.

— Вы сказали пиво и чай? — переспросил явно удивленный трактирщик.

— Ну да.

— Двадцать пять лет я держу это заведение — и впервые слышу, чтобы у меня просили пиво и чай! — покачал он головой.

— Джентльмен шутит, — вмешался человек в лоснящемся сюртуке.

— Или, может… — многозначительно пробормотал немолодой человек в углу.

— Что — может, сэр? — раздраженно обернулся я.

— Ничего, — буркнул он, — ничего. — Было что-то странное в этом человеке — том, кому я рассказывал о Дафидд-ап-Гвилине.

— Так вы, значит, шутите, — сказал хозяин.

В ответ я спросил его, читал ли он книги моего наставника, Джорджа Борроу. Ну да, он их, конечно, не читал. Так вот, прочти он от корки до корки эти пять томов, он не обнаружил бы в них ни намека на шутку. Более того, прочти он их, он, конечно бы, знал, что достопочтенный наставник имел обыкновение запивать пиво чаем. Тут я поймал себя на мысли, что ни в сагах, ни в енглинах бардов я не встречал никаких упоминаний о чае. Посему, покуда хозяин ушел на кухню заниматься моей трапезой, я прочитал честной компании ту исландскую стащу, которая славит пиво Гуннара, длинноволосого сына Гарольда Медвежатника. Затем, так как этот язык кое-кому здесь мог быть незнаком, я прочитал собственный перевод, оканчивающийся строчкой:

Коль пиво легкое, пусть будет тяжек кубок, им налитый.

Потом я поинтересовался у присутствующих, ходят ли они в часовню или в церковь. Этот вопрос крайне их озадачил — особенно странного человека в углу, с которого я не спускал глаз. Я проник в его тайну: недаром, когда я глянул на него, он постарался спрятаться за массивными напольными часами.

— Так церковь или часовня? — повторил я свой вопрос.

— Церковь, — вымучил он из себя.

— Какая церковь? — уточнил я.

Он еще глубже уполз в свою нишу за часами.

— Сроду мне не задавали таких вопросов, — пробурчал он.

Тогда я дал ему понять, что знаю его секрет.

— Не сразу Рим строился, — процитировал я поговорку.

— Хи! Хи! — хохотнул он.

Стоило мне немного отвернуться, как он высунул голову из-за часов и покрутил пальцем у виска. То же самое сделал и человек в засаленном сюртуке, стоявший рядом с холодным

камином.

Поедая холодную свиную ногу — может ли быть лучшее кушанье — разве что баранина с каперсами? — и потягивая попеременно то чай, то пиво, я поведал присутствующим, что достопочтенный наставник прозвал это блюдо "блаженством честняги Гарри", ибо заметил, что оно в большой чести у предпринимателей из Ливерпуля. С этим рассказом на устах — да со стихом или двумя из Лопе де Вега — я покинул трактир "Роза и Корона", предварительно рассчитавшись с хозяином. Я был уже в дверях, когда он окликнул меня и спросил мое имя и адрес.

— Зачем? — удивился я.

— А вдруг с вами что случится? — пожал плечами хозяин.

— С чего бы это со мной должно что-нибудь случиться?

— Ну, знаете, как оно... — смешался трактирщик. Я так и оставил его в недоумении стоять на пороге "Розы и Короны" и, выходя, расслышал последовавший вслед за этим взрыв смеха. "Вот уж, воистину, — подумалось мне, — не в день строился Рим."

Пройдя по главной улице Свайнхерста, — я убедился, что состояла она исключительно из деревянных домишек в старинном стиле, — я выбрался на сельскую дорогу, где и продолжил свои поиски приключений, ибо, по словам наставника, дорожные приключения для тех, кто их ищет — все равно, что спелые ягоды ежевики на обочинах Англии. Перед отъездом из Лондона я успел взять несколько уроков бокса, а поэтому не без основания полагал, что у меня есть неплохой шанс, встретив какого-нибудь путника, чьи телосложение и возраст предрасполагали померяться силами, попросить его снять пальто и в доброй старой английской манере разрешить наши с ним разногласия. Я стоял у перелаза через живую изгородь, поджидая какого-нибудь прохожего, когда на меня накатил приступ дурноты, вроде тех, что мучили наставника в джунглях. Я схватился за балку, служившую перелазом — сделана она была из доброго английского дуба. Кто возьмется описать, сколь ужасны такие приступы! Я думал об этом, в то время как мои руки обвивали балку. Пиво всему виной или чай? Или хозяин трактира был прав — он и еще этот, в черном засаленном сюртуке, что среагировал на жест странного человека в углу. Но ведь наставник пил чай с пивом. Да, однако наставника тоже мучили приступы. Размышляя об этом, я держался за балку, сделанную из честного английского дуба. С полчаса меня мутило. Когда приступ прошел, я чувствовал себя вконец ослабевшим — и все не решался отпустить дубовую балку.

Я все еще стоял у перелаза, где меня скрутил приступ, когда услышал позади шаги и, обернувшись, увидел тропинку, тянувшуюся через поле вдоль дальней стороны изгороди. Навстречу мне по тропинке шла женщина, и тут же стало ясно, что она — из цыган, о которых так много писал наставник. Приглядевшись, я смог различить вдали дым костра, поднимавшийся над маленькой лощиной, — он указывал, где остановился ее табор. Женщина была среднего роста: ни высокая, ни низкая, лицо ее, покрытое загаром, усыпали веснушки. Должен признаться, что я не решился бы назвать ее красавицей, но не думаю, что кому-нибудь, кроме наставника, столь везло, чтобы встретить на английской проселочной дороге действительно красивую женщину. Какова бы ни была моя незнакомка, я должен был показать себя наилучшим образом. По счастью, я знал, как следует обращаться к женщинам в таких ситуациях: много раз я мысленно представлял себе эту смесь вежливости и доверительности, которая только и приемлема в таких случаях. Поэтому, когда незнакомка подошла к перелазу, я протянул руку и помог ей перебраться.

— Как говорил испанский поэт Кальдерой? — воскликнул я. — Не сомневаюсь, что Вы читали строки, которые по-английски звучат следующим образом:

Молю, о дева, — разреши

Сопровождать тебя в пути.

Женщина залилась румянцем, но промолчала.

— А как же цыганские напевы и цыганские чары? — продолжал я.

Она отвернулась, все так же храня молчание.

— Хоть я и не принадлежу к кочевому народу, — заметил я, — кое-что из цыганских песен я знаю, — тут я во весь голос напел куплет:

Колико, колико сауло вер

Апопли то фермер кер.

Сбрую у него возьми,

Мула у него сведи.

Женщина рассмеялась, однако так ничего и не сказала в ответ. Ее поведение навело меня на мысль, что она — из тех, кто зарабатывает на жизнь предсказаниями, — наставник писал, что цыгане называют их «каркуньи».

— Ты — каркунья? — спросил я.

Она легонько шлепнула меня по руке.

— Ну ты и бочонок с пивом, — объявила она.

Этот шлепок доставил мне удовольствие — я тут же вспомнил несравненную Беллу.

— "Ну что ж, давай, зови Верзилу Мелфорда", — произнес я, вспомнив выражение, которое, как утверждал наставник, используют цыгане для обозначения потасовки.

— Отстань ты от меня, прилипала! — выкрикнула женщина и ударила меня во второй раз.

— Ты — милейшая женщина, — объявил я. — Глядя на тебя, я вспомнил Грюнделлу, дочь Хьялмара, который украл у короля Исландии золотой кубок.

Казалось, мои слова ее рассердили.

— Выбирайте-ка слова, молодой человек, — в голосе ее звучало неподдельное возмущение.

— Но я же не имел в виду ничего плохого, Белла. Я просто сравнил тебя с той, о которой говорят, что глаза ее сияли, словно солнце на вершине айсберга.

Похоже, что после этого объяснения она сменила гнев на милость, потому что по лицу ее скользнула улыбка.

— Меня зовут не Белла, — пробормотала она наконец.

— А как же?

— Генриетта.

— Королевское имя! — воскликнул я.

— Ну-ну! — дожала плечами женщина.

— Так звали королеву, сидевшую на троне рядом с королем Карлом. Это о ней поэт Уоллер (пусть баски не слишком чтят наших поэтов, но, как бы там ни было, в Англии тоже есть стихотворцы!) сказал:

Что королевой рождена — на то Господня воля.

Мы можем это лишь признать — такая наша доля.

— Да уж! — пожала плечами женщина. — Чего бы вы хотели!

— А коль так, и я доказал вам, что вы — королева, вы, конечно, дадите мне чумер, — так называется поцелуй на цыганском наречии.

— Я вам сейчас в ухо дам, — заявила на это моя собеседница.

— Тогда давайте бороться, — предложил я. — Если вы повалите меня на землю, я расплачусь за поражение, научив вас армянскому алфавиту. Как известно, любой алфавит мира свидетельствует о том, что все наши буквы произошли от греческих, Ну а если я повалю вас, вы дадите мне чумер.

Я зашел слишком далеко, — это было видно по тому, что она вскарабкалась на перелаз, притворяясь, будто хочет бежать от меня, но тут на дороге появился фургон,

принадлежавший, как я обнаружил, свайнхерстскому булочнику. Лошадь — шоколадного цвета (я не знаток в мастях лошадей), была из породы тех, что можно встретить в Нью-Форесте, — ладоней пятнадцать в холке, мохнатая и норовистая. Поскольку я знаю о лошадях куда меньше наставника, мне больше нечего сказать о кобылке, впряженной в фургон, — разве что повторить: цвета она была шоколадного — ну да ни лошадь, ни ее масть не имеют ни малейшего отношения к моему повествованию. Могу лишь прибавить, что кобылку эту можно было принять либо за низкорослую лошадку, либо за пони-переростка: для лошади она была маловата, а для пони — чересчур высока. Как бы то ни было, о лошаденке, которая не имеет ни малейшего отношения к моему приключению, я сказал вполне достаточно, и время сказать о вознице.

То был мужчина с широким румяным лицом и каштановыми бакенбардами. Этакий крепыш с квадратными плечами. Над левой бровью у него красовалась небольшая родинка. Одет он был в вельветовую куртку — и еще я обратил внимание на массивные башмаки с металлическими подковками, что стояли на облучке фургона. Притормозив свой экипаж у перелаза, где я беседовал с девицей из табора, он спросил на городской манер, не найдется ли у меня огонька, чтобы он мог раскурить трубку. Я вытащил из кармана коробок. Мужчина обмотал вожжи вокруг облучка, натянул громадные башмаки и сошел с козел. Он был здоров, как бык, — однако весьма склонен к полноте и одышке. Я решил, что вот он — удобный случай чуток побоксировать и узнать вкус дорожных приключений, столь обычных в добрые старые времена. Мне хотелось сразиться с этим человеком, а девица из табора, стоявшая рядом со мной, она будет кричать, подсказывая, когда действовать правой, а когда — левой, или, если мне не повезет, и этот мужчина в ботинках с подковками и с родинкой над левой бровью собьет меня с ног, она поможет мне подняться.

— Как вы насчет Верзилы Мелфорда? — поинтересовался я позадиристей.

Булочник недоуменно уставился на меня и пробормотал, что по нему, так любой табачок хорош, лишь бы был.

— Когда я говорю о Верзиле Мелфорде, я вовсе не имею в виду, как вы изволили подумать, табачную смесь, — ответил я на это. — Я имею в виду искусство и науку кулачного боя, столь почитаемые нашими предками. Недаром они избирали лучших из бойцов, этих корифеев бокса, на высшие должности в государстве — вспомните великого Галли. Среди этих молодцов были люди высочайших достоинств — достаточно назвать Тома из Херефорда, больше известного как Том Вьюн, притом что фамилия его отца, насколько мне известно, была Столп. Впрочем, это все к делу не относится, суть в другом: вам предстоит со мной сразиться, — объявил я.

Широколицый булочник, казалось, был удивлен до глубины души, так что у меня возникло подозрение, а правильно ли я понял все, что писал наставник об этих дорожных потасовках. Может, кулачные бои на большой дороге — вовсе не столь обычное дело, как мне казалось?

— Сражаться? — пробормотал булочник. — Чего ради?

— Это добрый английский обычай, — объяснил я. — Мы узнаем, кто из нас чего стоит.

— Да я ж ничего против вас не имею, — пожал тот плечами.

— Я тоже, — честно признался я. — Поэтому мы будем сражаться за любовь, — именно так это формулировалось в давние времена. Гарольд Свингисон говорит, что у датчан было принято устраивать такие поединки на секирах, об этом можно прочесть во второй из приписываемых ему рунических надписей. Так что, снимайте свою куртку — и в бой! — с этими словами я стащил с себя пальто.

Лицо булочника раскраснелось еще больше.

— Да не собираюсь я с вами сражаться, — проворчал он.

— Еще как собираетесь, — усмехнулся я. — А эта молодая женщина окажет вам любезность и подержит вашу куртку.

— Совсем человек рехнулся, — покачала головой Генриетта.

— В конце концов, — объявил я, — если вы не будете сражаться за любовь, вы будете сражаться за это, — с этими словами я вытащил из кармана золотой соверен. — Ты подержишь его куртку? — обернулся я к Генриетте.

— Я бы подержала вот эту золотую штуковину, — кивнула она на монетку, которую я все еще сжимал в руке.

— Ну уж нет, — вскинулся булочник и, выхватив у меня соверен, отправил его в карман своих плисовых штанов. — Что я теперь должен делать, чтоб отработать вам деньги?

— Сражаться.

— Как это? — спросил он.

— Подберите руки, ну же, согните их в локтях, — прикрикнул я на него.

Он согнул руки и продолжал стоять, глядя на меня баран бараном. У него явно не было ни малейшего представления, что же делать дальше. Тут мне пришло в голову, что, может быть, если его разозлить, дело пойдет лучше. Резким движением я сбил с его головы шляпу — черный такой котелок, вроде полицейского шлема.

— Эй, ты чего?! — воскликнул булочник.

— Это чтоб вы разозлились, — объяснил я.

— Да я и без того зол, — буркнул он.

— Ну что ж, сейчас я подниму вашу шляпу, и мы сразимся.

Я наклонился, чтобы поднять шляпу, которая прикатилась прямо мне под ноги, — я уже почти держал ее в руках, как вдруг на меня обрушился столь мощный удар под дых, что я не мог ни встать, ни сесть. Удар, полученный мной, когда я наклонялся за шляпой, был нанесен не кулаком, но ногой, обутой в подкованный сталью ботинок, один из тех, что я видел стоявшими на облучке. Не в силах распрямиться или сесть, я прислонился к дубовой балке перелаза и только громко постанывал от боли — удар был нешуточный. Далее мучения во время припадка не могли сравниться с болью, которую испытываешь, когда тебе угодили подкованным ботинком под ребра. Когда я наконец смог выпрямиться, я обнаружил, что краснолицый мужлан преспокойно укатил на своей тележке — ее нигде не было видно. Девица из табора стояла с другой стороны перелаза, а по полю, с той стороны, где в лощине жгли костер, бежал какой-то оборванец в лохмотьях.

— Почему ты не предупредила меня, Генриетта? — спросил я.

— Да не успела я, — рассердилась она. — А вы — вы-то почему такой лопух, что повернулись к нему спиной?

Оборванец наконец добежал до того места, где стояли мы с Генриеттой, увлеченные беседой. Не буду пытаться дословно передать его речь — я заметил, что наставник, вместо того, чтобы "густо прописывать" диалект, предпочитает время от времени вкраплять в речь своих героев словечки, характеризующие их манеру говорить. Ограничусь лишь тем, что замечу: человек из табора был столь же прям и нелицемерен, как англосаксы, которые, — это совершенно недвусмысленно отмечено у достопочтенного Беды, — не стесняясь, называли своих предводителей Хенгист и Хорса — одно из этих слов изначально значит жеребец, а другое — кобыла.

— За что это он вас? — спросил меня человек из табора. Одет он был в невообразимо поношенное тряпье. Крепкого сложения, лицо вытянутое, загорелое. В руке оборванец сжимал увесистую дубовую палку. Голос у него был хриплый и грубый, как у всех, кто живет на открытом воздухе.

— Этот тип вас ударил, — повторил он. — За что он вас пнул?

— Он сам напросился, — буркнула Генриетта.

— Напросился? Как напросился? — не понял человек из табора.

— Так. Сам просил, чтобы тот его ударил. Дал ему за это монету.

Оборванец, казалось, был в недоумении.

— Послушайте, господин, — пробормотал он. — Коль вы собираете пинки так я могу постараться для вас за полцены.

— Он застал меня врасплох, — объяснил я.

— А что вы еще хотели от этого типа — как-никак, вы сбили с него шляпу. — усмехнулась девица.

К этому моменту я наконец смог выпрямиться, используя дубовую балку перелаза как подспорье. Процитировав несколько строк китайского поэта Ло-тун-ана, говорившего, что сколь ни силен был удар, всегда можно представить удар того хуже, я огляделся в поисках пальто — однако его нигде не было видно.

— Генриетта, — спросил я, — что ты сделала с моим пальто?

— Эй, господин, полегче насчет Генриетты, слышите, — вспылил вдруг оборванец из табора. — Эта женщина — моя жена. Кто дал вам право звать ее Генриеттой?!

Я поспешил уверить ревнивца, что в мыслях не имел ничего непочтительного или оскорбительного для его супруги.

— Я-то полагал, будто она — всего лишь девица — из тех, что на все горазды, — сказал я, — а обычаи кочевого народа всегда были для меня священны.

— Начисто рехнулся, — пробормотала Генриетта.

— Как-нибудь я бы мог прийти в ваш табор в лощине и прочесть вам книгу наставника, посвященную вашему кочевому народу.

— Какому еще кочевому народу? — проворчал мужчина.

Я. Кочевым народом называют цыган.

Мужчина. Мы-то не цыгане.

Я. А кто же вы тогда?

Мужчина, Сезонные рабочие.

Я(Генриетте). Как же тогда ты поняла все, что я говорил тебе про цыган?

Генриетта. Ничегошеньки я не поняла.

Я еще раз спросил про свое пальто, и тут выяснилось, что прежде чем вызвать на поединок краснорожего булочника с родинкой над левой бровью, я взял да и повесил пальто на облучок фургона. Пожав плечами, я процитировал стих Феридеддин-Атара, где говорится, что важней сохранить свою шкуру, чем свою одежду, и, поклонившись на прощанье человеку из лощины и его жене, тронулся обратно по направлению к старинной деревушке Свайнхерст, надеясь, что там мне посчастливится купить какое-нибудь поношенное пальто, — тогда я мог бы отправиться на станцию и сесть на первый же поезд, идущий в Лондон. Не без удивления я обратил внимание на то, что по дороге на станцию за мной, в некотором отдалении, следовала толпа местных жителей. Во главе ее я разглядел человека в лоснящемся сюртуке и того чудика, что норовил укрыться от меня за напольными часами в харчевне. Пару раз я поворачивал обратно и шел им навстречу, в надежде разговорить их и получить хоть какие-то объяснения происходящего, однако каждый раз при моем приближении толпа рассыпалась и люди поспешно поворачивались спиной, делая вид, что спешат по своим делам. Только деревенский констебль решился подойти ко мне, и мы вместе с ним дошли до станции. По дороге я рассказывал ему о Яноше Хуньяди, известном также как Корвин, то есть — подобный ворону, и о том, что произошло во время войны между ним и султаном Магометом II, взявшем Константинополь, до введения христианства больше известный как Византия. Так мы с констеблем дошли до самой станции, я сел в купе, достал из кармана бумагу и стал записывать все, случившееся со мной в этот день: я считал своим долгом засвидетельствовать, сколь нелегко в наши дни следовать примеру наставника. Покуда поезд стоял, я слышал, как констебль беседует с начальником станции — статным, в меру полным человеком с пунцовым галстуком на шее. Констебль рассказывал ему историю моих приключений в старинной английской деревушке Свайнхерст.

— И ведь подумать только — он джентльмен, — говорил констебль, — живет, поди, в большом доме в самом центре Лондона.

— Подозреваю, что это очень большой дом. Конечно, если власти еще заботятся о подданных Ее Величества, — и с этими словами начальник станции взмахнул своим флажком, и поезд

тронулся.

*1918 г.*

**Падение лорда Бэрримора**

Вряд ли найдется летописец дней минувших, который не поведал бы потомкам о долгой и яростной борьбе за титул «короля» Сент-Джеймса между двумя знаменитыми столичными фатами, сэром Чарльзом Треджеллисом и лордом Бэрримором, — борьбе, разделившей фешенебельный Лондон на два враждующих лагеря. Факт неожиданного ухода со сцены благородного пэра (после чего чуть менее аристократичный его соперник продолжал властвовать в одиночестве) также был историками засвидетельствован. Но только сейчас вы сможете узнать наконец об истинной и весьма примечательной причине внезапного заката этой яркой звезды.

Однажды утром (происходило все это, когда легендарное соперничество было в самом разгаре) сэр Чарльз Треджеллис занимался своим непростым туалетом, а слуга Амброуз помогал хозяину достичь той степени совершенства, которая давно уже обеспечила ему репутацию самого выдающегося франта Лондона.

Внезапно, не довершив coup d'archet и оставив великолепную галстучную конструкцию незаконченной, сэр Чарльз замер и прислушался. На его широком миловидном лице, отмеченном здоровым румянцем, отразились изумление и негодование одновременно. Лязгающе-отрывистая дробь ударов дверного молоточка внизу окончательно заглушила многоголосый гул Джермин-стрит.

— Начинаю подозревать, что источник этого шума находится где-то вблизи нашего парадного, — проговорил сэр Чарльз в манере человека, привыкшего размышлять вслух. — С некоторыми паузами продолжается это уже минут пять. А ведь Перкинсу даны были соответствующие указания.

Повинуясь жесту хозяина, Амброуз вышел на балкон и свесил вниз свою почтенную голову.

— Ты очень обяжешь меня, приятель, если соизволишь открыть дверь, донесся с улицы медленный, но отчетливый голос.

— Кто это? Кто это такой? — возмущенно воскликнул сэр Чарльз, и рука его замерла локтем вверх.

Амброуз вернулся, выразив на смуглом лице изумление — в той пропорции, какова позволительна была при его положении.

— Это юный джентльмен, сэр Чарльз.

— Юный джентльмен? Но все в Лондоне знают, что я не показываюсь до полудня. Тебе знаком этот человек? Ты видел его раньше?

— Нет, сэр, но он весьма напоминает мне того, чье имя я бы, пожалуй, решился произнести.

— Кого же?

— При всем уважении, сэр Чарльз… Был момент, когда мне показалось, будто вы сами стоите внизу. Молодой человек пониже ростом и помоложе, но голос, лицо, осанка…

— Это, должно быть, юнец Верекер, несносный отпрыск моего братца, пробормотал сэр Чарльз, возобновляя свой туалет. — Я слышал, кое в чем он действительно на меня похож. Верекер написал мне, что приезжает из Оксфорда, а я ответил, что не приму его. Однако, я вижу, он рискнул проявить настойчивость. Этому парню требуется преподать урок! Амброуз, вызови Перкинса.

На пороге комнаты возник рослый дворецкий; лицо его выражало крайнее возмущение.

— Перкинс, я более не намерен терпеть этот шум за дверьми.

— Позвольте, сэр, но юный джентльмен уходить не желает.

— Не желает? Но твоя обязанность и состоит в том, чтобы заставить его уйти. Разве ты не получал указаний? Ты сказал ему, что до полудня видеть меня не позволяется?

— Сказал, сэр. Он вознамерился, было, оттолкнуть меня и ворваться в дом, поэтому я захлопнул дверь прямо у него перед носом.

— Правильно сделал, Перкинс.

— Но сейчас, сэр, он создает такой шум, что все жильцы высунулись из окон. Кроме того, на улице, сэр, начинает собираться толпа.

Снизу донеслись оглушительный бой молоточка (с каждым ударом своим звучавшего все настойчивее), взрыв хохота и ободряющие реплики зрителей. Лицо сэра Чарльза гневно вспыхнуло. Непочтительности этой пора было положить конец.

— Перкинс, возьми мою зачехленную янтарную трость в углу и распорядись ею по собственному усмотрению. Пара ударов, думаю, вправит мозги юному негодяю.

Громила Перкинс улыбнулся и вышел. Слышно было, как отворилась дверь; стук прекратился. Через несколько секунд кто-то оглушительно взвыл, и послышались удары, словно о выбиваемый ковер. Некоторое время сэр Чарльз внимал этим звукам вполне благосклонно; затем улыбка сползла с его добродушного лица.

— Перкинсу бы не переусердствовать, — пробормотал он. — Нельзя же оставить парня калекой, пусть даже он того и заслуживает. Амброуз, беги на балкон и зови Перкинса обратно. Это перешло уже все границы.

Не успел слуга сдвинуться с места, как на лестнице послышался быстрый топот и в дверях возник миловидный юноша, разодетый по последней моде. Осанка, черты лица, но более всего лукавые пляшущие искорки во взгляде больших голубых глаз явно выдавали в нем знаменитую кровь Треджеллисов. Таким был и сэр Чарльз, когда двадцать лет назад, благодаря исключительно дерзости и силе духа, за один сезон занял место на лондонском Олимпе, откуда не сумел сбросить его сам Бруммель. Бросив веселый взгляд на искаженное гневом лицо дядюшки, юноша залихватски протянул ему остатки янтарной трости.

— Опасаюсь, сэр, — заговорил он, — что наставляя вашего слугу на путь истинный, я имел несчастье нанести ущерб тому, что несомненно являлось вашей собственностью. Мне жаль, что это произошло.

Сэр Чарльз ошеломленно воззрился на дерзкого пришельца, а тот, в свою очередь, смешно спародировал манеру родственника ответным взглядом. Как успел уже заметить Амброуз с балкона, оба казались точными копиями друг друга; разве что Треджеллис-младший был чуточку ниже, тоньше и непоседливей.

— Итак, вы — мой племянник, Верекер Треджеллис? — спросил сэр Чарльз.

— К вашим услугам, сэр.

— Я получил о вас из Оксфорда дурные известия.

— Новости оттуда, сэр, насколько я понимаю, идут действительно нехорошие.

— Хуже некуда.

— Вот и я был проинформирован в том же духе.

— Зачем вы явились сюда?

— Чтобы повидать своего знаменитого дядюшку.

— Ради этого вы учинили скандал на улице, ворвались к нему в дом и избили его дворецкого?

— Именно так, сэр.

— Вы получили мое письмо?

— Да, сэр.

— Из коего явствовало, что я не приму вас?

— Да, сэр.

— С такой наглостью я, кажется, встречаюсь впервые.

Вместо ответа молодой человек улыбнулся и удовлетворенно потер ладони.

— Дерзость оправдана лишь в том случае, если она подкреплена остроумием, — сухо продолжал сэр Чарльз. — В противном случае она превращается в обыкновенное хамство неотесанного простолюдина. Возможно, став с возрастом чуть умнее, вы научитесь понимать эту разницу.

— Вы абсолютно правы, сэр, — проникновенно молвил молодой человек. Утонченная дерзость — жанр изящных искусств, и лишь в общении с признанным ее виртуозом (тут он отвесил дяде почтительный поклон) в этом деле можно достичь совершенства.

После утреннего шоколада сэр Чарльз, как известно, в течение часа пребывал в крайне раздраженном состоянии духа. Теперь он позволил себе проявить эту слабость.

— Не могу поздравить брата с тем, что он обзавелся удачным наследником. Я надеялся увидеть нечто, чуть более достойное наших традиций.

— Может быть, если вы узнаете меня чуть получше, сэр…

— Не думаю, что у меня возникнет желание продлить столь неприятное знакомство. Вынужден, сэр, попросить вас завершить свой визит — коим, разумеется, вам и не стоило себя утруждать.

Молодой человек ответил приятной улыбкой, но не сделал даже и попытки уйти.

— Могу я задать вам один вопрос, сэр? — спросил он беззаботно. — Не помните ли вы, случайно, господина Мунро, ректора нашего колледжа?

— Нет, сэр, не помню, — резко ответил дядя.

— Ну, конечно же, вы не стали бы утомлять свою память до таких пределов. А он, представьте себе, все еще вас помнит. В ходе нашей вчерашней беседы он немало польстил моему самолюбию, заметив, что я напоминаю ему вас — прежде всего своим, как он изволил выразиться, уникальным сочетанием легкомыслия и упрямства. Первым из этих достоинств я, кажется, произвел на вас должное впечатление. Остается лишь продемонстрировать второе.

По-прежнему сияя добродушной улыбкой, он уселся в кресло, стоявшее у двери, и скрестил на груди руки.

— Ах, значит, вы не уйдете? — мрачно поинтересовался сэр Чарльз.

— Нет, сэр, останусь.

— Амброуз, спустись и приведи пару носильщиков.

— Послушайтесь моего совета, сэр, не делайте этого. Мне придется причинить им боль.

— В таком случае я выставлю вас собственноручно.

— Вот это — пожалуйста. Оказать физическое сопротивление своему дяде я бы никогда не осмелился. Но лишь действительно спустив меня с лестницы собственными руками, вы сумеете избежать необходимости уделить мне все-таки полчаса своего времени.

Сэр Чарльз не смог сдержать улыбки. Слишком живо поведение юноши напомнило ему о собственной бурной юности. Ничто в те годы не могло порадовать его больше, чем успешное сопротивление слугам и немедленное подчинение их своей воле. Он повернулся к зеркалу и жестом отправил Амброуза заниматься своими делами.

— Придется мне попросить вас подождать, пока я не закончу свой туалет, — сказал он, — Посмотрим потом, чем сумеете вы оправдать это свое вторжение.

Едва только лакей покинул комнату, сэр Чарльз вновь обратился к своему злосчастному племяннику, который наблюдал за манипуляциями прославленного денди с благоговением ученика, присутствующего при свершении величайшего таинства.

— Итак, говорите сэр, и говорите по делу, ибо, уверяю вас, у меня масса других забот. Принц уже ожидает меня в Карльтон-Хаусе. Постарайтесь быть кратким, насколько это возможно. Что вам нужно?

— Тысячу фунтов.

— Да ну! Всего-то? — в голосе сэра Чарльза вновь прозвучали желчные нотки.

— Да, сэр. Впрочем, еще я бы хотел быть представленным мистеру Бринсли Шеридану, который, насколько мне известно, является вашим другом.

— Почему именно ему?

— Потому что, как мне рассказали, он — главный в театре Друри-Лэйн, мне же хочется стать актером. Друзья утверждают, что у меня неплохой актерский талант.

— А знаете, я достаточно ясно представляю вас в "Charles Surface" — в любой роли, требующей дерзости и бахвальства, — причем, чем меньше вы будете там актерствовать, тем лучше. Однако нелепо было бы даже предположить, будто я стану потворствовать вам в карьере такого рода. Как бы я объяснил это вашему отцу? Сейчас же возвращайтесь в Оксфорд и приступайте к занятиям.

— Это невозможно!

— Позвольте узнать, сэр, в чем загвоздка?

— Свою вчерашнюю беседу со мной (о которой, кажется, я упомянул) ректор завершил известием о том, что руководство университета более не в силах терпеть моего там присутствия.

— Вы исключены?

— Да, сэр.

— Очевидно, за целый ряд безобразных выходок.

— Ну, за… что-то в этом роде, сэр.

И вновь сэр Чарльз, сам того не желая, смягчился. Да и мог ли он долго оставаться суровым с этим смазливым шалопаем? Абсолютная прямота его обезоруживала.

— Зачем вам столь внушительная сумма? — продолжал дядя, чуть более благосклонно.

— Чтобы перед отъездом из университета рассчитаться с долгами, сэр.

— Ваш отец — человек небогатый.

— Да, сэр. Поэтому я и не смог обратиться с этой просьбой к нему.

— И явились ко мне, человеку совершенно вам незнакомому?

— Что вы, сэр — вы же мой дядя! Больше, чем дядя: вы, если позволите мне так выразиться, мой идеал, мой кумир!

— Вы льстите, мой дорогой Верекер, и очень ошибаетесь, если полагаете, будто сможете выудить из меня тем самым тысячу фунтов. Денег я вам не дам.

— Разумеется, сэр, если вы не можете…

— Я не сказал: "не могу". Я сказал: "не дам".

— Думаю, если можете, то все же дадите.

Сэр Чарльз улыбнулся и кружевным платочком хлопнул по рукаву.

— А знаете, вы меня весьма забавляете. Прошу вас, продолжайте. Итак, что заставляет вас думать, будто я дам вам столько денег?

— Мне кажется, я смог бы оказать вам услугу, которая будет стоить тысячи фунтов.

Сэр Чарльз изумленно поднял брови.

— Неужели шантаж?

Верекер Треджеллис вспыхнул.

— Сэр, я удивлен. — Голос юноши прозвучал мягко, но твердо. — Зная, что за кровь течет в

моих жилах, — как могли вы с моей стороны заподозрить намек на нечто подобное?

— Приятно узнать, что и для вас существуют пределы возможного. Признаться, заподозрить существование таковых по вашему поведению до сих пор было очень непросто. Итак, вы утверждаете, что сможете оказать мне услугу настолько ценную, что я действительно выплачу вам за нее тысячу фунтов?

— Именно так, сэр.

— Что это за услуга, позвольте спросить?

— Я сделаю лорда Бэрримора посмешищем в глазах всего города.

Сэр Чарльз невольно вздрогнул; на лице его отразилось изумление. Что за дьявольский инстинкт помог этому недоучившемуся студенту нащупать единственную щель в его неуязвимой броне? Где-то в глубине души (но разве мог кто-нибудь знать об этом?) сэр Чарльз готов был отдать не одну тысячу фунтов человеку, который смог бы выставить на посмешище его опаснейшего соперника за первенство в светской иерархии фешенебельного Лондона.

— Ради осуществления этого своего чудесного замысла вы и явились сюда из Оксфорда?

— Нет, сэр. Но прошлой ночью я имел с ним не самую приятную встречу и решил, что должен его проучить. Дело в том, сэр, что прошлый вечер я провел в Уоксхоллском Саду.

— Мне об этом следовало догадаться, — заметил дядя.

— Лорд Бэрримор тоже был там. Его сопровождал некто в костюме священника. В действительности же, как мне объяснили, компаньон его — не кто иной, как Жестянщик Хупер, и он избивает всякого, кто осмелится выступить против хозяина. Так они и прошли вдвоем по центральной аллее, оскорбляя женщин и запугивая мужчин; меня же — попросту отпихнули. Я был задет, сэр, настолько, что едва не разрешил конфликт прямо на месте.

— Вы поступили благоразумно, что сдержались. Хупер — боксер титулованный, он бы вас сильно отколошматил.

— Может быть. А может быть, и нет.

— Ах, так значит, к числу ваших неоспоримых достоинств относится еще и умение драться на кулаках?

Молодой человек добродушно расхохотался.

— Единственным профессором моей alrna mater, когда-либо удостаивавшим меня похвалы, сэр, был Уильям Болл. Он более известен как "Оксфордский Звереныш". Думаю, не покажусь очень нескромным, если предположу, что с десяток раундов против этого Хупера я бы продержался. Нет, прошлым вечером я молча проглотил обиду. Поскольку, как мне рассказали, подобные сцены повторяются там постоянно, времени для расплаты достаточно.

— Могу я поинтересоваться, как вы собираетесь действовать?

— Об этом я предпочел бы пока умолчать. Но цель моя, повторяю, сделать лорда Бэрримора посмешищем в глазах всего Лондона.

Сэр Чарльз на минуту задумался.

— Скажите, сэр, а почему вы решили, что мне будет приятно, если лорд Бэрримор подвергнется осмеянию?

— Мы в провинции неплохо осведомлены о происходящем в Лондоне. О вашей неприязни к этому человеку пишут все колонки светских слухов и сплетен. Город в своих симпатиях разделен на две равные части. Трудно поверить, что вы очень расстроитесь, если лорда Бэрримора внезапно постигнет публичный конфуз.

— Экий вы резонер, — улыбнулся сэр Чарльз, — Хорошо, допустим на секунду, что вы правы. Могу ли я получить хотя бы намек на то, какие средства будут использованы для достижения этой, не скрою, коренной цели?

— Могу сказать только одно, сэр. Есть немало женщин, по отношению к которым этот тип поступил самым неподобающим образом. Знают об этом все. Если одной из таких

оскорбленных дамочек удастся публично предъявить лорду Бэрримору свои претензии и проявить при этом определенную настойчивость, его светлость может оказаться в более чем незавидном положении.

— И вы знакомы с такой дамочкой?

— Думаю, да, сэр.

— Ну что же, в таком случае, дорогой Верекер, те вижу причин становиться между лордом Бэрримором и его разгневанной пассией. Вот только будет ли результат оценен тысячью фунтов, обещать не могу.

— Судить об этом вам, сэр.

— И я буду строгим судьей, племянник.

— Прекрасно, сэр. На иной ответ я и не рассчитывал. Если все пойдет по плану, его светлость как минимум год не покажется в Сент-Джеймсе. Могу я снабдить вас инструкциями прямо сейчас?

— Инструкциями?! Что вы хотите этим сказать? Я не желаю иметь ко всему этому ни малейшего отношения.

— Но вы — судья, сэр, а значит, должны будете там присутствовать.

— Но никакого участия!

— Никакого, сэр. Я прошу вас быть всего лишь свидетелем.

— Ну хорошо, и какими же инструкциями вы намерены меня снабдить?

— Сегодня вечером, дядя, ровно в девять часов вы прибудете в Сад, пройдете по центральной аллее до статуи Афродиты и сядете на одну из скамеечек, откуда и станете наблюдать за происходящим.

— Прекрасно. Так я и сделаю. Мне начинает казаться, племянник, что род Треджеллисов еще не растерял всех качеств, какие принесли ему в свое время такую известность.

В тот самый миг, когда часы пробили девять, сэр Чарльз, бросив поводья вознице, сошел по ступенькам своего высокого желтого фаэтона, который развернулся затем, чтобы занять свое место в строю фешенебельных карет, дожидавшихся хозяев.

Входя в ворота Сада, в те дни служившего настоящим центром лондонского распутства, сэр Чарльз поднял воротник жокейской куртки и натянул на глаза шляпу: оказаться участником происшествия, обещавшего перерасти в крупный публичный скандал, ему совсем не хотелось.

Все эти меры предосторожности были напрасны: что-то в походке, а может быть, в его осанке заставляло прохожих одного за другим останавливаться, приветственно поднимая руку.

Как бы то ни было, сэр Чарльз добрался до статуи Афродиты в самом центре Уоксхоллского Сада, расположился на одной из деревянных скамеечек и с веселым любопытством стал ждать очередного акта этой комедии. Отсюда виден был и водоворот толпы, танцующей в многоцветье развешанных на деревьях фонарей под звуки оркестра пехотных гвардейцев.

Затем музыка прекратилась. Кадрили закончились. По центральной аллее, у обочины которой сидел сэр Чарльз, устремилась жизнерадостная людская волна: яркое созвездие столичных щеголей (буйволовая кожа, плюмажи, галстуки, голубые мундиры — все перемешалось в этом море) под ручку с девушками в шляпках и прямых юбках с высокими талиями.

Это была весьма сомнительная компания. Мужчины, шумные и разгоряченные, явились на танцы в большинстве своем прямиком с кутежей. Женщины также вели себя крикливо и вызывающе.

Время от времени в толпе возникала сутолока, и под аккомпанемент девичьего визга и добродушного мужского хохота какая-нибудь группка распаленных юнцов вырывалась вперед, рассекая движущийся поток. В этой толпе чопорности или застенчивости не было и следа: тут царил дух добродушного веселья и позволялись самые фривольные выходки. Однако даже это царство богемы имело свои понятия о пределах допустимого.

Гневный ропот сопровождал двух забияк, проталкивавшихся сквозь толпу. Впрочем, действительно вызывающе держался лишь первый из них: второй всего лишь обеспечивал ему полную безнаказанность. Возглавлял эту парочку долговязый щегольски одетый мужчина с заостренным, словно топор, злобным и высокомерным лицом, явно разгоряченным вином. Он грубо расталкивал толпу, с мерзкой улыбочкой вглядываясь в женские лица, а заметив брешь в мужском эскорте, вытягивал руку, чтобы погладить руку или шею, разражаясь оглушительным хохотом, когда девушка от него отшатывалась.

По пятам за ним следовал телохранитель: то ли из наглого бахвальства, то ли желая продемонстрировать свое небрежение предрассудками, хозяин вырядил его сельским священником. Субъект этот, словно уродливый служака-бульдог, сдвинув брови, неуклюже продвигался за патроном, распугивая окружающих одним уже своим тяжелым взглядом. Из-под деревенской рясы торчали узловатые руки, а огромная отвисшая челюсть медленно поворачивалась из стороны в сторону. Внимательный наблюдатель уже сейчас заметил бы в лице его некоторую расслабленность отяжелевших черт — первые симптомы того физического недуга, от которого через несколько лет эта человеческая развалина упадет на обочине лондонского тротуара, не в силах от слабости произнести даже собственное имя. Но сегодня зловещая личина ужасного и непобедимого короля ринга по-прежнему маячила за спиной скандально знаменитого хозяина, и, завидев ее, оскорбленный прохожий невольно опускал трость и сдерживал восклицание, готовое сорваться с губ.

— Хупер! Берегитесь, это забияка Хупер! — шептались по сторонам, предупреждая очередную жертву о том, что во избежание худшего благоразумнее всего проглотить обиду. Не одного франта уже увезли из Уоксхолла с красочными следами "ручной работы" Жестянщика на лице.

Двигаясь вызывающе медленно, боксер с патроном добрались наконец до того места, где центральная аллея переходила в ярко освещенную круглую площадку с рядом скамеек, на одной из которых сидел сэр Чарльз Треджеллис. Внезапно с лавочки напротив поднялась унизанная колечками старая женщина, лицо которой было скрыто густой вуалью, и преградила путь шествовавшему вразвалочку аристократу. Голос ее зазвучал столь пронзительно-ясно, что все это вавилонское столпотворение тут же притихло, пытаясь уловить каждое слово.

— Возьмите ее в жены, ваша светлость! Умоляю вас, женитесь на ней! Ну конечно же, вы женитесь на моей бедной Амелии! — запричитала старуха.

Лорд Бэрримор в ужасе отшатнулся. Вокруг него образовалась толпа: каждый норовил заглянуть через плечо стоявшего впереди соседа. Лорд Бэрримор попытался, было, двинуться вперед, но старая женщина остановила его, упершись ладонями в кружевную манжетку.

— Ну конечно, вы не бросите ее! Вот добрый священник идет за вами — у него испросите совета! — взвыла старуха. — Будьте же человеком слова, женитесь на моей девочке!

С этими словами женщина вытолкнула вперед несколько неуклюжую молодую особу, которая при этом бурно всхлипывала и промокала глаза платком.

— Порази чума ваши головы! — взревел в ярости его светлость. — Кто эта девчонка? Клянусь, я обеих вас вижу впервые в жизни!

— Это же моя племянница Амелия! — вскричала пожилая леди. — Ваша любящая Амелия! О, ваша светлость, не хотите же вы сказать, что совсем позабыли свою преданную Амелию из Вудбайн-Коттедж, что в Лихфилде?

— В жизни своей не бывал ни в каком Лихфилде! — вскричал пэр. — Обе вы — мошенницы, заслуживающие хорошей порки на задках телеги!

— Ах, злодей! Амелия! — Вопль старой леди разнесся по всему парку. Постарайся же смягчить это жестокое сердце! Мольбами заставь его признать в тебе честную девушку!

Коренастая юная особа, зашатавшись, повалилась вперед на лорда Бэрримора и заключила его в медвежьи объятия. Тот хотел, было, поднять трость, но руки его оказались прижаты к бокам.

— Хупер! Хупер! — завопил взбешенный пэр, отчаянно изгибая шею в надежде уклониться от девушки, которая, судя по всему, вознамерилась расцеловать его. Боксер бросился вперед, но оказался в объятиях старой леди.

— Прочь с дороги, мэм! Кому сказал, прочь с дороги! — вскричал он и яростно отпихнул ее в сторону.

— Ах, грубиян! — вскричала она и вновь одним прыжком преградила ему путь. — Он толкнул меня! Люди добрые, вы видели, он толкнул меня! Священник, а до чего невоспитанный! Так вы отнеслись к женщине! Может быть, вы сделаете это снова? Так я дам вам за это пощечину — и еще, и еще!

Каждое свое восклицание сопровождая оплеухой, старушка несколько раз прошлась по щекам чемпиона открытой ладонью.

Толпа загудела от удивления и восторга.

— Хупер! Хупер! — кричал лорд Бэрримор, барахтаясь в сжимающихся объятиях неуклюжей, но весьма любвеобильной Амелии.

Боксер вновь бросился вперед на помощь патрону, и опять перед ним возникла старая женщина: вскинув голову и выбросив вперед левую руку, она приняла вдруг стойку опытного боксера.

Наконец черствое сердце боксера не выдержало. Что же, пусть женщина, но она осмелилась встать на пути самого Жестянщика! Он покажет толпе, что ждет каждого, кто осмелится последовать ее примеру. Она ударила его, а значит, должна получить по заслугам. Поднявший руку на Хупера безнаказанным не уходит.

Выругавшись, он нанес удар правой. Шляпка вдруг ловко нырнула и последовал молниеносный ответ: острые, как бритва, костяшки рассекли боксеру кожу под глазом.

Подбадриваемая восторженными воплями многочисленной толпы, старушка принялась пританцовывать вокруг лжесвященника, ловко уклоняясь от его тяжеловесных ударов и отвечая более чем успешными контрвыпадами.

В какой-то момент, поскользнувшись, она плюхнулась на юбку, но тут же вскочила и завопила:

— Ах, вульгарный мужлан! И у тебя рука поднялась на слабую женщину? Ну, так получай за это. Вот тебе, грубиян неотесанный!

Забияка Хупер впервые в жизни струсил. Странное существо, с которым ему пришлось вступить в схватку, было неуловимо, как тень, но наносило при этом удары столь точные, что кровь капля по капле потекла с его подбородка. С изумленной физиономией Хупер невольно отпрянул от странной соперницы, и… В ту же секунду звезда его могущества стремительно закатилась. Только быстрый успех мог бы его спасти. Замешательство оказалось фатальным. Потому что во всей этой толпе не было, наверное, человека, который не затаил бы в душе обиду на хозяина и его подручного. Каждый ждал лишь удобного момента для мести.

Человеческое кольцо с яростным ревом сомкнулось. Вихрь обезумевших от ярости лиц закружил вокруг тонкого раскрасневшегося лица лорда Бэрримора и бульдожьих челюстей Хупера. Еще секунду спустя оба оказались на земле: десяток тростей тут же взметнулись в воздух и опустились вниз.

— Дайте подняться! Вы убьете меня! Ради Бога, дайте подняться! взмолился надтреснутый голос.

Хупер, оправдывая сравнение с бульдогом, сражался молча, пока наконец не лишился чувств. Избитые и помятые, они покинули Сад: никому из их прежних жертв не приходилось так худо. Но куда больнее ссадин жалила лорда Бэрримора ужасная мысль о том, как теперь в каждом клубе, в каждой гостиной Лондона всю неделю будут смеяться над историей об Амелии и ее тетушке.

Некоторое время сэр Чарльз, пошатываясь со смеху, стоял у скамейки, с которой ему было прекрасно видно происходящее. Пробравшись наконец сквозь толпу к своему желтому фаэтону, он не очень-то удивился, обнаружив на заднем сиденье двух развеселых дамочек, обменивавшихся с конюхами репликами не самого изящного свойства.

— Эй вы, юные сорванцы! — бросил дядя через плечо, подбирая поводья.

Дамочки оживленно захихикали.

— Дядя Чарльз! — вскричала та, что выглядела постарше. — Позвольте представить вам

мистера Джека Джарвиса из Брэйсноус-Колледжа. А теперь, я думаю, вам стоит отвезти нас куда-нибудь поужинать — представление это оказалось чрезвычайно утомительным. Надеюсь, завтра вы не откажете мне в удовольствии нанести вам визит в любое удобное для вас время. Да, и бланк для расписки в получении тысячи фунтов я, если не возражаете, тоже с собой прихвачу.

*1912 г.*

**Блюмендайкский каньон**

Бродхерст уже закрыл лавку и удалился в заднюю комнату, выглядевшую в тот вечер необыкновенно уютно. Багрово-красные отсветы от пылающего в очаге огня плясали по стенам, причудливо отражаясь от украшающего их оружия и до блеска отполированных пороховниц. Но ни весело гудящее пламя, ни стоящая на столе внушительная бутыль темного стекла не могли развеять мрачное настроение двух мужчин, расположившихся по обе стороны от очага.

— Двенадцать часов, — сказал старый Том, владелец лавки, бросив взгляд на старые деревянные ходики на стене, привезенные им еще в 1842 году. Очень странно, Джордж, что их до сих пор нет.

— Ночь сегодня паршивая, — заметил его собеседник, протягивая руку за плиткой табака. — Может, Вавирра разлилась, или лошади устали, а скорее всего, ребята просто решили задержаться немного. Великий Бог, какой гром! Подай-ка мне уголек, Том.

Говоривший изо всех сил старался держаться непринужденно, но в его голосе проскальзывали тревожные нотки, что не могло укрыться от чуткого уха Тома, метнувшего на приятеля озабоченный взгляд из-под косматых бровей.

— Так ты считаешь, что с ними все в порядке, Джордж? — спросил он после паузы.

— Что значит, все в порядке?

— Ну, то есть, они в безопасности?

— В безопасности? Что за вопрос? Конечно, они в безопасности! Да и какого дьявола может им угрожать, скажи на милость?

— Нет-нет, я ничего такого не имел в виду, — поспешно заявил Том. Видишь ли, Джордж, с тех пор, как моя старуха померла, Морис для меня как свет в окошке. Вот я и беспокоюсь. Прошла неделя, как ребята уехали с прииска. Пора бы им уже и вернуться, хотя в задержке тоже нет ничего особенного. Ну, конечно, ничего — это все моя дурацкая мнительность!

— Что им может угрожать? — повторил Джордж, больше, похоже, стараясь убедить самого себя, нежели товарища. — От прииска до Рэтхерста дорога прямая, а оттуда через холмы и каньоном к броду. Вавирру перейти, а там уж вниз по бушу до самого Трафальгара. Ничего не вижу страшного по дороге, разве не так? Мой Аллан, между прочим, не меньше дорог мне, чем тебе твой Морис, приятель, — продолжал он. — К тому же оба отлично знают брод, а больше и опасаться-то нечего. Наверняка, они будут здесь не позже завтрашнего вечера.

— Дай Бог, чтобы так оно и было, — ответил Бродхерст, и оба погрузились в продолжительное молчание, неотрывно глядя на пламя в очаге и посасывая свои коротенькие глиняные трубки.

Как верно заметил Джордж Хаттон, ночь выдалась на редкость паршивой. Ветер завывал в скалистых отрогах западных гор, вихрем кружился по улочкам Трафальгара, со свистом врывался в щели бревенчатых хижин и рвал плохо уложенную дранку с кровель. Улицы выглядели пустынными, если не считать одного-двух случайных прохожих, припозднившихся в каком-нибудь питейном заведении. Плотно кутаясь в плащи и с трудом пробиваясь против ветра, они спешили поскорей добраться до своих домов.

Первым нарушил молчание Том, у которого, судя по всему, все еще кошки скребли на душе.

— Ответь-ка мне, Джордж, — начал он, — что сталось с Джосайей Мейплтоном?

— Отправился на прииски.

— Верно, да только он прислал весточку, что возвращается назад.

— Но так и не вернулся.

— А куда делся Джош Хемфри? — задал после паузы новый вопрос Том.

— Он тоже отправился на прииски.

— Ну и как, вернулся он оттуда?

— Прекрати, Бродхерст! Прекрати это, я тебе говорю! — воскликнул Хаттон, вскочив со стула

и начав расхаживать взад-вперед по узкому помещению. — Ты что, совсем запугать меня хочешь? Да те парни наверняка где-то золотишко ищут, а может, фермерством решили заняться. Какое нам дело, в конце концов, где они шляются? Или ты думаешь, что у меня журнал заведен на каждого, как у инспектора Бертона на каторжников?

— Ты сядь, Джордж, и послушай лучше, — сказал старик Том. — С этой дорогой последнее время творится что-то неладное — что-то такое, чего я не понимаю и боюсь. Ты должен помнить, как тот одноглазый мерзавец Мэлони зарабатывал денежки в самом начале золотой лихорадки. Он открыл кабак на главной дороге и построил его над рекой, аккурат в том месте, где Лина падает вниз. Ты ведь слыхал, как в задней комнате у него нашли деревянный желоб, спускающийся прямо в реку. Он подмешивал в выпивку какое-то зелье, а когда клиенты засыпали, спускал их одного за другим по желобу в вечность, как какие-нибудь тюки с товаром. Никто никогда не узнает, сколько душ было загублено таким манером. Между прочим, все пропавшие тоже считались "ищущими золотишко или занявшимися фермерством где-нибудь". До тех пор, пока их тела не начали вылавливать из реки ниже водопада. Так что, нет смысла успокаивать себя, Джордж, — если наши парни не вернутся завтра к вечеру, придется отправлять на прииск патрульных.

— Как скажешь, Том, — вздохнул Хаттон.

— Кстати говоря, раз уж мы помянули Мэлони, тут со мной на днях приключилась странная история. Джек Холдейн клятвенно уверял меня, что видел одного типа, как две капли воды похожего на Мэлони, только лет на десять постарше, само собой. Он повстречал его в буше в понедельник утром. Скорее всего, простое совпадение, а с другой стороны — трудно поверить, чтобы на всем белом свете нашлась еще одна такая же бандитская рожа.

— Джек Холдейн — полный идиот, — проворчал Хаттон.

Он приоткрыл дверь и выглянул наружу, напряженно всматриваясь в темноту. Ветер трепал его длинную, седую и нечесаную бороду, выметая снопы искр на мостовую из зажатой в зубах трубки.

— Паршивая ночь! — повторил он, вернувшись на свое место у огня.

Да, то была ужасная ночь, ночь разгулявшихся стихий и темных личностей, подобно ночным хищникам вышедших на охоту. Подходящая ночь для семерки негодяев, залегших в засаде за поворотом в Блюмендайкском каньоне с револьверами в руках и дьявольскими замыслами в сердцах.

Шторм утих, и над миром снова вставало солнце. Плотный тяжелый туман поднимался от пропитанной влагой земли и окутывал ватным одеялом маленький, но процветающий городок Трафальгар. Отдающие голубизной клочья тумана покрывали тонким саваном и обширные пространства окружающего город буша. Вершины западных гор торчали из тумана, словно одинокие островки в кипящем море.

В городе происходило что-то необычное. Даже посторонний наблюдатель мог без труда уловить это. На улицах слышались крики и топот ног, хлопали двери домов, распахивались закрытые на ночь ставни. Пробежал полицейский патрульный с карабином наперевес. На лесопилке Джо Бьюкена давно пора было начать работу, но огромное водяное колесо по-прежнему оставалось в неподвижности, так как ни один из работников не появился на рабочем месте.

На главной улице перед домом Тома Бродхерста бурлила и волновалась большая толпа, состоящая, в основном, из любителей почесать языки.

— Что случилось? — задавали новички сакраментальный вопрос, не успев даже перевести дух.

— Бродхерст пристрелил своего друга… Нет, он перерезал себе горло… Он обнаружил золотую жилу прямо под крыльцом своей лавки… Что вы болтаете? Это вовсе не он, а его сын Морис вернулся домой богачом… Морис? Да он вообще не вернулся! Его лошадь прискакала домой без седока.

Лишь теперь правда выплыла наконец наружу. А вот и лошадь, о которой шла речь, — старая гнедая кобыла, с жалобным ржанием тычущаяся в дверь своей конюшни, словно испрашивая разрешения зайти внутрь у двух седых осунувшихся мужчин, держащих ее под уздцы и с тупым недоумением оглядывающих покрытые от долгой скачки пеной лошадиные бока.

— Боже, помоги мне! — воскликнул в отчаянии Том Бродхерст. — Неужели случилось как раз

то, чего я так боялся!

— Да успокойся ты, дружище, — с нарочитой веселостью хлопнул его по плечу Джордж Хаттон, сдвинув на лоб свою соломенную шляпу. — Есть еще надежда, что ничего не случилось.

Одобрительный ропот пробежал по толпе.

— Конечно, все в порядке — просто лошадь убежала… Или украл кто-то… Может, при переходе через Вавирру волной смело всадника, — утешающим голосом предположил один из знакомых Тома.

— На ней нет никаких следов или ран, — оптимистично заметил второй.

— Наверняка, парень свалился спьяну, — проворчал старый овцевод. Помнится, я сам когда-то приехал в этот городишко тоже на рассвете, с башкой в кобуре и воображая себя шестизарядным револьвером, — вот до какой степени допился!

— Морис отлично ездит верхом — его бы никогда не смыло течением!

— Верно, не такой он парень.

— Эй, глядите, а у лошади-то рубец на передней бабке! — закричал вдруг кто-то, очевидно, более наблюдательный, чем все прочие.

— Должно быть, плеткой хлестнули.

— Да, крепенько приложили беднягу.

— А где Чикаго Билл? — спросил кто-то. — Уж он-то точно определит.

Словно в ответ на этот призыв, из толпы выступила странная, необычайно длинная фигура. Чикаго Билл был не только очень высок, но и удивительно силен. Одет он был в обычную для старателя красную рубаху, а обут в высокие кожаные сапоги. Расстегнутая рубашка обнажала мускулистую шею и мощную грудь. Лицо его избороздили морщины и шрамы — свидетельства многочисленных столкновений как с силами природы, так и с собратьями по роду человеческому. Под разбойничьей наружностью, однако, скрывалось глубокое чувство собственного достоинства и внутреннее благородство, свойственные подлинному джентльмену. Чикаго Билл представлял собой довольно редкий тип настоящего ветерана-золотоискателя, начинавшего еще в Калифорнии в 1849 году. Он покинул золотые россыпи, когда индивидуальное старательство начало уступать место крупным горнорудным компаниям с их современной тяжелой машинерией, внушающей ему непреодолимое отвращение. Но он уже не мог жить без этих бесформенных кусков породы с вкраплениями желтого металла и поэтому пустился в дорогу, чтобы здесь, на противоположной стороне земного шара, начать все сначала.

— Я Чикаго Билл, — объявил он. — Что от меня нужно?

На обладающего недюжинной физической силой и богатейшим опытом ветерана в городе смотрели чуть ли не как на оракула. Когда Брэкстон, молодой констебль ирландского происхождения, спросил Билла, что тот думает о примчавшейся без седока лошади, все присутствующие в ожидании уставились на его обветренное лицо.

Но янки отнюдь не спешил высказываться по этому поводу. Сперва его маленькие проницательные серые глаза внимательно осмотрели животное, затем он наклонился, проверил подпругу и тщательно ощупал гриву лошади. Снова наклонившись, он потрогал подковы, помял бабки и лишь после всего этого перешел к исследованию рубца. Последний, похоже, навел его на какой-то след. Присвистнув от удивления, Билл занялся внимательным изучением шерсти лошади по обе стороны от седла. Он явно пришел к какому-то вполне определенному заключению, потому что прекратил осмотр и повернулся лицом к толпе, предварительно бросив из-под косматых бровей многозначительный взгляд на двух стариков, переминавшихся с ноги на ногу рядом с ним.

— Ну, что скажешь? — послышалось сразу из дюжины глоток.

— Это работенка для тебя, парень, — спокойно ответил Чикаго Билл, пристально глядя на молодого ирландца-полицейского.

— Почему ты так решил? Что сталось с молодым Бродхерстом? — посыпались вопросы из

толпы.

— То же самое, что нередко случалось прежде и не с такими молодцами. Он хотел намыть золота, а вместо лотка оказался гроб.

— Да говори ты толком, приятель, — раздался чей-то сиплый голос. — Что тебе удалось узнать?

— На передней бабке лошади я нашел след от чиркнувшей по ней пули, выпущенной беглым каторжником, а на. краешке седла каплю крови всадника… Эй, поддержите кто-нибудь старика, ребята! Дайте ему глоток бренди и уведите в дом. А ты, парень, слушай сюда, — и Чикаго Билл, перешел на хриплый шепот, цепко схватив полицейского за запястье и подтянув его поближе к себе. Учти, я в этом деле участвую наравне с тобой. Мы вдвоем разыграем неплохую партию. Мне это отребье поперек глотки стоит. Как говорят в Неваде, надо ковать железо, пока горячо. Собирай всех, кого сумеешь. Думаю, не ошибусь, если скажу, что и тебе не терпится взять этих мерзавцев.

— Не ошибешься, — со спокойной ухмылкой подтвердил ирландец.

Американец одобрительно кивнул. Бродя по свету, он хорошо усвоил непреложный факт: чем спокойней держится глубоко задетый чем-то ирландец, тем опасней он становится, когда доходит до дела.

— Парень, что надо, — пробормотал он себе под нос, и оба направились по улице в сторону полицейского участка, сопровождаемые полудюжиной самых ретивых участников сборища у лавки Бродхерста.

Одно маленькое замечание, прежде чем мы продолжим этот рассказ, а точнее сказать, — хронику, ибо каждое слово в данном повествовании полностью соответствует подлинным событиям. Лет пятнадцать или двадцать тому назад австралийский полицейский сильно отличался от его сегодняшнего коллеги. Не то что я позволю себе усомниться в храбрости последнего, однако, невозможно отрицать, что по дерзости, бесшабашности, рисковости и рыцарственности тогдашние сорви-головы из колониальной полиции до сих пор остаются никем не превзойденными. Причина довольно проста: молодые люди благородного происхождения, главным образом, младшие сыновья из хороших семейств, уезжали или отсылались в Австралию с единственной целью — сколотить состояние или сделать карьеру. По прибытии на место они быстро убеждались, что Мельбурн отнюдь не похож на представлявшееся им в мечтах Эльдорадо. Будучи мало приспособленными для занятий каким-нибудь честным ремеслом и вскоре оставшись без средств к существованию, почти все они так или иначе попадали в поле притяжения Австралийской Конной Полиции. Таким образом, возникло нечто вроде своеобразной масонской ложи или закрытого клуба, где последний рядовой происхождением и образованием ни в чем не уступал старшим офицерам. То были люди, способные в одиночку решать судьбу империй, но вынужденные, чаще всего, складывать головы в многочисленных ожесточенных стычках с аборигенами или беглыми каторжниками где-нибудь в такой глуши, что лишь одинокий побелевший скелет в обрывках синей формы оставался единственным напоминанием о случившемся.

Закат выглядел потрясающе. Вся западная половина небосвода ярко пламенела, отбрасывая пурпурные блики на горные склоны и золотя чернеющие макушки деревьев лесного массива, простирающегося между Вавиррой и Трафальгаром. Лес тянулся на много миль — дикая, нехоженая чаща, не считая одинокой тропы, проложенной золотоискателями и торговцами, сопровождающими старательские миграции подобно средневековым маркитантам. Эта тропа зигзагообразно петляла среди могучих стволов, порой отклоняясь далеко в сторону, чтобы миновать заболоченный или непроходимый участок леса. Местами ее трудно было различить в густой растительности подлеска, и сориентироваться можно было только по следам подков или полузаросшей травой колее.

Милях в пятнадцати от Трафальгара возвышается одинокий, густо поросший лесом холм, с которого хорошо просматривается лесная дорога. На вершине холма на закате в тот памятный вечер пятницы лежал какой-то человек. Похоже, его не очень прельщала перспектива оказаться замеченным, так как расположился он в самой гуще зарослей, начисто закрывающих обзор, но зато здесь держался он без опаски: улегся на спину, закурил трубку и развалился на травке в расслабленной позе, прикрыв шляпой лицо. Разумная предусмотрительность, ибо физиономия незнакомца слишком резко контрастировала с окружающим его мирным пейзажем. На испещренном оспой лице под низким, скошенным лбом на месте одного глаза зиял безобразный, внушающий отвращение багровый провал, в то время как другой смотрел на мир исподлобья, подозрительным, коварным, мстительным

взглядом. Злой, жесткий рот и давно не стриженная борода довершали портрет. Человек с такой физиономией мог быть способен на все. Случись кому встретить подобную личность на темной улице, у любого рука невольно перехватит трость так, чтобы в случае необходимости отбиваться более тяжелым концом с набалдашником.

Видимо, какая-то неприятная мысль посетила лежащего. Он с проклятием вскочил на ноги и выбил пепел из трубки.

— Вот уж подвезло, так подвезло, — пробормотал он себе под нос. — Этот придурок Баррет все испортил, а я должен тут валяться. Он запорол все дело, а меня посылает в лес, чтоб я здесь болотную лихорадку словил. Ежели б он пристрелил лошадь так же чисто, как я снял всадника, так и не потребовалось бы сейчас наблюдать за этим берегом Вавирры. Вечно от этого желтобрюхого урода одни неприятности. Ладно, что теперь говорить, — продолжал он, подбирая валяющийся рядом в траве револьвер, — да и лежать мне здесь больше нечего — на ночь глядя, они сюда не сунутся. Может быть, коняга та вовсе и не добралась до дому, или тех парней посчитали утонувшими… А, плевать! Завтра другим очередь следить за дорогой, ну, а я посижу еще минут пяток, да свалю обратно.

Высказавшись, наблюдатель присел на пенек и начал насвистывать какую-то песенку. Внезапно он встрепенулся, засунул руку в карман и, порывшись в нем, извлек колоду карт, завернутую в грязную тряпицу. Некоторое время он пристально разглядывал засаленные картинки, затем вынул из рукава булавку и наколол углы всех тузов и валетов. Перетасовав крапленую колоду, он одобрительно хмыкнул и вернул ее на прежнее место.

— С этими картишками я точно урву изрядный кусок добычи, — пробурчал он. — Глаз у ребят хоть и острый, но как шары спиртным зальют, ни хрена не замечают… Черт побери! Неужто все-таки едут!

Он снова вскочил на ноги, пригнулся и замер, прислушиваясь. Нетренированным слухом вряд ли удалось бы уловить хоть какие-то изменения. По-прежнему гудели вокруг насекомые, щебетали птицы, шелестела листва, однако, когда разбойник наконец выпрямился, лицо его выражало полное удовлетворение.

— Прости-прощай, наш овражек! — произнес он, смачно сплюнув. — Скоро там станет жарковато, так что придется слинять на время. Ох, придурок из придурков! Такое хорошее место по его милости загубили! А теперь еще думай, как шею спасти от легавых. Надо взглянуть, сколько их там подвалило по наши души, да кто такие.

Выбрав местечко, где кустарник рос гуще всего, надежно защищая наблюдателя от посторонних взглядов, он притаился в траве, подобно смертельно ядовитой змее, время от времени приподнимая голову и вглядываясь в узкий просвет между стволами туда, где полоса красной глины отмечала тропу, носящую громкое название Трафальгарского тракта.

Теперь уже не оставалось никаких сомнений в том, что по дороге движется крупный отряд всадников. Не успел еще соглядатай разбойников как следует устроиться в своем убежище, как со стороны дороги послышались голоса, стук копыт, а минуту спустя из-за крутого поворота показалась большая группа вооруженных верховых. Их было одиннадцать человек, все вооружены до зубов и в полной боевой готовности. Двое ехали впереди с ружьями наперевес, зорко всматриваясь в каждый кустик буша, за которым мог затаиться враг. Основная масса конников держалась ярдах в пятидесяти от авангарда, а еще один всадник замыкал процессию. Бандит внимательно изучал каждого и, судя по выражению его лица, опознал большинство членов отряда. Часть из них составляли ненавидимые им полицейские, остальные были добровольцами из числа горожан, вызвавшимися помочь стражам закона избавить общество от зла, самым прямым образом затрагивающего их интересы. Складные, бронзовые от загара лица и фигуры мужчин словно излучали в пространство вокруг себя непреклонную решимость свершить задуманное и твердую убежденность в своей способности добиться цели. Когда последний из верховых проезжал мимо наблюдательного пункта каторжника, тот внезапно вздрогнул и глухо выругался в бороду:

— Черт подери, знакомая харя! За каким, спрашивается, его сюда занесло? Будь я проклят, если это не Билл Ханкер, тот самый, что пристрелил в 53 году Длинного Нэта Смитона в Сильвер-Сити. Пора и мне смываться через черный ход — надо предупредить ребят.

С этими словами бандит подхватил револьвер, состроил гримасу вслед удаляющимся конникам и, пригнувшись, быстро и бесшумно затерялся в густом кустарнике, покрывающем задний склон холма.

Поисковая группа выехала из Трафальгара ближе к вечеру в тот же день, когда лошадь

Мориса Бродхерста, напуганная и вся в мыле, прискакала к дверям своей старой конюшни. Во главе группы стал инспектор Конной полиции Бертон, способный и энергичный офицер, по отзывам всех знавших его людей. Молодого ирландца Брэкстона и еще одного патрульного по фамилии Томпсон инспектор назначил в авангард. Сам Бертон возглавил основные силы и ехал в окружении старателей, седой, подтянутый и держащийся в седле так же прямо, как и в 1839 году, когда мы с ним на пару построили хибару на том самом месте, где сейчас в Мельбурне проложена Берк-стрит. Рядом с ним ехали Мак-Джиллифрей, Фоули и Энсон из трафальгарской полиции, овцевод Хартли, Мердок и Саммервилл, сделавшие состояние на приисках, и Дэн Мерфи, начисто разорившийся, когда на прииске «Ориент» золотоносная порода внезапно сменилась гравием; с тех пор Дэн злился на весь свет и ни о чем так не мечтал, как о хорошей драке, неважно с кем. Чикаго Билл в одиночку составлял арьергард, а в целом отряд выглядел со стороны хоть и не. слишком похожим на регулярную воинскую часть, но все же достаточно воинственно.

Они расположились на ночь в семнадцати милях от Трафальгара, а на следующий день сумели добраться аж до пересечения Трафальгарского тракта с дорогой на Стерлинг. Утро третьего дня застало отряд на северном берегу Вавирры, через которую они переправились вброд. Здесь же состоялся военный совет, так как, по общему мнению, с этого момента группа вступила на "вражескую территорию". Дорога через буш хоть и проходила по порядком заросшей кустарником местности, но тут все-таки можно было встретить и охотников, и погонщиков овец, да и трудно было банде беглых каторжников найти себе надежное убежище на равнине. А вот по ту сторону Вавирры до самых облаков возвышалась скалистая гряда гор Тапу, по отрогам которых проходила дорога к золотоносным полям. Именно там, за Блюмендайкским каньоном, было решено на совете искать следы свершившегося преступления. Главным же вопросом было обсуждение наиболее надежного способа поимки убийц, ибо в том, что убийство на самом деле имело место, не сомневался уже никто.

Все сошлись на том, что действовать лучше всего без выкрутасов: напасть на разбойников в лоб, перестрелять тех, кто попадется на мушку, а остальных доставить в Трафальгар и повесить. Этот момент особых споров не вызвал, зато вопрос, как отыскать преступников, послужил поводом для весьма оживленной дискуссии. Полицейские предлагали положиться на удачу и двигаться вперед, пока не упущено время, тогда как старатели советовали сначала подняться на какую-нибудь вершину с целью осмотреться и определиться на местности. Чикаго Билл, в отличие от прочих, высказался довольно пессимистично:

— Навряд ли мы кого тут отыщем, — заявил он, качая головой. — Они уже наверняка успели убраться из этого района. Им должно было прийти в голову, что лошадь могла добраться до дому и навести на след. Значит, где-то на дороге у разбойников есть наблюдательный пост, и о нашем приближении они, скорее всего, уже знают. Я так думаю, друзья: поедем-ка мы потихоньку вперед, а там видно будет.

Снова завязался жаркий спор, но в конце концов победил авторитет Чикаго Билла, и отряд продолжил движение. По мере подъема из предгорий на следующий уровень перед глазами открывается все более дикая и, вместе с тем, величественная панорама. Гигантские горные пики высотой в две-три тысячи футов вздымаются ввысь по обе стороны узкой тропы. Штормы и ливневые дожди разрушают горные породы очень интенсивно, так что дорога во многих местах оказалась почти непроходимой из-за заваливших ее оползней и камнепадов. Приходилось то и дело спешиваться и с опаской пробираться через завалы, ведя лошадей в поводу.

— Уже недолго осталось, парни! — весело крикнул инспектор, желая подбодрить уставших людей, и указал темнеющее впереди меж двух почти отвесных скал ущелье. — Птички либо там, либо улетели навсегда!

С подъемом в гору дорога сделалась проходимее, и скорость движения отряда заметно увеличилась. Бертон скомандовал остановку. Люди взяли наперевес ружья, проверили, легко ли вынимаются револьверы из кобур, прямо перед ними находился вход в Блюмендайкский каньон — самое опасное и дикое место на всем протяжении горной цепи Тапу.

Ни движения, ни звука нельзя было уловить в могильном безмолвии ущелья. Оставив лошадей в небольшом овражке, люди двинулись вперед пешком. Жаркое южное солнце безжалостно изливало полуденный зной на чахлые желтеющие заросли орляка и папоротника по обе стороны узкой, петляющей тропы. Вокруг по-прежнему не было заметно никаких признаков жизни. Шедшие в авангарде двое полицейских внезапно остановились и тихим свистом подали условный сигнал, извещающий о какой-то находке. Остальные члены отряда со всех ног бросились на зов.

Это место словно самой природой предназначалось для кровавых деяний. По одну сторону дороги чернел зияющей пустотой отвесный обрыв, по другую начинался изрытый трещинами овраг, а сама дорога делала крутой поворот. Вдоль дороги громоздилось несколько гигантских валунов, словно нависая над ней, — идеальное место для засады. Красная глина и случайная лужица жидкой грязи сохранили следы происшедшей на этом месте схватки. Сомнений больше не оставалось: именно здесь были убиты двое молодых старателей. Мягкая влажная почва сохранила контуры тела упавшей лошади и скользящие следы от подков, когда та брыкалась в последних судорогах предсмертной агонии. За одним из валунов обнаружили следы нескольких пар человеческих ног, а рядом, среди папоротника, нашли обгоревший пыж. Разыгравшаяся трагедия теперь ясно предстала перед глазами. Двое молодых людей, уверенные в своих силах и потому беззаботные, ни о чем не подозревая, завернули за этот роковой поворот. Что потом? Выстрелы, стоны, звук падения тела, животный хохот разбойников, удаляющийся галоп насмерть перепуганной лошади — и тишина. Злодеяние свершилось.

Преследователи сделали все, что могли сделать в сложившихся обстоятельствах. Они тщательно исследовали каждую трещину, каждую скалу, каждую пещеру в округе, но не нашли ничего нового. Прошло уже почти шесть дней, и птички, как выразился инспектор Бертон, скорее всего, улетели. Пока разделившиеся на группы люди шарили среди валунов, обладающий нюхом ищейки американец обнаружил свежий след, ведущий к груде беспорядочно наваленных скальных обломков у северной стены каньона. В расщелине по соседству нашли останки трех лошадей, а из-под камней торчал краешек полей старой соломенной шляпы. Овцевод Хартли нагнулся за шляпой, но тут же выпрямился, словно ужаленный, и прошептал срывающимся голосом, обратившись к своему лучшему другу Мерфи:

— Дэн, там… там голова под шляпой!

Пущенные в ход лопаты в считанные секунды освободили от земли знакомое большинству присутствующих лицо, принадлежавшее старому бродячему фотографу, известному в колонии под прозвищем Сутулый Джонни и пропавшему некоторое время назад. Тело фотографа успело уже изрядно разложиться. Рядом с ним нашли второй труп, а под ним третий. Всего, в общей сложности, было обнаружено тринадцать убитых — жертв шайки новоявленных английских тугов, похороненных в общей могиле под сенью северной стены большого Блюмендайкского каньона. И тогда, склонившись в скорбном молчании над останками несчастных, пристреленных без жалости и зарытых наспех, подобно бродячим псам, все участники экспедиции принесли торжественную клятву забыть на месяц обо всех личных делах и посвятить это время единственной цели справедливому отмщению негодяям. Инспектор первым обнажил седую голову, закончив произносить суровые слова клятвы. Товарищи, один за другим, последовали его примеру. После короткой молитвы найденные тела перенесли в более глубокую могилу, над которой воздвигли грубое надгробье, вслед за чем все одиннадцать мстителей опять тронулись в путь с одной общей мыслью свершить суровое правосудие.

Прошло три недели — точнее, три недели и два дня. Солнце склонялось к краю бесконечной равнины австралийского буша, равнины нехоженой и немеренной, простирающейся от восточных склонов гор Тапу далеко за горизонт. За исключением одного-двух охотников да нескольких безрассудных старателей, никому из колонистов еще не доводилось бывать в этих пустынных краях, но в тот осенний вечер сразу двое мужчин находились на небольшой поляне в самом сердце неисследованной страны. Они были заняты стреноживанием своих коней и, судя по их поведению, готовились расположиться здесь на ночлег. Оба были худы, оборваны, измотаны и небриты, но, при желании, внимательный наблюдатель мог опознать в них наших старых знакомых: молодого ирландца-полицейского и американца Чикаго Билла.

То была последняя попытка мстителей настичь и покарать разбойников. Они поднимались на горные вершины, спускались в овраги и трещины, а под конец разделились на несколько малых групп, договорившись встретиться в условленном месте по истечении назначенного срока. Эти группы обшарили всю округу в надежде обнаружить хоть самую слабую зацепку или след убийц. Фоули и Энсон остались рыскать среди холмов, Мердок и Дэн Мерфи направились в сторону Рэтхерста, Саммервилл и инспектор Бер-тон пустились вниз по течению Вавирры, и остальные, разбившись на три отряда по двое, обследовали местность к востоку от горной гряды.

Оба — полицейский и старатель — казались уставшими и разочарованными. Первый выступил в поход, влекомый сияющим ореолом славы и надеждой на быстрое повышение — заветные нашивки, позволяющие как-то выделиться и стать выше серой массы рядовых, неудержимо манили молодого полицейского. Вторым двигало врожденное чувство справедливости и

твердое убеждение в необходимости покарать преступников, В обоих несбывшиеся надежды вызывали сильнейшее разочарование. Стреножив лошадей, мужчины тяжело опустились на землю. Им не было смысла разводить огонь: жалкие остатки провизии состояли из нескольких сухарей и кусочка подпорченного бекона. Брэкстон достал продукты из мешка и протянул спутнику его долю. Каждый сосредоточенно жевал свою порцию в полном молчании. Ирландец не выдержал первым.

— Нам осталось разыграть нашу последнюю карту, — сказал он уныло.

— К тому же довольно паршивую, — согласился американец. — Кстати говоря, парень, ты ведь не думаешь, надеюсь, что, ежели мы вдруг найдем логово этих подлых кровососов, так сразу туда вдвоем и полезем? Что до меня, я лучше втихаря вернусь в Трафальгар за подмогой.

Брэкстон усмехнулся. Что бы ни говорил Чикаго Билл, его безудержная отвага была слишком хорошо известна в колонии и сомневаться в ней стал бы лишь полный невежда. Старатели за выпивкой до сих пор вспоминают старую историю времен первой волны золотой лихорадки в 1852 году. Хвастливый громила, введенный в заблуждение аналогичной репликой ветерана, вознамерился доказать свою репутацию, ввязавшись в драку с Биллом без малейшего повода со стороны последнего. Об исходе поединка рассказчики обычно умалчивают, сразу переходя к повествованию о том, как великодушно поступил американец по отношению к громилиной вдове, отдав ей недельную добычу золота со своего участка, что позволило благодарной женщине открыть собственное питейное заведение. Вот и сейчас, усмехаясь, Брэкстон вспомнил эту легенду и пропустил мимо ушей уничижительные слова компаньона, плохо вяжущиеся с его решительным обветренным лицом и могучей статью.

— Было бы неплохо осмотреться, пока не стемнело, — произнес вместо ответа ирландец. Поднявшись на ноги, он убрал прислоненное к стволу эвкалипта ружье, ухватился за свисающие сверху лианы и начал привычно и бесшумно карабкаться на дерево.

— Душа у парня слишком велика для его тела, — пробормотал себе под нос американец, провожая взглядом ловкую загорелую фигуру, вырисовывающуюся на фоне темнеющего неба среди ветвей.

— Видишь что-нибудь, Джек? — крикнул он, немного погодя, заметив, что спутник его уже добрался до вершины и теперь обозревает окрестности.

— Буш, один буш и ничего, кроме буша, — послышалось сверху. Постой-ка, милях в трех на северо-восток виднеется любопытный холм. Как раз за теми деревьями. Да только толку от него вряд ли будет много — уж больно глухое и пустынное местечко.

Чикаго Билл мерил шагами поляну у подножия эвкалипта, раздраженно бурча в усы:

— Какого черта он там торчит и на что глазеет уже целых десять минут? Ну вот, наконец-то! — воскликнул он, когда запыхавшийся от спуска полицейский легко спрыгнул на землю прямо перед американцем. — Эй, да что это с тобой, парень? Что случилось, Джек?

Что-то определенно случилось. Это было очевидно — стоило только взглянуть на огонь в голубых глазах ирландца и разгоревшиеся от румянца щеки.

— Билл, — сказал он, кладя руку на плечо компаньона, — я думаю, настало время тебе отправляться в город.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Чикаго Билл.

— Я имею в виду, что бандиты сидят в какой-то лиге отсюда, и я твердо намерен их взять. Ну-ну, не дуйся, старина, — поспешно добавил он, — я же прекрасно понимаю, что ты просто шутил. Они там, Билл! Я видел с дерева дым на вершине того холма — да-да, самый настоящий дым! И жгли они, заметь себе, очень сухое дерево, а значит, наверняка не хотели себя выдавать. Сперва-то я вообще принял его за туман, но потом присмотрелся — дым! Готов поклясться чем угодно. Кроме них здесь больше некому быть — сам посуди, кому еще взбредет в голову устраивать лагерь на голой вершине одинокого холма? Мы нашли их, Билл! Мы достали их наконец! Это судьба, я уверен.

— Как бы они нас не достали, — буркнул американец. — На-ка вот, парень, возьми мою подзорную трубу, полезай обратно, да посмотри все толком.

— Слишком темно, — покачал головой Брэкстон. — Придется нам ночевать здесь. Думаю, нечего бояться, что до рассвета они двинутся с места. Скорее всего, эти подонки собираются

торчать тут, пока все не уляжется и не забудется.

— Деваться им некуда, а завтра мы их точно сцапаем. Старатель с тоской глянул на верхушку дерева, а затем перевел взгляд на собственную фигуру почти двести фунтов стальных мышц и костей.

— Придется, видать, поверить тебе на слово, парень, — проворчал он. Следопыт ты опытный и дым от тумана отличить можешь. Согласен и с тем, что ночью без разведки мы ничего не сможем. Так что, давай-ка мы с тобой напоим лошадей, да постараемся получше отдохнуть.

Брэкстон, похоже, не имел возражений относительно предложения Билла, и вскоре, за несколько минут покончив с приготовлениями, оба плотно завернулись в одеяла и отошли ко сну. С высоты птичьего полета их фигуры выглядели не более, чем двумя темными точками на гигантском зеленом ковре первобытного буша.

Над равниной еще только забрезжил серенький рассвет, а Чикаго Билл уже проснулся и сразу разбудил напарника. Густой, плотный туман навис над бушем. В его пелене с трудом можно было различить стволы деревьев по периметру маленькой поляны. Одеяла и одежда сплошь были усеяны мельчайшими капельками выпавшей росы. Отряхнув друг друга, американец и ирландец присели на корточки, по местному обычаю, и разделили нехитрый завтрак. Туман к этому времени немного рассеялся, и видимость увеличилась до пятидесяти ярдов. Золотоискатель в молчании расхаживал взад-вперед по поляне, задумчиво жуя плитку табака. Брэкстон сидел чуть поодаль на стволе поваленного дерева, занимаясь чисткой и смазыванием своего револьвера. Внезапно по стволу гигантского эвкалипта скользнул пробившийся сквозь марево солнечный луч. Узкая полоска света расширилась, обрела очертания, и в то же мгновение туман словно испарился, а желтые листья засверкали медным блеском в ослепительных лучах взошедшего солнца. Брэкстон лихо щелкнул барабаном, зарядил револьвер и повесил его на пояс. Чикаго Билл засвистел что-то веселенькое и прекратил мерить шагами поляну.

— Эй, молодой, держи трубу, — сказал он.

Брэкстон повесил инструмент на шею и без возражений начал карабкаться на то же дерево, что и накануне вечером. Для ирландца это было детской забавой: он всегда славился своим умением лазать по деревьям, что может с готовностью засвидетельствовать ваш покорный слуга, видевший его двумя годами позже на фрегате «Гектор», когда Брэкстон, поспорив на бутылку вина, забрался в шторм на верхнюю брам-стеньгу. Вот и сейчас он легко добрался до вершины, поудобнее примостился на толстом суку в двухстах футах над землей, где ветви и листва почти не закрывали обзора, снял с шеи подзорную трубу, навел ее на холм и начал обозревать его склоны дюйм за дюймом, не пропуская ни одного кустика или камешка. Целый час просидел он неподвижно и лишь на исходе второго счел возможным прекратить наблюдение и спуститься вниз. Когда он наконец ступил на землю, лицо его выражало серьезную озабоченность.

— Ну что, там они? — спросил американец с жадным любопытством.

— Да, они там.

— Сколько их?

— Я видел пятерых, но могут быть и другие. Подожди немного, Билл, дай мне обдумать все, как следует.

Золотоискатель посмотрел на спутника с почтением во взоре, как бы признавая превосходство духа над тупой материей, ибо сам он был не слишком силен в логических комбинациях.

— Ты уж прости меня, парень, но тут я тебе не помощник, — произнес он извиняющимся тоном. — У меня от всяких там планов и чертежей башка пухнуть начинает. Должно быть, образования малость не хватает. Мой папаша слыл самым твердолобым типом во всех Штатах. Судья Джефферс рассказывал, как мой старик однажды пытался лишить себя жизни. Он положил голову на рельсы аккурат в тот раз, когда по новой железке пустили первый состав из Вермонта. Потом его оштрафовали на сотню долларов за сошедший с рельсов паровоз, а сам он заработал такую головную боль, что ни с какого похмелья не получишь.

Брэкстон так глубоко погрузился в раздумье, что вряд ли расслышал толком этот семейный анекдот.

— Вот что, старина, — сказал он наконец. — Садись-ка рядом со мной на пенек, да послушай,

что я скажу. Ты ведь помнишь, Билл, что находишься здесь добровольно, — никто не заставлял тебя пускаться в погоню за бандитами. Другое дело я — я занимаюсь этим делом по велению долга. Твое имя известно всем в колонии; ты прославился еще в то время, когда я пачкал пеленки. А теперь к делу, Билл. Я хочу попросить тебя об одном большом одолжении. Если мы с тобой вдвоем возьмем тех негодяев, для тебя это будет всего лишь очередным эпизодом в длинной череде твоих подвигов. Но ведь никто не знает рядового полицейского Джека Брэкстона, поэтому вряд ли кому придет в голову воздать должное ему. А я твердо решил сделать себе имя. Раз уж мы решили брать их врасплох после наступления сумерек, один решительный человек справится с этим с тем же успехом, что и двое, а то и легче, поскольку одному проще остаться незамеченным. Короче говоря, Билл, я прошу тебя остаться с лошадьми и позволить мне взять их всех в одиночку.

Чикаго Билл вскочил с места с негодующим возгласом на устах и заметался взад-вперед перед поваленным деревом, на котором продолжал сидеть молодой Брэкстон. Спустя некоторое время американцу удалось овладеть собой, и он опустился на прежнее место рядом с компаньоном.

— Ничего не выйдет, парень, — сказал он, кладя руку на плечо Брэкстона. — Они сожрут тебя вместе с потрохами!

— Только не эти, — возразил полицейский. — Я возьму оба револьвера твой и свой — так что подавятся!

— Я потеряю свою репутацию, — грустно произнес Билл.

— Твоя репутация выше любых клеветнических измышлений. С этой стороны тебе ничего не грозит, так что ты можешь позволить себе дать мне шанс.

Билл закрыл лицо руками и глубоко задумался.

— Ладно, парень, — проговорил он со вздохом, — я согласен приглядеть за лошадками.

Брэкстон с радостью затряс руку спутника.

— Немногие на твоем месте согласились бы на такое, Билл. Ты — настоящий друг. Ну, а теперь давай думать, как протянуть день, старина. До вечера придется залечь и не высовываться. Я начну не раньше, чем через час после заката, так что времени у нас уйма.

День тянулся медленно. Полицейский лежал во мху меж корней гигантского эвкалипта и о чем-то размышлял. Раз или два до ушей его донесся — или это ему почудилось — приглушенный грудной смешок и звонкий шлепок по ляжке, которым старатель обычно выражал веселье, однако, брошенный в сторону Чикаго Билла взгляд натыкался на серьезное, если не сказать, похоронное выражение лица последнего, что начисто отметало любое подозрение. Скудный обед и такой же ужин были съедены с хорошим настроением и прекрасным аппетитом. По мере приближения назначенного часа прежнее безразличие уступило место деловитой, энергичной активности. Чикаго Билл пустился в пространные воспоминания, поведав приятелю множество историй из собственной практики в те времена, когда он еще жил в Западном полушарии. Теперь часы бежали один за другим с необыкновенной быстротой. Полицейский выудил из кобуры ветхую карточную колоду и предложил сыграть партию — другую, однако, желание поговорить и серьезные затруднения в том, чтобы отличить, скажем, короля пик от туза червей, не способствовали внимательности игроков. Но вот солнце укатилось наконец за противоположный край первобытной равнины. Тень сумерек пала на небольшую полянку, хотя вершины отдаленных холмов все еще золотило последними отблесками заходящего светила. Потом и этот золотой блеск сменился пурпурным, первая звездочка замерцала над горной грядой Тапу, и темная ночь незаметно сгустилась над окрестностями.

— Давай прощаться, старина, — сказал Брэкстон. — Карабин я брать не стану — он мне только помешает. Не знаю даже, как мне тебя благодарить за то, что ты даешь мне этот шанс. Если даже они прикончат меня, я знаю, Билл, что ты не дашь им уйти и расскажешь потом, что я принял смерть, как подобает мужчине. Друзей у меня нет, писем писать некому, завещать тоже нечего, разве что вот эту драную колоду. Возьми их себе, Билл, — в 51 году они были совсем новыми. Если утром увидишь дым над холмом — значит, все в порядке и можно вести лошадей. Если нет — поезжай к Поваленным Соснам, где у нас назначена встреча. Скачи туда днем и ночью, Билл, только доберись до инспектора Бертона и скажи ему, что знаешь, где скрываются каторжники. Еще скажи ему, что рядовой Брэкстон погиб и просил передать следующее: если инспектор не приведет своих людей сюда, то Брэкстон встанет из могилы и поведет их сам. Так и скажи, Билл. А теперь — прощай!

Покой и тишина воцарились в лесу. Лишь журчание ручья, невидимо струящего свои воды среди высоких трав, да кваканье древесных лягушек изредка нарушали ночное безмолвие. Внезапно в вышине пышных крон раздался резкий пронзительный крик проснувшейся сойки, немедленно подхваченный ее разбуженными товарками, застрекотала сорока, метнулся обратно в нору насторожившийся вомбат. Что-то потревожило обитателей леса, хотя, на первый взгляд, все вокруг выглядело так же мирно, как прежде. Случись, однако, наблюдателю каким-то чудом оказаться в сорочьем гнезде и бросить взгляд вниз с высоты, он мог бы заметить чье-то гибкое тело, по-змеиному скользящее в траве, и даже, может быть, увидеть бледное решительное лицо и слабый отблеск ручного компаса, стрелка которого указывала на северо-восток.

То была долгая и трудная ночь для рядового Конной полиции Брэкстона. Каждую секунду он рисковал наткнуться на часового банды, поэтому каждый шаг требовал расчета и внимания. Но ирландец был отличным следопытом, и ни один сучок не хрустнул под его телом, когда он подползал к цели. Однажды путь ему преградило болото и пришлось делать большой крюк. Потом он очутился в самой гуще непроходимого терновника, и снова был вынужден менять направление. Здесь, в глубине лесной чащи, царил непроглядный мрак. Поднимающиеся от влажной почвы испарения образовывали густой туман с неприятным гнилостным запахом. Какие-то мелкие существа копошились вокруг него. Бушмейстер пересек ему путь прямо перед носом, а когда он замер, сжавшись в комок, чтобы не привлечь внимания змеи, холодное, скользкое тело какой-то ящерицы переползло через его голую руку. Брэкстон почти не обращал внимания на такие встречи, поглощенный мыслями о предстоящей схватке с рептилиями в человечьем облике. Он упрямо продвигался вперед, не позволяя себе отвлекаться. Какой-то зверь увязался следом; его тяжелое тело с хрустом продиралось сквозь подлесок, но когда Брэкстон остановился и прислушался, шум тотчас прекратился, и он снова продолжил свой путь.

Настоящие трудности начались позже, когда он вплотную подобрался к основанию замеченного накануне с дерева холма. Он представлял собой почти правильный усеченный конус и отличался необыкновенной крутизной. Склоны холма были сплошь усеяны осыпями мелких камней, но попадались и более крупные валуны. Один неверный шаг мог вызвать камнепад и предупредить преступников. Полицейский снял высокие кожаные сапоги, и закатал до колен штаны и только тогда начал осторожно карабкаться вверх, пользуясь для прикрытия любой неровностью почвы, любым крупным обломком камня.

Далеко-далеко, на самом краю горизонта, появилась маленькая полоска света. Совсем еще тонкая, узенькая, како го-то неопределенного цвета, она, тем не менее, помогла ирландцу различить на ее фоне фигуру маячащего на вершине холма человека. Без сомнения, он был часовым, о чем красноречиво свидетельствовали его поза и ружье на плече. Сама вершина представляла собой небольшое плато окружностью около сотни ярдов. По периметру этой окружности прохаживался часовой, время от времени останавливаясь и напряженно вглядываясь в раскинувшееся под ним необъятное море мрака. Начиная от периметра, плато плавно понижалось к центру, образуя некое подобие вулканического кратера. В центре кратера была разбита большая белая палатка. Несколько стреноженных лошадей топтались поодаль, а вокруг были разбросаны пучки сухой травы и разнообразные предметы упряжи. Находясь на границе плато, уже можно было довольно легко различить все эти детали, так как серая полоска на востоке заметно побелела и с каждым мгновением светлела и расширялась. Можно было разглядеть и лицо дозорного, неутомимо вышагивавшего по кругу, — довольно симпатичное лицо, но с явными признаками слабоумия. Черты его несли дьявольскую печать, но не столько врожденной порочности, сколько врожденного идиотизма. Часовой пребывал в хорошем настроении, потому что певчие птички уже проснулись и оглашали лес внизу и склоны холма веселым тысячеголосым щебетом. В этот предутренний час он забыл подделанный вексель, томительное путешествие через океан, дерзкий побег и зловещий каньон по ту сторону гор Тапу. Взор его затуманился, и он замурлыкал себе под нос незамысловатый деревенский мотив. Мысленно он снова очутился в Уэст-Райдинге, небольшой деревушке близ Йоркшира. Большой валун прямо под ним обернулся пригорком, под которым жила его Нелли — жила до тех пор, пока он не разбил ее сердце. Еще он увидел увитую плющом церковь, но уже не у подножия, а на вершине все того же пригорка. Присмотрись он получше, непременно увидел бы кое-что еще — кое-что, плохо вписывающееся в воображаемую картину, а именно — бледное, бесстрастное лицо, высунувшееся из-за валуна. Даже не подозревая, что ищейки правосудия напали наконец на его след, беглый каторжник развернулся на каблуках и зашагал в противоположном направлении, по-прежнему продолжая насвистывать мелодию своей юности.

Настало время действовать. Брэкстон добрался до последнего прикрытия на пути к вершине, и теперь только этот валун, да еще осыпь мелких камней отделяли его от границы плато. Он отчетливо слышал песенку часового, затихавшую по мере удаления последнего. Дальше

медлить было опасно. Выхватив одной рукой полицейскую саблю и зажав в другой револьвер системы Адамса, ирландец одним тигриным броском преодолел оставшееся до края расстояние и устремился вниз по склону к центру плато.

Шум от скатывающихся и сталкивающихся между собой камней грубо вырвал часового из мира сладких грез о прошлом. Он подпрыгнул, круто развернулся и сорвал ружье с плеча. Внезапно он ахнул и изменился в лице. Живописцу пришлось бы воспользоваться тюбиком ультрамарина, чтобы верно передать тот оттенок, который приобрело мгновение назад бронзовое от загара лицо. Да и что тут удивительного, если принять во внимание тот факт, что появление босоногого незнакомца в мундире с медными пуговицами означало для часового позорный арест и виселицу в ближайшем будущем. Расширенными от ужаса глазами следил он, как темная, гибкая фигура полицейского большими скачками неслась к палатке. Блеснула сталь сабельного клинка, подрубленный опорный шест с треском обломился, и брезентовое полотнище палатки обрушилось прямо на головы спящих. Оттуда послышались крики и проклятия, но все эти звуки перекрыл мощный голос, принадлежащий, судя по акценту, уроженцу Ирландии:

— Эй вы, сукины дети! У меня двенадцать зарядов, и все вы у меня на мушке. Вылезайте по одному с поднятыми руками. Да поживее, пока я не взял греха на душу! Одно неверное движение — и кое-кто раньше времени предстанет перед Небесным Престолом.

С этими словами Брэкстон нагнулся и раздвинул входное отверстие упавшей палатки, оказавшись лицом к лицу с шестью негодяями, скорчившимися внутри под тяжестью толстой парусины. Они лежали на тех же местах, где застигло их неожиданное пробуждение, и только руки у каждого были вытянуты над головой. Этот уверенный голос, подкрепленный двумя черными зрачками револьверных стволов, начисто отбивал всякую охоту к сопротивлению. Бандитам представлялось, что они окружены намного превосходящими силами полиции, и ни один из них даже помыслить не мог, что все эти "превосходящие силы" состоят из единственного стоящего перед ними человека. Часовой первым начал осознавать истинное положение вещей, находясь снаружи и не видя и не слыша никаких признаков подкрепления. Скосив взгляд на курок и убедившись, что он плотно прилегает к капсюлю патрона, он стал осторожно подкрадываться к палатке. Часовой всегда стрелял метко, в чем с готовностью мог поклясться не один лесничий с болотистых лесных угодий Йоркшира и Бредгарта. Он уже вскинул ружье и приложил его к плечу, Брэкстон услышал щелчок взводимого курка, но не осмелился повернуться на звук, чтобы не выпустить из-под прицела шестерых разбойников. Часовой навел мушку на цель. Он знал, что от этого выстрела зависит его жизнь. Идиотское выражение лица сменилось злобной решимостью. Выдержав секундную паузу, чтобы получше прицелиться, он готов был уже выстрелить, но палец его так и не коснулся спускового крючка. Выстрел прозвучал, эхом раскатившись по холмам, но после него Брэкстон по-прежнему остался стоять, держа под дулами револьверов арестованных им бандитов, зато часовой с глухим стоном повалился на землю, корчась от боли в простреленном легком.

— Видишь ли, Джек, — менторским тоном произнес Чикаго Билл, поднимаясь из-за скалы с карабином в руке, из дула которого все еще вился легкий дымок, — мне показалось как-то уж совсем непорядочным оставить тебя одного без всякого присмотра. Вот я и подумал, что не будет никакого вреда, ежели я прошвырнусь следом, ну и вмешаюсь в случае чего. Так оно и вышло — надеюсь, тебе не придет в голову это отрицать? А ну, не трожь! — рявкнул он внезапно, заметив, что рука раненого часового тянется к лежащему рядом ружью. — Оставь пушку в покое, малый, она же тебе не мешает — вот и пусть себе лежит спокойно на месте.

— Теперь мне точно конец! — простонал раненый.

— Ну так и лежи тихо, как подобает уважающему себя трупу, — посоветовал старатель. — И нечего тебе ручонки к ружьишку своему тянуть — видно, плохо тебя мама в детстве учила.

— Давай сюда, Билл! — крикнул Брэкстон. — Да прихвати веревки, которыми спутаны лошади. А теперь, — продолжил он, обращаясь к американцу, появившемуся на сцене с охапкой веревок и отобранным у часового ружьем в руках, — вяжи их по одному, а если кто дернется, пристрелю на месте.

— Неплохое разделение труда, не так ли, старый хвастун? — осведомился Чикаго Билл, щелкнув по лбу одноглазого Мэлони. — Давай лапы — уроды в первую очередь! — с этими словами он крепко-накрепко связал вожака шайки.

Одного за другим он связал всех остальных разбойников, исключая раненого, который был слишком слаб и беспомещен, чтобы его опасаться. Затем Чикаго Билл спустился вниз и привел лошадей, а Брэкстон в это время сторожил арестованных бандитов. Полдень застал

необычный караван пробирающимся сквозь лесные заросли, в направлении Поваленных Сосен — точки рандеву с остальными участниками поисковой партии. Раненый ехал верхом, надежно привязанный к седлу передней лошади, за ней пешком тащились цепочкой связанные для пущей безопасности одной веревкой разбойники, а замыкали процессию ирландец-полицейский и Чикаго Билл.

Безрадостными были лица собравшихся у Поваленных Сосен людей. Один за другим подтягивались они к назначенному месту сбора — почерневшие от загара, в разорванной шипами терновника одежде, ослабевшие от ядовитых испарений болотистых низин. Им было что рассказать о своих приключениях, но в каждой истории неизменно присутствовал один общий элемент: претерпев множество лишений и преодолев массу опасностей, никто из них так и не добился успеха. Инспектор и Саммервилл, отправившиеся по течению реки, у верхнего брода наткнулись на чернокожих аборигенов и едва сумели спастись. Полицейские Фоули и Энсон избежали опасных передряг, зато исхудали, как щепки, из-за нехватки провизии. Хартли потерял лошадь, ужаленную бушмейстером. Мердок и Мерфи обшарили весь буш аж до самого Рэтхерста, но ничего не нашли. Естественно, что все смертельно устали и не могли похвастаться хорошим настроением. Все ждали только возвращения последних двух членов отряда, чтобы официально прекратить поиск убийц и вернуться в Трафальгар.

Наступил полдень, и застывшее в зените солнце безжалостно обрушивало слепящие волны жара на лесную просеку. Люди попрятались в тень под стволы поваленных деревьев. Кто-то курил, кто-то дремал, надвинув на лицо широкополую соломенную шляпу. Стреноженные лошади выглядели столь же вяло и апатично, как и их хозяева. Только старый кавалерийский конь инспектора, казалось, не испытывал никаких неудобств от невыносимой жары. То был умный и опытный жеребец с белой звездочкой во лбу, много повидавший на своем веку и почти столь же глубоко сведущий в искусстве распутывания следов, как и сам инспектор Бертон. Чикаго Билл заметил однажды:

— Этот конь способен сделать все, что угодно, разве что на дерево залезть не сможет, да и то неизвестно, ежели его как следует прижать.

Почему-то в тот день старый ветеран заметно нервничал. Дважды он начинал прядать ушами, а потом поднял морду вверх, словно собираясь заржать, но делать этого не стал, решив, видимо, сначала выдержать необходимую паузу. Внимательно приглядывающийся к коню инспектор встал и решительно убрал свою пенковую трубку обратно в футляр. Пенковые трубки всегда были единственной слабостью старого Джима Бертона. Мне не раз доводилось слышать его знаменитую присказку:

— Джентльмена видать по его трубке — и будь я проклят, если это не так! Даже у разорившегося джентльмена нельзя отнять его трубку.

Футляр с трубкой инспектор аккуратно уложил во внутренний карман мундира и подошел к жеребцу, уши которого все еще продолжали чуть заметно подрагивать.

— Он что-то слышит! — с уверенностью заявил Бертон. — Клянусь Юпитером, я тоже! А ну-ка, подъем, парни! Сюда приближается целый отряд!

Повинуясь приказу инспектора, каждый бросился к своей лошади и приготовился, а тот тем временем продолжал:

— Я слышу стук копыт и топот шагов. Народу много. Двигаются прямо на нас. Всем залечь, ребята, и ружья держать наготове!

Люди мгновенно рассыпались направо и налево. В несколько мгновений прогалина опустела, и лишь торчащие то тут, то там среди высоких трав стволы ружей указывали выбранную каждым позицию.

— Спокойно, ребята, — предупредил инспектор. — Если это враги, не открывать огонь без моей команды. Целиться пониже, стрелять по очереди, после каждого выстрела выждать, пока не рассеется дым. Клянусь Юпитером, это каторжники! — воскликнул Бертон, завидев первого из верховых, чей конь только что выехал на просеку; голова всадника бессильно болталась и упиралась лицом в лошадиную гриву. — А вот и еще! — зарычал он при виде нескольких пеших, появившихся следом за конным. — Клянусь всеми святыми, они под арестом! Я вижу веревки. Ура!

В следующее мгновение на просеке показались Брэкстон и Чикаго Билл. Их обступили со всех сторон девять смеющихся, вопящих от радости, приплясывающих мужчин. Их тискали, дергали, хлопали по спине и обнимали с таким азартом, что одноглазый Мэлони не выдержал

и прошептал на ухо соседу, криво ухмыляясь:

— Если б у нас хватило духу сделать с ними хотя бы это, все мы сегодня были бы на свободе.

История наша подошла к концу. Мы поведали вам о событиях, достойных, по нашему мнению, внимания более широкой аудитории, нежели подвыпившие посетители салуна или какие-нибудь фермеры-овцеводы, коротающие вечера у камина в семейном кругу. Захват молодым полицейским Брэкстоном банды убийц долго еще служил предметом горячего обсуждения в среде наших соотечественников, населяющих Англию Южных Морей.

Мы не станем описывать в подробностях радостное возвращение в Трафальгар, восторженный прием, оказанный героям, вовремя пресеченную попытку линчевать преступников, равно как и тот прискорбный факт, что архипреступник Мэлони, согласившийся на сделку с Королевским Судом и давший показания против своих подельников, избежал таким образом заслуженной петли. Все это вы можете сами прочитать в колониальной прессе и получить куда более полное представление о событиях, чем если бы этим занимался ваш покорный слуга. Чикаго Билла я встретил в последний раз в 1861 году в Лондоне, где тот показывал посетителям Всемирной Выставки один из экспонатов — знаменитый барк «Веллингтония». Боюсь, старина Билл начал полнеть, особенно с тех пор, как решил заняться выращиванием овец. Сейчас он весит двести сорок фунтов, тогда как в лучшей своей боевой форме весил около двухсот. Несмотря на это, выглядит он здоровым и жизнерадостным. Мэлони все-таки не избежал виселицы его линчевали в Плейсервилле, так, по крайней мере, мне рассказывали. С последней почтой я получил письмо от старого инспектора Бертона. Он ушел в отставку и завел ферму близ Рэтхерста. Мне почему-то кажется, что, несмотря на всю свою испытанную храбрость, он внутренне содрогается каждый раз, отправляясь по четвергам на ярмарку в Трафальгар и проезжая по пути туда крутой поворот, где высятся вдоль дороги огромные валуны и щемяще желтеет дрок на фоне красного глинозема.

*1893 г.*

**Убийца, мой приятель**

— Сорок третьему номеру никак не становится лучше, доктор, — с заметным упреком в голосе сообщил старший надзиратель, просунувший голову в приоткрытую дверь моего кабинета.

— Ну и черт с ним, с сорок третьим номером! — ответствовал я, не отрываясь от свежего выпуска "Австралийского хроникера".

— А 61-й жалуется на боли в горле. Неужели вы ничем не можете ему помочь?

— Этот тип и так напоминает ходячую аптеку! — возмутился я. — Он пожирает не меньше половины всей продукции британской фармацевтической промышленности; что же касается его горла, то оно здоровей, чем у нас с вами.

— Еще поступили жалобы от седьмого и сто восьмого номеров, — продолжал старший, сверившись с записями на голубом листочке бумаги, — но эти двое хроники, двадцать восьмой вчера отказался работать — заявил, что от поднятия тяжестей у него в боку колоть начинает. Если не возражаете, доктор, я попросил бы вас осмотреть его. Да, еще с тридцать первым неладно. Это тот самый, что убил Джона Адамсона с брига «Коринф». По ночам с ним такое творится, что никакого сладу, — кричит, стонет, мечется.

— Ну, ладно, ладно, схожу посмотрю попозже, — сказал я со вздохом, отложил газету и налил себе чашечку кофе. — Надеюсь, больше у вас ко мне ничего серьезного нет?

Надзиратель просунул голову в помещение еще на несколько дюймов и, понизив голос, заговорил конспиративным тоном:

— Прошу прощения, доктор, но я заметил, что восемьдесят второй навроде как простыл и кашляет. Вот вам хороший предлог заглянуть к нему в камеру и поговорить, ежели повезет.

Чашка кофе застыла у меня в воздухе на полпути к губам, а я в изумлении воззрился на абсолютно серьезную физиономию тюремного чиновника.

— "Предлог"? "Если повезет"? Да о чем, черт возьми, вы изволите толковать, Макферсон?! — воскликнул я в искреннем негодовании. — Разве вам не известно, что, помимо заключенных, я обслуживаю еще и жителей нашего города и каждый вечер приползаю домой на четвереньках, уставший как собака? А вы позволяете себе навязывать мне дополнительного пациента, да еще утверждать, что мне нужен предлог для того, чтобы его посетить?!

— Ручаюсь, доктор, он вам понравится, — настаивал Макферсон, успевший к этому времени просунуть в дверь еще и плечо. — История этого парня заслуживает внимания, если только вам удастся его расшевелить, хотя он по натуре не из тех, кого можно назвать разговорчивыми. А, может, вы просто не знаете, кто такой восемьдесят второй номер?

— Не знаю и знать не желаю! — отрезал я в полном убеждении, что надзиратель пытается навязать мне в качестве знаменитости какого-нибудь местного подонка.

— Его фамилия Мэлони, — сказал Макферсон. — Тот самый, что согласился выступить королевским свидетелем в деле об убийствах в Блюмендайкском каньоне.

— Не может быть! — От волнения я поставил чашку обратно на стол, так и не донеся ее до рта. Это имя было мне хорошо знакомо. Я слышал о череде безжалостных убийств и даже читал очерк об этом деле в одном из лондонских журналов задолго до переезда на жительство в колонии. Я припомнил, что по степени жестокости описанные преступления превосходили деяния таких печально знаменитых извергов, как Берк и Хейр, а также тот факт, что один из главарей банды спас свою шкуру, согласившись дать на суде показания против своих подельников.

— Вы уверены? — спросил я, уже чуточку спокойней.

— Еще бы! Это Мэлони, можете не сомневаться. Главное — разговорить его, доктор, а уж потом вы такое услышите, что и во сне не приснится. С таким малым стоит познакомиться поближе, и это еще скромно сказано! — добавил он с ухмылкой, после чего вобрал голову в плечи, прикрыл дверь и исчез, оставив меня заканчивать завтрак в одиночестве и размышлять о только что услышанной сногсшибательной новости.

Тюремный врач в Австралии — должность незавидная. В Сиднее или Мельбурне к этой службе можно приспособиться, но в таком маленьком городишке, как Перт, развлечься почти нечем,

а те немногие возможности рассеять скуку, которые там все же имеются, давным-давно приелись. Климат здесь отвратительный, а местное общество лишь немногим ему уступает. Овцы и крупный рогатый скот — основа благосостояния большей части населения, поэтому главным предметом разговора служат цены на шерсть и мясо, проблемы разведения, выведение новых пород и заболевания животных. Будучи приезжим и «чужаком» и не разбираясь ни в одной их вышеупомянутых тем, я безнадежно зевал, когда рядом с жаром обсуждали новые методы дезинфекции овец или способы лечения шелудивости. В результате я оказался в состоянии интеллектуальной изоляции и рад был любой зацепке, способной хоть немного развеять монотонность моего существования. В такой ситуации убийца Мэлони, несомненно обладающий ярко выраженной индивидуальностью и своеобразной манерой поведения, мог послужить катализатором в пробуждении к активной деятельности моего изрядно отупевшего мозга. Я принял твердое решение последовать совету надзирателя и постараться поближе познакомиться с этой загадочной личностью. Закончив утренний обход, я остановился перед дверью с номером «82», мгновение постоял перед ней, а затем открыл замок и вошел.

Обитатель камеры лежал на тюремной койке, но при моем появлении встрепенулся, резко, повернулся в мою сторону, спустил на пол длинные ноги и сел, устремив на меня наглый, вызывающий взгляд, не суливший ничего хорошего для предполагаемой доверительной беседы между нами. Его резко очерченное бледное лицо, волосы песочного цвета и единственный глаз сине-стального оттенка придавали физиономии заключенного неуловимое сходство с хищником из семейства кошачьих. Роста он был высокого, с хорошим телосложением и развитой мускулатурой, вот только плечи у него чрезмерно сутулились, создавая впечатление горбатости. Столкнувшись с этим человеком где-нибудь на улице, случайный наблюдатель увидел бы перед собой ладно скроенного мужчину с довольно привлекательной наружностью и манерами щеголя. Последнее выражалось даже в том, как Мэлони носил уродливую тюремную одежду в одном из самых гнилых исправительных заведений в стране — полосатая роба и такие же штаны не могли скрыть того достоинства, с которым этот злодей держался в обществе заключенных более мелкого пошиба.

— Я не подавал жалобу, что болен, — заявил он с места в карьер резким, скрипучим голосом, сразу напомнившим мне, что я имею дело не с заурядным воришкой, а с «героем» Лина-Вэлли и Блюмендайка — самым кровожадным и жестоким беглым каторжником из всех, кто когда-либо грабил фермы и перерезал глотки их хозяевам на этом континенте.

— Я знаю, что вы не подавали жалобы, — сказал я, — но надзиратель Макферсон сообщил мне, что вы простыли, вот я и решил зайти взглянуть на всякий случай.

— Разрази гром надзирателя Макферсона и вас вместе с ним! — заорал заключенный в порыве ярости. — А теперь проваливай отсюда, лекаришка, добавил он уже не так громко. — Ступай, доложи обо всем коменданту. Что же ты стоишь? Иди! Думаешь, я не знаю ваши штучки? Вам только и надо поймать меня, чтобы довесить к сроку еще шесть месяцев!

— Я вовсе не собираюсь никому докладывать! — возразил я возмущенно.

— Восемь квадратных футов, — продолжал он с горечью, не обращая внимания на мой протест и, похоже, стараясь завести себя для новой вспышки. — Всего восемь квадратных футов, но и на этом крошечном пространстве меня не могут оставить в покое! Ходят, глазеют, выспрашивают… Черт бы побрал все ваше проклятое семя! — И Мэлони в бессильном гневе потряс над головой сжатыми в кулаки руками.

— Любопытные у вас представления о гостеприимстве, — заметил я сдержанным тоном; твердо решившись не поддаваться на провокацию и сохранять спокойствие и выдержку, я брякнул первое, что пришло в голову.

К моему удивлению, слова мои оказали на узника экстраординарное воздействие. Судя по всему, он воспринял их как поддержку только что высказанного им гневного протеста против посягательств на уединение в том жалком помещении, которое он с некоторой натяжкой мог считать своим домом.

— Прошу прощения, дорогой доктор, — произнес он с отменной вежливостью. — Я вовсе не имел намерения показаться вам грубияном. Не желаете ли присесть? — осведомился он, жестом указывая на деревянные козлы, служившие изголовьем для его ложа.

Я механически уселся на предложенное «кресло», все еще не успев прийти в себя от изумления при столь резкой перемене тона. Не могу сказать, что в новом облике Мэлони был мне более симпатичен, чем в прежнем. Необузданный разбойник и убийца исчез на время, но за подобострастной манерой поведения и гладкой, вежливой речью явно проглядывал облик

бессовестного стукача, ради сохранения собственной шкуры заложившего на суде всех своих сообщников.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я, напуская на себя профессиональный вид.

— Да бросьте вы это, доктор! — отмахнулся Мэлони. — Бросьте! — Он усмехнулся, обнажив два ряда ровных белых зубов, и уселся на койку рядом со мной. — И не пытайтесь уверить меня, что в мою камеру вас привела исключительно забота о моем драгоценном здоровье. Со мной этот номер не пройдет. Вы пришли поглядеть на Вульфа Тона Мэлони, фальшивомонетчика, убийцу, грабителя, беглого каторжника и королевского свидетеля. Это все я, верно? Все чин чином, черным по белому, и я не стыжусь своей биографии!

Он выдержал паузу, как бы приглашая меня что-либо возразить, но я сохранял молчание и тогда он с нажимом в голосе повторил:

— Да-да, я не стыжусь своего поступка! Да и чего, собственно, мне стыдиться? — неожиданно закричал он во весь голос с пылающим взором, на миг вернувшись в прежнее обличье дикого зверя в человечьей шкуре. — Всем нам светила веревка, всем до единого! Так какая им разница, что я спасся, дав показания против них? Каждый за себя, один Сатана за всех, — вот мой девиз. Кстати, док, у вас табачку не найдется?

Я протянул ему плитку «Баррета», и он вгрызся в нее, как изголодавшийся волк. Табак, похоже, успокаивающе подействовал на его нервы, потому что спустя несколько минут он возобновил свои речи в прежней спокойной манере.

— Вы уж не обижайтесь на меня, доктор, если я иногда сорвусь, — сказал он, — да только и вам на моем месте пришлось бы несладко. В этот раз меня заперли на шесть месяцев за драку, но когда я выйду, мне придется еще тяжелей, можете быть уверены. Здесь, в тюряге, у меня жизнь идет без забот, а как выйдешь на волю — сразу со всех сторон обложат! С одной стороны полиция, а с другой — Татуированный Том из Хоуксбери. Никак не дадут человеку пожить спокойно.

— А кто это такой? — спросил я.

— Родной брат одного из тех парней, что тогда вздернули по моей милости. Тоже редкостная сволочь! Оба они — самое настоящее дьявольское отродье. Татуированный Том — мокрушник и громила; после суда он во всеуслышание поклялся, что не успокоится, пока не выпьет моей кровушки. Прошло уже семь лет, но он до сих пор меня пасет. Я это точно знаю, хотя он залег на дно и башку старается не высовывать. Первый раз он пытался прикончить меня в Балларате, в семьдесят пятом году. Видите шрам на тыльной стороне ладони? Это его пуля. В семьдесят шестом, в Порт-Филиппе, он снова стрелял в меня, но в тот раз я оказался быстрее и сам его ранил. Через три года в портовом баре в Аделаиде Том воткнул мне перо в бок, так что на сегодня мы с ним вроде как квиты. Вот и сейчас, я уверен, он ошивается где-то поблизости и ждет не дождется, когда я выберусь отсюда, чтобы просверлить в моей шкуре пару дырок из своего шестизарядного. Скорее всего, это ему удастся, если только, по счастливой случайности, кто-нибудь раньше не продырявит его шкуру! — И на губах Мэлони заиграла зловещая усмешка.

— Собственно говоря, — продолжал он, — меня волнует не столько Том, сколько отношение властей. С Томом мы как-нибудь разберемся — это дело, можно сказать, семейное, а вот власти меня совсем достали! Если прикинуть, чем власти обязаны мне, и чем они мне за это отплатили, — поневоле взбесишься! Порой кажется, что чиновники не способны испытывать даже элементарной благодарности, не говоря уже о порядочности, честное слово, док!

На несколько минут Мэлони погрузился в угрюмое молчание, должно быть, размышляя о несправедливости и неблагодарности властей, а затем начал излагать в подробностях все свои претензии. — Вот возьмите банду из девяти человек, — начал он, — убивавшую и грабившую на протяжении трех лет. Если посчитать в среднем, выйдет где-то по трупу каждую неделю. Власти арестовывают банду и производят следствие, но осудить никого не могут. Почему? Да потому что нет ни одного свидетеля — все, кто мог дать показания, давно гниют где-нибудь с перерезанным горлом. В таких делах всегда стараются получше спрятать концы в воду. Что же дальше? А дальше появляется патриот и гражданин Вульф Тон Мэлони и заявляет: "Моя страна нуждается во мне, и я готов ей помочь." Потом он дает показания, на основании которых судьи приговаривают всю шайку, а судебные исполнители накидывают им пеньковые галстуки. Вот что я совершил! Так чего же мне стыдиться? И вы думаете, меня кто-нибудь поблагодарил? Черта с два, сэр! Вместо награды власти запирают меня в тесную камеру, поливают грязью, оскорбляют, следят днем и ночью, начисто позабыв, что я для них сделал. Разве не обидно подобное отношение? Само собой разумеется, я не рассчитывал, что меня

возведут в рыцарское достоинство или предложат пост в министерстве колоний, но неужели, дьявол их раздери, власти не могут оставить меня в покое?!

— Но вы же сами сказали, что сидите за драку, — возразил я. — Вы нарушили закон, совершили новое преступление — причем же здесь былые заслуги?

— Я не имею в виду мое теперешнее местопребывание, сэр, — с холодным достоинством ответил Мэлони. — Меня угнетает и бесит та жизнь, которую, по милости властей, мне приходится вести вот уже семь лет, прошедших с того достопамятного суда. Посидите еще немного на этих козлах, если не пропало желание, и я вам все расскажу. А когда вы узнаете мою историю до конца, сами сможете судить, справедливо или несправедливо обошлись со мной полицейские и правительственные чины.

Я постараюсь изложить чуть ниже воспоминания бывшего каторжника и убийцы в том виде и объеме, в каком сам их услышал, сохраняя, по возможности, стиль и лексику повествования, а также удивительно извращенные представления рассказчика о добре и зле, справедливости и несправедливости и его собственном «я». За точность приведенных фактов могу поручиться, хотя не во всем готов согласиться с Мэлони в их трактовке. Несколько месяцев спустя инспектор Х. У. Ганн, бывший комендант тюрьмы в Данидине, позволил мне ознакомиться с материалами из своего досье, подтверждавшими каждое слово Мэлони. Рассказывал он свою историю глухим, невыразительным, монотонным голосом, опустив голову на грудь и скрестив руки на коленях. Лишь изредка он вскидывал голову, и тогда хищный змеиный блеск его единственного глаза позволял судить о глубине эмоций, вызванных воспоминаниями о пережитом.

— Вы наверняка читали о событиях в Блюмендайкском каньоне, — начал он, не без гордости в голосе. — Мы тогда здорово задали всем жару, но в конце концов нас все-таки повязали. Это сделали двое: полицейская ищейка по имени Брэкстон и проклятый янки. Вдвоем повязали всех девятерых! Ну, а потом нас всех отправили в Данидин, что в Новой Зеландии, и там восьмерых осудили и вздернули. Я хорошо помню, как они грозили мне кулаками со скамьи подсудимых и проклинали на все лады такими страшными словами, что кровь в жилах холодела. Не очень-то это честно было с их стороны, если учесть, что много лет мы были друзьями и делили последний кусок хлеба. Да что говорить душонки у них всегда были черные и мелкие, и думал каждый только о себе. Я так считаю: очень хорошо, что их повесили.

Ну, а меня отвезли обратно в тюрьму и посадили в прежнюю мою камеру. От прочих заключенных я отличался только тем, что меня не гоняли на работу; да кормили малость получше. Я молча терпел неделю или две, но потом не выдержал и обратился к коменданту, когда тот делал ежедневный обход.

— Как же так, начальник, — говорю я ему, — мне была обещана полная свобода и прощение грехов, а вы держите меня тут в нарушение своих же законов!

Этот хмырь ухмыляется во всю пасть и говорит мне с подковырочкой:

— Ну, а ты бы, конечно, очень хотел поскорее отсюда убраться, не так ли?

— Само собой, начальник! — говорю я ему. — И еще предупреждаю, если вы меня сейчас же не отпустите, я подам на вас в суд за незаконное задержание.

Он аж глаза вылупил от такой моей решимости, потом засмеялся и говорит:

— Ты, никак, торопишься со своей смертью повстречаться?

— Как так, начальник? — говорю я.

— А вот пойдем со мной — я тебе все и покажу.

И ведет он меня в тюремный коридорчик, подводит к окошку, что смотрит на центральные ворота, и ехидно так ручкой показывает, смотри, мол! Гляжу я в окошко, а возле входа толчется с дюжину эдак парней; наружность у них, конечно, грубая, рожи злые. Кто курит стоит, кто в картишки прямо на мостовой режется. Как увидали они мою физиономию — такое началось! Кричат, свистят, в ворота барабанят.

— Это они тебя поджидают, — говорит мне комендант ласковым таким голоском. — В две смены дежурят. Это все члены добровольного комитета, специально созданного в твою честь. Но если ты продолжаешь настаивать, я, разумеется, не имею права тебя задерживать.

— И вы называете эту страну цивилизованной! — говорю я ему. — Что же это за

цивилизованность такая, если вы позволяете расправиться с человеком на виду у всех средь бела дня?

Говорю я это, у самого слезы на глаза наворачиваются, а комендант со своими шавками зубы скалят, как будто я им что-то смешное ляпнул.

— Моя юрисдикция распространяется только на эту тюрьму, а за ее пределами я бессилен, — говорит мне комендант. — Закон на вашей стороне, мистер Мэлони. Вы свое желание ясно высказали, поэтому не смею вас больше задерживать. Надзиратель, проводите этого человека к воротам.

Смотрю я на него и вижу: ведь выкинет сейчас на растерзание, черная душа! Пришлось мне тогда чуть ли не в ногах у него валяться, умолять да упрашивать. Помнится, я тогда им предложил даже из своего кармана за крышу и харчи доплачивать — а это уж вещь для заключенного вовсе неслыханная! Сжалился надо мной все-таки этот гад, но поизгалялся сначала вдосталь. Три месяца просидел я в тюряге — за свой счет, заметьте, — и все три месяца каждый хулиган в городе считал своим долгом нести ежедневное дежурство по ту сторону стены. Сами видите теперь, какое у нас отношение к человеку, оказавшему своей стране важную услугу!

И вот как-то утром заваливает в мою камеру комендант со свитой.

— Скажи-ка нам, Мэлони, — говорит он, — долго еще ты собираешься радовать нас своим обществом?

С каким наслаждением воткнул бы я ножик в этого поганца, повстречайся он мне где-нибудь в буше! А тут пришлось улыбаться, юлить и чесать ему спинку, потому как я до смерти боялся, что он опять прикажет меня выпустить.

— Мэлони, ты — живое исчадье ада, — сказал он мне слово в слово; мне, человеку, который так ему помог, — но я не хочу самосуда. Мне кажется, я нашел способ, как от тебя избавиться и переправить за пределы Данидина.

— Спасибо, начальник, век вас помнить буду, — сказал я ему в ответ и, клянусь Богом, постараюсь сдержать когда-нибудь свое обещание.

— Мне твоя благодарность ни к чему, — фыркнул он, — и я не для тебя стараюсь. Мне просто до смерти надоел весь этот бардак в городе и вокруг моей тюрьмы. Завтра из Уэст-Ки отправляется пароход в Мельбурн. Мы тайно посадим тебя на него. Отплытие на рассвете, в пять утра, так что будь готов.

Собрал я вещички, которых у меня, по правде сказать, почти и не было, и через задний выход перед самым восходом меня вывели из тюрьмы и отвезли на пристань. Я поспешил подняться на борт. При посадке никто меня не заподозрил, так как билет был выписан на имя Айзека Смита. Помню, как начали вращаться со скрежетом пароходные винты, как отдали концы и как стали отдаляться за кормой редкие огоньки спящего Данидина. Я стоял у фальшборта, дышал свежим воздухом и с удовольствием думал, что никогда больше не вернусь в эту дыру. В те минуты казалось, будто весь мир распахнут передо мной, а все неприятности остались позади на веки вечные. Я спустился вниз и выпил чашечку кофе, а потом снова поднялся на палубу, чувствуя себя человеком впервые, пожалуй, с того дня, как тот ирландский ублюдок наставил на меня свою шестизарядную пушку и взял тепленьким со сна.

Солнце к этому времени уже взошло, и мы шли вдоль берега. Данидин давно скрылся из виду. Пару часов я бесцельно слонялся по палубе, а когда начало пригревать, наверх стали потихоньку выползать другие пассажиры. Один из них, низенький, тощий и очень настырный малый только глянул на меня и сразу вцепился, как репей, со своими вопросами.

— Старатель, наверное? — говорит он.

— Да, — отвечаю.

— Намыли, небось, немало? — интересуется он.

— Порядочно, — говорю я.

— Сам этим занимался когда-то, — начинает рассказывать он. — Месяца три горбатился на приисках Нельсона. Потратил все деньги на покупку участка, а мне подсунули «засоленный» и на следующий день золотишко там иссякло. Делать было нечего, и я начал копать дальше. Мне повезло — на глубине открылась россыпь. Вот только, когда золото отправляли в город,

на фургон напала шайка беглых каторжников, и я в результате опять остался без единого цента.

— М-да, паршиво получилось, — говорю я ему.

— Начисто разорился! — хвастается он. — Но я все равно доволен: своими глазами видел как вешали тех мерзавцев, что меня ограбили. Не так обидно вы меня понимаете? Из них только один остался в живых — тот, что заложил их на суде, согласившись выступить королевским свидетелем. Эх, повстречаться бы с ним хоть разочек — и тогда я смогу умереть счастливым. Когда я с ним увижусь наедине, то сделаю две вещи…

— Что за две вещи? — спрашиваю, хотя мне в общем-то наплевать.

— Сначала я выпытаю у него, где спрятано мое золото — у них не было ни времени, ни возможности реализовать награбленное, и добыча наверняка так и лежит зарытая где-нибудь в горах. А потом я самолично сверну ему шею и отправлю душу туда, где уже поджариваются грешные души преданных им товарищей.

Мне стало так смешно, когда он с жаром говорил о зарытом в горах кладе человеку, который сам его закапывал, что я чуть было не расхохотался прямо ему в лицо. Хорошо, я вовремя заметил, как внимательно он за мной наблюдает. У этого грязного хорька наверняка возникли какие-то подозрения на мой счет. Чтобы отделаться от него, я сказал ему, что пойду поднимусь на мостик, — не тот это был человек, с которым имело смысл поддерживать отношения, но он и слышать не хотел, что я собираюсь его покинуть.

— Мы же оба старатели, а значит — кореша, по крайней мере, на этот рейс, — говорит он. — Пойдем лучше в бар — я еще не настолько обеднел, чтобы не угостить приятеля.

Я так и не смог ничего придумать, чтобы отказаться, и мы с ним вдвоем спустились вниз. С этого все и началось. Ну вот, скажите, что плохого сделал я пассажирам того парохода? Мне ничего от них не было нужно, я только хотел тихо и мирно жить своей жизнью так, чтобы я никому не мешал, но и мне никто в душу не лез. Кто осмелится сказать, что я просил слишком многого? А теперь послушайте, что из этого получилось.

Идем мы, значит, по коридору в салун, как вдруг из одной каюты первого класса выходит молодая девка с ребенком на руках — горничная или кормилица, короче, прислуга. Симпатичная такая, стерва, и вся в веснушках. Проходим мы мимо нее, а она как заорет — ни дать, ни взять паровозный гудок. И ребенка чуть на пол не уронила. У меня от ее вопля чуть сердце из груди не выпрыгнуло, но я, понятное дело, поворачиваюсь к девчонке и вежливо извиняюсь: простите, мол, леди, что я вам случайно на ножку наступил. Но как только я увидел ее побелевшее лицо, так сразу понял, что инкогнито мое накрылось. Она прислонилась к стенке, вся дрожит и тычет в меня пальцем:

— Это он! Это он! Я его на суде видела! Не позволяйте ему дотрагиваться до ребенка!

На крик прибежал стюард, и не успел я глазом моргнуть, как вокруг нас собралось около дюжины пассажиров.

— Кто он, девушка? — спрашивает стюард, а та совсем очумела и кричит:

— Это Мэлони! Мэлони! Он убийца! Заберите его скорей, а то я боюсь!

Что было потом, точно описать затрудняюсь, помню только, как мебель в щепки разлеталась. Кто-то ругался, кто-то стонал, кто-то требовал назад свое золото. В общем, славно повеселились. Когда я пришел в себя, во рту у меня торчала чья-то рука. Как позже выяснилось, принадлежала она тому парню из Нельсона, что собирался меня угостить. Ему даже удалось часть ее извлечь, но только после того, как меня малость придушили. Да, в этом мире на справедливость рассчитывать бесполезно, особенно, если раз оступился. Одно меня утешает: тот хорек теперь всю жизнь меня помнить будет, не только на этом, но, надеюсь, и на том свете тоже.

Они отволокли меня на полуют и затеяли судить судом военного трибунала — это меня, вы понимаете, меня, который ради их же блага продал полиции своих товарищей! Ох, как же они препирались, что со мной делать дальше! Одни говорили одно, другие — совсем другое, а кончилось все тем, что капитан решил высадить меня на берег. Пароход остановился, спустили шлюпку, затем в шлюпку спустили меня, и все это время толпа бесновалась на палубе, изрыгая проклятия в мой адрес. Я заметил среди пассажиров того парня с перевязанной рукой и решил, что я еще дешево отделался.

Мы еще не пристали к берегу, а я уже переменил свое мнение. Я-то надеялся что там никого не будет, и мне удастся без помех пробраться в глубь страны, но пароход не успел еще отойти достаточно далеко от населенных мест, и на берегу в ожидании шлюпки сразу собралось полдюжины любопытствующих типов. Старшина-рулевой тут же раззвонил этим бродягам, кто я такой, а потом вместе с гребцами просто выкинул меня за борт на глубине десяти футов, нисколько не заботясь о том, что акул в тех водах не меньше, чем зеленых попугаев в буше. Я слышал, как они ржали надо мной, пока я, отплевываясь соленой водой, плыл к берегу.

На суше оказалось похлеще, чем в воде. Я выполз на песочек, стряхивая с себя водоросли, и меня сразу схватил за шкирку здоровенный малый в вельветиновой куртке, а человек шесть его приятелей крепко заломили мне руки за спиной. Большинство из этих ребят были простыми парнями — их я не очень боялся, но один из их компании — противный хлюст в широкополой шляпе — сразу мне не понравился из-за надутой рожи, да еще, к тому же, он оказался дружком верзилы-главаря.

Ну, так вот, вытащили они меня на пляж, руки отпустили, зато окружили со всех сторон. Тот, что в шляпе, мне и говорит:

— Мы тебя, приятель, как только про суд узнали, давно уже поджидаем в здешних краях.

— Что ж, — говорю я, — очень мило с вашей стороны.

— А ты, тварь, заткни пасть, если дорожишь зубами! — говорит он и обращается к своим: — Что сделаем с этим ублюдком, друзья? Повесим, утопим или пристрелим? Кто хочет высказаться?

Уж больно мне эти ребята деловыми показались, и начал я всерьез беспокоиться.

— О чем это вы, — говорю, — парни, толкуете? У меня бумага от властей с помилованием имеется, так что отвечать придется как за убийство!

— Поди, когда сам убивал и грабил, не думал, как это называется! прокаркал здоровяк в вельветиновой куртке.

— Так вы хотите прикончить меня за то, что я был грабителем и убийцей?

— Плевать нам на это с высокой башни, — говорит главарь, — а подвесить мы тебя собираемся за то, что ты дружков своих заложил. И ни слова больше, мразь, — тут тебе не суд с адвокатами!

Накинули они мне на шею веревку и потащили в лес. Там на опушке росли дубы и эвкалипты. Выбрали они подходящий дуб и полезли на него, чтобы, значит, подготовиться к своему мерзостному деянию. Конец веревки перекинули через нижний сук, связали мне руки за спиной и велели читать молитву, только не очень долго. Совсем уж было конец мне пришел, но Провидение, видать, решило, что умирать мне еще рановато. Теперь-то легко об этом говорить, сидя тут с вами, сэр, а тогда мне совсем хреново сделалось на той опушке: за спиной буш, перед глазами пустынный пляж, линия прибоя и одинокий пароход на горизонте, а вокруг — полдюжины головорезов, жаждущих моей крови.

Раньше мне бы и в кошмарном сне не привиделось, что я однажды буду радоваться появлению полиции, а только в тот раз именно они меня и спасли. Отряд конной полиции как раз ехал из Хоукс-Пойнта в Данидин. Они услыхали подозрительный шум и свернули с дороги в буш, чтобы узнать, в чем там дело. В свое время послушал я немало хорошей музыки, но ни один знаменитый оркестр не выдавал такой ангельской мелодии, как шпоры на сапогах и бляхи на сбруе у тех полицейских, когда они галопом выскочили на пляж всем скопом. Мои новые знакомые все равно попытались меня вздернуть, но полицейские были быстрее, и тот парень в шляпе получил плашмя саблей по голове, как только начал тянуть за веревку. Меня же погрузили на коня, и уже к вечеру я очутился в своей старой камере в Данидинской тюрьме.

Коменданта не обескуражила первая неудача. Он твердо решил от меня отделаться, а я так же твердо намеревался сделать все возможное, чтобы никогда больше с ним не встречаться. Он подождал с неделю или около того, пока все не уляжется, а потом тайно переправил меня на борт трехмачтового брига, идущего в Сидней с грузом кож и бараньего жира.

Мы вышли в море без сучка и задоринки, и я уже начал видеть мир в розовом цвете, по крайней мере, был уверен, что навсегда развязался с тюрягой. Команда брига, видать, догадывалась, кто я такой, и случись за время плавания шторм, меня бы, скорее всего, под шумок незаметно спихнули за борт. Парни на бриге подобрались грубые, необразованные и

считали мое присутствие на судне плохой приметой. Но погода стояла хорошая, плавание проходило спокойно, и я благополучно высадился на набережную в Сиднее.

Слушайте теперь, что случилось со мной дальше в этом поганом городе. Вы думаете, наверное, что властям, должно быть, уже надоело следить за мной, преследовать и наступать на пятки? Как бы не так! Вы слушайте, слушайте. Получилось так, что в один день с бригом из Данидина вышел в Сидней какой-то вшивый пароходишко и прибыл туда на сутки раньше нас, привезя известие, что я должен вот-вот появиться. И что бы вы думали, сделали эти сиднейцы? Они собрали митинг — да-да, самый настоящий митинг, прямо в порту, чтобы, значит, совместно обсудить, как им со мной поступить. Я, понятно, ни о чем таком не знал и не успел оглянуться, как оказался в гуще толпы. Церемониться со мной долго не стали: тут же арестовали, да еще заставили выслушать все речи и резолюции, которые там произносились. Будь на моем месте какой-нибудь заморский принц — и то бы его не смогли встретить с большей помпой! В конечном счете митингующие сошлись на том, что власти Новой Зеландии не имеют морального права подкидывать своих преступников соседям, поэтому меня следует незамедлительно отправить обратно на первом же попутном судне. Они послали меня назад, как паршивую почтовую бандероль, не нашедшую адресата! Снова за спиной остались восемьсот морских миль, а я в третий раз подряд очутился в том самом месте, откуда начал свой путь.

К этому времени мне уже стало мерещиться, что я обречен провести остаток жизни, мотаясь из Данидина по близлежащим портам и обратно. Каждый встречный прохожий грозил обернуться врагом, и куда ни кинь взгляд, нигде не светило мне обрести желанный покой. Снова вернувшись в тюрьму, я понял, что не могу больше так жить. Если бы только можно было вернуться в буш, разыскать старых корешков и зажить прежней жизнью, — клянусь, я так бы и сделал! Но меня держали под замком и неусыпным наблюдением. Признаюсь, однако, что мне все-таки удалось как-то раз усыпить их внимание и откопать тот самый клад в горах, о котором я вам уже рассказывал. Золотишко я зашил в пояс и всегда носил с собой. В тюряге я просидел еще месяц, а потом меня опять тайком переправили на очередную посудину — на этот раз парусный барк, отправляющийся в Англию.

Тюремщики позаботились, чтобы экипаж ничего обо мне не узнал. Знал только капитан, но и он до конца плавания ничем себя не выдал в моем присутствии. Впрочем, я с самого начала понял, что он негодяй. Переход в Англию выдался удачным, если не считать парочки штормов близ мыса Доброй Надежды, и я уже начинал ощущать себя свободным человеком, когда на горизонте засинели в дымке берега старушки-родины, а у борта заплясала на волне лоцманская шлюпка из Фальмута. Он провел нас по Каналу, но еще до Грейвсенда я успел договориться с лоцманом, что тот доставит меня на берег в своей лодчонке. И тогда же капитан доказал, что я был прав, считая его хитрой и коварной бестией. Я упаковал все свои нехитрые пожитки и пошел завтракать, оставив лоцмана разговаривать с капитаном. Когда я снова поднялся на палубу, судно уже порядочно продвинулось вверх по реке, но лоцманской шлюпки, которая должна была отвезти меня на берег, нигде не было видно. Шкипер сказал, что лоцман позабыл, наверное, о нашем договоре, но я ему не поверил ни на грош. Похоже было, что в Старом Свете меня начинают преследовать прежние злоключения.

Понадобилось совсем немного времени, прежде чем подтвердились худшие мои опасения. Из речной протоки к борту стрелой метнулась шлюпка, и на палубу поднялся крупный детина с окладистой черной бородой. Я слышал, как он предлагал помощнику свои услуги в качестве речного лоцмана, но у меня глаз наметанный, и я сразу просек, что этот малый знает о наручниках и револьверах куда больше, чем о мелях и перекатах. Я старался держаться от него подальше, а он, наоборот, расхаживая по палубе, пытался со мной заговорить и все время норовил заглянуть мне в лицо. Я любопытных никогда не любил, а если это еще и незнакомец, у которого клей на бороде не успел высохнуть, так тут поневоле призадумаешься, особенно в моем положении. Понял я, что пора мне оттуда когти рвать.

Случай вскоре представился, а уж я свой шанс никогда не упущу! Навстречу нам шел крупный угольщик, поэтому пришлось отвернуть и уменьшить ход, а с другого борта под кормой тащилась баржа. Я ухватился за канат и оказался на барже в две секунды, прежде чем меня успели хватиться. Багаж, само собой, пришлось бросить, но у меня остался мой пояс, набитый самородками, а возможность стряхнуть полицейский хвост стоила дороже пары чемоданов с тряпками. Теперь стало очевидно, что выдал меня лоцман, сговорившись с капитаном, один навел, а второй вызвал полицейских. Я часто мечтаю когда-нибудь снова встретить этих двоих.

На барже я проторчал до вечера, пока она медленно ползла вниз по течению. Управлял ею всего один человек, дел у него было выше головы и смотреть по сторонам времени не оставалось, а мест, где можно спрятаться, там было предостаточно. Ближе к вечеру, как стало смеркаться, я прыгнул в воду и поплыл к берегу. Вылез я на сушу — рядом болото, а до

восточных предместий Лондона еще топать и топать. А я-то ведь насквозь мокрый, с голоду подыхаю, но делать нечего; доковылял до города, сменил одежду в первой попавшейся лавке старьевщика, пожрал в какой-то забегаловке, нашел ночлежку на тихой улочке и завалился спать.

Проснулся я рано — в буше привыкаешь вставать с солнцем — и как раз вовремя. Повезло, можно сказать. Глянул я в окошко, в щелку между ставнями, и первое, что увидел, был проклятый «бобби». Стоит себе, понимаешь, заложив руки за спину на другой стороне улицы, а сам по окнам так и зыркает. В Лондоне полисмены не так одеваются, как наши, — у них ни сабель, ни эполет не имеется, но все равно есть какое-то сходство, как будто все они между собой родственники. Ихние рожи ни с кем не спутаешь. Не могу сказать, как они меня нашли: то ли за баржой проследили, то ли хозяйке меблирашек моя физиономия не понравилась. Так я до сих пор и не знаю, как дело было, а полицейский тем временем улицу перешел, блокнотик достал и адресочек туда записал. Я думал, он сейчас позвонит и войдет, но ему, видать, приказано было только вести наблюдение. Посмотрел он еще раз на окна, да и потопал себе дальше по улице.

Я знал, что медлить нельзя, если я не хочу упустить свой шанс. Накинув одежду, я тихонько открыл окно, осмотрелся вокруг, убедился, что никого нет, спрыгнул на тротуар и рванул так, словно за мной черти гнались. Пробежал я мили две или три, пока дыхалка не отказала. Смотрю, большое здание напротив, люди входят и выходят. Я тоже зашел и очутился на железнодорожном вокзале. Узнал я, что в Дувр к отходу парохода во Францию должен вот-вот отправиться экспресс, купил билет третьего класса и сел в свой вагон.

В купе я ехал с парой юнцов — вполне симпатичные ребята, только уж больно бестолковые. Сперва они трепались о том, о сем, а я сидел себе тихо в уголочке и слушал. А потом зашел у них разговор об Англии, колониях, других странах. Я не вру вам, доктор, — это чистая правда! Один из них раскрыл хлебало и давай заливать, какие, мол, прекрасные в Англии законы:

— В высшей степени демократичные и справедливые, — говорит он, никакой тайной полиции, никакой слежки, не то, что в некоторых других государствах.

Он много еще распинался на эту тему, а я слушал и трясся от злости. Сами подумайте, док, каково мне было выслушивать всю эту дребедень из уст молодого идиота, когда полиция привязалась ко мне, как моя собственная тень?!

До Парижа я все-таки добрался без особых хлопот, загнал часть золотишка, несколько дней прожил по-человечески и начал уже надеяться, что мне удалось оторваться от преследователей. Я стал даже подумывать, не обосноваться ли мне здесь на время и как следует отдохнуть. К тому времени я действительно нуждался в отдыхе, потому что был больше похож на призрака, чем на человека из плоти и крови. Я полагаю, доктор, вас никогда не преследовала полиция? Ну-ну, не смотрите на меня с такой обидой — я только пошутил! А если серьезно, должен вам сказать, что когда бегаешь от полиции, порой худеешь сильнее, чем шелудивая овца.

В Париже я приоделся и однажды даже купил билет в ложу в Опере. Что делать, люблю покутить, когда есть денежки. Послушал я первый акт, выхожу в фойе и кого же я вижу? Прямо мне навстречу идет по коридору какой-то тип, высокий, чисто выбритый, хорошо одетый, но свет падал ему на лицо, и я его сразу опознал! Это был тот самый речной лоцман с Темзы. Бороду он, разумеется, убрал, но у меня память на лица отличная, и обмануть меня ему не удалось. Честное слово, доктор, в тот момент я почувствовал такое отчаяние, что был готов на все. Будь мы одни, я бы его зарезал, но он знал, с кем имеет дело, и держался настороже. Тут я понял, что больше не в силах притворяться. Я подошел к полицейскому и предложил отойти в сторонку, где никто из вышедших из зала на перерыв зрителей не сможет нас увидеть или подслушать.

— Долго еще ты собираешься за мной гоняться, ищейка? — спросил я его напрямик.

Сначала он вроде бы как оскорбился, но быстро сообразил, что нет смысла разыгрывать из себя девственницу, раз уж я его раскусил. Он тоже ответил мне прямо и без околичностей:

— Пока ты не уберешься обратно в Австралию!

— А разве тебе и твоему начальству не известно, — говорю я, — что за важные услуги, оказанные правительству, я получил полное прощение? Что я теперь свободный человек и могу жить там, где мне вздумается?

Высказал я это все, а он стоит и зубы скалит, морда полицейская!

— Можешь не волноваться, Мэлони, — мы о тебе все знаем. Хочешь жить спокойно, лучше добровольно возвращайся туда, откуда приехал. Останешься здесь, приготовься к тому, что за каждым твоим шагом будут следить. Разок споткнешься — пожизненная каторга тебе обеспечена. Свободная торговля — вещь хорошая, но когда рынок затоварен подобными тебе типами, нет никакого резона прибегать к импорту.

Обдумал я его речь и решил, что смысл в ней кое-какой проглядывает, хотя можно было мне это и повежливей объяснить. Честно признаться, я уже несколько дней ходил сам не свой — должно быть, по дому соскучился. В этой Европе все по-другому, не как у нас. Идешь по улице — на тебя пялятся. Заходишь в бар — сразу разговор прекращается, все от тебя бочком-бочком подальше отодвигаются, ровно как от зверя какого. А уж пьют они… Клянусь вам, док, за пинту нашего старого, доброго австралийского «керосинчика» я бы с удовольствием отдал ведро ихних вонючих ликеров из гнилых фруктов! А все эти проклятые правила приличия! Что толку иметь деньги в кармане, если не можешь ни одеться, как тебе хочется, ни погулять, как тебе нравится? А если поддашь немного и захочешь покуролесить, так на тебя смотрят так, словно ты с Луны свалился. То ли дело в Австралии! Когда я жил в Нельсоне, на приисках, там каждый день из салуна пристреленных выносили. Шлепнут из-за какой-нибудь ерунды, вроде разбитого окна, — и никого это не удивляет. Скучно они в Европе живут, тоскливо. Осточертело мне там аж до самых печенок.

— Хотите, значит, чтобы я убрался домой? — говорю я ему.

— Пока не отвалишь, — отвечает он, — мне приказано дышать тебе в затылок.

— Ладно, — говорю я, — согласен. Только у меня условие: ты держишь рот на замке, чтобы никто не знал на борту, кто я такой. Мне нужна фора, когда я вернусь домой.

На это он согласился, и на следующий день мы вдвоем отправились в Саутгемптон, где он посадил меня на пароход. На этот раз я выбрал порт назначения на другой стороне материка, где меня никто не знал, — Аделаиду. Там я и обосновался по прибытии — под самым носом у полиции. Жил я тихо и мирно, как и мечтал, и жил бы до сих пор, кабы не досадные мелочи, вроде той драки, за которую я сюда угодил, или Татуированного Тома из Хоуксбери. Сам не знаю, доктор, что заставило меня все это вам рассказать — наверное, одиночество меняет человека до такой степени, что он готов чесать языком при любой возможности. А напоследок хочу дать вам один полезный совет: никогда не стремитесь помочь властям, потому что власти отплатят вам так, что мало не покажется. Пускай сами расхлебывают свою кашу, и если у них возникнут трудности на предмет того, как вздернуть шайку разбойников, лучше в это дело не соваться. Пусть сами думают, как им выбираться из дерьма. Кто знает может, когда я сдохну, они вспомнят, как обращались со мной при жизни, и им станет стыдно… Вы меня извините, доктор, за то, что я был груб с вами и выражался не как джентльмен, когда вы сюда пришли. Характер у меня такой ничего не поделаешь. Но, согласитесь, все-таки у меня есть причины для обиды, особенно если вспомнить, через что мне пришлось пройти. Так, вы уже собираетесь меня покинуть? Ну что ж, надо так надо. Надеюсь, доктор, вы не сочтете за труд как-нибудь еще заглянуть ко мне в камеру, когда будете делать обход. Постойте, постойте, вы же забыли ваш табак, доктор! Что? У вас в кармане? Спасибо, доктор, вы добрый человек и все понимаете с полуслова. Очень приятно было с вами познакомиться.

Месяца через два после нашего знакомства Вульф Тон Мэлони был освобожден из тюрьмы, полностью отсидев свой срок. Долгое время я его не встречал и ничего о нем не слышал. История его стала понемногу тускнеть у меня в памяти, но судьбе было угодно вновь свести нас — в последний раз и при трагических обстоятельствах. Я навещал одного из своих пациентов, жившего далеко за городом. На обратном пути, пробираясь на уставшей лошади по узкой тропе среди валунов и обломков скал в сгущающихся сумерках, я неожиданно наткнулся на небольшой придорожный трактир. Я слез с лошади, взял ее под уздцы и пошел к двери, надеясь расспросить трактирщика о дороге к городу. За дверью я услышал какой-то шум и крики, как будто там ссорились или дрались. В хоре увещевающих голосов диссонансом звучали два гневных, громких голоса. Пока я прислушивался, голоса смолкли и в наступившей тишине почти одновременно раздались два револьверных выстрела. Дверь с треском распахнулась, едва не слетев с петель, и две мужские фигуры, сцепившись между собой, вывалились на залитый лунным светом двор. С минуту они держались на ногах, не размыкая объятий, а затем повалились наземь среди многочисленных камней и валунов, усеивающих придорожное пространство. Я отпустил лошадь и бросился к дерущимся. С помощью пяти-шести посетителей трактира, выбежавших следом, нам удалось растащить забияк.

С первого взгляда мне стало ясно, что один из них находится при смерти. Это был крепкий, коренастый мужчина с твердо очерченным, волевым лицом. Кровь хлестала из глубокой раны у него в горле — пуля, очевидно, задела крупную артерию. Я с грустью отвернулся от

обреченного и направился к его противнику. У него оказалась огнестрельная рана в легком. При моем приближении раненый приподнялся на локте и с беспокойством впился глазами мне в лицо. К моему величайшему изумлению я узнал изможденную физиономию и светлые, песочного оттенка, волосы моего тюремного знакомца Мэлони.

— Ах, это вы, доктор, — прохрипел он, узнав меня. — Скажите скорей, как он? Он умрет?

Мэлони задавал вопросы о состоянии своего противника с таким волнением и живейшим интересом, что мне представилось, будто на пороге смерти он раскаялся и не хочет покидать этот мир с кровью еще одной жертвы на руках. Но врачебный долг требовал от меня сказать правду. В осторожных выражениях я признался, что соперник его почти безнадежен.

Мэлони испустил торжествующий вопль, заставивший его закашляться. На губах запузырилась кровь.

— Эй, парни! — задыхаясь прошептал он, обращаясь к обступившим его посетителям салуна. — У меня во внутреннем кармане лежат денежки. Плевать на расходы — ставлю всем выпивку за мой счет! Мне стыдиться нечего! Сам бы с вами выпил, да, видать, пора мне отваливать. Мою порцию налейте доку. Он хороший парень...

Голова его с глухим стуком упала наземь, глаза остекленели, и душа Вульфа Тона Мэлони, фальшивомонетчика, каторжника, разбойника и убийцы отлетела в Великую Неизвестность.

В завершение моего повествования считаю необходимым привести отчет о трагической ссоре, опубликованный на страницах "Западно-австралийского Часового" в номере за 4-е октября 1881 года.

РОКОВАЯ СТЫЧКА

В. Т. Мэлони, житель Нью-Монтроза и владелец игорного салуна "Желтый Мальчик", на днях погиб в результате трагического стечения обстоятельств. М-р Мэлони вел замкнутый образ жизни, что во многом объясняется его прошлым, представляющим несомненный интерес для наших читателей. Кое-кто из них помнит, наверное, громкое дело об убийствах в долине реки Лины, в котором погибший фигурировал в качестве главного подозреваемого. В течение семи месяцев он держал питейное заведение в тех краях. Его обвинили в том, что за это время он одурманил, ограбил и убил от двадцати до тридцати человек, имевших несчастье посетить этот салун. Ему удалось, однако, избежать ареста и бежать. В дальнейшем он присоединился к шайке беглых каторжников, чей нашумевший арест и последовавшая за ним казнь уже стали достоянием истории континента. Мэлони сумел избежать участи сообщников, согласившись выступить на суде в качестве королевского свидетеля. Позже он посетил Европу, но вскоре вернулся и поселился в Западной Австралии, где долгое время вел жизнь добропорядочного гражданина, принимая активное участие в городских делах. В пятницу вечером он случайно встретил своего давнего врага Томаса Гримторпа, известного также под кличкой "Татуированный Том". Противники обменялись выстрелами, и оба получили смертельные ранения, после которых прожили всего несколько минут. М-р Мэлони известен широкой публике как самый массовый и безжалостный убийца, который когда-либо существовал. Его обстоятельные, подробные и точные показания на суде вызвали восхищение профессиональных юристов. Подобным "послужным списком" не может похвастаться ни один из известнейших европейских преступников. Sic transit gloria mundi!

*1882 г.*

**Первоапрельская шутка**

Хижина Эйба Дэртона не блистала красотой. Некоторые даже утверждали, что она безобразна, сопровождая это прилагательное еще более выразительной фигурой речи, весьма популярной в поселке. Эйб, однако, обладал характером веселым и спокойным и к неодобрению соседей относился равнодушно. Дом он построил своими руками; компаньон доволен, и сам он доволен, так чего ж еще. Говоря о своем творении, он, надо сказать, немного увлекался.

— Дело-то вот в чем, — пояснял он, — я еще когда строил его, говорил: здесь у нас во всей долине такого нипочем не сыщешь. Дыры, скажете? Само собой, есть дыры. А без дыр как проветрить? В моем доме всегда свежий воздух. Течет? Ясное дело, течет, так это же как удобно: вставать не надо, дверь отворять не надо, сидишь себе и всегда знаешь, идет дождь или нет. Я бы сроду не стал жить в доме, где крыша совсем без щелей. А вот насчет вертикальности, так я, если хотите знать, люблю, чтоб дом слегка с наклоном был. Главное же: компаньон мой, Босс Морган, доволен, а что его устраивает, то и для вас уж как-нибудь сойдет.

Здесь, почувствовав, что дело переходит на личности, противник, как правило, удалялся, оставляя поле битвы за разгневанным архитектором. Но если красота строения была под вопросом, другое его достоинство сомнений не вызывало. Усталый путник, бредущий по дороге из Бакхерста в поселок Гарвей, издали видел на верхушке холма гостеприимный, теплый свет, словно маяк, вселявший в душу успокоение и надежду. Те самые дыры, над которыми смеялись соседи, и позволяли путнику увидеть этот свет, от которого буквально сердце радовалось, особенно в такую ночь, как та, с какой начнется наш рассказ.

В лачуге был лишь один человек, а именно ее владелец, Эйб Дэртон, или Заморыш, как окрестили его с грубоватым юмором жители поселка. Он сидел перед очагом, где ярко горели дрова, хмуро вглядываясь в огонь и время от времени взбадривая пылающую вязанку пинком, если она переставала пылать. Пламя вспыхивало, освещая на мгновение его славное саксонское лицо, с простодушным смелым взглядом и курчавой светлой бородкой. Это было мужественное твердое лицо, однако в очертаниях губ физиономист мог заметить намек на нерешительность и слабость, что никак не сочеталось с богатырским разворотом плеч да и вообще всей его атлетической, мускулистой фигурой. Эйб принадлежал к тем доверчивым, бесхитростным натурам, которые легко уговорить, но невозможно заставить; уступчивый характер делал его одновременно и предметом насмешек, и любимцем поселка. Остроумие местных старателей носило несколько тяжеловесный характер, но даже самое неумеренное зубоскальство не способно было согнать с его лица добродушную улыбку или омрачить мстительным побуждением его сердце. И лишь в тех случаях, когда ему казалось, что задето самолюбие его компаньона, зловеще сжатые губы и гневные искорки в голубых глазах побуждали самых неуемных шутников воздержаться от очередной, уже вот-вот готовой сорваться с языка остроты, торопливо переключившись на глубокомысленные рассуждения о погоде.

— Босс нынче опаздывает, — пробормотал он, вставая со стула, потянулся и сладко зевнул. — Это надо же, дождь так и хлещет, ветер жуткий, ничего себе погодка, Моргун? — Моргун был необщительный, склонный к раздумьям филин, чьи удобства и благоденствие являлись постоянным предметом забот хозяина. Филин сидел на балке и хмуро его созерцал. — Вот досада, что ты не умеешь разговаривать, Моргун, — продолжал Эйб, глядя на своего пернатого друга. — Лицо у тебя жутко умное. Малость с грустинкой. Небось, в молодости в любви не повезло. Кстати, о любви, — добавил он. — Я ведь еще не видал сегодня Сьюзен.

Он зажег свечу в стоявшей на столе черной бутылке, прошел в дальний конец хижины и устремил пылкий взгляд на одну из картинок, которые владельцы хижины вырезали из случайно попадавших к ним в руки иллюстрированных журналов и развешивали на стенах. Та иллюстрация, которая так привлекала нашего героя, изображала актрису в претенциозном, безвкусном наряде, прижимая к груди букет, она жеманно улыбалась воображаемой публике. В силу неких таинственных причин рисунок этот оставил глубокий след в чувствительном сердце старателя. Он облек эту юную даму чертами реальности, торжественно и без малейших оснований дав ей имя Сьюзен Бэнкс, вслед за чем объявил ее идеалом женской красоты.

— Вот увидите мою Сьюзен, — говорил он какому-нибудь новичку из Бакхерста, а то и Мельбурна, выслушав его рассказ о красоте оставшейся дома Цирцеи. — Нет на свете таких девушек, как моя Сью. Если окажетесь на Старой Родине, постарайтесь ее повидать. Сьюзен Бэнкс ее зовут, а портрет ее висит у меня в хижине.

Эйб все еще любовался своей очаровательницей, когда распахнулась тяжелая бревенчатая

дверь и в комнату ворвалось облако дождя и снега, так что почти невозможно было различить молодого человека, который мигом перескочил порог и тут же начал закрывать за собой дверь — операция при таком ветре нелегкая.

— Ну, — сказал он довольно сварливо, — ужин у тебя хотя бы есть?

— Вот, готов, тебя лишь дожидается, — бодро отозвался компаньон, показывая на булькавший на огне котелок. — А ты вроде как малость промок.

— Черта лысого малость! Я вымок насквозь, хоть отжимай. В такую ночь я и собаку бы на улицу не выгнал, во всяком случае, собаку, которую я уважаю. Дай мне сухую куртку, вон на крючке висит.

Джон Морган, или Босс, как его обычно называли, принадлежал к тому типу людей, которые во время золотой лихорадки встречались на приисках чаще, чем можно подумать. Он происходил из хорошей семьи, получил солидное образование, даже окончил в Англии университет. Сложись его жизнь обычным путем, Босс мог бы стать деятельным сельским священником или сделать карьеру в какой-нибудь другой сфере, но не тут-то было: в характере его прорезались скрытые до этого черты, унаследованные, возможно, от сэра Генри Моргана, наделившего своих потомков толикой испанской крови — результат галантных похождений и побед славного пирата. И вот эта-то шальная кровь, несомненно, толкнула его к тому, что он выпрыгнул из окна спальни отцовского дома, уютного, увитого плющом дома сельского священника, и отправился, покинув Англию, родных и друзей, искать счастья на приисках Австралии. Невзирая на изящные манеры Босса и его нежную, девичью красоту, грубияны из поселка Гарвей вскоре убедились, что при этом хрупкий юноша наделен холодной смелостью и непреклонной решимостью, высоко ценимыми в обществе, где храбрость почитается величайшим человеческим достоинством. Никто не знал, каким образом он и Эйб стали компаньонами; однако они стали компаньонами, и тот, кто был физически сильней, благоговейно почитал ясный ум и твердость духа своего товарища.

— Так-то оно лучше, — сказал Босс, опускаясь на единственный свободный стул перед огнем и глядя, как Эйб раскладывает на столе две металлические миски, ножи с костяными ручками и вилки с неимоверно длинными зубьями. — Ты бы снял все же сапоги; совсем незачем усыпать пол красной глиной. Пойди сюда и сядь.

Великан кротко приблизился и сел на бочку.

— Что стряслось? — спросил он.

— Биржа ходуном ходит, — ответил компаньон. — Вот что стряслось. Погляди-ка. — Из кармана мокрой куртки, над которой поднимался парок, он вытащил измятую газету — "Бакхерстский страж". Прочти эту заметку… Вот, о новой жиле на прииске Коннемара. Этих акций у нас, милый мой, хоть отбавляй. Мы могли бы все продать сегодня и получить кое-какую прибыль… Но я думаю, что мы не будем продавать.

Тем временем Эйб Дэртон старательно штудировал статью, водя по строчкам огромным указательным пальцем и бормоча что-то в светлые усы.

— Двести долларов за фунт, — сказал он, подняв взгляд на Босса. Слушай, так ведь там у нас на каждого по сотне фунтов. Мы двадцать тысяч долларов огребем! С такими деньгами можно вернуться домой.

— Чушь! — ответил компаньон. — Не за жалкой парой тысяч фунтов мы сюда явились. Деньги нам сейчас прямо в руки плывут. Синклер-химик говорит, что жила богатейшая, каких он никогда в жизни не видел. Остановка лишь за тем, чтобы доставить сюда машину. К слову, много ты сегодня набрал?

Эйб извлек из кармана маленькую деревянную коробочку и протянул приятелю. В ней находилась примерно чайная ложка чего-то похожего на песок и два металлических зернышка величиной с горошину. Босс Морган засмеялся и протянул коробочку назад.

— Такими темпами, Заморыш, не разбогатеешь, — заметил он. Тут разговор прервался, и оба компаньона сидели, слушая, как ветер воет и свистит, налетая на их маленькую хижину.

— Есть какие новости из Бакхерста? — спросил Эйб и начал раскладывать по тарелкам ужин.

— Ничего особенного, — отозвался компаньон. — Билл Рейд застрелил Косого Джо в лавке у Мак-Фарлейна.

— Хм, — без особого интереса отозвался Эйб.

— В Рочдейле появились беглые каторжники. Говорят, собираются в наши края.

Эйб присвистнул, наливая в кружку виски.

— Еще что-нибудь? — спросил он.

— Особенного ничего, если не считать, что темнокожие пошаливают на дороге у Нью-Стерлинга и что Синклер купил фортепьяно и собирается привезти из Мельбурна дочь; она поселится в его новом доме по ту сторону дороги. Как видишь, милый мой, нам теперь будет на кого посмотреть, — добавил он и энергично принялся за ужин. — Говорят, она красавица.

— Все равно ей не сравниться с моей Сью, — решительно возразил Эйб.

Его приятель улыбнулся, взглянув на вопиюще яркую картинку. Вдруг он опустил нож и прислушался. Сквозь завывания ветра и шум дождя можно было различить какой-то тихий стук, явно не относящийся к силам природы.

— Что это?

— А черт его знает.

Компаньоны бросились к дверям и остановились на пороге, усиленно всматриваясь в темноту. Где-то далеко, на Бакхерстской дороге, они различили приближающийся к ним огонек, а глухой мерный стук становился все громче.

— Двухместная коляска, — сказал Эйб.

— Куда же она направляется?

— Не знаю. Наверно, к речке, будут искать брод.

— Какой брод, дружище, после этого дождя в самом мелком месте не меньше шести футов, а течение такое, что хоть водяную мельницу ставь.

Огонек, внезапно вынырнувший из-за поворота дороги, был уже гораздо ближе. Слышался бешеный топот копыт, грохот колес.

— Лошади понесли, вот жуть-то!

— Не позавидуешь бедняге седоку.

В поселке Гарвей царили суровые нравы: свои горести каждый расхлебывал сам и мало сочувствовал бедам соседа. Молодые люди смотрели, как мечутся по виткам извилистой дороги фонари, испытывая главным образом любопытство.

— Если он не остановит их раньше, чем доберется до брода, утонет как пить дать, — меланхолично сказал Эйб.

Внезапно шум дождя затих. Затих всего лишь на мгновение, но в этот краткий промежуток тишины ветер донес до них отдаленный крик, услыхав который компаньоны с ужасом взглянули друг на друга, после чего как безумные помчались по крутому склону вниз, к дороге.

— Женщина, чтоб я пропал, — изумленно охнул Эйб и перепрыгнул через открытый ствол шахты, утратив в спешке всякое благоразумие.

Морган был полегче и двигался живей. Он вскоре обогнал своего дюжего компаньона и уже через минуту, запыхавшийся, с непокрытой головой, стоял посредине размокшей дороги, в то время как его приятель все еще не одолел до конца спуск.

Коляска стремительно приближалась. Босс увидел в свете ее фонарей тощую австралийскую лошадку; перепуганная ревом бури и грохотом колес, она неслась к крутому берегу ручья. Кучер, наверное, заметил впереди на дороге Босса Моргана, его бледное, решительное лицо, завопил нечто невразумительное, предупреждая, и в последний раз отчаянно натянул вожжи. Дальше крик, божба, оглушительный треск, и Эйб, который был уже у самой дороги, увидел обезумевшую лошадь, взметнувшуюся на дыбы, и вцепившуюся в повод тонкую фигурку человека. Босс рассчитал все точно — в свое время он был лучшим регбистом в

университетской команде — и вцепился в повод мертвой хваткой у самого мундштука. Лошадь яростно мотнула головой, к Босс, шлепнулся на грязную дорогу, но когда лошадь, торжествующе всхрапнув, хотела рвануть, не тут-то было — лежащий на. дороге человек держал повод по-прежнему крепко.

— Держи ее, Заморыш, — сказал он приятелю, который вихрем вылетел на дорогу и схватился за второй повод.

— Все в порядке, дружище, теперь не уйдет. — И лошадь, увидев, что у противника появилась подмога, притихла и стояла вздрагивая. — Подымайся, Босс, теперь она уж присмирела.

Но Босс лежал в грязи, не поднимаясь, и даже застонал.

— Не могу, Заморыш. — По голосу судя, ему было очень больно. — Что-то со мной случилось, старина. Только не устраивай шума. Оглушило при падении. Помоги-ка мне встать.

Эйб встревоженно склонился над компаньоном. Он увидел его белое как мел лицо, услышал прерывистое дыхание.

— Не падай духом, старина, — сказал он. — Ого! Вот это номер!

Два последних восклицания вырвались у него внезапно и совершенно непроизвольно, и он в глубоком изумлении сделал несколько шагов назад. По ту сторону от лежащего на дороге человека, в слегка подсвеченной фонарем темноте, простодушному Эйбу явилось видение, прекраснее которого, как он был убежден, не видел еще ни один смертный. Человеку, который привык к грубым бородатым рожам старателей и ничего более привлекательного давно уже не видел, могло показаться, что красивое нежное личико, на которое упал его взгляд принадлежит по меньшей мере ангелу. Эйб уставился на него недоуменно и благоговейно и даже на мгновение забыл о лежавшем на дороге друге.

— Ах, папочка! — взволнованно воскликнуло видение. — Он ранен… этот джентльмен ранен. — И грациозная фигурка в порыве трогательного сострадания склонилась над распростертым телом Моргана.

— Ба, да ведь это Эйб Дэртон с компаньоном! — Возница подошел ближе, и друзья узнали в нем мистера Джошуа Синклера, пробирщика. — Я вам очень благодарен, ребята, просто нет слов. Чертова скотина закусила удила и понесла, так что еще секунда, и мне пришлось бы выбросить Кэрри из коляски, рискуя ее жизнью. — Вот хорошо, — добавил он, видя, что Моргану удалось встать. — Ничего серьезного, надеюсь?

— До хижины как-нибудь добреду, — сказал молодой человек, ухватившись для надежности за плечо компаньона. — Каким образом вы собираетесь, доставить мисс Синклер домой?

— О, мы пойдем пешком, — оживленно ответила юная леди — ее страх прошел без следа.

— Можно поехать и в коляске, только вдоль берега в объезд — сказал ее отец. — Лошадь напугалась и, надеюсь, теперь будет вести себя смирно, так что можешь не бояться, Кэрри. Буду рад вас видеть в нашем доме, вас обоих. Я думаю, никто из нас не забудет эту ночь.

Мисс Кэрри не сказала ничего, но полный благодарности застенчивый взгляд из-под длинных ресниц привел честного Эйба в такой восторг, что он с радостью бросился бы усмирять взбесившийся локомотив.

Все громко и сердечно прокричали "Доброй ночи!", хлопнул кнут, и коляска скрылась в темноте.

— А ты мне, папа, говорил, что эти люди скверные и грубые, — произнесла мисс Кэрри Синклер после долгого молчания, когда два темных силуэта растаяли вдали, а коляска, катившаяся вдоль берега, уже порядком удалилась от места происшествия. — Мне так не показалось. По-моему, они очень милые.

И теперь уж до самого дома мисс Кэрри была непривычно тиха и, казалось, даже не столь болезненно ощущала горечь разлуки с лучшей своей подружкой Амелией, оставшейся далеко-далеко, в пансионе для юных девиц в городе Мельбурне.

Что, впрочем, не помешало Кэрри той же ночью сделать этой юной леди большой, подробный и точный отчет о случившемся с ними маленьком приключении.

"Они остановили лошадь, дорогая, и при этом был ранен один из них. И… ах, Эми, если бы ты

видела второго, в красной рубахе и с пистолетом за поясом! Я невольно вспомнила тебя. Это твой идеал, моя милочка. Светлые усы и большие голубые глаза. А как он на меня, на бедную, уставился! Таких людей не встретишь на Бэрк-стрит..." — и так далее, и тому подобное, четыре страницы милой женской болтовни.

Тем временем бедняга Босс, контуженный довольно сильно, был доставлен компаньоном домой под сень их хижины. Эйб помог ему взобраться по крутому склону на гору, наложил на поврежденную руку повязку и принялся врачевать всем, что нашлось под рукой; впрочем, фармакопея в хижине была по меньшей мере скромной. Они оба были не из разговорчивых и не обсуждали между собой то, что случилось на дороге. Моргун, однако, отметил, что его хозяин воздержался от обычного вечернего моления пред алтарем Сьюзен Бэнкс. Сделал ли премудрый филин из этого какие-либо выводы, наблюдая, как Эйб долго и задумчиво курил возле почти погасшего огня, не знаю. Могу лишь сказать, что когда догорела свеча и старатель наконец встал со стула, его пернатый друг слетел к нему на плечо и, вероятно, выразил бы громким уханьем свое сочувствие, если бы Эйб не погрозил ему пальцем, да и врожденное чувство приличия не допускало такой фамильярности.

Случайный гость, который бы забрел в поселок Гарвей вскоре после приезда мисс Кэрри Синклер, обнаружил бы значительные изменения в манерах и обычаях местных жителей. Послужило ли тому причиной облагораживающее влияние женщины или же чувство соперничества, возбужденное щеголеватым видом Эйба Дэртона, трудно сказать, весьма возможно, и то, и другое. Одно несомненно: упомянутый молодой джентльмен внезапно обнаружил такое пристрастие к чистоте и такое почтение к условностям цивилизации, что его приятели только диву давались и безжалостно изощрялись в насмешках. Все давно уже привыкли, что Босс Морган уделяет внимание своей внешности, и приписывали этот феномен, в равной степени курьезный и необъяснимый, полученному в детстве воспитанию. Но что Заморыш, свойский малый, здоровенный увалень, ни с того ни с сего вдруг вырядился в чистую сорочку, воспринималось каждым обитателем поселка как прямое и предумышленное оскорбление. Из одного только чувства самозащиты все стали мыться после работы и ринулись за бакалейными товарами; спрос на мыло достиг невиданных размеров, и Мак-Фарлейн уже собирался сделать новый заказ в Бакхерсте.

— Что это — вольный старательский поселок или воскресная школа, черт возьми? — возмущался долговязый Мак-Кой, видный деятель реакционной партии, который отстал от веяний времени, ибо в период возрождения куда-то уезжал. Но его упреки выслушивались без сочувствия, а по истечении двух дней сдался и этот смутьян, появившись в "Колониальном баре" со смущенным и сияющим чистотой лицом и волосами, благоухающими медвежьим жиром.

— Я чего-то заскучал, — застенчиво пояснил он, — вот и решил к вам завернуть. — Он одобрительно воззрился на свое изображение в треснувшем зеркале, украшавшем лучшую комнату в заведении.

Уже упоминавшийся нами случайный гость обратил бы внимание и на значительные перемены в лексиконе старателей. Почему-то, стоило лишь замаячить в отдалении среди куч красной глины и заброшенных ям грациозной девичьей фигурке в элегантной шляпке, некий шорох пробегал по прииску, и густое облако забористой брани, в этих краях, увы, весьма привычной, рассеивалось без следа. В таких делах стоит только начать — было замечено, что и после исчезновения мисс Синклер стрелка нравственного барометра еще долго удерживалась на высокой шкале. Опытным путем старатели установили, что располагают гораздо более обширным запасом эпитетов, чем им казалось прежде, и что подчас достичь взаимопонимания, не прибегая к сильным выражениям, гораздо легче.

Прежде считалось, что мало кто на прииске умеет так толково, как Эйб Дэртон, разобраться в качестве руды. Существовало мнение, что он способен с удивительной точностью определить количество золота в кусочке кварца. Очевидно, это было заблуждением, в противном случае чего ради он подверг бы себя ненужным расходам, без конца нося образчики на пробу. На мистера Джошуа Синклера посыпался столь обильный град кусочков слюды и камешков, содержащих ничтожно малую долю драгоценного металла, что у него сложилось весьма низкое мнение о старательских талантах молодого человека. Утверждали даже, что однажды Эйб заявился в дом пробирщика с утра пораньше с сияющей улыбкой и, малость помявшись, извлек из-под фуфайки кусок кирпича, сопровождая это стереотипным заявлением, что он "решил, мол, наконец-то повезло, вот и заглянул попросить, это самое вычислить". Впрочем, занятная эта история построена на непроверенных данных, полученных от Джима Страглса, известного в поселке шутника, а потому, возможно, не совсем точна в деталях.

По утрам рабочие консультации, вечерами светские визиты — стоит ли удивляться, что

долговязая фигура старателя превратилась в неотъемлемую принадлежность маленькой гостиной "Виллы Азалия" (новый дом пробирщика носил это велеречивое название). Эйб редко отваживался произнести хоть слово в присутствии очаровательной хозяйки, он сидел на самом краешке кресла и в безмолвном восхищении слушал, как мисс Синклер барабанит на недавно приобретенном фортепьяно какую-нибудь бравурную арию. Длинные ноги гостя то и дело оказывались в самых неожиданных местах. В конце концов мисс Кэрри пришла к заключению, что ноги эти совершенно независимы от тела, и уже не пыталась понять, как это она ухитрилась о них споткнуться, проходя мимо стола, в то время как побагровевший от смущения гость сидит в кресле по другую сторону того же самого стола. Одна лишь тучка омрачала лазурные горизонты нашего друга Заморыша — периодическое появление на «вилле» Черного Тома Фергюсона с Рочдейлской переправы. Этот неглупый молодой негодяй сумел втереться в доверие к старику Джошуа и стал постоянным посетителем виллы. Ходили слухи, что он игрок, высказывали подозрения, что за ним числятся грехи и похуже. Поселок Гарвей не отличался снобизмом, но все же считалось, что с Фергюсоном лучше не связываться. В его манере держаться, однако, была некая бесшабашная стремительность, а в манере вести беседу — искорка, придававшие ему неуловимое обаяние, так что даже разборчивый Босс Морган поддерживал знакомство с Черным Томом, дабы составить себе о нем представление. Мисс Кэрри, кажется, визитам его была рада, и они целыми часами болтали о книгах, музыке и мельбурнских увеселениях. А простодушный бедняга Заморыш во время их болтовни скатывался в самые глубины отчаяния и либо быстро удалялся, либо сверлил соперника зловещим взглядом, чем немало забавлял последнего.

Наш герой не скрывал от компаньона тех чувств, которые ему внушала мисс Синклер. В ее присутствии он бывал молчалив, но когда она становилась предметом разговора, он делался разговорчивым. Прохожие, замешкавшиеся на Бакхерстской дороге, имели полную возможность услышать зычный голос, раздающийся сверху и возносящий щедрую хвалу очарованию некой прекрасной дамы.

Высоко ценя интеллект компаньона, Эйб делился с ним своими затруднениями.

— Этот бездельник из Рочдейла, — говорил он, — так и трещит без остановки, так и сыплет, а я не могу выдавить и словечка. Босс, ну скажи, о чем ты стал бы говорить с такой вот девушкой?

— О чем, о чем... ну, поговори с ней, например, о том, что ей интересно, — советовал компаньон.

— О, вот как!

— Расскажи ей о местных обычаях, — продолжал Босс, задумчиво раскуривая трубку, — Расскажи о том, что ты видел на приисках, и так далее в таком же роде.

— В самом деле? Ты бы с ней об этом говорил? — В голосе Эйба прозвучала надежда. — Если в этом штука, все в порядке. Я ей сегодня же расскажу о Билле из Чикаго и о том, как он всадил две пули в того парня, что жил возле речки и пришел к нам сюда на танцы.

Босс засмеялся.

— По-моему, не стоит, — сказал он. — Ты ее напутаешь, если это расскажешь. Ну, расскажи что-нибудь легкое, понимаешь? Что-нибудь, что ее позабавит, смешное что-нибудь расскажи.

— Смешное? — совсем уж растерянно вскричал пылкий влюбленный. — Что, если я расскажу ей, как мы с тобой напоили в стельку Мэта Хулагана и положили его возле кафедры в баптистской церкви, а утром Мэт не пустил туда проповедника? Пойдет?

— Бога ради, ничего такого, — в ужасе откликнулся наставник, — после этой истории она и с тобой, и со мной перестанет разговаривать. Нет, я имел в виду что ей надо рассказать о жизни золотоискателей, как люди тут живут и умирают. Если она разумная, отзывчивая девушка, это ей должно быть интересно.

— Как живут у нас на приисках? Спасибо за помощь, Дружище. Как они живут? Ну, об этом я смог бы рассказать не хуже Черного Тома. Что ж, в следующий раз попробуем.

— Да, кстати, — небрежно добавил Босс. — Ты за этим фруктом поглядывай. Он, как ты сам знаешь, сомнительный субъект и, когда чего-то добивается, не щепетилен. Помнишь, в зарослях кустарника нашли тело Дика Вильямса из Инглиш-Тауна. Убили его, конечно, бандиты. Но в то же время люди говорят, что Черный Том был ему должен много денег, гораздо больше, чем мог выплатить. Иногда с ним случаются странные вещи. Ты последи за

ним, Эйб. Понаблюдай, как он ведет себя, что делает.

— Я займусь этим, — ответил компаньон.

И занялся. В тот же вечер ему представился случай понаблюдать за Томом Фергюсоном. Эйб видел, как тот стремительно вышел из дома пробирщика, видел гнев и уязвленную гордость на красивом смуглом лице. Дальше в поле его наблюдений попало, как соперник одним прыжком перемахнул через забор и зашагал так же стремительно по долине, яростно жестикулируя, пока не скрылся в зарослях кустарника. Эйб Дэртон проследил за всем этим, а потом задумчиво закурил трубку и стал медленно подниматься по склону домой.

Март подходил к концу, и роскошный знойный блеск австралийского лета сменился мягким, сочным колоритом осени. Поселок Гарвей никогда не радовал глаз. Было что-то безнадежно прозаическое в двух голых зубчатых хребтах, изборожденных и исцарапанных человеком, в железных руках лебедок и ломаных ковшах, видневшихся буквально повсюду среди бесчисленных холмиков красной земли. Посредине прииска пролегала извилистая, вся в глубоких колеях, Бакхерстская дорога, дальше, сделав поворот, она пересекала неспешное течение Гарперова Ручья, через который был перекинут шаткий деревянный мостик. А за мостиком теснились хижины, и среди скромных своих соседок горделиво выделялись побелкой «Бакалея» и "Колониальный бар". Опоясанньй верандой дом пробирщика высился на изрезанном узкими ущельями склоне прямо напротив хилого образчика архитектуры, которым так необоснованно гордился наш друг Эйб.

Было в окрестностях еще одно строение, которое любой местный житель, многозначительно помахивая трубкой и представляя себе бесконечную череду минаретов и колоннад, наверняка отнес бы к категории "общественных построек". Этим строением была баптистская часовня, небольшое, скромное, крытое дранкой здание, стоящее в излучине реки примерно в миле от поселка. Старательский городок отсюда выглядел вполне благопристойно, ибо расстояние смягчало грубые очертания и режущие глаз цвета. В то утро, о котором идет речь, красивой казалась река, словно извилистая лента пересекавшая равнину, и пологий склон холма за рекой, весь в буйной, пышной зелени, был тоже красив, но красивее всего была мисс Кэрри Синклер, когда она остановилась на вершине невысокого холма и поставила на землю корзинку с папоротником.

Казалось, что-то огорчает молодую леди. Тревожное выражение на ее лице было так непохоже на ее всегдашнюю задорную беспечность. Определенно, недавно у нее что-то случилось. Возможно, и на прогулку она отправилась для того, чтобы избавиться от тягостных впечатлений; наверняка же нам известно только, что она вдыхала веющий от леса ветерок так, словно смолистый его аромат нес в себе противоядие от людских горестей.

Она простояла тут довольно долго, глядя на раскинувшийся перед ней ландшафт. С вершины холма ей виден был отцовский дом, — словно белая крапинка на темном склоне, — однако, как это ни странно, ее внимание в гораздо большей степени притягивала синяя струйка дыма на противоположном склоне. Девушка все медлила, все глядела на нее грустным взглядом милых, больших глаз и вдруг с необычайной остротой ощутила, что стоит совсем одна в пустынной местности, и ее охватил внезапный приступ беспричинного страха, какому подвержены даже самые отважные из женщин. Рассказы о туземцах и о беглых каторжниках, об их отчаянной дерзости и жестокости пришли ей на память и ужаснули ее. Она взглянула на бескрайние, молчаливые и таинственные заросли кустарника, наклонилась, чтобы поднять корзинку и, не теряя времени, поспешить по дороге в сторону прииска. Вдруг она быстро обернулась и чуть не вскрикнула — чья-то длинная рука вынырнула сзади и выхватила корзинку буквально у нее из-под рук.

Облик человека, на которого упал ее взгляд, кое-кому показался бы и в самом деле нисколько не внушающим доверия. Однако высокие сапоги, грубая красная фланелевая рубаха, широкий кушак и заткнутые за него орудия смерти были столь хорошо знакомы мисс Кэрри, что она никак не могла напугаться, а когда, подняв взгляд, она увидела голубые глаза, смотрящие на нее с нежностью, и застенчивую улыбку, проглядывающую из-под густых желтоватых усов, она уже ничуть не сомневалась, что теперь до самого конца прогулки и беглые каторжники, и туземцы будут в равной степени бессильны причинить ей какой-либо вред.

— Ах, мистер Дэртон, — сказала она. — Как вы меня напутали!

— Прошу прощения, мисс, — ответил Эйб, придя в великий трепет от одной лишь мысли, что, пусть даже на миг, обеспокоил свою богиню. — Видите ли, продолжал он с простодушным лукавством, — погода нынче хорошая, компаньон ушел на изыскания, вот я и надумал: прогуляюсь-ка я до холма, а потом вернусь домой по берегу, — и вдруг нечаянно, по чистой

случайности вижу, на пригорочке стоите вы.

Эту вопиюще неправдоподобную версию золотоискатель выпалил так бойко и с такой безыскусной искренностью, что не оставалось никаких сомнений в ее лживости. Заморыш измыслил и отрепетировал все это, изучая оставленные маленькими ножками следы, и считал свою выдумку хитроумной и коварной. Мисс Кэрри не отважилась возразить, но в глазах ее забегали веселые бесенята, что крайне озадачило ее воздыхателя.

Эйб этим утром был в отличном настроении. Причиной его радости, возможно, послужила солнечная погода, а может быть, стремительный взлет принадлежащих ему акций Коннемары. Я, впрочем, склонен думать, что ни то, ни другое. Даже при редком простодушии нашего героя все обстоятельства сцены, свидетелем которой он накануне вечером явился, наводили на одно-единственное заключение. Эйб представил себе, как он сам при сходных обстоятельствах яростно шагает по долине, и сердце его дрогнуло от жалости к сопернику. Он теперь был твердо убежден, что никогда больше не увидит в стенах "Виллы Азалия" зловещую физиономию мистера Томаса Фергюсона с Рочдейлской переправы. Интересно, почему она ему отказала? Он красив, он довольно богат. Так, может быть?.. Нет, этого быть не может, конечно же, не может, как такое могло бы случиться! Да об этом и думать смешно… до того смешно думать, что абсурдная, смешная мысль всю ночь не давала ему покоя, и наутро он с ней не расстался и лелеял ее всем своим растревоженным сердцем.

Они спустились вместе по красной глинистой дороге, потом пошли по берегу реки. Эйб впал в обычную свою молчаливость. Правда, воодушевленный оказавшейся в его руке корзинкой, он предпринял один раз безумную попытку поговорить о папоротниках, но эта тема не принадлежала к числу волнующих, и наш герой, сделав судорожный рывок, покорился неизбежности. А ведь когда он шел сюда, в голове его роились и остроумные анекдоты, и всяческие забавные случаи. Он подготовил множество фраз, которые не могла не оценить мисс Синклер. Сейчас, однако же, в его голове не было ни единой мысли, кроме безрассудной и все же неодолимой идеи сказать что-нибудь о том, как жарко нынче припекает солнце. Ни один астроном, производящий свои расчеты для измерения паралакса, не бывал так поглощен расположением небесных тел, как наш славный Заморыш, бредущий по берегу медленной австралийской реки.

Внезапно в его памяти всплыл разговор с компаньоном. Что ему посоветовал Босс: "Расскажи ей, как живут у нас на приисках." Это никак не укладывалось у него в голове. Говорить на эту тему казалось ему очень странным, но Босс сказал так, а Босс всегда прав. Ну, ладно, он рискнет, коли так, и, кашлянув для начала, Эйб выпалил:

— Живут у нас тут главным образом на беконе и на бобах.

Выяснить, какой эффект имело это сообщение, ему не удалось: Эйб был слишком высок, чтобы заглянуть под маленькую соломенную шляпку. А мисс Кэрри не ответила ему. Немного погодя он сделал новую попытку.

— По воскресеньям баранина, — сказал он.

Но и это не вызвало энтузиазма. Честно говоря, похоже было, что она смеется. Сомнений нет: Босс на этот раз ошибся. Молодой человек был в отчаянии. Вид разрушенной лачуги у дороги одарил его новой идеей. Он уцепился за нее, как утопающий за соломинку.

— Это Кокни Джек построил, — сообщил он. — Жил здесь, пока не умер.

— А от чего он умер? — спросила спутница.

— Бренди три звездочки, — убежденно ответил Эйб. — Когда ему совсем уж худо стало, я приходил по вечерам приглядеть за ним. Бедолага! В Пугни у него остались жена и двое ребятишек. Он, бывало, бредил целыми часами и называл меня «Полли». Разорился подчистую, медного цента не осталось; но ребята собрали золотишка, так что мы его честь честью проводили. Похоронили в этом вот стволе; таково было его желание, так что мы просто его туда опустили и забросали землей. Туда же положили его кирку, и лопату, и ковш, чтобы он чувствовал себя как дома.

Теперь мисс Кэрри слушала, казалось, с интересом.

— И часто здесь так умирают? — спросила она.

— Как вам сказать, бренди многих убивает; но большинство попадает под пулю… я хочу сказать, тут многих просто застрелили.

— Я не об этом. Много ли людей здесь в долине умирает в одиночестве и горе, не имея рядом близкой души? — И она указала на сгрудившиеся внизу домишки. — Умирает ли там кто-нибудь сейчас? Об этом просто страшно подумать.

— Из тех, кого я знаю, пожалуй, никто не собирается откинуть копыта.

— Мне бы хотелось, чтобы вы не злоупотребляли в такой степени жаргоном, мистер Дэртон, — сказала Кэрри, взглянув на него ясными фиалковыми глазами. Просто поразительно, как молодая леди все больше забирала власть над этим великаном. — Поймите, это неблаговоспитанно. Вам надо бы приобрести словарь и выучить подобающие слова.

— В том-то все и дело! — виновато сказал Заморыш. — Вы в точку угодили. Словарь! Если нет у тебя парового сверла, приходится киркой орудовать.

— Да, но это очень просто, если вы действительно постараетесь. Вы могли бы, например, сказать, что кто-то умирает или находится при последнем издыхании, если вам угодно.

— Вот оно! — восторженно сказал старатель. — При "последнем издыхании"! Вот это слово! Да вы по части слов самого Босса Моргана заткнете за пояс. При последнем издыхании! Звучит-то как!

Кэрри засмеялась.

— Вы должны не о звучании думать, а о том, выражают ли эти слова ваши мысли. Нет, серьезно, мистер Дэртон, если в поселке кто-то заболеет, непременно дайте мне знать. Я умею ухаживать за больными и могу оказаться полезной. Вы сообщите мне о таком случае, да?

Эйб охотно согласился и снова впал в глубокую задумчивость, размышляя, не привить ли себе какую-нибудь долгую и изнурительную болезнь. Говорят, что в Бакхерсте появилась бешеная собака. Может, она как-нибудь ему пригодится?

— А сейчас я с вами попрощаюсь, — сказала Кэрри, когда они дошли до того места, где от дороги ответвлялась извилистая тропинка, ведущая к "Вилле Азалия". — Очень вам благодарна, что вы меня проводили.

Напрасно Эйб вымаливал еще хоть сотню ярдов и ссылался на чрезмерный вес корзиночки, которую он нес, как на совершенно неопровержимый довод. Молодая леди была неумолима. Из-за нее он и так уже слишком отклонился от своего пути. Ей стыдно за себя, ни о чем таком она не хочет даже слушать.

Излюбленным местом отдыха, где проводили свой досуг обитатели поселка Гарвей, был "Колониальный бар". Между этим заведением и конкурирующей фирмой, которая, невзирая на невинное наименование «Бакалея», тоже занималось продажей спиртных напитков, шла ожесточенная борьба. Появление в «Бакалее» стульев немедля привело к тому, что в "Колониальном баре" возник диванчик. «Бакалея» приобретает плевательницы, а «Колониальный» в ответ картину, и в результате, по определению клиентов, оба заведения остались при своих. Но когда «Бакалея» украсилась портьерами, а соперник отозвался отдельным кабинетом с зеркалом, тут уж все решили, что победа за "Колониальным баром", и поселок единодушно выразил свое одобрение предпринимательскому духу владельца, перестав посещать «Бакалею».

Хотя каждому из посетителей было позволено разгуливать по бару сколько душе угодно и даже заходить за стойку, дабы порадовать свой взор мерцающим многоцветием бутылок, подразумевалось, что отдельное помещение, оно же кабинет, предназначено для наиболее выдающихся граждан. В кабинете заседали комитеты, зарождались могущественные компании, там же, как правило, проводили дознания. Что касается последней церемонии, я с печалью должен сообщить, что тогда, в 1861-м, она частенько устраивалась в поселке Гарвей и приговоры подчас отличались изысканным остроумием и оригинальностью. Взять хотя бы тот случай, когда тихий и кроткий молодой врач застрелил отчаянного головореза Задиру Бэрка и сочувствующие узнику присяжные заявили, что "покойный нашел свою смерть при опрометчивой попытке остановить движущуюся пистолетную пулю" — вердикт считался в поселке высшим достижением юриспруденции, ибо способствовал одновременно как оправданию обвиняемого, так и утверждению суровой, неопровержимой истины.

В тот вечер, о котором я вам рассказываю, в отдельном кабинете собрались все местные знаменитости, но на сей раз отнюдь не с целью обсуждать что-либо криминальное. Дискуссия назрела потому, что за последнее время произошло много событий, достойных обсуждения, а поселок Гарвей привык обмениваться мнениями именно в этой комнате, блиставшей

утонченной роскошью зеркала и дивана. Тяга к чистоте, повально охватившая местное население, все еще возбуждала умы и требовала истолкования. Кроме того, заслуживали комментариев мисс Синклер и ее передвижения, обнаруженная в Коннемаре золотая жила и слухи о беглых каторжниках. Таким образом, не стоит удивляться, что в "Колониальном баре" собрались лучшие люди поселка.

Темой диспута на этот раз были беглые каторжники, Вот уже несколько дней в поселке ходили слухи об их появлении, и на прииске было тревожно. Обыкновенный, чисто физический страх был неведом жителям поселка Гарвей. В любой миг старатели готовы были кинуться в погоню за самыми отчаянными головорезами с таким же пылом, с каким помчались бы охотиться на кенгуру. Тревожно было потому, что в городке скопилось много золота. Все понимали: плоды их нелегких трудов надо защитить во что бы то ни стало. Обратились в Бакхерст с просьбой прислать как можно больше полицейских, а в ожидании их прибытия главную улицу поселка патрулировали по ночам волонтеры.

Паника вспыхнула с особой, удвоенной силой из-за известия, которое принес Джим Страглс. Джим был человек амбициозный и честолюбивый, и после того, как он целую неделю в безмолвном негодовании взирал на свою собственную отмытую и отчищенную персону, он, выражаясь метафорически, отряхнул со своих ног красную глину поселка Гарвей и углубился в лес с твердым намерением до тех пор проводить изыскания, пока не наткнется наконец на подходящий участок. Дальше Джим рассказывал, что он сидел на стволе упавшего дерева, обедая пресной лепешкой с прогорклым салом, и внезапно его чуткий слух уловил цоканье конских копыт. Он едва успел скатиться со ствола и, прижавшись к земле, за ним спрятаться, как по зарослям кустарника проехало несколько верховых, так близко, что до них можно было добросить камень.

— Там были Билл Смитон и Мэрфи Дафф, — Страглс назвал двух печально известных в окрестностях бандитов, — а с ними еще трое, я их не разглядел, Они двигались куда-то вправо и выглядели так, будто идут на дело, даже ружья в руках держали.

В тот вечер Джим подвергся перекрестному допросу; но никакие старания не смогли опровергнуть его свидетельство, либо пролить хоть немного света на то, что он увидел. Он рассказал свою историю несколько раз, и, невзирая на приятное разнообразие деталей, все основные факты были тождественны. Дело и впрямь начинало казаться серьезным.

Среди слушателей, впрочем, нашлось несколько человек, скептически отнесшихся к самой мысли о том, что в их местности могут появиться бандиты, и открыто выразивших свое недоверие; из них самым влиятельным был молодой человек, взгромоздившийся на бочку посредине комнаты и, вне всякого сомнения, принадлежащий к духовным руководителям сообщества. Мы уже видели, читатель, эти темные кудри, бархатные, лишенные блеска глаза и жестокие, тонкие губы, принадлежащие Черному Тому Фергюсону, отвергнутому поклоннику мисс Синклер. Он резко выделялся среди всей этой братии тем, что носил твидовый пиджак, а также некоторыми другими утонченными деталями туалета, что могло бы навлечь на него дурную славу, если бы он, подобно Джону Мортону, еще раньше не зарекомендовал себя человеком отчаянной храбрости и в то же время совершенно хладнокровным. Но сейчас Черный Том, казалось, пребывал под некоторым воздействием спиртного, что случалось с ним нечасто и что, возможно, следовало приписать недавно постигшему его разочарованию. Он был сам не свой от ярости, опровергая рассказанную Джимом Страглсом историю.

— Надоело мне все это до смерти, — говорил он. — Стоит кому-то встретить в зарослях нескольких путешественников, он тут же начинает вопить о бандитах, А если б эти верховые увидели Страглса, они бы тоже подняли крик насчет разбойника, притаившегося в лесу. Да и вообще, как можно узнать людей, которые быстро проехали где-то за деревьями? Выдумка это, и больше ничего.

Страглс, однако, твердо придерживался своей версии и со спокойным благодушием отметал насмешки и доводы противника. Было также замечено, что Фергюсон как-то слишком уж близко к сердцу принимает эту историю. Казалось, что-то все время тревожит его: он вдруг соскакивал с бочки и начинал, задумавшись, ходить по комнате, а на его смуглом лице появилось угрожающее, страшное выражение. Все вздохнули с облегчением, когда он наконец схватил шляпу и, отрывисто бросив: "Спокойной ночи", прошел через бар и с черного хода вышел на улицу.

— Он сегодня вроде как не в себе, — заметил Долговязый Мак-Кой.

— Но не бандитов же он боится, — проговорил Джо Шеймус, тоже влиятельный человек,

основной держатель акций местного Эльдорадо.

— Нет, он не из пугливых, — подтвердил кто-то. — Какой-то он уже два дня чудной. С утра до вечера пропадает в лесу, а инструментов с собой не берет. Я слыхал, дочка пробирщика дала ему от ворот поворот.

— И правильно сделала. Рылом не вышел, слишком она хороша для него, откликнулось несколько голосов.

— Я думаю, он не отступится, — заметил Шеймус. — Он ведь, если в голову себе чего возьмет, попрет напролом.

— Эйб Дэртон — вот кто победит в скачке, — сказал Хулаган, невысокий бородатый ирландец. — Готов поставить на эту лошадку четыре против семи.

— И проиграешь свои денежки, — со смехом возразил ему один из молодых. — Чтобы этой девушке понравиться, надо иметь больше мозгов, чем у нашего Заморыша.

— Видел кто нынче Заморыша? — спросил Мак-Кой.

— Я видел, — сказал молодой старатель. — Он мотался по всему поселку и искал словарь… Письмо, наверное, написать надумал.

— А я видел, как он читал этот словарь, — сказал Шеймус. — Подошел ко мне и говорит, что, мол, с первого захода ему повезло, и слово мне показывает, длиннющее, ну, как твоя рука… «отрекающийся» или как его там… ну, в таком, в общем, роде.

— Он, я думаю, сейчас богатый человек, — сказал ирландец.

— Да, сколотил капитал. У него сто фунтов акций Коннемары, а они растут каждый час. Продаст свою долю и может домой уезжать.

— Наверное, захочет увезти с собой кое-кого, — вмешался еще один из присутствующих. — А старик Джошуа не станет возражать, раз у жениха есть деньги.

Мне кажется, в этом повествовании я уже как-то упомянул, что Джим Страглс, изыскатель, считался самым остроумным на прииске. Этой репутации он добился не одним лишь пустым зубоскальством, но прежде всего фундаментально продуманными и мастерски осуществленными розыгрышами. Утреннее происшествие немного притушило его обычную веселость; но теплая компания и горячительные напитки мало-помалу вернули ему жизнерадостность. После ухода Фергюсона он долго молчал, обдумывая зародившуюся у него в уме идею, и наконец стал излагать ее приятелям.

— А скажите-ка, ребята, — начал он, — какой сегодня день?

— Да вроде пятница.

— Я не об этом. Какое сегодня число?

— Сдохнуть мне, если я знаю!

— Ну, не знаете, так я вам скажу. Сегодня первое апреля. В моей хибаре есть календарь, он утверждает, что это именно так.

— Ну, допустим, так, а дальше что? — спросило сразу несколько голосов.

— Да, видите ли, первое апреля именуется Днем Всех Дураков. Так, может, мы над кем-нибудь в честь этого дня подшутим? Разыграем небольшую безобидную шутку и повеселимся от души? Взять, к примеру, нашего друга Заморыша; каждый знает: ничего не стоит его провести. Что, если мы его куда-нибудь отправим, а сами будем за ним наблюдать? Мы же после можем целый месяц его подначивать, верно?

По кабинету прошел ропот одобрения. Шутка, даже самая незамысловатая, всегда была на прииске желанной гостьей. Мало того, чем она была грубей и проще, тем больше удовольствия получали шутники. В поселке Гарвей никто не страдал излишним тактом.

— А куда же нам его послать? — вот все, что спросили собравшиеся.

Джим Страглс на секунду погрузился в размышления. Затем, объятый нечестивым

вдохновением, он оглушительно захохотал, хлопая руками по коленям в приступе неудержимого восторга.

— Ну, рассказывай, что ты придумал? — нетерпеливо спрашивали приятели.

— А вот послушайте, ребята. Вы говорите, Эйб влюбился в мисс Синклер. И считаете, он ей не очень-то нужен. А что если мы напишем ему записочку и… сегодня же вечером отправим.

— Ну, напишем, отправим, дальше что? — спросил Мак-Кой.

— Мы ведь можем сделать вид, будто записку написала она сама, понятно? Подпишемся внизу ее именем. А в записочке этой напишем, что она ждет его в своем саду в двенадцать часов ночи. Эйб ведь непременно прибежит. Он, чего доброго, подумает, будто она хочет бежать с ним из дому. Вот будет потеха, у нас такой тут не бывало уже год.

Все покатились со смеху. Трудно было не расхохотаться, вообразив себе эту картину: простодушный Заморыш бродит ночью по саду, вздыхая от любви, а старик Джошуа выскакивает из дому с двустволкой, чтобы его урезонить. Выдумка Страглса была одобрена единодушно.

— Вот карандаш, бумага, — продолжал наш весельчак. — Кто будет писать ему письмо?

— Ты сам и напиши, Джим, — сказал Шеймус.

— Ну, ладно, я так я, а что там написать?

— Валяй, что хочешь, то и пиши. По своему разумению.

— Вот уж не знаю, как бы она все это изложила, — сказал Джим, озабоченно почесывая голову. — А впрочем, ладно, Заморыш-то наш все равно ничего не заметит. Ну-ка, это, например, звучит? "Дружище, милый. Приходи к нам в сад в двенадцать ночи, а если не придешь, я с тобой никогда в жизни разговаривать не буду." Ну как, годится? Ничего?

— Нет, не ее стиль, — вмешался молодой старатель. — Она девица образованная, ты это имей в виду. Она напишет поласковей и этак цветисто.

— Тогда сам и пиши, — угрюмо сказал Джим и вручил ему карандаш.

— Ну, как-нибудь, к примеру, так, — задумчиво сказал старатель и послюнил кончик карандаша. — "Когда на небе взойдет луна…"

— Вот-вот, в самую точку… — оживилась развеселая компания.

— "И звездочки будут ярко сиять, выйди, о, выйди ко мне, Адольфус, я буду ждать тебя возле садовой калитки в двенадцать часов."

— Его зовут не Адольфус, — критически произнес Джим.

— Так полагается в стихах, — возразил автор. — Имя-то, видишь, не совсем простое. Звучит куда позаковыристей, чем Эйб. Но я думаю, он все-таки догадается, кого она имеет в виду. А дальше я подписываюсь: «Кэрри». Вот! И кончен бал!

Все находящиеся в комнате молча и вдумчиво прочли это послание, передавая его из рук в руки и благоговейно на него взирая, как и подобает взирать на выдающееся создание человеческого разума. Затем его сложили и вверили попечениям мальчишки, которому было торжественно под угрозой страшной кары приказано доставить его в хибару Эйба Дэртона и смыться прежде, нежели ему будут заданы какие-либо щекотливые вопросы. Лишь после того, как он растаял в темноте, легкие укоры совести потревожили одного или двух шутников.

— Не поступаем ли мы с бедной девушкой довольно-таки подло? — спросил Шеймус.

— А со стариной Заморышем довольно-таки круто? — добавил кто-то еще.

Но эти робкие предположения были отвергнуты большинством и исчезли без следа после появления второго жбана виски. Дело было почти полностью забыто к тому времени, когда получивший записочку Эйб с замиранием сердца читал ее по складам при свете одинокой свечи.

Эту ночь долго помнили в поселке Гарвей. С далеких гор порывами налетал ветер, вздыхал и

жаловался на заброшенных участках. Темные тучи неслись по небу, закрывая луну и бросая тень на расстилавшуюся внизу долину, но уже через мгновение, вырвавшись из туч, луна вновь озарила чистым и холодным серебристым сиянием долину, обливая призрачным, таинственным светом темные заросли кустарника, раскинувшиеся по обе стороны от нее. Лицо природы в эту ночь казалось безгранично одиноким. Впоследствии все вспоминали, что в атмосфере, нависшей над поселком, затаилась какая-то таинственная и жуткая угроза.

Эйб Дэртон покинул свою хижину после наступления темноты. Компаньон его Босс Морган еще не возвратился, так что, кроме неизменно бдительного Моргуна, ни одна живая душа не наблюдала за его передвижениями. Не без некоторого удивления наш простодушный друг смотрел на огромные, шатающиеся иероглифы, выведенные нежными пальчиками его ангела, но внизу стояла ее подпись, и он отмел сомнения. Он ей нужен, а остальное не важно, и, с сердцем чистым и бесстрашным, старатель, словно странствующий рыцарь, отправился туда, куда звала его любовь.

Он ощупью поднялся вверх по извилистой крутой дорожке, которая вела к "Вилле Азалия". Примерно в ста пятидесяти шагах от калитки стояло несколько невысоких деревьев, окруженных кустами. Дойдя до них, Эйб приостановился, собираясь с мыслями. Двенадцати еще, конечно, не было, так что в запасе у него оставалось, по крайней мере, несколько минут. Стоя под темным пологом веток, он с волнением вглядывался в смутно белевшие в темноте очертания дома. В глазах прозаически настроенного смертного строеньице это выглядело вполне заурядным, но влюбленному оно внушало благоговейный трепет.

Повременив немного в тени деревьев, старатель направился к садовой калитке. Там не было ни души. Несомненно, он явился слишком рано. Луна теперь светила очень ярко, и вокруг было светло, как днем. Эйб оглянулся на дорогу, которая белой змейкой взбегала на вершину холма. Его легко было сейчас заметить — силуэт высокого, могучего широкоплечего человека ясно и отчетливо выделялся в мерцающем свете луны. Вдруг он дернулся, словно в него попала пуля, и, отшатнувшись, прижался к калитке спиной.

То, что он увидел, его страшно напугало, он даже побледнел, чего с ним не бывало отродясь. Да и неудивительно, если вспомнить о находившейся так близко девушке. Сразу же за поворотом дороги, примерно в двухстах ярдах, он заметил большое темное пятно, которое быстро приближалось к дому и вскоре скрылось в тени холма. Это темное пятно он видел лишь одно мгновение, но и мгновения было достаточно, чтобы опытный глаз охотника молниеносно оценил обстановку. К дому ехали верхом какие-то люди, а какие всадники ездят по ночам, если не беглые каторжники, они же разбойники — бич лесного края?

Признаемся, в обычных случаях Эйб был изрядным тугодумом да и вообще отличался медлительностью. В часы опасности, однако, его отличала быстрота реакции и обдуманная, холодная решимость. Шагая по саду, он сразу все взвесил. По самым скромным расчетам, бандитов человек шесть, не меньше, и все они отчаянные, бесстрашные люди. Сумеет ли он задержать их хоть на короткое время и помешать ворваться в дом — вот что важнее всего. Мы уже упоминали, что на главной улице города дежурили патрули. Эйб прикинул помощь может подоспеть минут через десять после того, как прозвучит первый выстрел.

Будь он внутри дома, он бы мог твердо рассчитывать, что продержится и дольше. Но сейчас, пока он разбудит спящих, растолкует им, в чем дело, и они откроют ему дверь, бандиты, конечно, с ним давно уже расправятся. Волей-неволей придется ему смириться с тем, что он просто сделает все, что в его силах. Во всяком случае, Кэрри увидит, что если он не смог с ней поговорить, то, по крайней мере, сумел за нее умереть. При этой мысли он даже покраснел от счастья и осторожно пристроился в тени дома. Он взвел курок револьвера. Опыт научил его, что преимущество за тем, кто стреляет первым.

Дорога, по которой ехали разбойники, заканчивалась перед деревянными воротами, ведущими в сад со стороны, противоположной калитке. Справа и слева от ворот тянулась живая изгородь из зарослей акации, и такая же изгородь непроницаемой колючей стеной окаймляла с двух сторон идущую от ворот коротенькую дорожку. Эйб хорошо знал это место. Он подумал, что человек, решившийся на все, наверное, сумеет даже в одиночку защищать этот проход в течение хотя бы нескольких минут, пока бандиты не проникнут к дому с какой-нибудь другой стороны и не нападут на него с тыла. Во всяком случае, ничего лучше он придумать не мог. Эйб прошел мимо парадной двери, но тревогу поднимать не стал. Синклер человек немолодой, и помощи от него немного в той отчаянной схватке, которая предстоит; между тем, если в доме зажгутся огни, разбойники поймут, что их там ожидают. Ах, если бы сейчас здесь был его напарник Босс, Чикаго Билл, да и вообще любой из двадцати отчаянных храбрецов, которые явились бы на его клич немедля и приняли участие в схватке! Он пошел по узкому проходу между колючими стенами акаций. Вот деревянные ворота — он так хорошо их знал, —

а на воротах восседает, лениво покачивая ногами и вглядываясь в дорогу, мистер Джон Морган собственной персоной, именно тот человек, встречи с которым Эйб жаждал сейчас всем сердцем.

Времени на объяснения почти не оставалось. В нескольких словах Босс торопливо объяснил, что, возвращаясь из небольшого изыскательского турне, наткнулся в темноте на разбойников и, не замеченный ими, случайно услышал, куда они едут, после чего помчался во всю мочь и, отлично зная местность, сумел их опередить.

— Подымать тревогу было некогда, — пояснил он, все еще тяжело дыша, нам придется без посторонней помощи, вдвоем остановить их и не позволить, чтобы они прорвались к добы… к твоей девушке. Только через наши трупы, Заморыш, иначе они не пройдут.

И с этими словами наши столь чудесным образом встретившиеся друзья с любовью посмотрели друг другу в глаза, прислушиваясь в то же время к топоту копыт, который доносил до них душистый лесной ветер.

Разбойников было шестеро. Один, по-видимому, вожак, ехал впереди, остальные следовали за ним, плотно сбившись в кучу. Приблизившись к дому, они соскочили с лошадей, вожак пробормотал несколько слов, после чего бандиты привязали лошадей к стоящему у изгороди невысокому деревцу и уверенно направились к воротам.

В самом конце зеленого коридора притаились в тени живой изгороди Эйб и Босс Морган. Разбойники, как видно не ожидавшие серьезного отпора в этом уединенном доме, их не заметили. Когда главарь, идущий впереди, повернулся, чтобы сказать несколько слов товарищам, друзья узнали чеканный профиль и пышные усы Черного Фергюсона, отвергнутого поклонника мисс Кэрри Синклер. Честный Эйб тотчас же мысленно поклялся в душе, что уж этот-то, во всяком случае, до дверей живым не доберется.

Негодяй приблизился к воротам и протянул руку к задвижке. Он уже начал ее отодвигать, как из кустов прогремело: "Назад!" На войне, как и в любви, наш друг старатель был немногословен.

— Здесь никак нельзя пройти, — пояснил другой голос с той невыразимой мягкостью и печалью, которая всегда звучала в нем, когда в душе у говорившего бушевал сам дьявол. Бандит узнал его. Эту ласковую неторопливую речь он неоднократно слышал в бильярдной "Бакхертского герба". А человек, с такой доброжелательностью предупредивший пришельцев, стал спиной к дверям, вытащил пистолет и добавил, что хотел бы взглянуть на мошенника, который осмелится войти в сад.

— Все понятно, — буркнул Фергюсон, — это чертов дурень Дэртон и его белолицый дружок.

Имена обоих были в этих краях знамениты. Но и разбойники оказались все как на подбор отчаянные, храбрые ребята. Они сгрудились вплотную у ворот.

— Убирайтесь! — страшным голосом прохрипел главарь шайки. — Девушку вы все равно не спасете. Пошли вон отсюда, пока шкура цела!

Компаньоны засмеялись.

— Тогда, будьте вы все прокляты, вперед!

Ворота распахнулись, последовал недружный залп нападающих, и банда ринулась вперед.

В ночной тиши весело потрескивали револьверные выстрелы — это начали стрельбу защитники дома. Им было трудно целиться в темноте. Бандит, бежавший следом за главарем, вдруг судорожно дернулся, подпрыгнул и упал ничком, раскинув руки, корчась в страшной агонии. Третьего бандита оцарапала пуля. Остальные остановились, чтобы помочь товарищу. Эта девушка, если на то пошло, достанется не им, так что стоит ли рисковать. И только атаман бешено рвался вперед, подтверждая свою репутацию отчаянно смелого негодяя, но был встречен сокрушительным ударом, который Эйб Дэртон нанес ему рукояткой пистолета с такой яростной силой, что противник, словно перышко, отлетел к сообщникам, с раздробленной челюстью, весь в крови и к тому же утратив способность браниться в тот самый миг, когда нуждался в этом больше всего.

— Не спешите уходить, — прозвучал в темноте голос Босса Моргана.

Но они и сами не спешили. Они знали: у них осталось еще несколько минут до того, как сюда прибегут из поселка на помощь. Они, может быть, еще успеют выломать дверь, если сумеют

одолеть защитников дома. Начиналось то, чего боялся Эйб. Черный Фергюсон ориентировался в местности не хуже его самого. Он быстро пробежал вдоль живой изгороди к тому месту, где в сплошной стене акаций было что-то вроде щели. С треском ломая ветки, все бандиты пролезли в сад. Друзья переглянулись. Противник все же обошел их с фланга. Они встали, как встают, когда пришел последний час, и собирались встретить его без страха.

Вдруг у изгороди в лунном свете замелькало множество темных фигур, хорошо знакомые голоса радостно вопили. Шутники поселка Гарвей, явившиеся посмотреть, как сработал их розыгрыш, наткнулись на игру совсем не шуточного свойства. Компаньоны увидели лица друзей: Шеймус, Страглс, Мак-Кой. Завязалась яростная схватка, все ринулись очертя голову на поле боя, и оно скрылось в облаке дыма, из которого лишь доносились выстрелы и свирепые выкрики, а когда облако рассеялось, одинокая темная тень метнулась к лазу в стене живой изгороди — это был единственный оставшийся в живых разбойник, улепетывающий во все лопатки. Но в стане победителей не слышно было победных кликов, все почему-то притихли, и что-то похожее на ропот скорби прошелестело по их рядам — у дверей, у самого порога, который он так отважно оборонял, лежал верный и простосердечный Эйб, он задыхался, грудь его была пробита пулей.

Крепкие руки старателей подняли его и бережно внесли в дом. Среди них, я думаю, нашлись бы такие, кто согласился бы взять на себя его боль, чтобы снискать любовь тоненькой девушки в белом, склонившейся над его окровавленной постелью и что-то шепчущей ему на ухо, так ласково, так нежно. Ее шепот, казалось, пробудил его. Он открыл глаза и огляделся. Его взгляд остановился на ее лице.

— Отдаю концы, — пробормотал он, — то есть, простите, Кэрри, я хотел сказать, при последнем издыха… — Он слабо улыбнулся, и голова его опять упала на подушку.

Впрочем, на сей раз Эйб впервые в жизни не сдержал слова. Решающую роль сыграло его на редкость крепкое телосложение, и он успешно справился с ранением, которое для человека послабей могло бы оказаться смертельным. Подействовало ли на него целительное дыхание лесов, раскинувшихся безбрежным океаном на тысячу и даже больше миль, или же причина заключалась в маленькой сиделке, которая так бережно за ним ухаживала, одно несомненно: прошло два месяца, и мы узнали, что Эйб продал акции Коннемары и навсегда покинул поселок Гарвей и маленькую хижину на горе.

Вскоре после этого мне посчастливилось прочесть отрывок из письма молодой леди по имени Амелия, о которой мы уже упоминали вскользь. И поскольку мы уже однажды позволили себе нескромность заглянуть в послание, написанное женщиной, во второй раз совесть будет нас меньше мучить.

"Я была подружкой невесты, — сообщает Амелия, — и Кэрри выглядела обворожительно (подчеркнуто) в белой фате и с флердоранжем. А жених! В два раза выше, чем твой Джек, и такой забавный, такой милый, то и дело краснел и ронял молитвенник. И когда ему был задан самый главный вопрос, он так громко прогремел "Согласен!", что слышно было на другом конце Джордж-стрит. Его шафер — просто прелесть (подчеркнуто дважды). Такой тихий, такой красивый и изящный. Я думаю, он слишком тонкая натура, чтобы успешно позаботиться о себе в окружении таких грубиянов."

Полагаю, что скорее всего мисс Амелия в свое время сумела переложить на свои плечи заботу о нашем старом друге, мистере Джоне Моргане, в просторечии известном как Босс.

Дерево, растущее у поворота дороги, до сих пор именуют "Фергюсонов эвкалипт". Нам нет нужды пускаться в малоприятные подробности. В отдаленных от цивилизации колониях суд правят быстро и немилосердно, а обитатели поселка Гарвей — народ суровый и деловитый.

Сливки местного общества сохранили обычай собираться иногда в субботу вечером в отдельном кабинете "Колониального бара". В этих случаях, если среди присутствующих есть новый человек, которого желают развлечь старожилы, неизменно соблюдается одна и та же церемония. В глубокой тишине все наполняют стаканы, затем со стуком ставят их на стол, после чего, укоризненно покашляв, поднимается Джим Страглс и рассказывает историю первоапрельской шутки и того, что из нее получилось. Замечено, что, подведя рассказ к концу, Джим с особым артистизмом прерывает свою речь и, подняв вверх бокал, горячо восклицает: "Здоровье мистера и миссис Заморышей! Да благословит их Бог!" — здравица, к которой новый гость, если он благоразумный человек, считает своим долгом самым сердечным образом присоединиться.

*1879 г.*

**Тайна долины Сэсасса**

Знаю ли я, почему Тома Донахью зовут Том-Счастливчик? Да, знаю; и среди тех, кто так его называет, едва ли может этим похвалиться один из десяти. Я в свое время немало бродил по свету и немало видел удивительных вещей, но самое удивительное — то, как Том заполучил это прозвище и в придачу — свое состояние. Я ведь был с ним тогда. Рассказать? Извольте. Только это длинная история и к тому же совершенно необыкновенная, так что закурите-ка еще сигару и налейте себе еще стаканчик. Как я уже сказал, история эта необыкновенная, почище иных волшебных сказок, но все в ней чистая правда, сэр, каждое слово. В Капской колонии живы еще люди, которые все это помнят и могут подтвердить, что я не вру. Об этом событии не раз толковали у огня в хижинах буров от штата Оранжевый до Гриквaленда, да и не только там — и в буше, и на алмазных копях.

Я теперь уже не тот, сэр, одичал, как говорится, но было время, когда я был зачислен в Миддл-Темпл и учился на адвоката. Том — вот ведь как — был тогда моим однокашником. Эх, и покутили же мы с ним, пока в конце концов наши финансы не иссякли, и нам пришлось бросить так называемые занятия и отправиться искать по свету местечко, где двое молодых парней с крепким здоровьем и сильными руками могли бы чего-то добиться.

В те дни эмиграция в Африку только-только начиналась, и мы решили, что удача ждет нас именно там, в Капской колонии. Короче говоря, мы отправились в путь, а когда высадились в Кейптауне, у нас не было и пяти фунтов в кармане. Тут мы и расстались. Пробовали свои силы на разных поприщах, были и взлеты и падения, но когда к концу третьего года случай снова нас свел, оба мы, и Том и я, были — увы — в положении ненамного лучшем, чем в начале пути. По правде говоря, хвастать было нечем; мы были так подавлены, так удручены, что Том даже стал поговаривать, не вернуться ли в Англию и не поступить ли клерком в какую-нибудь контору. Мы тогда еще не понимали, что до тех пор просто заходили с мелкой карты, а все козыри у нас еще впереди; мы думали, нам вся карта идет плохая. Край там был малонаселенный — так, редкие фермы, обнесенные частоколом и заборами для защиты от кафров. Мы с Томом Донахью жили в маленькой хижине прямо в буше, но все знали, что у нас ничего нет и что к тому же оба мы умеем пользоваться оружием, поэтому бояться нам было нечего. Так мы и жили, перебиваясь случайными работами, в надежде, авось что-нибудь наконец подвернется. Прошло около месяца, и вдруг однажды вечером нам действительно представился случай, который все перевернул в нашей жизни и сделал нас людьми. Я отлично помню, как это было. За стенами хижины выл ветер, и дождь грозил ворваться в окно. Мы развели огонь. В очаге шипели и постреливали дрова, я сидел рядом и чинил кнут, а Том лежал на своей койке, на чем свет кляня судьбу, забросившую его в такое гиблое место.

— Брось, Том, не унывай, слышь? — сказал я. — Выше нос! Никто не знает, что его ждет.

— Меня — невезение, сплошное невезение, Джек, — ответил он. — Мне всю жизнь не везло. У парней, которые только-только приехали из Англии, уже звенят монеты в карманах, а я пробыл в этой проклятой стране три года — и по-прежнему нищ, как тогда, когда сошел с корабля. Ах, Джек, дружище, если ты хочешь держать голову над водой, тебе придется попытать счастья без меня.

— Ерунда, просто на тебя такой стих нашел сегодня. Послушай, к нам кто-то идет! Похоже, это Дик Уортон; вот он тебя расшевелит, а то ты совсем раскис.

Не успел я договорить, как дверь распахнулась, и честный Дик Уортон появился на пороге. Вода стекала с него ручьями, его доброе красное лицо вырисовывалось в полумраке, как полная луна. Он отряхнулся, поздоровался с нами и сел у огня.

— Где тебя носит в такую ночь? — спросил я. — Смотри, Дик, ревматизм враг похлеще кафров; ты в этом убедишься, если не станешь поаккуратней выбирать время для прогулок.

Дик выглядел необычно серьезным. Если бы я не знал этого человека, я, пожалуй, решил бы, что он чем-то напуган.

— Пришлось пойти, — ответил он, — надо было. Одна из коров Мэдисона забрела в долину Сэсасса; конечно, никто из наших черных не захотел туда идти. Ночью — ни за что, а если бы мы стали дожидаться утра, эта скотина вообще забрела бы к кафрам.

— А почему это они так заупрямились? Почему не хотели ночью идти в долину? — поинтересовался Том.

— Наверное, кафров боятся, — предположил я.

— Духов, а не кафров, — сказал Дик.

Мы с Томом расхохотались.

— Ну, наверное, такому здравомыслящему человеку, как ты, духи не стали бы демонстрировать свои чары, — подал голос Том со своей койки.

— Ошибаешься, — возразил Дик серьезно. — Представьте себе: сегодня я видел то, о чем болтают негры, и уверяю вас, не хотел бы увидеть это еще раз.

Том подхватился и сел на койке.

— Чушь какая! Ты шутишь, Дик! А ну-ка расскажи все по порядку. Сначала эту негритянскую легенду, а потом — что ты сам видел. Передай ему бутылку, Джек.

— Ну, что касается легенды, — начал Дик, — мне кажется, у них из поколения в поколение передается, будто в этой долине обитает злой дух. Охотникам и бродягам, проходившим по ущелью, случалось видеть его горящие глаза в тени скалы; и говорят, тот, кому довелось встретить его злобный взгляд, всю жизнь потом испытывает губительную силу этого существа. Теперь у меня будет возможность проверить на себе, правда это или нет, — добавил Дик удрученно.

— Дальше, Дик, дальше! — воскликнул Том. — Расскажи, что ты видел.

— Ну вот: пробирался я по долине, разыскивая эту чертову корову, и прошел уже, наверное, с полпути до того места, где справа в ущелье выступает черный скалистый утес. Там я остановился, чтобы хлебнуть глоточек из фляги. Я все время смотрел на этот утес и ничего необычного в нем не замечал. Потом я поднял флягу и сделал шаг или два вперед — и вдруг откуда-то от подножия скалы, футах в десяти от земли и на расстоянии примерно сотни ярдов от меня вспыхнул странный, зловещий огонь, мерцающий, колеблющийся; он то угасал постепенно, то снова загорался. Нет-нет, я видел много всяких светляков, и ползающих и летающих, но это было совсем не то. Так я и стоял, уставившись на этот огонь и дрожа всем телом — не меньше десяти минут стоял, — а он все горел. Затем я шагнул вперед — и он исчез, как будто свечу задули. Я опять отступил на шаг, но мне не сразу удалось найти то самое место и положение, откуда он был виден. Наконец нашел — и снова это мерцание, этот зловещий красноватый свет. Я собрался с духом и двинулся к скале, но дорога там такая неровная, что идти по прямой было невозможно, и я так больше ничего и не увидел, хотя прошел вдоль всего подножия скалы. Тогда я повернул и потопал домой, я могу вам сказать, ребята, — я даже не заметил, что идет дождь, пока вы мне об этом не сказали. Эй, что там такое с Томом? И действительно — что с ним? Теперь он сидел, свесив ноги с койки, и лицо его выражало настолько сильное волнение, что казалось, оно причиняет ему боль.

— У дьявола должно быть два глаза. А ты сколько видел, Дик? Да говори же!

— Только один.

— Ур-р-ра! — завопил Том. — Вот это уже лучше!

С этими словами он так взбрыкнул, что одеяла отлетели на середину комнаты, а сам он вскочил и стал мерить ее пространство крупными, лихорадочными шагами. Потом вдруг остановился перед Диком и положил руку ему на плечо:

— Послушай, Дик, как ты думаешь: мы успеем дойти туда до рассвета?

— До этой долины? Едва ли.

— Так вот: мы с тобой старые друзья, Дик Уортон. Прошу тебя: не говори никому о том, что ты нам рассказал. Неделю не говори — обещаешь?

Дик пообещал, но лицо у него было такое, будто он решил, что бедняга Том не в своем уме. Я и сам был совершенно озадачен его поведением, однако я видел немало доказательств того, что друг мой в избытке наделен здравым смыслом и сообразительностью, а потому вполне допускал, что рассказ Уортона имел для него какое-то особое, недоступное моему пониманию значение.

Всю ночь Том Донахью провел в чрезвычайном волнении, и, когда Уортон собрался уходить, он снова стал умолять его не забывать о данном обещании. Кроме того, он выудил у Дика точное описание места, с которого тот наблюдал это странное явление, и время, когда оно возникло. Когда Дик наконец ушел это было часа в четыре утра, — я завалился спать, а Том принялся

что-то мастерить, прилаживая друг к другу две ровные планочки. Я наблюдал за ним, пока не уснул, а когда проснулся, часа через два, он все еще сидел перед огнем в той же позе и возился со своими палочками. Две скрепил так, что получилось грубое подобие буквы Т, и теперь примащивал третью, поменьше, чтобы с ее помощью можно было поднимать или опускать поперечинку. В вертикальной планке он сделал наседки, чтобы при помощи распорки можно было удерживать поперечину в любом положении сколько угодно времени.

— Послушай, Джек! — воскликнул он, увидев, что я не сплю. — Поди-ка сюда, мне нужен твой совет. Если я вот эту поперечину направлю на какой-то предмет и зафиксирую ее положение вот этой распоркой, смогу ли я потом, если мне понадобится, найти его с помощью этой штуки?

Он сжал мою руку, заметно волнуясь.

— Ну, это прежде всего зависит, на каком расстоянии от тебя находится объект и насколько точно сориентировано твое сооружение. Вообще я бы сделал прорезь, вроде визира или прицельного устройства, на поперечине; тогда бечевка, привязанная к ее концу и натянутая так, чтобы строго продолжать ее направление, приведет тебя к желаемому объекту. Только я что-то не пойму не хочешь ли ты определить местонахождение злого духа при помощи этой рогульки?

— Ты все увидишь сегодня, дружище, сегодня вечером. Я возьму эту штуку в долину Сэсасса, а ты попросишь у Мэдисона ломик и пойдешь со мной. Только смотри, никому не говори, куда идешь и зачем тебе лом.

Целый день Том трудился над своим сооружением или ходил взад и вперед по комнате. Глаза его блестели, щеки пылали, налицо были все симптомы отчаянной лихорадки.

"Не дай Бог, Дик окажется прав в своем диагнозе", — подумал я, возвратившись с ломом от Мэдисона. И все же по мере того, как приближался вечер, я чувствовал, что сам невольно разделяю его волнение.

Около шести часов Том вскочил на ноги и схватил свои палочки.

— Я больше не могу, Джек! Бери лом — и вперед, в долину Сэсасса! Сегодня все решится — пан или пропал! Возьми с собой револьвер, на случай, если встретятся кафры. Я свой не возьму, — продолжал он, положив руки мне на плечи, — не возьму, потому что за себя не ручаюсь. Я не знаю, что могу сделать, если мне опять не повезет.

Итак, рассовав по карманам все необходимое, мы отправились в путь утомительный путь в долину Сэсасса. По дороге я несколько раз пытался выяснить у Тома, каковы его намерения, но единственным ответом неизменно было: "Надо спешить, Джек. Кто знает, сколько человек уже слышали о похождениях Уортона, Надо спешить, пока нас не опередили."

Вот так мы пробирались среди холмов миль эдак десять, пока наконец, спустившись с очередного гребня, не увидели открывающееся перед нами ущелье, темное и мрачное, как дорога в ад. Высокие утесы с обеих сторон замыкали усыпанный валунами проход, который вел через эту долину привидений в страну кафров. Луна, поднимающаяся над утесами, освещала зубчатые вершины, отбрасывая резкие, причудливые тени, а внизу была кромешная тьма, как в преисподней.

— Долина Сэсасса? — спросил я.

— Да, — ответил Том.

Я взглянул на него — он был спокоен. Вся его горячность исчезла; движения были расчетливо-неторопливы. И все-таки в лице чувствовалось какое-то напряжение, а блеск в глазах свидетельствовал, что кризис наступил.

Мы вошли в проход, спотыкаясь среди валунов, и вдруг я услышал короткий возглас:

— Вот он, этот утес! — Том указывал на темную громаду, выросшую перед нами.

— Теперь, Джек, ради всего святого, смотри в оба! Я думаю, от нас до этого утеса около ста метров. Ты иди медленно в ту сторону, а я пойду в другую. Как только увидишь что-нибудь, остановись и крикни мне. Не делай больших шагов и все время смотри на утес — футов восемь от земли. Ты готов?

— Да.

Теперь уже я сам был взволнован не меньше Тома. Каковы его намерения или цель, я не мог постичь; ясно было только, что он хочет при дневном свете осмотреть ту часть скалы, откуда исходило это загадочное мерцание. Влияние романтической обстановки и одерживаемого волнения моего спутника было столь велико, что я чувствовал, как кровь струится по жилам и мог сосчитать толчки ее в висках.

— Пошли! — крикнул Том, и мы двинулись — он направо, я налево. Я успел сделать шагов двадцать, как вдруг увидел это. Сквозь сгущающийся мрак передо мной светилась маленькая красноватая точка; свет ее то слабел, то усиливался, мерцал и колебался, причем с каждой переменой он казался все более и более зловещим. Я вспомнил кафрское поверье, и мурашки побежали у меня по спине. В волнении я отступил на шаг — и свет исчез. На месте его сгустилась полная темнота, но стоило мне снова двинуться вперед, как передо мной снова возник красноватый огонек, тлеющий у подножия скалы.

— Том! — закричал я.

— Иду! — откликнулся он, спеша мне навстречу.

— Вот оно — вон там, у скалы!

Том был рядом, он касался меня локтем.

— Я ничего не вижу, — возразил он.

— Да вот же, смотри — прямо перед тобой!

Я шагнул вправо, и свет исчез.

Зато Том издал вопль восторга: было ясно, что с того места, где я только что стоял, он тоже увидел это.

— Джек, — воскликнул он, обернувшись, и сжал мою руку. — Джек, нам больше никогда не придется жаловаться на судьбу! Надо сложить несколько камней — вот здесь, где мы сейчас стоим. Вот так. А теперь закрепить на верхушке мой указатель. Отлично. Если только не будет сильного ветра, до утра он продержится, а больше нам и не надо. Подумать только! Еще вчера мы говорили, что нам ничего не останется, как вернуться в Англию и поступить клерками в какую-нибудь захудалую контору, а ты еще сказал, никто не знает, что его ждет. Клянусь, об этом можно было бы написать неплохой рассказ!

К этому времени мы уже закрепили вертикальную планку между двумя большими камнями; Том наклонился и стал смотреть вдоль поперечины.

Минут пятнадцать он то поднимал, то опускал ее, пока не закрепил угол распоркой. Наконец со вздохом удовлетворения Том выпрямился.

— Взгляни-ка, Джек, у тебя верный глаз.

Я взглянул. В центре прорези мерцал красноватый огонек; казалось, он находится на конце планки — с такой точностью Том установил свой прибор.

— А теперь, мой мальчик, — сказал он, — мы поужинаем и ляжем спать. Сегодня нам больше делать нечего, зато завтра нам понадобятся все наши силы и вся наша смекалка. Собирай хворост, и разожжем костер: придется посторожить эту штуку, чтобы с ней ничего не случилось.

Ну что ж, мы разожгли костер и поужинали; глаз демона Сэсасса светился перед нами весь вечер. Правда, не все время на том же месте, потому что, когда после ужина я захотел еще раз взглянуть на него через визир, его нигде не было видно. Тома, однако, мое сообщение не обеспокоило.

— Это луна переместилась, а не эта штука, — заметил он и, свернувшись калачиком, закрыл глаза.

К рассвету мы оба были уже на ногах, вглядываясь в точку, на которую указывала стрелка нашего ориентира. Ничего особенного — мертвая однообразная, синевато-серая поверхность, чуть, пожалуй, более неровная в этом месте, вот и все.

— Теперь мы осуществим твою идею, Джек, — сказал Том Донахью, разматывая тонкую бечевку, намотанную вокруг талии. — Ты прикрепи свой конец к планке, а я возьму другой

конец.

С этими словами он отошел к подножию скалы, держа конец бечевки, а я натянул другой и привязал его к середине поперечной планки, пропустив предварительно через прорезь визира. Теперь я мог со своего места командовать Тому «левее» или «правее», пока, наконец, натянутая до скалы бечева полностью не совпала с направлением планки. Точка, на которую она указывала, находилась на высоте примерно восьми футов от земли. Том обвел мелом круг, диаметром фута в три, и подозвал меня.

— Слушай, Джек, — сказал он, — все, что надо было сделать, мы делали вместе, и если мы сейчас что-то найдем, это будет наша общая находка.

Внутри окружности, которую он начертил, поверхность скалы была более гладкой — только посередине торчало несколько бугорков. С воплем восторга Том ткнул пальцем в один из них. Это была шероховатая бурая масса, величиной с кулак взрослого мужчины, похожая на кусок грязного стекла.

— Вот оно! — крикнул Том. — Вот, видишь?

— Что — «оно»?

— Алмаз — понимаешь? — алмаз! И нет в Европе монарха, который не позавидовал бы Тому Донахью, обладателю такого сокровища! Бери лом! Сейчас будем изгонять дьявола из долины Сэсасса!

Я был так потрясен, что с минуту стоял, не в силах вымолвить ни слова, уставившись на сокровище, которое так нежданно свалилось нам в руки.

— Дай-ка мне лом. Вот эту круглую шишку мы используем как точку опоры, а лом — как рычаг. Ну вот, я и не думал, что мы так легко справимся. Теперь, чем скорее мы доберемся до дома, а оттуда в Кейптаун, тем лучше.

Мы завернули свою драгоценность в платок и через холмы отправились домой. По дороге Том рассказал, что когда-то, когда мы с ним еще штудировали право в Миддл-Темпле, ему попалось в библиотеке пыльное сочинение некоего Янса ван Хоунима, описывающее случай, очень похожий на наш: этот почтенный голландец в конце семнадцатого столетия нашел светящийся алмаз. И вот, когда честный Дик Уортон стал рассказывать нам свою историю с привидением, Тому вспомнилась эта книга, а что касается прибора, при помощи которого ему удалось подтвердить свою догадку, то это плод его собственного изобретательного ирландского ума.

— Мы отвезем эту штуку в Кейптаун, — продолжал Том, — и если там не сумеем выгодно ее продать, имеет смысл поехать в Лондон. Но сначала пойдем к Мэдисону; он знает толк в этих вещах и может подсказать, какую цену можно за нее просить.

Сказано — сделано: не доходя до нашей хижины, мы свернули с дороги на узкую тропку, которая вела к ферме Мэдисона. Мы застали его за завтраком. Не прошло и минуты, как Том и я уже сидели по обе стороны от хозяина, наслаждаясь хлебосольным южноафриканским гостеприимством.

— Итак, — сказал он, когда слуги удалились, — какие новости? Я вижу, вы что-то хотели мне сказать — я не ошибаюсь?

Том вытащил свой узелок и торжественно развязал носовой платок.

— Вот, — сказал он, выкладывая кристалл на стол, — ты можешь определить настоящую цену этого камня?

Мэдисон взял в руки нашу находку и критически осмотрел ее.

— Ну что ж, — сказал он и положил ее обратно на стол, — в необработанном состоянии — около двенадцати шиллингов за тонну.

— Двенадцать шиллингов! — воскликнул Том, вскакивая на ноги. — Ты что не видишь, что это такое?

— Ну, почему же — каменная соль.

— Каменная соль? Ты что, рехнулся? Это же алмаз!

— Лизни, попробуй, — ответил Мэдисон невозмутимо.

Том поднес кристалл к губам и тотчас отшвырнул с восклицанием, которое я не берусь повторить, и выбежал из комнаты.

Я сам был ужасно огорчен и разочарован, но тут мне вспомнилось, что Том сказал мне насчет револьвера, и я поспешил за ним, оставив Мэдисона с разинутым от изумления ртом.

Когда я вошел, Том лежал на койке лицом к стене; он был, по-видимому, слишком подавлен, чтобы откликнуться на мои утешения. Кляня на чем свет стоит Мэдисона и Дика Уортона, дьявола долины Сэсасса и вообще все в подлунном мире, я вышел вон, чтобы выкурить трубочку и освежиться после нашего утомительного приключения. Я отошел от хижины метров на сорок, как вдруг до слуха моего донесся звук, который я меньше всего ожидал услышать. Был бы это стон или проклятие, я принял бы его как нечто само собой разумеющееся; но звук, который заставил меня остановиться и вынуть трубку изо рта, был веселый, громкий смех! Через минуту Том возник на пороге собственной персоной, физиономия его лучилась предвкушением удовольствия:

— Как насчет еще одной прогулки, старина? Всего десять миль!

— Что? Еще один кусок каменной соли по двенадцать шиллингов за тонну?

— Нет-нет, вот этого нам больше не надо, — ухмыльнулся Том. — Какие же мы с тобой олухи, если такой пустяк уложил нас на обе лопатки! Присядь-ка на этот пенек, и за пять минут я тебе все растолкую, это ж ясно, как Божий день! Мало мы с тобой видели вкраплений каменной соли? А теперь скажи мне: хоть одно из них светилось в темноте, да еще вот так, ярче любого светляка?

— Да нет, я бы не сказал.

— Уверяю тебя: если бы мы дождались темноты, чего мы, конечно, не сделаем, мы бы увидели, что этот дьявольский глаз там все еще светится. Понимаешь, когда мы унесли эту дурацкую соль, мы взяли не тот кристалл. В этих местах неудивительно, что кусок каменной соли валяется в полуметре от алмаза. Просто он попался нам на глаза, и мы сгоряча сваляли дурака, а настоящий камень остался там, где и был. Голову даю на отсечение: алмаз Сэсасса лежит в том самом магическом круге, который я начертил мелом на скале. Пойдем, старик. Раскури свою трубочку, заряди револьвер; мы должны отправиться в путь раньше, чем этот парень Мэдисон успеет сообразить, сколько будет дважды два.

Не могу сказать, чтобы на этот раз я был настроен очень оптимистически. Этот чертов алмаз превратился для меня в чистое мучение. Однако вместо того, чтобы отрезвить своего приятеля, я объявил, что просто жажду поскорее отправиться в путь. Что это была за прогулка! Том всегда был хорошим ходоком и скалолазом, но в тот день волнение, казалось, придало ему крылья, я же ковылял и карабкался за ним из последних сил. Когда до цели оставалось уже около полумили, он перешел на беглый шаг, полубег и ни разу не остановился, пока не достиг белого круга на скале. Бедняга! Когда я подоспел, настроение у него было уже отнюдь не радостное: он стоял с унылым видом, засунув руки в карманы, уставившись на скалу отсутствующим взглядом.

— Посмотри, — сказал он, — посмотри! — И указал на утес. Никаких признаков чего-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающего алмаз. Внутри окружности не было ничего — плоский синевато-серый камень, большая дыра на том месте, откуда мы выковыряли свой кристалл, и еще одно или два углубления поменьше. Никаких признаков алмаза.

— Я ощупал и осмотрел каждый дюйм, — бормотал несчастный. — Его здесь нет. Кто-то тут уже побывал, увидел меловой круг и забрал алмаз. Пойдем домой, Джек, я больше не могу, я устал, мне все опротивело. Ну скажи: есть еще хоть один человек на свете, которому бы так не везло?

Я повернулся было, чтобы уйти, но прежде решил еще раз оглядеться. Том уже отошел шагов на десять.

— Постой, — крикнул я, — ты не видишь в этой окружности никаких перемен по сравнению с тем, что тут было вчера?

— Что ты хочешь сказать? — насторожился он.

— Тебе не кажется, что тут чего-то не хватает?

— Кристалла соли? — спросил он.

— Да нет, того круглого бугорка, который мы использовали как точку опоры. Мы, наверное, сковырнули его, орудуя своим рычагом. Давай посмотрим, где он и что собой представляет.

Мы принялись заново обшаривать землю у подножия скалы, рассматривая каждый камешек.

— Джек, вот он! Ура! Мы-таки добились своего! Что ни говори, а мы настоящие мужчины!

Я обернулся — Том стоял, сияя от восторга, держа в руках небольшой осколок черного камня. Осколочек был вроде бы совсем обыкновенный, но у основания его была какая-то выпуклость — вот на нее-то и указывал Том. На первый взгляд она напоминала стеклянный глаз, но в ней была глубина и яркость, несвойственная стеклу. На этот раз не могло быть никакой ошибки: у нас в руках был алмаз огромной ценности. Мы покинули долину с легким сердцем, унося с собой «дьявола», который так долго властвовал над ней.

Вот и все, сэр. Так именно оно и было. Я, наверное, утомил вас своим рассказом. Знаете, когда заходит разговор о тех суровых днях, у меня так и встает перед глазами наша убогая хижина, рядом с ней ручей и заросли кругом, и я снова слышу голос Тома. Ну, что вам еще сказать? Мы хорошо заработали на этом камешке. Том Донахью, как вы знаете, обосновался здесь и приобрел известность в городе. Я занялся земледелием и разведением страусов, дела у меня идут совсем неплохо. Дика Уортона мы тоже приспособили к делу, он теперь один из наших ближайших соседей. Если случится когда-нибудь побывать в наших краях, сэр, не забудьте спросить, где тут Джек Тернболл — Джек Тернболл из долины Сэсасса.

**Рассказ американца**

— Чудно, конечно, — произнес наш янки в тот момент, когда я отворил дверь и вошел в комнату, в которой собралось наше небольшое полулитературное общество, — да, чудно, но я бы мог рассказать вам кое-что позанятнее. Из книг, дорогие сэры, всего не узнаешь, нет. Я вам вот что скажу: в такие места, в каких мне довелось побывать, всякие там образованные, из тех, знаете, которые слова, как бисер, нанизывают, сроду не попадут. Там ребята простые, неотесанные, они и говорить-то толком не умеют, не то что пером по бумаге царапать; но вот если бы умели, они бы такое могли рассказать, что вам, европейцам, и во сне не приснится, это я вам точно говорю.

Звали его, по-моему, Джефферсон Эдамс; во всяком случае, инициалы его были Д. Э. Они и сейчас красуются на двери, ведущей в курилку, справа, вверху. Он вырезал их еще тогда и оставил нам в наследство вместе с узорами, артистически выполненными табачной жвачкой на нашем турецком ковре. Правда, если не считать этих сувениров, Д. Э. испарился из нашего сознания почти бесследно. Он сверкнул на тихом небосклоне нашей компании, как яркий метеор, и затерялся где-то во тьме окружающего мира. В тот вечер, однако, наш приятель из Невады был в ударе, и я тихонько, чтобы не прерывать его рассказ, закурил трубку и опустился на ближайший стул.

— Вы не думайте, — продолжал он, — я против этих ваших ученых ничего не имею. Если парень каждому зверю, каждому растению, от медведя до черники, может подобрать название, да еще такое, что на трезвую голову и не выговорить, — я к нему с дорогой душой, со всем моим уважением. Но если вам охота послушать что-нибудь эдакое, из ряда вон, идите к китобоям или поселенцам Дальнего Запада, к следопытам или ребятам из компании Хадсон-Бэй одним словом, к людям, которые даже имя свое, и то с трудом могут накарябать.

Наступила пауза. Мистер Джефферсон Эдамс вытащил длинную сигару и закурил. Мы сохраняли полное молчание, так как знали, что стоит его перебить — и наш янки тотчас замкнется в себе. Он огляделся вокруг, с самодовольной улыбкой отметил, что мы терпеливо ждем, и продолжал сквозь кольца сигарного дыма:

— Вот взять хотя бы вас, джентльмены, — кто из вас когда-нибудь был в Аризоне? Ручаюсь, что никто. Вообще изо всех этих англичан и американцев, которые умеют водить пером по бумаге, — сколько их побывало в Аризоне? Раз-два — и обчелся! А я там был, джентльмены, я жил там, и как вспомню, чего я там насмотрелся, мне и самому не верится, что все это вправду было.

Да, вот это страна, доложу я вам! Я был одним из флибустьеров Уокера, как нас тогда называли, когда же наше дело накрылось и шефа подстрелили, некоторые дали деру и обосновались в Аризоне. Настоящая англо-американская колония, вот как мы жили, вместе с женами, детьми и всякой всячиной. Наверное, там и сейчас есть кое-кто из наших стариков. Бьюсь об заклад, что они не забыли того случая, о котором я собираюсь вам рассказать. Не забыли и не забудут до гробовой доски.

Так вот, об Аризоне. Я думаю, если бы я вообще больше ни о чем удивительном не рассказывал, вам бы и этого хватило под самую завязку. И подумать только, что такой край создан Господом для горсточки мексикашек и каких-то полукровок! Просто обидно, ей-богу! Трава, например, едешь верхом, а она у тебя над головой смыкается, а леса такие, что неба сквозь деревья не видно на мили и мили вокруг, и орхидеи как зонтики! А то еще такое растение — может, кто из вас видел, — его кое-где в Штатах мухоловкой называют?

— Дианеа мусципула, — пробормотал Доусон, самый ученый из нас.

— Вот-вот. "Диана мне всыпала", она самая! Сядет какая-нибудь муха на эту Диану, а лист — цап! — и складывается пополам. Все. Муха попалась. Лист ее расплющивает, перемалывает — точь-в-точь как осьминог своим клювом, и, если вы через несколько часов развернете лист, вы увидите, что муха растерзана в клочья и уже наполовину переварена. Так вот в Аризоне я видел мухоловки, у которых листья достигали восьми, а то и десяти футов в длину, а шипы были с целый фут, а то и больше, представляете? Ведь такая штука вообще может… А, черт, это я забегаю наперед!

Я хотел вам рассказать, как умер Джо Хоукинс. Ничего подобного вы в жизни не слыхали. Джо Хоукинса (его там прозвали Джо Алабама) в Аризоне каждая собака знала. Настоящий проходимец, другого такого подонка свет не видал. Причем заметьте: пока вы гладили его по шерстке, он был вполне приличным парнем, но стоило его чуть-чуть задеть, он сразу превращался в дикую кошку, даже еще хуже. Я видел, как он разрядил свою шестизарядную

пушку в толпу людей только потому, что кто-то его толкнул в баре Симпсона, когда там были танцы; он пырнул ножом Тома Хупера за то, что тот нечаянно пролил виски ему на жилетку. Нет, он запросто мог укокошить кого угодно, этот Джо, и доверять ему никак нельзя было.

Так вот, в то время, о котором я рассказываю, когда Джо Хоукинс почем зря бахвалился своими шестизарядными игрушками и устанавливал в поселке свои законы, был там один англичанин по имени Скотт — Том Скотт, если не ошибаюсь. Этот парень, Том, был самый что ни на есть чистопородный британец (прошу прощения у присутствующих). Тем не менее он не очень-то водился с тамошними англичанами — или, может, это они с ним не водились. Был он человек тихий, простой, этот Скотт, даже, пожалуй, слишком тихий для такой необузданной компании. Они его прозвали тихоней, только тихоней он не был, вот уж нет. Держался он в основном в сторонке и ни к кому не лез, пока его не трогали. Кое-кто говорил, что дома с ним не очень хорошо обошлись: он не то чартистом был, не то еще чем-то в этом роде — одним словом, ему пришлось уносить оттуда ноги; но сам он об этом никогда не рассказывал и никогда ни на что не жаловался. Везло или не везло, этот парень не падал духом.

Там, в Аризоне, все над ним за глаза потешались из-за того, что он такой тихий и вроде простоватый. Никто не разделял его забот, потому что, как я уже сказал, англичане его не считали за своего и часто подстраивали парню всякие шуточки. Он никогда не огрызался, со всеми был вежлив. Я думаю, эти ребята считали, что у него кишка тонка, пока он не доказал им, что они ошибаются.

В тот раз сыр-бор разгорелся в баре у Симпсона — с этого все и началось. Джо Алабама и с ним еще один или два буяна здорово взъелись на англичан и высказывали свое мнение, ничуть не стесняясь, хотя я их предупреждал, что это добром не кончится. Джо в ту ночь был пьян в стельку и слонялся повсюду со своим револьвером, ища, с кем бы затеять ссору. Потом он завернул к Симпсону, зная, что там наверняка будут англичане, так же, как и он, готовые к доброй драке. Так оно и вышло: их там околачивалось с полдюжины, а Том Скотт стоял один у печки. Джо подсел к столу и выложил перед собой нож и револьвер. "Вот мои аргументы, Джефф, — сказал он мне, на тот случай, если какой-нибудь дохлый британец попробует со мной поспорить или меня надуть." Я пытался унять его, джентльмены, но Джо был не из тех, кого легко уговорить. Он понес такое, чего просто никто бы не стерпел. Да что там — самый паршивый мексикашка и тот взвился бы, если бы кто позволил себе такое сказать о его Мексикании. Натурально, в баре заварилась каша, все стали хвататься за оружие, но никто не успел еще вытащить пистолет, как вдруг от печки раздался спокойный голос: "Ты бы помолился напоследок, Джо, потому что, клянусь Небом, ты уже мертвец." Джо обернулся с таким видом, будто собирался пустить в ход все свои железки, но не тут-то было: Том Скотт уже поднимался, держа его на прицеле своего «дерринджера». Бледное лицо Тома улыбалось, но что-то дьявольское светилось в его глазах. "Не скажу, чтобы старушка Англия очень мило со мной обошлась, — говорит, — но тот, кто посмеет в моем присутствии так о ней отзываться, может прощаться с жизнью." Я видел, как на секунду или две напрягся на спусковом крючке его палец, но потом Скотт рассмеялся и швырнул пистолет на пол. "Нет, — говорит, — не могу я пристрелить пьяного. Так и быть, уноси свою грязную жизнь, Джо, и постарайся употребить ее лучше, чем до сих пор. Сегодня ты стоял ближе к смерти, чем когда-либо был или будешь, пока не придет твой последний час. А теперь, я думаю, тебе лучше убраться отсюда подобру-поздорову. И не оглядывайся на меня, я не боюсь твоей пушки. Ведь наглец и задира всегда трус." Он с презрением отвернулся и раскурил от печки свою погасшую трубку, в то время как Алабама вышмыгнул из бара под громовой хохот англичан. Я видел его лицо, когда он проходил мимо: это было лицо убийцы, джентльмены. Убийство — вот что было написано яснее ясного на его лице.

Я остался в баре и видел, как Том Скотт, прощаясь, пожал руки всем, кто был рядом. Удивительно, но он улыбался и даже вроде был весел. Я знал характер Джо и понимал, что у этого англичанина мало шансов увидеть завтрашний день. Дело в том, что жил он в глухом углу, в стороне от дороги, и, чтобы добраться до дому, ему надо было пройти через Ущелье Мухоловок. Это мрачное, болотистое место, безлюдное даже днем; его избегали, потому что каждому становилось не по себе при виде того, как эти восьми- и десятифутовые листочки захлопываются, если их коснется какая-нибудь живность. Ну, а ночью там и подавно не было ни души. Кроме того, на болоте попадались трясины и топи: брось туда тело — и к утру его не будет. Я представлял себе, как Джо Алабама с револьвером в руке и со злобной гримасой ждет, затаившись под листьями Большой Мухоловки в самом темном месте ущелья; клянусь, джентльмены, я так живо себе это представлял, словно видел своими глазами.

Симпсон обычно закрывал бар около полуночи, так что нам пора уже было выметаться. Том Скотт, попрощавшись, быстро зашагал прочь — ему предстояло шагать целых три мили. Однако я успел ему сказать, когда он проходил мимо: "Держите свой «дерринджер» наготове, сэр, он может вам понадобиться." Том невозмутимо улыбнулся и исчез в темноте. Честно

говоря, я уже не надеялся увидеть его снова. Он только ушел, а тут Симпсон подходит ко мне и говорит: "Хорошенькое дельце будет сегодня ночью в Ущелье Мухоловок, Джефф. Ребята говорят, что Хоукинс ушел туда с полчаса назад, чтобы дождаться Скотта и подстрелить его. Как пить дать, завтра тут понадобится коронер.

Что же произошло в ущелье в ту ночь? На следующее утро этот вопрос вертелся у каждого на языке. Один метис прибежал в лавку Фергюсона, как только рассвело. Он сказал, что ему довелось быть неподалеку от ущелья около часу ночи; при этом он был так напуган, что едва можно было понять, что он лопочет. В конце концов, однако, мы разобрали — там в тишине ночи он слышал страшные крики. Никаких, говорит, выстрелов, но крики, один за другим, дикие, какие-то придушенные — вроде человеку серапе на голову накинули, и вроде у него боль — ну прямо смертельная! Эбнер Брэндон, я и еще несколько человек, которые как раз были в лавке в это время, сели на лошадей и поехали через ущелье к дому Скотта. На дороге ничего особенного — ни там крови, ни следов драки — ровным счетом ничего. А когда мы подъехали к дому, Скотт вышел нам навстречу, свеженький как огурчик. "Привет, Джефф, — говорит — Чего это вы все с пистолетами? Заходите, ребята, и пропустите стаканчик." Ну, я его спрашиваю: "Ты тут вчера ничего не слышал, а может, видел что, когда пришел домой?" — "Да нет, — говорит, — все было тихо. Вроде сыч кричал в ущелье, а так больше ничего. Давайте, ребята, слезайте с лошадей и промочите горло." «Спасибо», — говорит Эбнер. Ну, мы спешились, а потом Том поехал с нами обратно в поселок.

Въехали мы на главную улицу, а там — страшный суд! Все американцы поселка прямо рехнулись: Джо Алабама пропал, ни слуху ни духу! Никто его не видел с той минуты, как он поехал в ущелье. Когда мы спешились перед баром, там уже набралась целая куча народу, и на Тома смотрят, прямо скажем, не по-хорошему. Защелкали курки, и Том, я вижу, тоже сунул руку за пазуху. И ни одного англичанина рядом. "Ну-ка посторонись, Джефф Эдамс, — говорит мне Зебб Хамфри, негодяй, каких мало. — В этой игре твоей ставки нет. Скажите, ребята, неужели мы позволим, чтобы нас, свободных американцев, убивал какой-то паршивый англичанин?" Раздался треск, бросок, я и оглянуться не успел, как Зебб свалился с пулей в бедре, но сам Скотт тоже оказался на земле, и на него навалился добрый десяток американцев. Сопротивляться не было никакого смысла, так что он лежал спокойно. Сначала они вроде бы не знали, что с ним делать, но потом один из закадычных дружков Алабамы им выдал: "Джо пропал — это ясно как день, и вон лежит человек, который его ухлопал. Некоторые тут знают: вчера вечером Джо поехал в ущелье по делу; он так и не вернулся. Вот этот англичанин шел по ущелью после Алабамы, а перед тем они поссорились. Потом там, среди больших мухоловок, слышали отчаянные крики. Говорю вам, этот тип сыграл с бедным Джо подлую штуку: он его ухлопал и бросил в болото. Неудивительно, что тела нигде нет. А мы будем стоять в сторонке и смотреть, как англичане убивают наших товарищей? Черта с два! Пусть его судит судья Линч, вот что я вам скажу!" — "Линчевать его!" заорала целая сотня злобных голосов — к тому времени вокруг нас уже собралась вся эта братия. "Тащите веревку, вздернем его на дверях бара!" "Да нет, — говорит другой, — давайте повесим его в ущелье — у большой мухоловки. Пусть Джо видит, что мы за него отомстили. Это будет все равно как мы его похоронили честь по чести." На том и порешили: ехать в ущелье и там беднягу Тома повесить. Привязали парня к седлу на его же мустанге; сзади и по бокам конвой, верхом, с револьверами наготове; мы ведь знали, что человек двадцать англичан суда Линча не признают.

Я поехал с ними, и сердце у меня прямо кровью обливалось за Тома, хотя сам он, похоже, ничуть не волновался — вот что интересно! Вроде бы странно, джентльмены, — повесить человека на мухоловке, но она у нас была как настоящее дерево, а уж листья и шипы — так вообще…

Мы доехали по ущелью до того места, где она росла, тут мы ее и увидели, со всеми ее листьями — некоторые открыты, некоторые закрыты. Да только мы еще кое-что увидели, малость похуже: вокруг этого дерева стояли англичане, человек тридцать, и все вооруженные до зубов. Похоже было, что они нас поджидают, и вид у них был деловой — не просто так собрались. Ну, вижу, тут будет теплый разговор, теплей не бывает. Только мы подъехали, один шотландец, здоровый такой, с рыжей бородой — Камерон его звали, — выступил вперед револьвер в руке и курок взведен. "Слушайте, ребята, — говорит, — вы ни одного волоска на голове этого человека не тронете. Вы еще не доказали, что Джо убит, а если бы и да, так вы еще не доказали, что это Скотт его убил. И вообще это была самозащита — все вы знаете, что Алабама тут устроил засаду, он хотел пристрелить Тома, когда он будет возвращаться домой. Так что я повторяю, вы этого человека не тронете, и, кроме того, у меня здесь тридцать шестизарядных доводов против." — "Это интересная точка зрения, ее стоит обсудить," — говорит закадычный дружок Алабамы. Ну, тут заблестели ножи, защелкали курки, обе компании стали сближаться — и было очень похоже, что в Аризоне ожидается повышение уровня смертности. Скотт стоял позади всех, к уху его был приставлен пистолет, на тот

случай, если он надумает пошевелиться, но парень выглядел совершенно спокойным, будто его денег на кону нет, и все это его ничуть не касается. И вдруг он как заорет — прямо как труба архангела в судный день. "Джо, — кричит, — Джо! Смотрите — в мухоловке!". Мы все обернулись туда, куда он показывал. Конец света! Этой картинки, наверное, никто из нас не забудет! Один большой лист, который лежал закрытым на земле, стал медленно раскрываться, разгибаясь на своих шарнирах, а там, в выемке, как младенец в колыбели, лежал Джо Алабама. Когда этот чертов лист закрывался, огромные шипы медленно пронзили его сердце. Видно было, что Джо пытался вырваться: в руке у него торчал нож, и мясистый лист был в нескольких местах рассечен, но Алабама не успел освободиться: растение его задушило. Наверное, когда он поджидал Тома, он решил подстелить этот лист, чтобы не ложиться на сырую, болотистую почву, а лист захлопнулся и поймал парня, как ваши тепличные мухоловки ловят мух в оранжереях. Так мы и нашли его, размозженного, изжеванного гигантскими зубами растения-людоеда. Вот, джентльмены, надеюсь, вы не станете отрицать, что это удивительная история.

— А что же было с Томом? — спросил Джек Синклер.

— Ну, уж его-то мы обратно на плечах несли до самого бара — и он всем нам поставил выпивку. Еще и речь произнес, влез на стойку и произнес шикарную речь. Что-то о том, как британский лев и американский орел будут вечно идти рука об руку. А теперь, дорогие сэры, история была длинная, и сигаре моей пришел конец, так что, пожалуй, и мне пора восвояси. Спокойной ночи!

С этими словами он вышел из комнаты.

— Чрезвычайно интересно! — сказал Доусон. — Кто бы подумал, что дианеа может обладать такой силой!

— Экая дурацкая фантазия! — сказал юный Синклер.

— По всей видимости, это в высшей степени обстоятельный, правдивый человек, — сказал доктор.

— Или самый беспардонный лгун, — сказал я.

Интересно, кто из нас был прав.

*1879 г.*

**Тайна золотого прииска**

— Альфред должен заняться коммерцией, — сказал отец, вставая и с решительным видом принимаясь выбивать трубку.

— Хм, должен заметить, вы рассуждаете весьма неразумно, — возразил мой брат Том, сделав несколько глубоких затяжек из черной носогрейки. — Никто в нашем роду не опускался до коммерции, а при наших связях, думаю, следует приискать для Альфреда что-нибудь поприличнее. Может быть, ему лучше пойти по гражданской части? Ведь вы, полагаю, не собираетесь отдать его в армию?

— В армию? Этого еще не хватало! Нет, нет, Том. Довольно с меня старшего сына. Твое образование дорого обошлось мне, мой мальчик. Хотя я, конечно, рад, что ты получил столь почетную степень — магистра наук. Священник, все в графстве лестно о тебе отзываются, но все же твое жалованье в конечном счете оставляет желать лучшего. Сколько ты получаешь, Том? Тысячу фунтов в год, кажется?

Если вы думаете, что семейный совет, на котором решали мою судьбу, проходил где-нибудь в родовом замке, то ошибаетесь. Было это в небольшой гостиной, выходившей окнами во двор, где стояла кадка с дождевой водой. Жили мы в меблированных комнатах, в доме № 44 на Пигрин-стрит, в Алчестере. Мой отец, Орландо Таббз, капитан Королевского Флота (на всякий случай имейте в виду, что капитан флота по чину приравнен к армейскому полковнику). И хотя отец имел всего лишь командирскую должность, тем не менее, он носил титул учтивости и имел право на соответствующие привилегии. Ах, старик-отец упокой, Господи, его душу! Как сейчас помню: заложив руки за спину, стоит у камина, задумчивое морщинистое лицо собрано в складки, кроткие бесхитростные глаза, много лет взиравшие на мир с надеждой и бодростью, остановились на мне, младшем сыне, с невыразимым чувством спокойствия и отцовской нежности. Положив руку мне на плечо, отец сказал:

— Тэд, придется тебе заняться коммерцией и заработать себе состояние.

О, юноши, счастлив тот из вас, у кого есть отец, направляющий вас во всех начинаниях.

Когда отец все-таки проявил решительность, — а бывало с ним такое не часто, — мы быстро поняли, что он на сей раз не пойдет на попятный. И хотя я притворно возмущался, что мне придется унизиться до коммерции и запятнать свое социальное положение, в душе я не очень-то огорчился, узнав о неожиданной перспективе, поскольку судьба не сулила мне сколько-нибудь заметных щедрот и выгод.

Но, разумеется, я ожидал, что, коль скоро я смирился с судьбой и решился принести жертву на алтарь Мамоны, то жертвоприношение будет принято и мне щедро за все воздается, хотя и имел самые смутные представления о коммерческом поприще, на которое мне предстояло ступить. Обычно, отец наивно строил иллюзии, что мне лучше всего начать карьеру в какой-нибудь бухгалтерии, где, прослужив несколько лет с испытательным сроком, я могу стать негоциантом.

— А там, глядишь, Альфред, станешь биржевиком, пойдут дела в гору.

Отец, посоветовался со своими друзьями, обладавшими практической сметкой. Бывалый моряк, он усвоил некоторые грубые привычки и наклонности и очень любил заглядывать вечерами в "Белый Олень", где за стаканом грога, покуривая сигару, беседовал с разными коммивояжерами, которые бражничали в пивной.

— Среди них есть весьма толковые ребята. Многое повидали на своем веку, — бывало, рассказывал он.

Когда же он навел справки, то был весьма озадачен, узнав, сколь много хитросплетений в негоциантстве и как трудно благовоспитанному юному джентльмену получить доходное место в мире чистогана.

— Да будет тебе известно, — произнес отец, робко поглядев на меня, а затем застенчиво на мать, — некоторые джентльмены, с которыми я беседовал вчера в "Белом Олене"…

— Ох, уж эти мне джентльмены! — вздохнула матушка.

— А почему нет, дорогая? У большинства из них очень дорогие костюмы, возразил отец и потупил взгляд на свой потрепанный наряд: ему, моряку, доставляло удовольствие ходить в неприглядной одежде: в высоких сапогах с квадратными носами, по размеру на два дюйма

больше, чем надо, в черных, не доходящих до лодыжек брюках, в черном сатиновом жакете, фраке и с невообразимо большим черным, мятым платком из шелка, обмотанным вокруг шеи и поддерживающим стоячий воротник рубашки; один конец этого галстука вечно задевал ему ухо, а другой, спускаясь длинной черной змеей, буквально душил его.

— И я уверен, дорогая, деньги у них не переводятся. Во всяком случае, безделушки носят они роскошные. Так вот, как я уже говорил, дорогая, один из этих джентльменов посоветовал нашему мальчику как следует ознакомиться с товарами, а потому — гм! — нам надо устроить его в лавку драпировщика.

При этих словах матушка уронила рукоделие, в руке у нее застыла игла.

— Орландо, — проговорила она после многозначительной паузы, — если вы всерьез намерены сделать из Альфреда лавочника, заблаговременно прошу известить меня об этом. Я сразу же перееду к своим друзьям, закрыв глаза на вашу экстравагантность, проживу остаток дней на скромные сбережения, которые — слава Богу! — еще у меня есть.

Не правда ли, благородный жест моей матушки? Он сразу поставил все точки над «i». С тех пор на мануфактурной лавке был поставлен крест. Отец, весьма озадаченный, вспомнил о своем старом кузене, торговце из Сити, написал ему пространное письмо; подробно остановился на моей биографии и образовании, в частности указал, что меня обучали в школе латинской грамматике, где я приобрел достохвальное знание греческого и латыни, почерпнул некоторые сведения о Эвклиде и кое-что о Коленсо, правда, скорее с арифметической, нежели с теологической точки зрения. К письму прилагалась объемистая рекомендация от доктора Олдоса, школьного моего наставника.

Примерно через неделю после того, как письмо отправили, до нас, втайне от матушки, дошла весть, что мы заручились протекцией кузена, и в скором времени мне будет предложено место в его конторе с жалованием в несколько сот фунтов и с перспективой войти в долю компании.

Вот что говорилось в ответе:

"16, Манчерч-лейн.

Дорогой Орландо,

В товаре, который Вы мне предлагаете, ни малейшей надобности не испытывается. На Вашем месте я бы отправил молодого человека в колледж Сент-Биз, где из него сделали бы приходского священника. Но если Вы желаете выхлопотать для своего сына место в Сити, пусть он заглянет ко мне в контору — и я как-нибудь помогу советом.

Ваш покорный слуга,

Бенджамен Баррел."

Первое впечатление от ответа было неблагоприятное, но, изучив письмо обстоятельно, мы пришли к выводу, что оно допускает и обнадеживающее истолкование. Ясно, от такого человека, как Баррел, мы едва ли могли ожидать, что он примет меня с распростертыми объятиями и скажет: "Приезжайте, войдите в долю и пользуйтесь моим капиталом." Но, несомненно, ему хотелось лицезреть племянника, и нам нельзя было упускать такую возможность.

На следующий день, в полдень, в разгар деловой активности в Сити, я постучался в дверь на Манчерчлейн. Дядя был на месте и принял меня весьма холодно.

— А так это вы, стало быть, сын Таббза, — сказал он, прочтя рекомендательное письмо. — Тепленькое местечко? Какого рода, позвольте полюбопытствовать?

Я ответил, что мне в сущности все равно. Хотел бы со временем стать секретарем в какой-нибудь государственной компании, а пока не прочь поработать у него в конторе, если подойдут условия.

— Да какой от вас прок? — прорычал Баррел.

— А бухгалтерия? Дела помогу вам вести.

— Бухгалтерия? Вот мои книги, молодой человек. — Он самопишущим пером показал на стол, где лежал потрепанный фолиант в пергаментном переплете. Помогать? Мне и так помогают. — И он показал на юношу с заостренными чертами лица, который сидел за дверями

кабинета. — Три шиллинга в неделю, работа с восьми до восьми, выходные, праздники, Рождество, Страстная пятница. Ну как, устраивает?

— Пожалуй, я подожду, когда освободится место секретаря, — ответил я с невозмутимостью, на какую был только способен.

Расставание с химерической надеждой, крушение первой иллюзии всегда болезненно, но я вовсе не собирался заискивать перед дядей, с какой стати метать перед ним бисер? Стоять на полусогнутых, затаив дыхание перед сильными мира сего, для большинства из нас означает условие, при котором мы довольствуемся малой долей того огромного наследства, что даровано нам от рождения, но поклоняться идолу, который ничем не вознаградит за нашу жертву, лебезить, раболепствовать из одной только любви к самоунижению — нет уж, увольте.

Засунув руки в карманы, я откинулся на спинку стула, критическим взглядом оглядел контору и посмотрел на своего дядю. Тот в беспокойстве ерзал на стуле, по-видимому, не чаял, когда я удалюсь восвояси.

— Ну, как вы находите жизнь в Сити? По вкусу она вам, Баррел? Плодородная нива? На хлеб с маслом хватает? Голова не кружится временами от удовольствий? Надеюсь, вы не очень тут налегаете на портвейн. Мой приятель, Фред Картер — вы ведь, верно, его знали — ровесник ваш, надо думать, на вас, кстати, похож… Бедняга протянул ноги — от марочного 47-го года. На год раньше положенного хлебнул. А я ведь его предупреждал.

Достопочтенный родственник, похоже, опешил. Должно быть, я показался ему каким-то скелетом-призраком на банкете: ведь Картер был его школьным товарищем. Баррел обожал портвейн и как раз собирался в тот день отобедать в ресторане «Клокмейкерс-Холл», где портвейн № 47 значился в карте вин.

— Правда, мистер Таббз, простите, но мне…

— Да полно, ничего, пустяки. Заканчивайте свои дела, не обращайте на меня внимания. Когда разделаетесь, освободитесь, пройдемся по улицам, покажете мне Королевскую Биржу, Хлебный рынок, Биллингзгейт — главные достопримечательности столицы, так сказать.

В этот момент я заметил на письменном столе дяди кусок кварца.

— Что это у вас тут булыжники валяются? Дорожно-ремонтными работами, стало быть, занимаетесь?

Дядя испустил глубокий вздох облегчения, положил самопишущее перо и, покраснев, посмотрел мне в лицо.

— Работа как раз для вас, Таббз. О, Боже, рад сослужить добрую службу сыну Орландо.

Он взял лист бумаги, черкнул несколько строк и передал записку мне.

— Вручите это в "Сток и Баррел", Торговый дом Гре-шэм. На следующей неделе меня, вероятно, не будет в Лондоне. А так бы я с удовольствием принял вас. Сейчас у меня важная деловая встреча. До свидания, привет вашему отцу.

Баррел-младший оказался славным представителем лондонских биржевиков, с нездоровым румянцем, немного суетливый, но зато откровенный, непринужденный, без всякой спеси. Он пробежал глазами записку нашего дяди.

— Очень приятно, старина. Мы, стало быть, родственники. Не хотите ли отобедать с нами сегодня вечером? В семь часов, на Онсло-сквер. А пока поговорим об интендантской службе.

— О чем, прошу прощения?

— Об интендантстве.

— Это еще что за должность?

— Как вам сказать… Речь идет о прииске, золотом прииске.

— Но я не хочу ехать за границу.

— Это в Северном Уэльсе. Прочтите письмо старика Баррела.

"Дорогой племянник!

Дамбрелл просил меня рекомендовать своего человека на должность начальника хозяйственной службы Долкаррегского прииска. Если место еще вакантно, устройте на него моего двоюродного племянника Таббза, предъявителя сего. Условия: 50 акций по 5 фунтов, 2 фунта предоплаты. За приобретение акций ручаюсь."

— О, а дядя не промах. Значит место еще не занято. А сколько я буду получать?

— Сейчас же отправляйтесь к Дамбреллу, в Минсинглейн, — ответил Баррел, черкнув несколько строк наискосок письма.

Найти Дамбрелла оказалось делом нелегким.

— Да вы счастливчик, Таббз, — сказал он. — А я как раз собирался написать Джекобу Файфулу и пообещать это место его племяннику, но ваш дядя хороший мой друг, поэтому я поручаю должность вам. Завтра в девять часов утра мы отправляемся в Лланкаррег. У нас подобралась большая компания. Присоединяйтесь к нам. Юстонский вокзал. Дело стоящее, вот полюбуйтесь-ка.

Дамбрелл подошел к сейфу и достал из него несколько небольших свертков в китайской шелковой бумаге. Он развернул пару свертков — в каждом лежал великолепный золотой слиток. Дамбрелл прочел наклейки:

5-го мая — 3 унции.

6-го мая — 5 унций.

7-го мая — 8 унций.

— Шестого мая запустили новый «эрлангер», поэтому выработка возросла вдвое.

— А что такое эрлангер?

— Новая машина, названная так по фамилии изобретателя-американца. Прекрасный малый. Завтра вы его увидите. Он сейчас там, в Уэльсе. Руководит работами. Пойдемте. Пожалуй, не грех выпить за знакомство бутылочку шипучего и пообедать в ресторане. Томас, сбегайте к Симкоксу, скажите, чтобы прислал один салат из омаров и один «стилтон». Да поживее. Да прихватите бутылочку "моэта.". И не забудьте пригласить мистера Пэрри.

Итак, воздав должное салату из омаров и шампанскому, мы проехали в великолепном почтовом фаэтоне Дамбрелла по Гайд-парку, где блистали нарядами дамы и кавалеры; прогулялись под сенью величавых деревьев в Кенсингтонском саду под звуки оркестра Колдстрима, фланируя на высокой трибуне Ярмарки тщеславия среди красавиц и фрачных щеголей, красавцев-актеров с великосветскими манерами; затем отобедали в Онсло-сквер: хрустальные бокалы, дивные цветы, общество очаровательной Беллы Баррел, сестры моего кузена, биржевого маклера, и дочери хозяина фирмы… Под воздействием всего этого, у меня, человека неискушенного в таких соблазнах и привыкшего к мрачным интерьерам на алчестерской Пигрин-стрит, голова пошла кругом.

— Что ж… Если это и есть коммерция, — произнес я в тот вечер, отпив из бокала брэнди с содовой, — примите меня в нее.

Неудобства долгого путешествия по железной дороге в значительной мере скрашивают обильная провизия в плетеной корзине и хорошие сигары, особенно когда в купе собираются трое любителей роббера. Неудивительно, что мы вышли на станции Долбранднет, которая находится на Большой западной дороге, в самом хорошем расположении духа.

— Вы получили мою телеграмму, майор, насчет места на козлах? обратился Дамбрелл к долговязому вознице в сером костюме, обтягивавшем его худощавую, длинноногую фигуру; единственное, что оживляло серое однообразие его наружности, если не считать морщинистого, залитого румянцем лица, так это шарф брусничного цвета. Вооружившись моноклем, долговязый сердито просматривал список пассажиров, а его помощник суетился, размещая багаж и самих приезжих.

— Да, получил.

— И вы оставили для меня место?

— Уже недели две как занято, — ответил майор, уставив на вопрошающего свободный от монокля глаз. Заметив на козлах прелестную юную особу, я перестал удивляться, что телеграмма Дамбрелла не возымела воздействия.

Ах, никогда больше мы не услышим среди уэльсских холмов грохот экипажа, цокот копыт породистых лошадей! Размеренной рысью едем вверх по покатому склону, где, ощетинившись, сверху нависают сланцевые горы, внизу, в заросшем ущелье — бурливый пенный Калан; холмы сменяются тихой горной долиной, затем — стремительный спуск под откос на тормозах, потом — галопом мчимся по равнине, сзади открывается дивный вид озера Мвинисил, откуда со счастливым уловом бредут ловцы форели. Ах, никогда больше не повторится эта поездка, и если явится, то разве лишь в сновидениях. Подковы стучат по крутому перевалу, мы едем навстречу седым холмам, мимо мрачного озера, приюта легендарных чудовищ, затем на полной скорости мчимся по полю, ровному, точно поверхность стола, и смотрим на облака, нависшие над Хенфиниддом. Лошади, почуяв овес, ускоряют бег, мы сворачиваем, несемся вниз по откосу, по дорогам, обсаженным ясенем и орешником; долина становится шире, река тоже, и вот уже видны серые стены, синие крыши и зависший в чистом вечернем воздухе дым из печных труб. Конец пути близок. Longae viae finis!

Когда дилижанс остановился перед гостиницей "Королевский Орел", перед ее крытой галереей и садом собралась толпа зевак. Бородачи из Калифорнии и Австралии, смуглолицые корнуэльцы, валлийцы из сланцевых карьеров, черные от сажи, обсыпанные песком, непонятно откуда взявшиеся туристы. От собравшихся поползло в нашу сторону огромное табачное облако.

— Видите того маленького крепыша с деревянной ногой? Это наш капитан, заведующий прииском, — пояснил Дамбрелл, соскочив с верха дилижанса.

Капитан и еще какие-то люди вышли из толпы, чтобы поздороваться с нами. Последовали долгие рукопожатия, поздравления и восторженные комментарии по поводу небольшого слитка, который заведующий прииском извлек из кармана своего жилета.

— Капитан Уильяме, позвольте представить вам капитана Таббза, нашего нового интенданта.

Капитан снял шляпу и шаркнул деревянной ногой.

— Честь имею. Очень приятно, капитан Таббз.

Бедняга-отец служил отечеству тридцать пять лет и даже теперь носил титул капитана не по законному праву, а по обычаю, то есть никак не мог заседать в палате лордов, я же, безбородый юнец, получил титул учтивости одним разом.

Когда мы беседовали у двери, к нам подошел высокий мужчина с желтоватым лицом и темными глазами, которые смотрели на нас серьезно и закрывались через определенные промежутки времени, а потом внезапно широко раскрывались. Дамбрелл с живостью схватил его за руку.

— Познакомьтесь, Таббз, это — Эрлангер, человек, который в уэльсских кварцевых породах открыл золотоносные залежи. Изобретатель замечательной машины, названной его именем. Помогает нам приращивать капиталы.

— Ну, положим, мне дела нет, помогаю я вам в том или нет, — со смехом заметил американец. — Главное, что я сам могу заработать приличные деньги. Завтра увидите, как работают мои машины. Чем больше добывается золота, тем больше достается мне. Ну, что же, вспрыснем это дело, так, кажется, у вас говорится?

Эрлангер остался с нами обедать. Он оказался очень славным, компанейским малым. Когда мы сидели за десертом в эркере гостиницы, на улице послышались дикие крики, и вскоре мы увидели жестикулирующих валлийцев. Из гущи толпы вырвался рыжеволосый детина. Он вбежал на залитую светом площадку и, размахивая молотком точно саблей, закричал:

— Эрлангер! Ты вор, грязная свинья, выходи, дерись со мной, чертов американский петух.

Тут валлиец пришел в еще большее возбуждение — замахал руками точно крыльями и закукарекал под аккомпанемент пронзительного уэльсского хохота.

Американец осклабился и повернулся к нам.

— Сегодня вечером Джимми что-то совсем спятил.

— Эрлангер, зачем вы держите на работе этого пьяницу, наглеца и пройдоху?

— Никто лучше его не разбирается в моих машинах. Вы убедитесь в этом сами, если его уволить. Больше пол-унции с тонны вы не добудете.

— Мы все же рискнем, — заметил Дамбрелл. — Мне кажется, наш заведующий разбирается в них не хуже, чем этот пропойца. Кто он, наш штейгер, ирландец?

— Убей Бог, не знаю. Я сманил его сюда из Неаполя, когда путешествовал по Европе. Вероятно, в нем смешана кровь ирландца и мальтийки. А еще в нем есть что-то негритянское. Ну как, капитан, Уильяме, полагаю, вы не очень расстроитесь, если распрощаетесь с нами? Верно, чувствуете себя точно капитан барки, которую ведет лоцман. Не очень покомандуешь на шканцах, когда на борту опытный лоцман?

— Это верно, — ответил капитан Уильяме. — Надеюсь, все же, наше судно доберется до гавани благополучно. Я, со своей стороны, буду стараться.

После того, как со стола убрали посуду, мы провели заседание правления, Я сел рядом с секретарем и положил перед собой недавно купленную бухгалтерскую книгу. Дамбрелл открыл заседание. Предстояло рассмотреть месячные счета.

Они оказались в полной исправности. Долкаррегской компании по добыче золота, серебра, меди и олова было два месяца от роду. За это время деятельность сводилась главным образом к проверке качества горной породы и измерению глубины пласта. Уже начинали горизонтальную выработку и даже при измельчении получили неплохую добычу золота. При одном работавшем «эрлангере» из сотни тонн кварца удалось извлечь пятьдесят унций золота. За последнюю неделю, когда запустили еще одну машину, выработка увеличилась, а в день нашего приезда из трех тонн руды получили девять с половиной унций. Слиток, недавно извлеченный из плавильного тигля, являл собой весомое доказательство, которое могло убедить даже закоренелого скептика. В конце заседания перешли на шепот, предварительно заперев дверь.

Результаты столь обнадеживали, что мы невольно обменялись изумленными взглядами. Похоже, дело сулило баснословные прибыли.

Предстояло обсудить лишь вопрос о заводе: нужны были дополнительные штампы и «эрлангеры». Недавно ввели в действие шесть новых машин, итого восемь; по договору с Эрлангером, он получал по сто фунтов за каждую, оговорив особое условие — двадцать четвертую долю всего добываемого под его руководством золота.

— С этими отчислениями сам черт ногу сломит, — сказал Дамбрелл. Отчисление в королевскую казну, есть еще доля сэра Уигкина, а теперь, когда дело пошло в гору, надо постараться выкупить эти машины у Эрлангера. Что он на это скажет? Позовите его сюда.

Эрлангер вошел — и ему предложили продать машины.

— Ну что ж, джентльмены, у нас хороший деловой союз, но я не хочу заключать сделку себе в убыток. По моим расчетам, один «эрлангер» обрабатывает в день тонну породы. Вы, вероятно, получаете унции три с тонны, а в скором времени будете добывать четыре-пять унций. Ладно, пусть будет три унции. С каждой машины мне причитается в день около десяти шиллингов. Восемь машин — итого, четыре фунта в день. Нет, на такую сделку я вряд ли пойду. Мне нравятся ваши горы, я очень ценю ваше гостеприимство. Думаю, поживу еще с вами немного, а вы обеспечивайте мою долю.

Эти слова весьма озадачили нас. За одно лишь использование машин приходилось вычитать из наших прибылей тысячу двести фунтов в год — чересчур высокая плата за изобретение.

— Позвольте переговорить с вами наедине, Эрлангер, — сказал Дамбрелл. Быть может, мы придем к соглашению.

И они вышли во двор посоветоваться. Вскоре Дамбрелл вернулся. Лицо у него сияло.

— Он согласен на три тысячи пятьсот фунтов и выдаст нам лицензию на эксплуатацию шестнадцати «эрлангеров».

Члены заседания застучали пальцами по столу в знак одобрения. Единогласно одобрили протокол заседания, на этом с делами было покончено и я отправился на боковую.

Безмятежная ночь в горах, тихие яркие звезды, смутные очертания холмов, умиротворяющие

душу, точно музыка издалека — плеск и журчание реки. И вдруг невообразимый грохот — заиграл горняцкий оркестр, безобразно вторгаясь в ночную тишину. Вскоре дюжина пьяных уэльсцев затеяла потасовку, шумную и бестолковую. Но эти звуки, наконец, тонут в плеске волн, и вновь слышна безмолвная музыка гор.

Как унылы и серы укрывшиеся от холода города, ютящиеся в валлийских долинах. Видно, что эти дома принадлежат побежденному народу, от которого отвернулась удача. Рано утром, когда я стоял в дверях гостиницы и повсюду куда ни глянь — виднелись невзрачные каменные строения, мной овладело уныние, гнетущее ощущение куцей, бесцельной жизни. Лишь выйдя за пределы города на мост, перекинувшийся через реку, я почувствовал некоторое облегчение. Наблюдая, как течет вода, я заметил внизу широкий луг, который простирался на четверть мили. С северной стороны тянулась гряда холмов, поросших ясенем, орешником, дубом, тут и там виднелись первобытные скалы. Среди деревьев проглядывали дома из тесанного камня, принадлежащие богатому люду, а неподалеку росли низкорослые каштаны, ветвистые буки, тут и там перемежавшиеся темными соснами. Над ними вставали крутые, в изломах, скалы, поросшие вереском склоны, а над ними хмуро высился Хенфинидд.

На берегу я заметил человека с удочкой. Он шел по воде по направлению к мосту. Когда он приблизился, я узнал в нем Эрлангера. Он подошел и сел на парапет. В корзине у него лежал улов — дюжины две форелей.

— А места тут рыбные — так и плещутся. На жареный картофель клюют, сообщил он мне.

Эрлангер достал из кармана портсигар, предложил мне манильскую сигару и закурил.

— Предпочитаете трубку? М-да, трубки созданы для праздных людей, студентов и им подобных. Для трубки нужно слишком много приспособлений. Кисет, табакерка, проволочка для прочистки, стопор для набивания. Я пристрастился к манильским сигарам, когда был в Индии. С тех пор курю только их.

Сидеть на мосту солнечным майским утром, смотреть на залитый солнцем поток и курить трубку с человеком, знающим толк в хороших сигарах — это ли не высшее наслаждение, которое можно вкусить на берегу безмолвного потока?

В блеске и роскоши тщеславного света я сделал как-то приятное для себя открытие — изысканный аромат трубки. Увы, табак бывает такой сырой, и курящий сигару лишен возможности насладиться тонким божественным ароматом табака, а, стало быть, его удовольствие далеко от полноты.

— Что вы думаете о нашем прииске? — поинтересовался я.

— Что же, дела идут вроде неплохо, но прииск — это как лошадь. Надо вкладывать в него большие деньги, делать ставки, но нельзя ожидать, что твоя лошадь всегда будет первой. Впрочем, если бы у меня были лишние деньги, я бы с не меньшей охотой вложил их в прииск. А какая у вас доля?

— Всего лишь сотня фунтов акциями.

— Ну, тогда ничего страшного, даже если вы окажетесь в проигрыше, большим ударом для вас это не будет.

— Боюсь, что будет. У меня, кроме этого, ничего нет, разве что скудное отцовское вспоможение.

Эрлангер глубоко затянулся и выпустил изо рта и ноздрей облако дыма.

— На вашем месте я продал бы эти акции. Какой сейчас курс?

— Те, что по два фунта, вчера вечером в «Орле» превысили номинал вдвое.

— Я куплю половину ваших акций за эту цену. Двадцать пять акций по четыре фунта. Идет?

Я на мгновение задумался. Сотня наличными — немалая сумма для человека, который никогда не держал в руках больше пяти фунтов. И все же эти американцы такие ловкачи. Я посмотрел на своего компаньона, в глазах его мелькнул огонек, но взгляд был доброжелательным, и это склонило меня к окончательному решению.

— Хорошо, я согласен.

Эрлангер достал из нагрудного кармана сложенную вдвое кипу ассигнаций, отсчитал десять новеньких десятифунтовых купюр, передал мне. После чего мы отправились в гостиницу завтракать. Я рассказал некоторым моим знакомым, что Эрлангер купил у меня часть акций по четыре фунта. Впоследствии я узнал, что курс вырос и Эрлангер продал свой небольшой пакет по пять фунтов двадцать пенсов за акцию, "чтобы иметь на руках наличные", как объяснил он.

Долкаррегский прииск находился примерно в восьми милях от Лланкаррега. Дилижанс, запряженный четверкой, останавливался в двух милях от прииска; я заказал себе место на десять часов утра, в то время как директора и; несколько акционеров выезжали на час позже, и оказался единственным пассажиром. До чего же приятно путешествовать сейчас — куда приятнее, чем накануне вечером! Особенно человеку, всю жизнь проведшему в меблированных комнатах в Восточной Англии. После того, как миновали мост, где я отдыхал утром, дорога стала петлять вдоль, северной стороны долины, затем вышла на треугольную, равнину, образованную при слиянии двух рек. Крутой поворот направо, затем подъем на склон большой реки, проезжаем серый каменный мост. Потом, резко свернув налево, едем вдоль слившихся в один поток рек, который быстро расширяется в устье. Наш путь пролегал не по наносной равнине, а по уступам нависших скал, которые тянулись вдоль русла реки, опять поворот — и мы опускаемся в овраг, где некогда текла река. Когда мы приблизились к морю в почувствовали легкое дыхание западного бриза, дорога пошла по самому краю обрыва, на глубине пятидесяти футов, в море впадала река. Был прилив, вода рябилась от ветра, но в тихих бухтах, укрытых островерхими утесами, на безмятежном лоне этого сказочного озера, виднелись отражения скал. Море и впрямь казалось озером; милях в двух узкий залив причудливо изгибался, и со всех сторон его окружали холмы.

Не думаю, что этот пейзаж произвел заметное впечатление на возницу, невысокого роста англичанина, он знай себе щелкал кнутом по придорожным кустам, где сновали зяблики, а задним колесом даже попытался опрокинуть тачку какого-то старика прохожего, огрел вожжой незадачливого валлийца, когда тот, зазевавшись, не успел убрать с дороги свой фургон. Затем вступил в словесную перепалку с конюхом, который с надутым видом сидел сзади.

— Том, старый ты прохиндей, опять вчера нализался!

Том вяло осклабился, но возразить ничего не мог.

— Вы не поверите, сэр, — повернувшись ко мне, продолжал возница. Вчера вхожу в конюшню, а там у стойла лежит эта пьяная свинья, в мертвецком, доложу вам, состоянии.

— Неправда ваша, мистер Мортон, — возмутился конюх. — Чего вы лжете? Зачем наговариваете на бедняка?

— Что?! — закричал кучер. — По-твоему, ты не валялся на полу конюшни?

— Неправда, мистер Мортон. Врете вы все. Я лежал в стойле, а солома там чистая, мягкая была.

Тут экипаж зловеще накренился — и валлийцу пришлось буквально повиснуть: весельчак возница, заворачивая за угол, не без злого умысла наехал задним колесом на большой камень, а так как дилижанс был легким, его тряхнуло со всей силой, и кельт чуть было не полетел на груду острых камней. Том минут пять чертыхался, причем от его акцента почти не осталось следа. Мы, англичане, отличаемся богохульством, и все народы, с которыми мы соприкасаемся, считают нашу божбу крепче собственной. Кучер смеялся до слез и в порыве чувств едва не опрокинул свой экипаж. Вовремя спохватившись, он резко остановился у одноарочного моста, перекинувшегося через горный поток, теперь уже мутный от раздробленного белого кварца.

— К прииску вон туда, сэр. По тропе направо и прямо на вершину горы. Благодарствую, дай Бог вам здоровья.

И дилижанс укатил, а я остался у подножия Моэл-Ваммера.

Подъем был крутой, по склону ущелья, наконец я добрался до места, где поток, низвергаясь с кручи, образовывал несколько каскадов, принимая более плавное течение. Я двинулся по тропе вдоль склона, затем тропа резко свернула вверх, теряясь из виду на обрывистой верхней части Ваммера.

Но я заметил место своего назначения: там, высоко на склоне горы, виднелись темные

очертания огромного колеса. Я услышал приглушенный стук штампов и резкий звон шахтерского кайла.

Приступил я к своим непосредственным обязанностям в субботу. В этот день не выплачивали заработную плату, что обычно происходило по субботам, и особенных дел у меня не было. Я разгуливал по прииску и наблюдал, как во вращающихся «эрлангерах» дробится кварц. Поселился я в небольшой деревянной хибарке, укрепленной с востока каменной подпоркой. С порога взору открывалась широкая полоса Ирландского пролива, безмятежное устье реки, извилистой лентой проходившей среди холмов, темные обрывы Хенфинидда, мрачно вырисовывавшегося на противоположной стороне и синие горные вершины Карлсона, выступавшие так далеко в море, что казалось — это синеет противоположный берег.

Прииск представлял собой ряд деревянных сараев, где хранилось оборудование: батареи, штампы, «эрлангеры». В дальнем конце стояло строение, где находилась плавильная печь. Это была лаборатория, или плавильня, где амальгама, выходящая из «эрлангеров», преобразовывалась в золотые слитки.

Машина Эрлангера по форме напоминала двойной конус, который быстро вращался на подшипниках, отлитых из пушечной бронзы. Через центр конуса проходила полая трубка с мелкими отверстиями наподобие терки для мускатных орехов. Эту трубку заполняли ртутью, а сами конусы — дробленым кварцем, после чего машину включали. Под воздействием центробежной силы ртуть мельчайшими частицами прогонялась через кварцевую массу, на пути своем соединяясь с золотом и образуя похожую на патоку амальгаму. Благодаря нехитрому изобретению была возможна обратная перегонка — и амальгама вновь поступала в центральную трубку. Так примерно, можно описать работу «эрлангера». На свой страх и риск сообщаю о том читателям и не намерен вдаваться в подробности, памятуя о тайне патента и законах. Не старайтесь сконструировать машину по схожему принципу. Быть может, от нее вообще не будет никакого проку.

К прииску вела подъездная дорога, правда вся разбитая, в ухабах. У меня был выбор: снять квартиру в Лланкарреге, но зато каждый день тратить на дорогу, трястись в экипаже по горным дорогам, либо же поселиться в деревянной хижине подобно Робинзону Крузо. Я предпочел последнее. Жена штейгера любезно предложила готовить мне обеды за недельное вознаграждение, которое впоследствии она объявила своей синекурной пенсией. Впрочем, готовить — это громко сказано. Если полноценные съестные продукты подвергнуть воздействию этого ужасного жира и гари и назвать такое приготовление завтраком, прошу уволить: я лучше съем сырое мясо, как какой-нибудь патагонец. Трудности с продовольствием никак не влияли на нашего достопочтенного штейгера. Он безропотно довольствовался бутербродами, чаем и овсянкой. Когда же ему случалось отведывать мясные блюда, то чем жирнее и сырее было мясо, тем большее он получал удовольствие.

Доминико проживал в жалком домишке, за перегородкой которого стояли в сараях «эрлангеры». Он мог часами лежать в своем логове, наблюдая за работой бесценных машин. Вечера он обычно проводил в Лланкарреге, предаваясь разгулу и пьянству, но неизменно возвращался на прииск до рассвета, чтобы запустить машины. Весь день он, бывало, лежал в своей хижине: спал или прикладывался к бутылке, но как только наступал вечер и надо было выяснять дневную выработку, Доминико выползал из своей берлоги и, пошатываясь, брел к машинам. Только он обладал правом прикоснуться к драгоценной амальгаме, только он мог регулировать скорость «эрлангеров» и консистенцию кварцевой массы.

Наши директора приезжали во второй половине дня. И с ними Эрлангер. Они привезли большие корзины с провизией — и мы устроили пикник на выступе скалы, у самого моря. Произнося тосты и речи, мы вошли во вкус, стали пить за успех и процветание каждого из присутствующих. Особенно веселился Эрлангер. Смуглое его лицо сияло благодушием: он проводил последний перед отъездом вечер в нашем обществе, в кармане у него лежал чек на 3 500 фунтов, подписанный двумя директорами и заверенный секретарем. Я тоже поставил свои инициалы в углу чека: "Интенд. Д. А. К.". Одной из первых моих обязанностей было внести запись в изящный гроссбух в пергаментном переплете. "Отчет об акционерном капитале, Per Contra". "Выдано наличными м-ру Эрлангеру за машины, а также в уплату за право пользования патентом — 3.500 фунтов."

"Per Contra" — иначе пришлось бы делать взносы. Номинально наш капитал составлял 100.000 фунтов в 20.000 пятифунтовых акций. 32 тысячи из этой суммы были выплачены и потрачены вот на что:

Золотоносную жилу обнаружил некто Джонс, работник карьера. Он поделился секретом с двумя своими приятелями, и так они скинулись и заручились письмом от сэра Уигкинса,

дающим право на аренду участка. После начала земляных работ денежные затраты оказались столь велики, что друзья за 150 фунтов уступили право аренды другому Джонсу. Этот Джонс и один горный инженер на равных правах взялись за это рискованное предприятие. Инженер был с большими связями в Сити, и им удалось заручиться поддержкой некоей компании, которой они продали прииск за 30 тысяч. Однако наличными они получили всего только 10 тысяч, остальные двадцать были в оплаченных акциях, так что продавцы прииска сохранили решающее влияние в деле. Таким образом, единственный реальный капитал концерна составляли общественные деньги — остающиеся 16 тысяч акций, каждая по два фунта стерлингов. Впоследствии из этих тридцати двух десять ушло на покупку прииска, одна — на предварительные расходы, десять — на оборудование с заводов, семь — на рельсовые пути для вагонеток и насосные сооружения, три с половиной тысячи — на «эрлангеры»; как видно, оставалось каких-то жалких 500 фунтов. Поэтому в тот вечер мы собрались в Лланкарреге на заседание правления и приняли решение о взносе в размере один фунт с каждой акции.

Любезный читатель, доводилось ли вам когда-нибудь иметь кучу денег, которые вам не были особенно нужны и которые можно было вложить во что угодно? Мне довелось однажды. Это было в Уэльсе, давным-давно. Я был молод, здоров, отважен и в кармане у меня лежала сотня фунтов наличными. Эта круглая сумма льстила моему самолюбию и побуждала к действию мои стяжательские наклонности. Иметь небольшой собственный остров, обезопасить себя от бурлящего потока жизни, от шума и суеты, от нечестных ударов, от дурных запахов на поле сражения… Нет, жизненная борьба, все наши надежды на подобное блаженство заключаются в нашей ухватистой силе: иначе, какими бы хорошими пловцами мы ни были, мы неминуемо захлебнемся, погибнем в темных водах потока. Рослые и дюжие обречены на тлен, по их останкам пройдут беснующиеся толпы дураков. Вот почему мне так хотелось сохранить и приумножить свои сто фунтов.

Предстоящий взнос уменьшит мой капитал до 75 фунтов — не круглая и не столь внушительная сумма, как сотня фунтов, и тогда я по-прежнему обязан отдать 50 безналичными на остающиеся акции.

Когда в восемь часов вечера заседание объявили закрытым, я, протиснувшись сквозь толпу возбужденных зевак, собравшихся у гостиницы «Орел», направился на окраину города и очутился у моста, залитого лунным светом. На парапете сидел с сигарой Эрлангер. Я зажег свою трубку, устроился рядом, мы помолчали немного. Лунный свет еще не залил город, лежащий в тени холма, над которым зависло ночное светило. Он казался темным, зловещим, лишь на рыночной площади висела перевернутым конусом дымка света: там у гостиницы и магазинов горели газовые фонари. На площади играл шахтерский оркестр, отдаленные звуки были весьма мелодичны. Играли "Милый дом", и мысли мои перенеслись в Алчестер, в маленькую гостиную, где матушка, верно, сидела, склонившись над пяльцами, старый отец читал вчерашний номер «Тайме», вслух перечитывая какой-нибудь интересный абзац. Эрлангер, казалось, тоже проникся мелодией, глаза его на мгновение увлажнились.

— Хорошая эта ваша песня. Да… дом. Впрочем, сдается мне, вы, англичане, слишком много думаете о доме. А по мне так: где у тебя работа, там и дом. Признаться, сейчас я думал не о магазине в Теннеси, где я вырос, а об одном белом домике на Цейлоне, где работал на кофейных плантациях. Думал об одной стройной смуглянке и малыше, играющем в тени. Шестнадцать лет назад я потерял их. Тому мальчонке было бы столько же лет, что и вам. Люблю я, знаете ли, малых детей.

— Хотите дам вам совет, — сказал Эрлангер, положив мне руку на плечо. Развяжитесь вы с прииском, я хочу сказать — продайте вы свои акции. Для этих хватов из Сити большого убытка не будет, они это дело обстряпают, при любом раскладе не прогорят: они ведь всегда знают, когда надо выйти из игры. Продайте оставшиеся акции, их цена после решения об уплате взноса снизилась до номинала, но здесь найдется немало охотников приобрести у вас акции за номинал. Идите сейчас же в гостиницу «Орел» и продайте акции.

— Но если я их продам, я потеряю место, — возразил я. — Я как член правления обязан держать на руках акции. К тому же Дамбрелл обошелся со мной очень любезно, а так получается, я бегу с тонущего корабля.

— Вот что я вам скажу, Таббз. Если Дамбрелл что-то начнет говорить, имейте в виду, — и тут Эрлангер прошептал мне на ухо, — вчера вечером он продал все свои акции. Но что у него осталось, так это, разумеется, квалификация.

Я направился в гостиницу и вошел в кабинет хозяина.

— Уильяме! Хочу продать двадцать пять акций Долкаррегской компании. Какой сейчас курс?

— Они идут по номиналу. Хотите сбыть их все сразу?

— Да.

— Я найду для вас покупателя за пятипроцентную скидку.

— Ладно, согласен.

Уильяме вышел и вскоре вернулся с чеком на 43 фунта 15 шиллингов.

Я положил чек в карман и отправился искать нашего штейгера: в тот вечер мы собирались ехать на прииск в догкарте, принадлежащем компании.

Я заглянул в шесть пивных и в каждой меня уверили, что Доминико только что покинул это заведение. Не поленившись, я возобновил свой обход и обнаружил штейгера в первой пивной: Доминико пошел по второму заходу. Обычно, находясь в подпитии, он соображал лучше, нежели трезвый, однако в тот вечер ему ужасно не хотелось расставаться с друзьями-собутыльниками, так что мне стоило немалого труда вытянуть его на улицу. Когда мы двинулись из дверей «Орла», вслед вышел Дамбрелл и остановил нас.

— На пару слов, Таббз.

Я вернулся в гостиницу. Дамбрелл затащил меня в пустую комнату.

— Как прикажете понимать? Я слышал, вы продали все свои акции. А вы знаете, молодой человек, что мы, вероятно, уволим сотрудника, который не доверяет нашей компании и держится такого низкого о ней мнения?

Я почувствовал себя в глупом положении. В конце концов Эрлангер мог нарочно ввести меня в заблуждение относительно Дамбрелла, а мне не хотелось упрекать его за нашу сделку: ведь если я ошибусь, он вероятно сразу лишит меня всяких связей с компанией.

— Не думал, что вы представляете все в таком свете, ведь акции как-никак мои, я волен распоряжаться ими на свое усмотрение.

— Ошибаетесь, Таббз. Вы же прекрасно знаете, что все наши должностные лица обязаны иметь определенный пакет акций.

Замечу, что после тщательного изучения документов об учреждении акционерного общества, мне стало ясно, что с целью привлечения акционеров, пакет директора составлял 50 акций.

— Вы хотите, чтобы я купил те пятьдесят акций, от которых вы недавно избавились?

Дамбрелл вздрогнул и покраснел.

— Что вы знаете о моих акциях?

— Как вам сказать… Когда капитан бежит с корабля, интенданту впору позаботиться о своей судьбе.

— Какие у вас сведения, Таббз? — сказал он, взяв меня за руку. — Что вы слышали? Вы хотите скупить акции сейчас. Прошу вас, сообщите мне, что вы знаете.

Я рассмеялся.

— Так что, меня уволят?

— Уволят? Что за вздор!

— Я не думал, что вы в курсе событий. Кто вам послал телеграмму? Баррел? Этот хитрый лис? Подумать только, подсунул вас ко мне, представил этаким простачком из Норфолка. Так что вы собираетесь предпринять? Играть на повышение или понижение?

— Что собираюсь? Уснуть на вершине Моэл-Ваммера. Спокойной ночи, старина.

Вскоре мы сидели в догкарте и мчались в Долкаррег, резвый гнедой помахивал перед нами своим неугомонным хвостом. Когда проезжали мост, Эрлангер по-прежнему сидел на парапете и курил сигару. Он помахал нам на прощание — больше его я не видел.

Обычно я придерживаюсь мнения, что восход не стоит того, чтобы из-за него подниматься

спозаранку, но в это воскресенье глазам предстал один из тех самых удивительных пейзажей, какие мне довелось видеть. Выйдя из своей хибарки, я протер глаза и ощупал себя, дабы убедиться, что душа моя не покинула бренное тело и не поднялась в эфирный мир. Ночью с моря в долину переместился густой белый туман, казалось — обрушилась снежная мгла. Выступ, на котором стояла хижина, превратился в островок, в крепость на заоблачной скале, надо мной вздымались из туманного моря лиловые гребни Хенфинцада, едва окрасившиеся в розоватые тона; позади маячили утесы Маммера, но весь дол скрылся от взора. Восходящее солнце окрасило белые кудрявые облака в розовато-жемчужные тона. Смотришь на них — и кажется, что вот-вот должна вострубить труба архангела, ждешь, не появится ли чудесный знак, ослепительное знамение небес, но тщетно. Доносятся лишь стоны ветра, он колышет, рассеивает воздушный океан, раскрывая изломы дольнего мира.

Клубы облаков ползут по склонам холмов, истончаются в едва заметную дымку по мере того, как солнечные лучи набирают силу, но в глубоких расселинах еще висят белоснежной массой. Половина прилива, и там, на песчаный берег Абера накатывают длинные волны, расцвеченные розоватыми красками. Одинокую шхуну качает на волнах, она ждет, когда прибавится воды на песчаной полосе, меж тем, на приземистом каменном пирсе видны черные точки, это — помощник шкипера, судовой помощник, жена шкипера и, предположительно, дети, высматривающие отца. Все ли ладно на шхуне? Все в порядке дома?

После столь дивного утра день выдался несколько монотонный. Как ни приятны холостяцкое воскресное утро, неторопливый завтрак, досужая трубка, разрезание страниц ежедневного номера, обсуждение новостей, кружка пива «басе», вносящего некоторое оживление, все же к тому времени, когда нарядные прихожане выходят из церкви или часовни, чувствуешь, что ты, между тем, понемногу тупеешь. Подобно школьнику, который в солнечное весеннее утро, прогуляв уроки, неторопливо бредет домой и видит стайку одноклассников с ранцами, спешащих домой обедать, и думает: "Эх, сейчас бы я освободился и мне не грозила бы порка завтра", — точно так же и я, обремененный пуританским наследием предков, испытывал легкий трепет при мысли, что провел воскресенье "в безбожии", как выразился бы мой суровый дедушка. Вдобавок, нарядные шляпки, милые женские лица, шорох и колыхание платьев вокруг, на паперти приятное соседство праздничных муслиновых юбок и юбочек, украшенных затейливой вышивкой — все это оживляет молодого неженатого мужчину, расцвечивает для него мир яркими красками. Конечно, следовало бы прогуляться в Лланкаррег и зайти в церковь. Тогда бы по возвращении меня, возможно, ожидала трапеза — бесформенные котлеты в кипящем жире, которые миссис Уильямс, жена штейгера, готовила для подкрепления сил.

Почти все работники на прииске были уэльсцами, но среди разнорабочих, новобранцев, были двое-трое ирландцев; получив отказ на железной дороге, они решили попытать счастья в Лланкарреге. Их появление совпало с моим приездом, и, как я узнал впоследствии, мне почему-то приписывали какие-то бредовые козни: будто бы я хочу лишить их рабочих мест, уволить их штейгера, да и их самих, а на место Уильямса посадить ненавистного шотландца или еще более ненавистного ирландца.

В Уэльсе нет никаких местных традиций, по крайней мере, кроме сугубо ребяческих, да и те измышляют главным образом местные самодеятельные любители. Однако же глубоко в сознании уэльсцев коренится ненависть к гвидделлам, то есть к ирландцам. Подобно тому, как между близкими родственниками ссоры обычно ожесточенней и злобней, нежели между незнакомыми людьми, так и валлийцы ненавидят родственных им ирландцев. Не думаю, что эта ненависть взаимна. Ирландцам, полагаю, наплевать, какие чувства питают к ним валлийцы, но не вызывает сомнения, что валлиец скорее смирится с ползучим гадом — коварным соседом англичанином, нежели с ирландцем. Причина этого, возможно, заключается в том, что жестокая битва за землю, обусловленная растущей экспансией англичан на восток, вовлекла в междоусобицу население окраин, вынудила разоренных гаэлов покинуть западную Британию и перебраться в Ирландию, тогда как многие их соплеменники, рассеяные по стране, остались продолжать войну со своими завоевателями, что вылилось в грабежи; в свою очередь, их травили как волков всякий раз, когда мелкие раздоры уэльсских вождей позволяли англичанам обратить свою энергию на единственно доступную цель — установить безопасность в своих владениях.

Валлийские горняки проживали по большей части у подножья горы в небольшом селении, около моста через реку. Там у них была своя часовня и небольшая пивная. Местные жители не хотели брать ирландцев на постой, так что мы построили хижину из досок и дерна, в которой и поселились приезжие. С одной стороны она прилепилась к отвесной скале, с другой — была обращена к крутому склону холма, усеянному большими камнями.

Тропа от порога до приисковых построек была пряма, как стрела, и иной дороги не было, если

не считать крутого склона, по которому можно было взобраться на вершину Маммера; но чтобы попасть на этот склон со стороны прииска, надо было сделать крюк в полторы мили.

Я сидел перед хижиной в тоске и унынии и курил трубку; день выдался пасмурный, ветер, сменившийся на северо-восточный, печально завывал среди утесов, вершины холмов скрылись в дождливом тумане, который быстро обволакивал все вокруг. Чувство одиночества и покинутости овладело мной ведь по натуре я был домосед; казалось, этот туман стремительно отрезает меня от всего живого. Вдруг мне на шляпу упал камешек — я вздрогнул. Упал еще один, я поднял глаза и увидел, что на середине склона, как раз перед завесой тумана, мелькает женская юбка.

Я тотчас прыгнул на крутой, скользкий склон, но фигура женщины исчезла, я лез все выше и выше, в лицо мне летел неистовый снег с дождем, сек точно концом кнута, между тем незнакомка как в воду канула. Я потерял ее из виду, и хотя нас отделяло друг от друга не более сотни ярдов, для меня это было все равно что сто миль. Скалолаз я был никудышный, никогда еще мне не доводилось попадать в такую заоблачную высь, я был озадачен, сбит с толку; то справа, то слева открывались опасные пропасти, окутанная мраком вершина внушала мне страх. Тут наверху послышалось тихое "Ау!", я устремился на крик, он повторился и не один раз в течение нескольких минут. По прошествии получаса я кое-как взобрался на небольшое плато; на фоне неба смутно вырисовывалась груда камней и куча досок. У груды камней, полуприсев, укрывалась от ветра моя незнакомка.

Взобравшись на вершину горы вслед молодой беглянки, вы едва ли стали бы затруднять себя представлением. Плюхнувшись на камень рядом с прекрасной незнакомкой, я не колеблясь взял ее за руку. Лицо девушки было укрыто пестрым желтым платком, и потому другой рукой я отважился снять эту повязку и разглядел очаровательное смуглое лицо, на котором блеснули дивные черные очи. Девушка вскочила на ноги.

— Ты много себе позволяешь, англичанин! — закричала она мне прямо в уши. Рев ветра над головой тотчас унес ее крик в огромную бездну. Необходимо было кричать, чтобы быть услышанным.

— Прошу прощения!

— Что?

— Прошу прощения.

— О!

Мы в первый раз посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись.

И впрямь, за грудой камней двое могли укрыться только прижавшись друг к другу. В этих обстоятельствах я не мог не обнять свою спутницу для поддержки. Талия у нее была тонкая, округлая и крепкая, рука моя могла бы обхватить ее дважды. Чтобы расслышать что-нибудь на ветру, надо было тянуться к самому уху девушки, к роскошным, выбившимся из-под платка, волосам. Знакомятся и сближаются в горах быстро.

— Ты должен уйти отсюда, молодой англичанин. Я вижу, ты скор на руку. Уходи, говорю, серьезно. Ты должен сейчас же итти в Лланкаррег, иди, сию же минуту иди! А то мои соотечественники вооружатся и прогонят тебя силой. А может, даже убьют. Ступай. Ну, что ты медлишь — беги пока цел.

Я не понял ее и не знал, что сказать, а девушка, по-видимому, ждала ответа. Когда я наклонился, чтобы что-то сказать, она подняла лицо, я попытался прокричать ответ, но… Не проще ли поцеловать раскрасневшееся запрокинутое лицо? Девушка обеими руками ухватила меня за воротник и тряхнула что было силы.

— Глупый мальчишка! Я хочу спасти тебя. Ступай за мной. Ну, идем же!

И, сорвавшись с места, она пустилась бежать по склону холма. Я устремился вдогонку, шлепая башмаками по пружинистому мху и едва поспевая за ней, видя впереди только ее мелькающую юбку.

Мы спустились к небольшому ущелью, где протекал ручей; теперь, оказавшись под защитой скалы, мы могли слышать друг друга.

— Видишь тропу, — сказала мне спутница, — иди по ней. Она приведет тебя к старой дороге на Абер. А там не заблудишься. Иди все время прямо. Не пытайся вернуться в Лланкаррег.

Там есть люди, которые тебя подстерегают.

— Кто это? — изумился я.

— Горняки. Они поклялись изгнать тебя из Уэльса, тебя и ирландцев.

— Но позволь, а полиция? А магистраты?

— Полиция! Глупенький! Не надейся на эту полицию. Неужели ты думаешь, что кто-то полезет на Маммер, даже если тебе удастся найти в ближайшие шесть часов хоть одного полицейского. Нет, милый, тебе надо сейчас же отправляться к Аберу.

— А что они сделают со мной, если найдут, если я не уйду?

— А вот что: в бухте стоит буксир. Капитан — брат одного из горняков, что работают на прииске. Они свяжут тебя, посадят на телегу, отвезут к заливу, запрут вместе с ирландцами в трюме, и к утру — не успеешь опомниться — окажешься в Холихеде.

— Вот гады! — проскрипев зубами, вымолвил я и в бессильной ярости топнул ногой.

— Какие же они гады? — возразила девушка, — Они мои соотечественники. Среди них два моих брата. Уходи отсюда. Прощай!

— Погоди, моя милая. Ты так любезна со мной. А я даже не знаю твоего имени.

— Маргарет. Маргарет Роберте.

— Но, Маргарет, зачем же ты сказала мне все это?

— Ах, право не знаю. Не хочу, чтобы с таким славным парнем, как ты, дурно обошлись. Однако пора — меня матушка ждет. Прощай. Иди же, что ты медлишь?

— Маргарет, я не могу так итти. Ты должна показать мне дорогу на прииск, будь умницей.

— Нет, капитан, тебе нельзя туда возвращаться. Заклинаю тебя — не ходи туда! Не ходи туда сегодня. А завтра можешь вернуться. Но только завтра!

Она взяла меня за руку и подтолкнула на тропу, ведущую к Аберу.

И снова я не мог удержаться — обнял ее за талию, поцеловал в розовые щеки.

— До свидания, милая Маргарет. Ненавистные тебе англичане не покидают своего поста, но ты дивная, чудная. До свидания, анвилвах, глупенькая!

Ах, как легко обучиться языку любви! Полчаса, проведенных на склоне холма в обществе очаровательной девушки дадут вам больше в области уэльсского языка, нежели целый курс лекций какого-нибудь профессора, преподавателя кельтской литературы в Оксфорде.

— Вверх по склону, а как перейдешь ручей, все время по тропе направо, прокричала мне вслед Маргарет, когда я зашагал прочь.

Наконец, мне удалось добраться до хижины. Уже сама мысль о физической расправе действует на нервы возбуждающе. Осознав ответственность и грозящую мне опасность, я почувствовал прилив сил.

Правда, если безропотно покориться обстоятельствам, ждать, когда тебя свяжут и бросят в темный трюм с двумя-тремя ирландцами, ты будешь терпеть лишения всего каких-то несколько часов, а там, глядишь, выпустят на свободу, однако, какой мужчина согласится на такие унижения: уж лучше пускай сразу огреют дубиной по голове! Нет, ни за что, поклялся я себе. Пусть эта забавная комедия, этот фарс, нападение на четырех безоружных, пусть все это лучше обернется трагедией, только бы не восторжествовали злодеи. Однако, не мешало бы подумать, чем встретить неприятеля. Постойте: было восемь часов вечера, когда я сидел на перилах моста в Лланкарреге и видел, как над склоном Хенфинидда всходила луна. Восемь часов вечера — я слышал, как прозвучал церковный колокол. Каждый вечер луна восходит на час позднее, значит, сегодня взойдет в девять. В восемь будет уже кромешная тьма, именно тогда они и придут, предпримут атаку. Сейчас четыре, остается четыре часа. Но прежде надо заняться личными делами. В кармане у меня лежали банкноты, 150 фунтов. Я поместил их в банку из-под табака и сверху заткнул бумагой, заложил мелкими камешками. Затем, выйдя на воздух, стал искать позади хижины подходящее место для тайника. Скала позади хижины

была отчасти разломана, чтобы разместить хижину в укрытии. Отбитые глыбы лежали рядом. Я поднял ту, что поменьше и положил банку с деньгами в углубление, потом опустил камень. И все же, хотя моим банкнотам ничто не угрожало и, окажись я целым и невредимым, мне не составило бы труда их достать, но если меня забьют насмерть, тогда им лежать здесь до Судного дня, а сделать своим наследником Банк Англии или какого-нибудь бедняка-валлийца мне совсем не хотелось. Я должен написать Тому и сообщить, где находится мой депозит, но нужно позаботиться о том, чтобы мое письмо не прочли горняки-валлийцы, замышлявшие напасть на нас: они по всей вероятности читают по-английски и очевидно прослышали, что я получил много денег. Да, бедняге Тому деньги придутся кстати: хоть станет на ноги, расплатится со своими кембриджскими кредиторами. Напишу-ка я ему по-французски, а письмо оставлю в хижине штейгера. Он с женой уехал на проповедь в отдаленную церковь, вернется завтра, а приглядывать за домом поручил мне.

Я взялся за перо:

"Mon cher Tom.

Derriere ma hutte a la mine de Dolcarreg, cette hutte avec le toit de feutre, il y a une pile de grandes masses de pierre. Otes la plus haute pierre, c'est une pierre pyramidale, et tu tro-uveras un pot de tabac; fume le tabac et garde le pot en souvenir de ton frere.

Alfred."

Написав эти строки, я почувствовал облегчение. Пора было подумать об обороне. Могу я положиться на ирландцев?

Почему бы и нет? Они незаменимы в разудалой драке, если, конечно, хватит решимости и отваги в суматохе боя руководить ими.

Трое ирландцев дремали на одеялах в своей хибаре. Я окликнул их, и они спросонья вышли на свет. Что можно сказать о лице истинного ирландца, коренного британца? Оно красноречиво свидетельствует о древней истории, о народе с многовековой традицией; кажется, одни и те же души, за долгие века побывавшие в разных телах, состарились и теперь скорбно взирают сквозь тусклые уставшие глаза, томятся в ожидании часа, когда их призовут на небо. Такой же взгляд, наверное, у фурии.

Такое застывшее выражение на лицах тотчас сменилось игривой улыбкой, когда я поведал, что предстоит драка.

— Господь видит, что мы не дадим в обиду капитана. Вы подождите, сейчас достанем палки. Я в Килабете срубил хороший дубок, командир. Хорошая штука, черт подери. Я так огрею этих уэльсцев.

Как я уже говорил, их было трое. Джон Мориарти, Сэм О'Коннор и Питер Блэйк. Рыжеволосый Джон был единственным, кто еще мог что-то сказать, остальные разговорчивостью не отличались. Ирландцы отправились за инструментом и вскоре вернулись весьма озадаченные.

— Как в воду канули, командир.

Накануне поступил шахтерский инструмент — кайла. Но сейчас, верно, их кто-то похитил.

— Держу пари, они не ушли далеко, — заметил я. — Мастеру Тэффи далеко унести эти кайла не под силу. Но найти их будет непросто. Этак неделю проищем.

— Как же без кайл? — в сомнении проговорил ирландец.

Возле хижины валялось много досок и брусьев, была и циркулярная пила, но что толку драться досками или брусьями? Если б только отыскать кайла. Они насажены на рукоятки из крепкого ясеня, тот способен выдержать удар даже о скальную породу. Что наши враги могли сделать с этим инструментом? Несомненно, он где-то поблизости. Белый след, оставленный на дробленом кварце, подсказал мне, где могут быть кайла. В дальнем углу сарая стояли штампы, а в ближнем располагались «эрлангеры» и каморка Доминико. Здесь же высилась конической формы гора размолотого в порошок кварца.

Человек, спрятавший кайла, наступил в лужу воды, вытекшей из желоба, который шел к большому колесу. Похититель оставил след на белом порошковом кварце и кашице, размазанной на пороге двери. Потыкав рейкой, я вскоре обнаружил в середине кучи что-то твердое. Кайла были действительно спрятаны там. Не прошло и минуты, как мы сняли насадку с шести кайл. Почему бы не вооружиться крепкими рукоятками? В суматохе боя кайло не

совсем подходящее оружие. Легко собьешь с ног первого нападающего — будет чем заняться коронеру, но когда подоспеют остальные, вам в любом случае не поздоровится; хорошей же дубиной можно, если повезет, оглушить человек трех.

Доминико не было на месте. Несомненно, он отправился в Лланкаррег и вернется, вероятно, только к утру.

Каковы наши возможности удержать позицию? Я тщательно осмотрел местность. Плоская возвышенность, местами терраса с полуразработанным карьером резко сужалась в дальнем конце дороги. В узком проходе, где едва могли разминуться двое, стояла хибарка, в которой жили ирландцы. Выступ скалы отрезал дорогу от этого укромного уголка. Подойти можно было лишь по узкой тропе, выбитой на глубине карьера. Гора внизу была не совсем отвесной, а под углом приблизительно в семьдесят градусов. Итак, оборонительная позиция представляла собой небольшую террасу, на которой стояла моя хижина. У нее было и другое преимущество: она давала нам возможность отступить. В случае поражения можно было подняться на вершину Маммера. Я не стал ни советоваться со своими союзниками, ни разрабатывать тщательный план обороны. Настоящий боевой генерал не любит военных советов, его планы всегда просты, но он отлично видит, когда наступает критический момент и наносит молниеносный удар по противнику.

Я извлек урок из беседы с веселым кучером, подвозившим меня в Долкаррег:

— Если вас, сэр, угораздит повздорить с валлийцем и дело запахнет дракой, не пускайтесь с ним в разговор, не спорьте, он начнет болтать и так распетушится, что под конец набросится на вас и изобьет. Когда у него кураж, с ним нелегко справиться. А вы тихонько подойдите к нему и дайте ему как следует по физиономии. Тогда весь кураж у него пропадет, и он залезет под стол и будет просить прощения.

Я не забыл этот совет.

Было пять часов вечера. Тяжелые тучи, нависшие над холмами, на мгновение разошлись, море вдали переливалось, залитое светом; закатное солнце расцветило песчаные берега. Наступило время прилива. Далеко в море лиловые холмы, окутанные у подножия легкой дымкой, заиграли красками, точно горы, встающие на горизонте.

Там, в Алчестере, мать и старик-отец сейчас, должно быть, пьют чай, матушка принарядилась к вечерней службе, рядом лежит библия и молитвенник.

В устье реки покачивался на волнах паровой буксир. Судя по черному дыму, валившему из трубы, судно разводило пары.

Тут мне пришла на ум мысль. Неприятель, несомненно, предпримет атаку, когда совсем стемнеет. Хорошо бы ослепить его ярким светом. В Алчестерской школе я слыл неплохим пиротехником. В запасе у нас целых два часа. Во всяком случае, можно скоротать время — попытаться приготовить петарду. Пороху много, целые бочки, в лаборатории, кроме того, найдутся сурьма и фосфор. Правда, порох надо было измельчить. Есть большая чугунная ступа, но толочь в ней порох очень вредно для глаз. Однако же О'Коннор безропотно взялся за эту работу: я передавал ему только по полунции каждый раз. Опалить бакенбарды он не мог за неимением оных, да к тому же у него была на редкость красная физиономия, не лицо, а сущая харя: проведи по ней раскаленной кочергой ничего не изменится; словом, за него я не беспокоился. Вооружившись линейкой, камедью и писчей бумагой, которой было предостаточно, я изготовил полдюжины вполне приличных снарядов; к семи часам мы приготовили смесь и начинили снаряды. Затем я повел свое войско в хижину и стал ждать развязки событий.

Перемена погоды оказалась непродолжительной, затишье вскоре сменилось сильным воющим ветром, облака тумана и дождь неистово били поперек горы. Не очень приятный вечер для прогулок, и я уже начал подумывать, что уэльсцы не решатся на вылазку в такую непогоду.

В непромокаемой куртке и крагах я взобрался на край утеса и прислушался. Когда ветер стих, послышался несмолкаемый плеск вздувшихся ручьев. То и дело с горных пастбищ раздавалось блеянье овец. Но что это? Едва на мгновение все смолкло, я отчетливо услышал шаги. Со склона с грохотом сорвался камень, но в тот же миг злое завывание ветра поглотило все звуки. Я прокрался обратно к хижине и выдал своим подопечным "боевой паек" виски для подкрепления сил.

— Ну, ребята, чтобы ни звука. Как свистну три раза, сразу ко мне.

— Будет исполнено, командир, будет исполнено. Не беспокойтесь!

Однако тревога оказалась ложной. Когда мне наскучило ждать, я отважился заглянуть в цеха. Там было темно и тихо. Но чу! Неприятель был тут как тут. Послышался топот, показались темные фигуры, в ту же секунду выросла толпа, но меня не узнали — и я, улизнув, спрятался за скалистый выступ. Ветер почти утих, не смолкал топот. Врагов было много, они остановились у дальнего конца сарая: застучали кайла — ломали стену, вскоре с грохотом обвалилась крыша. Очевидно уэльсцы рванулись в хижину. Хотели видно поймать ирландцев на развалинах, но пришли в замешательство, увидев, что никого нет. Я видел: они столпились у хижины, слышались приглушенные голоса.

Настало время решительных действий, я свистнул три раза и, чиркнув не гаснущей на ветру спичкой, зажег голубую петарду. На мгновение все заволокло дымом, но когда петарда взмыла, ярко озарив все вокруг, глазам предстала картина: в окружении скал и утесов толпа уэльсцев с закопченными лицами горняков. По моему сигналу ирландцы выбежали, а наши недруги не успели опомниться — глазели на фейерверк. Я ринулся на врагов и метнул голубую петарду в самую гущу толпы. Вспышка сменилась темно-синим облаком, лица исчезли. Яркий свет, похоже, ударил мне в голову; пальба, свист были до того оглушительными, что казалось, будто стучат тысячи паровых молотов. Я упал на одно колено и, по-видимому, потерял сознание: помню только, я летел в бездну и цеплялся руками за каких-то чудовищ.

Очнулся я на сквозняке у себя в хижине, в пивных бутылках горели две сальные свечи. У моей постели стоял Мориарти, держа в руках таз с водой и мокрую тряпку. Двое других ирландцев сидели на высокой деревянной скамье у очага и то и дело наливали себе по стаканчику виски из моей бутылки. Ох, уж это ирландское виски! Омерзительный запах. Равнодушный к припаркам, я тем не менее не выношу ирландское виски, оно внушает мне непередаваемое отвращение.

— Славно мы их поколотили, этих обормотов уэльсцев. Вы, командир, самое главное поправляйтесь — лежите спокойно, отдыхайте.

Умело и бережно Джон забинтовал мне голову, но в висках у меня стучало от боли.

— Да, поколотили мы их славно. А знаете, что испугало их? Деремся, а позади них вдруг раздаются вопли, как будто человека два-три сорвались в пропасть. Тут душа у них ушла в пятки — пустились наутек. Мы с Питером Блэйком гнали их вниз по склону.

Я погрузился в сон, почив на лаврах победы, и проснулся наутро с повязкой на голове и ужасной головной болью, что сразу напомнило мне о вчерашней битве.

Доминико нашли на дне ущелья, у него была сломана шея. В руке был зажат окровавленный нож, на спине вверху виднелись пятна крови. По-видимому, горняки-уэльсцы вытурили его из хижины: именно его шаги я слышал накануне вечером прежде, чем уэльсцы ринулись сюда толпой. Доминико в ярости пырнул ножом одного или двух уэльсцев. Вот почему наш отвлекающий удар с петардами возымел успех и мы победили. Сам ли Доминико сорвался в пропасть или его туда сбросили разъяренные горняки — мы так и не узнали; да и о раненых уэльсцах ничего неизвестно: они затаились, помалкивали. Разумеется, было дознание; пригласили в присяжные уэльсца. В протоколе записали: "Случайная смерть". И на том дело закрыли.

Смерть Доминико озадачила капитана Уильямса: вся работа с «эрлангерами» легла на него. В понедельник недоставало рабочих, но сырья было много, так что «эрлангеры» не смолкали весь день. Капитан Уильяме предложил переждать день, пока не закончится дознание, но ami sacra fames взяла верх. Директора на утро должны были возвратиться в Лондон, и им хотелось отрапортовать об удачной выработке. Уильяме покачал головой и сказал:

— Там, где смерть — золоту не бывать. Ненавидит оно смерть. Сегодня ночью дурной сон видел. Накануне вечером мы отправились на проповедь, естественно, речь зашла о Дьяволе. Мне же вот приснилось, будто я стою в полночь на вершине Маммера, вдруг все озаряется светом и из зарева выходит Дьявол. Как раз на месте золотоносной жилы, которая давала нам хорошую прибыль. Дьявол встал передо мной, широко улыбнулся — готов поклясться: он как две капли воды походил на Эрлангера — и потянул ноздрями воздух, а потом как завизжит и толкнул меня. А я в ужасе: ведь он загнал все золото в глубину Маммера.

— Глупости это, дружище, ты вчера вечером малость перебрал виски.

Уильяме помрачнел и молча принялся за свое дело. Работали мы изо всех сил, допоздна. Уже

стемнело, когда амальгама пошла в плавильню. Мигающее пламя свечи осветило лица нетерпеливых лондонских коммерсантов и согнувшуюся фигуру штейгера над раскаленным тиглем.

— Ну что, капитан? Каков результат?

Уильяме уронил на пол тигль — и тот рассыпался на осколки.

— А, дьявол его забери!

Ничего не вышло.

На несчастного штейгера обрушилась буря упреков и словесной брани: "не смыслит в своем деле", "не так приготовил амальгаму", «болван», «тупица», "уэльская свинья", «плут» и так далее. Штейгер, брызгая слюной, чертыхался по-валлийски, и мне показалось, что у нас назревает драка, но лондонские гости не замедлили взять себя в руки — и раздраженный кельт утихомирился.

— Ну, что я вам говорил, джентльмены? — скорбно проговорил Уильяме. Кто как не Дьявол заколдовал горную породу? Золота в ней больше нет.

Это и впрямь было похоже на правду. С того дня прииск не давал и шести пенсов дохода, хотя разведка недр сулила чрезвычайно благоприятные перспективы. И так бы продолжалось долго, окажись у нас достаточно средств на разработку. Когда истощились финансы, работы были приостановлены, а с ними и выплата моего жалованья.

Разумеется, при таких обстоятельствах я не мог предложить руку и сердце преданной Маргарет, зато имел удовольствие присутствовать в качестве шафера на ее свадьбе. Ее избранник, здоровенный детина, горняк-уэльсец, после злополучной вылазки на вершине горы, принужден был держать одну руку на перевязи, а над бровями у него красовался жуткий порез. Поневоле не выйдя на работу, он счел это вполне благоприятным поводом для женитьбы. Свадьба выдалась веселой, все моряки и селяне Пенибонта изрядно напились по этому торжественному случаю.

На заброшенном Долкаррегском прииске теперь тихо. На фоне голого склона зловеще вырисовываются спицы большого колеса. Водопроводные желобы пересохли, рельсы разобраны. Долкаррегский прииск пользуется дурной славой. По ночам там творится всякая чертовщина. Огромное колесо, жутко скрипя, приходит в движение и раздаются стоны. Пришедшие в негодность штампы начинают стучать и дробить камни, из разрушенной трубы каменной плавильни валит дым и рвется пламя. В разгар этой бесовщины вверх, по самому склону холма, устремляются трое и, достигнув вершины Маммера, бегут по кругу. Они вопят и воют — ведь их преследуют злые духи. Наконец, все трое исчезают в синем огне. Один из них Эрлангер, другой — Доминико, а третий — злобный интендант-англичанин. Впрочем, что касается вашего покорного слуги, это видение — называйте его как угодно — может вполне оказаться пророческим.

*1895 г.*

**Плутовские кости**

Несколько лет назад мне довелось проехать по южным графствам Англии в компании одной своей хорошей знакомой. Мы путешествовали в открытом экипаже, останавливаясь лишь на несколько часов — иной раз ежедневно, а порой и не чаще раза в неделю — в местах, хоть чем-то заслуживавших внимания. При этом очередной этап своей поездки мы старались завершить утром, дабы дать лошадям возможность отдохнуть, а самим насладиться ржаным хлебом, парным молоком и свежими яйцами — завтраком, который все еще подают в наших сельских гостиницах, стремительно превращающихся в разновидность археологического реликта.

— Завтракать будем в Т***, - как-то вечером сообщила мне спутница. Мне хотелось бы навести там справки о семействе Ловеллов. Я познакомилась с ними — мужем, женой и двумя очаровательными детьми — однажды летом в Эксмауте. Мы сошлись очень близко, и Ловеллы показались мне людьми необычайно интересными, но с тех пор я их больше не видела.

Утро встретило нас солнышком — столь ослепительным, что сердцу грех было не возрадоваться, — и мы, в полной мере насладившись утренним отрезком маршрута, около девяти часов достигли окрестностей города.

— О, какая чудная гостиница! — воскликнул я, когда мы подъехали к белому домику со знаком, раскачивавшимся у входа, и цветочной клумбой у боковой стены.

— Остановитесь, Джон! — крикнула моя попутчица. — Думаю, здесь нас ждет завтрак куда здоровее и вкуснее любого городского. Если же в городе найдется на что посмотреть, доберемся туда пешком.

Мы спустились по ступенькам экипажа и были препровождены в уютную маленькую гостиную с белыми занавесками. Вскоре стол был накрыт, и мы сели за незатейливый деревенский завтрак.

— Скажите, известно ли вам что-нибудь о семействе Ловеллов? — спросила моя знакомая (звали ее миссис Маркхэм). — Мистер Ловелл, насколько мне известно, был священником.

— Известно, мэм, — ответила прислуживавшая нам девушка, судя по всему, хозяйская дочка. — Он — настоятель нашего прихода.

— Вот как? И живет неподалеку?

— Да, мэм, в доме викария. Это — вниз по той дорожке: отсюда будет около четверти мили. Можете, если хотите, пройтись полем, вон к той башенке — пожалуй, так будет поближе.

— А какой путь приятнее? — поинтересовалась миссис Маркхэм.

— Думаю, полем, мэм — если, конечно, вас не отвратит перспектива дважды подняться и спуститься по ступенькам вдоль живой изгороди. Кстати, пройдясь полем, вы сможете получше рассмотреть наше аббатство.

— Башенка, что там виднеется, — тоже его часть?

— Да, мэм, — отвечала девушка, — дом викария как раз за нею.

Получив все необходимые указания, сразу же после завтрака мы отправились по полю и после очень приятной двадцатиминутной прогулки оказались на церковном дворике среди развалин, которые по живописности могли бы поспорить с шедеврами самого буйного воображения. Кроме той самой башни, что видна была из гостиницы и несомненно служила колокольней, строений тут почти не осталось. Сохранились внешняя стена алтаря и полуразрушенная ступенька, которая когда-то вела, очевидно, к престолу. Видны были остатки церковных приделов и части аркады, изысканно убранные гирляндами из мха и плюща. То тут, то там среди поросших травой безвестных могил возвышались массивные гробницы здешних мадам Марджери и сэров Хильдебрандов, имевших счастье родиться и умереть в более романтические времена.

Повсюду царили упадок и тлен. Но сколь поэтичен был этот упадок… и как живописен тлен!

Из-за высокой серой башни выглядывал необычайно красивый, словно улыбающийся садик; там же виден был и милейший коттеджик — трудно было даже поверить, что он настоящий. День искрился яркими красками: изумрудная трава, веселенькие цветочки, воздух, напоенный сладкими ароматами, и птицы, щебечущие в листве яблонь и вишен, — все, казалось, пришло

вдруг в неописуемый восторг от самой радости жизни.

— Ну что же, — заговорила моя спутница, устраиваясь на обломке колонны и оглядываясь по сторонам, — теперь, все это увидев, я начинаю лучше понимать, что за люди были Ловеллы.

— И что же это были за люди? — поинтересовался я.

— Ну, прежде всего, как я уже сказала, они были интересны тем, что являли собой необычайно привлекательный супружеский дуэт.

— Вряд ли особенности здешней местности могли иметь к этому непосредственное отношение, — заметил я.

— Не думаю, что вы правы, — возразила миссис Маркхэм. — Душа человека, хотя бы отчасти наделенного вкусом и интеллектом, невольно гармонирует с окружающей средой. Столь божественная красота не может не наложить на душу своего отпечатка: невольно, но явно — она подчеркивает красоту, сглаживая любое уродство. Ловеллы поразили меня не только внешне: от них исходило ощущение чистоты и благородства в лучшем смысле этого слова, я бы даже сказала, аристократизма, хоть о происхождении обоих мне ровным счетом ничего не известно. Совершенно очевидно было, что люди эти бедны, но при этом и довольны своей судьбой! Теперь я понимаю, почему счастливец, поселившийся среди таких красот, обретает способность радоваться малому — разве не тут воплощаются в жизнь грезы поэтов, воспевших "рай в шалаше"? Даже бедность кажется здесь такой романтичной… Кстати, и ренты платить не нужно…

— Верно подмечено, — согласился я. — Особенно, если предположить, что у этой парочки шестнадцать детей — как было у одного офицерика на половинном окладе, которого я однажды повстречал на борту пакетбота.

— Да, это могло бы действительно слегка подпортить идиллию, согласилась миссис Маркхэм. — Но давайте же надеяться, что это не так. У Ловеллов, когда я познакомилась с ними, было двое детей: Чарльз и Эмили более очаровательных созданий я в жизни своей не встречала!

Поскольку время для визита (так решила моя спутница) было раннее, мы еще около часа продолжали беседовать в том же духе, то присаживаясь на могильные камни и рухнувшие колонны, то рассматривая россыпи резных обломков, то заглядывая через зеленую изгородь в маленький садик, воротца которого виднелись за колокольней. Погода стояла теплая, так что большинство окон в домике викария были распахнуты с опущенными шторами.

За все это время мы не увидели там ни души и теперь подумывали уже о том, чтобы предстать-таки перед хозяевами на пороге, как вдруг откуда-то донеслись звуки музыки.

— Послушайте, какая изысканность! — в восторге воскликнул я. — Для полноты идиллии на хватало только этой детали.

— Кажется, это военный оркестр, — заметила миссис Маркхэм. — Вы обратили внимание, что по пути к гостинице мы прошли мимо казарм?

Звуки музыки, торжественной и медлительной, подплывали все ближе; похоже, оркестр приближался к той самой дорожке, окаймлявшей поле, по которой пришли сюда мы. Вдруг в сердце моем словно что-то оборвалось.

— Тише! — я опустил ладонь на руку собеседнице. — Они играют похоронный марш. Слышите приглушенную дробь барабана? Это похоронная процессия… но где же могила?

— Вот! — Миссис Маркхэм указала на вскопанную землю, прямо под зеленой оградой; свежевырытая яма была прикрыта доской, вероятно, чтобы избежать несчастного случая.

Есть ли на свете что-либо более трогательное и впечатляющее, печальное и вместе с тем прекрасное, чем церемония воинского погребения? Обычные похороны с их неуклюжими катафалками, безвкусными венками, тупыми статистами "в черном" и нанятыми плакальщицами всегда казались мне насмешкой над памятью усопшего. Все в них неискренне, все на грани гротеска, и совсем не ощущается острого дыхания смерти — того внезапного напоминания, что само по себе способно заставить самого несчастного человека вдруг ощутить радость бытия. Над всем тут витает дух какого-то преувеличенного уныния, громоздкой скорби. Лишь тот, кого трагедия затронула лично, может не заметить всей абсурдности этого ужасающего бурлеска.

Но на военных похоронах все не так! Это — смерть, царящая на празднике жизни, но вместе с тем и жизнь, обретенная в вечности. Без переигрывающих актеров и всеобщей натужности церемония эта — скромная и тихая, сдержанная и красочная — несет в себе что-то жизнеутверждающее. Слезы здесь — знак глубокой печали, и очень легко представить себе, как — пока люди, лишившиеся брата, с которым "еще вчера делили хлеб да соль", под звуки торжественной музыки тихо обмениваются воспоминаниями о проведенных вместе счастливых днях — душа умершего, освобожденная и умиротворенная, плывет, подгоняемая дыханием ожившей Гармонии, к своему небесному пристанищу. Сердца человеческие смягчаются, фантазия воспаряет ввысь, вера оживает — и мы покидаем кладбище облагороженные сим возвышенным зрелищем.

Такие мысли (или нечто в этом роде) занимали нас с миссис Маркхэм, пока мы молча стояли, прислушиваясь к звукам музыки.

В чувство мы пришли, лишь когда скрипнули воротца, соединявшие церковный двор с садиком, однако в первую минуту никто не появился, поскольку вошедшие все еще находились за колокольней.

Почти в то же время с противоположной стороны на кладбище вошел мужчина, приблизился к тому месту, где видна была вскопанная земля, и отбросил доску, открыв свежевырытую могилу. За ним проследовали сюда сначала группа мальчишек, затем — несколько вполне респектабельного вида граждан. Приглушенные барабаны звучали все слышнее. Наконец глазам нашим предстал отряд стрелков с нацеленными в землю ружьями и возглавлявший процессию офицер. У каждого из них на рукаве была черная траурная лента, и рядом белая, из сатина. Печальный марш не умолкал.

Затем шестеро солдат внесли на руках гроб, столько же офицеров — все совсем еще молодые люди — держали его покров, на котором лежали кивер, сабля, пояс и белые перчатки покойного.

Далее на кладбище парами проследовали люди, пришедшие попрощаться с умершим — сначала гражданские, за ними — военные. Здесь не слышалось приглушенной праздной болтовни, незаметно было блуждающих взглядов; на лицах этих лежала печать искренней скорби: если кто-то и позволял себе проронить слово, то шепотом, и по едва заметному печальному кивку головы сразу можно было понять, о ком идет речь.

Так мы и стояли, наблюдая за процессией, пока она продвигалась по дорожке, огибавшей кладбище. Когда люди приблизились к воротам, оркестр смолк.

— Смотрите, вот и мистер Ловелл! — шепнула миссис Маркхэм, указывая в сторону коттеджа. — О, как он изменился!

На кладбище священник вошел через калитку. Сначала он встретил траурную процессию у ворот, а затем направился к могиле, где уже выстроились, опершись на ружья, стрелки. Здесь он остановился и начал читать молитву. Наконец прозвучали ужасные слова: "Прах — к праху…", — пусто стукнули о крышку гроба первые комья земли и церемония завершилась тремя ружейными залпами.

С того момента, как траурная процессия вошла на кладбище, мы стояли за полуразрушенной стеной алтаря, откуда можно было наблюдать за происходящим, самим оставаясь невидимыми. Когда мистер Ловелл произнес: "Прах — к праху", я случайно поднял взгляд к колокольне, вгляделся в узкую щель и увидел мужское лицо… но какое! До конца дней своих не забыть мне этих черт. Способно ли лицо человека вобрать в себя всю боль, все отчаяние мира? Если да, я только что стал тому свидетелем. Каким юным было оно, и каким прекрасным!

— Взгляните на башню, — с похолодевшим сердцем прошептал я, сжав ладонь миссис Маркхэм.

— Боже, что тут происходит? — проговорила она, бледнея. — И мистер Ловелл… вы обратили внимание, как дрожал его голос? Сначала мне показалось, будто он болен, но нет — он совершенно сломлен каким-то несчастьем! На лицах этих людей читается ужас. Тут случилась страшная трагедия: вряд ли всех так поразила бы обычная человеческая смерть.

Под влиянием кладбищенских впечатлений мы пришли к выводу, что визит наш может оказаться неуместным, и решили вернуться в гостиницу, дабы выяснить, не произошло ли здесь в последнее время чего-нибудь необычного. Прежде, чем Мы отправились в путь, я снова вгляделся в щель, но загадочного лица более не увидел. Зато, огибая колокольню, мы

заметили фигуру высокого, худощавого юноши в широком пальто, который медленно прошел через калитку в сад и исчез в доме. Одного лишь взгляда на этот профиль (голова юноши низко опустилась на грудь, глаза смотрели вниз) было вполне достаточно, чтобы догадаться: это тот самый человек, которого мы видели в окне башни.

То, что мы разузнали затем в гостинице, лишь разожгло в нас любопытство. Несколько позже, в городе, нам сообщили подробности ужасающей драмы, последнее и весьма впечатляющее действие которой развернулось у нас на глазах.

Мистер Ловелл, как и предполагала миссис Маркхэм, происходил из благородной семьи, но рано остался без средств к существованию. Он мог бы разбогатеть, женившись на леди Элизабет Вентворт, которую присмотрел племяннику в качестве невесты богатый дядюшка. Последний пообещал после свадьбы сделать Ловелла своим наследником; но тот предпочел бедность с Эмили Деринг. Он лишился денег, но ни разу в жизни не пожалел о своем выборе, пусть и остался бедным викарием крошечного прихода.

Двое детей, которых видела миссис Маркхэм, оказались в их браке единственными, так что благодаря бережливости миссис Ловелл и умеренности ее мужа семья действительно сумела обрести счастье в бедности, по-своему красивой и благородной. Но Чарльз с Эмили подросли, и пришло время подумать об их будущем.

Отец готовил сына для Оксфорда; дочь же, благодаря педагогическим усилиям матери, прекрасное образование и все необходимые навыки сумела получить дома. Чарльз, единственный шанс которому на приличный заработок могла дать лишь церковь, должен был поступить в колледж, каких бы затрат это ни стоило. Семья решила, что ради покрытия всех издержек Эмили отправится в Лондон — искать место гувернантки. Собственно говоря, такой выход дочь предложила сама, и все согласились: ясно же было, что в случае смерти родителей средства к существованию ей все равно пришлось бы добывать тем же путем. Прощание принесло в дом Ловеллов первую печаль; увы, им предстояло испытать еще немало тяжелых минут.

Поначалу все шло хорошо. Чарльз в Оксфорде проявил не только способности, но и определенное прилежание; что же касается Эмили, то письма ее о новой жизни так и искрились жизнерадостностью. В доме девушку приняли очень радушно и вскоре стали относиться к ней, как к другу семьи.

С течением времени настроение ее отнюдь не ухудшилось. В числе знакомых девушки стали появляться интересные люди, имена которых все чаще упоминались в ее письмах. Особенно тепло отзывалась она о некоем мистере Герберте. Этот молодой человек служил в армии и, будучи дальним родственником лондонского семейства, часто заезжал к ним в гости. "Не сомневаюсь, что маме с папой он бы понравился", — как-то заметила дочь в письме.

— Надеюсь, наша Эмили не влюбилась? — улыбнулась мама, и все об этом тут же забыли.

Тем временем Чарльз обнаружил, что Оксфорд, помимо учебы, может предложить ему немало интересного. Молодой человек стал с удовольствием бывать в обществе и проявил удивительные способности к азартным играм. Он был мил, энергичен и необычайно красив, а кроме того, чудесно пел — уроки матери не прошли даром. Если бы не бедность, Чарльз вполне мог бы сделаться первым фатом Оксфорда: сознание собственного нищенского положения отравляло ему все удовольствия.

Некоторое время юноша сопротивлялся искушению, но после напряженных душевных терзаний (он, все же, обожал свою семью) сдался, влез в долги и притом, что дерзостью этой лишь приумножил себе страдания, — не решившись вернуться на путь истинный, устремился к полному краху.

Незадолго до нашего приезда в Т** Чарльз, подгоняемый разного рода угрозами, тоже явился сюда на каникулы. Чтобы успокоить по крайней мере самых назойливых кредиторов, ему необходима была внушительная сумма денег. В Оксфорде он заверил всех, что вернет долги. Но где взять такие деньги? Во всяком случае, не у родителей — это уж наверняка. Во всем белом свете не было у Чарльза друга, на помощь которого он мог бы рассчитывать в экстренной ситуации.

Совершенно отчаявшись, Ловелл-младший готов был решиться на бегство — в Австралию, Америку, Новую Зеландию — но даже это было ему не под силу. Юноша страдал неописуемо и не видел перед собой никакой надежды на спасение.

В те дни полк Герберта квартировался в Т**. Фамилия эта упоминалась в письмах сестры, и

Чарльз знал, что среди здешних офицеров есть некто Герберт, но тот ли? — в этом он не был уверен. Когда же молодой человек случайно оказался в обществе младших офицеров на ужине (куда Гербертом как раз и был приглашен), гордость помешала ему спросить об этом прямо — очень уж не хотелось, чтобы все здесь узнали о том, что сестра его — гувернантка.

Герберт, со своей стороны, был прекрасно осведомлен о том, что его гость — брат Эмили Ловелл, но — отчасти по своим причинам, отчасти не желая ранить болезненное самолюбие своего знакомого — воздержался от упоминания ее имени.

Стоит заметить, что Т** был в те дни и, наверное, остается и сейчас скучнейшим местом во всей Англии. Офицеры сразу же возненавидели этот городок: ни охоты, ни танцев, ни возможности развлечься флиртом — тут не было ничего! Служаки постарше болтались по городу, то тут, то там перебрасываясь в вист; молодые офицеры предпочитали «хазард» и «тройку», начиная, как правило, с небольших ставок и постепенно забирая все выше.

В числе двух-трех штатских, присоединившихся к офицерской компании, был и Чарльз Ловелл. Будь исходная ставка чуть выше, он не смог бы и сесть за стол, однако — рискнул и, начав с мелких выигрышей, увлеченно включился в игру. Нельзя сказать, чтобы впоследствии удача так уж и отвернулась от Чарльза — скорее, наоборот, чаще он оставался в выигрыше. Но что-то подсказывало ему: одна ночь невезения, и все кончено — придется выйти из игры навсегда, за удовольствие расплатившись позором.

С пиком этого душевного кризиса и совпало одно маленькое происшествие, повлекшее за собой крупный выигрыш: оно-то и натолкнуло Чарльза на мысль о том, что случайности такого рода вполне можно сделать закономерностью.

Тасуя карты, он уронил нечаянно пикового туза, поднял его с колен, вернул в колоду, а потом невзначай подбросил себе. Игроки не заметили подвоха, никто не проронил ни слова — тут-то и зародилась у него ужасная мысль!

С этой ночи, независимо от того, играла ли компания в «лу» или в «хазард», Чарльзу Ловеллу везло постоянно и самым необыкновенным образом. Выиграв одну за другой несколько крупных сумм, он впервые увидел шанс расплатиться с долгами и таким образом разрешить все свои проблемы.

Состоятельным игрокам проигрыши не доставляли особых переживаний, но были тут офицеры и победнее. К числу последних относился Эдвард Герберт, родители которого ограничивали себя во всем, чтобы определить его в полк, Ценой огромных лишений мать-вдова сумела собрать сумму, которая должна была обеспечить ему должность ротного командира, оставшуюся вакантной. Бумаги офицера, вышедшего в отставку, уже были приняты к рассмотрению, и деньги Герберта были переведены в "Кокс энд Гринвудс", но… до того, как из канцелярии конной гвардии пришел ответ, он успел лишиться последнего пенни. Почти все его сбережения перешли в собственность Чарльза Ловелла.

Юный Герберт был человеком честным, импульсивным и очень совестливым. Решив расплатиться с долгами немедленно, он отправил агентам письмо с просьбой выслать ему все деньги и одновременно вывести его из числа соискателей звания. Но чем утешить мать? И как смотреть теперь в глаза обожавшей его девушке, чьей руки он намеревался просить сразу же после того, как будет произведен в капитаны?

Острая душевная боль вызвала сильнейшую лихорадку, и несколько дней юноша находился между жизнью и смертью, в беспамятстве обретя счастливое избавление от осознания постигшего его несчастья.

Тем временем за стенами комнаты Герберта развернулись новые события. Постоянно проигрывавшие офицеры поначалу и мысли не могли допустить о том, что стали жертвами нечестной игры. Наконец один из них заметил нечто подозрительное и стал присматриваться к происходящему за столом. Ему не потребовалось много времени, чтобы разгадать смысл той особой манеры, какой Ловелл бросал кости, и понять, что происходит.

Слух об этом открытии пошел по кругу и вскоре все уже были в курсе дела — все, кроме Герберта: ему, как самому близкому другу Ловелла, решили ничего не рассказывать. Более того, молодым людям так не хотелось портить репутацию гостю, им столь симпатичному, а главное, обрушить страшный удар на счастливое семейство Ловеллов, почитаемое всеми в городе, что они долгое время не могли решить, выдвигать ли против шулера открытые обвинения или, поговорив обо всем в узком кругу, без скандала исключить его из своих рядов. Но крупный проигрыш Герберта положил конец их сомнениям.

Когда Герберт, подавленный горем, вышел из комнаты, остальные некоторое время продолжали сидеть за столом. Затем, незаметно обменявшись знаком с товарищами, один из игроков, Фрэнк Хьюстон, поднялся и заговорил:

— Джентльмены, как ни больно мне делать это, я вынужден обратить ваше внимание на одно странное и печальное обстоятельство. В течение уже долгого времени удача за этим столом сопутствует только одному человеку: все мы это заметили и не раз уже обсудили. Только что мистер Герберт покинул нас, проиграв крупную сумму денег. Насколько мне известно, все это время выигрывал тут, причем очень много, лишь один человек; остальные были в проигрыше. Упаси меня Бог несправедливо обвинить невиновного человека. Неосторожным словом очень легко запятнать честное имя. И все же, должен сказать вам: боюсь, что деньги, которых мы тут лишились, были выиграны нечестным путем. Мы стали жертвами грязной игры! Не стану называть имени мошенника: факты сами указывают на него.

Трудно было не посочувствовать Чарльзу Ловеллу, когда бледный от ужаса и стыда он тщетно пытался пробормотать что-то в свое оправдание: "Но позвольте… уверяю вас… я никогда бы…" — а слова словно застревали у него в горле. Наконец, осекшись, он в отчаянии выбежал вон.

Офицеры в ту минуту искренне ему сочувствовали. Более того, как только Чарльз скрылся, они решили не поднимать шума. На беду игроки-горожане, не посвященные в истинное положение дел, встали на защиту Ловелла. Они были уверены в том, что выдвинутые против него обвинения совершенно беспочвенны, более того, восприняли их как оскорбление — ведь от клеветы чужаков мог пострадать земляк!

Поскольку весть о происшедшем разнеслась их усилиями по всему городу, офицерам ничего не оставалось, как собрать комиссию по расследованию. Увы, вина Чарльза Ловелла была убедительно доказана. Выяснилось, что кости и карты приносил именно он. В костях, оставленных им на столе, был обнаружен влитый свинец. Одну пару он давно уже хранил у себя в качестве сувенира, другую — приобрел у какого-то жулика в Оксфорде. Итак, вина Чарльза ни у кого не вызывала теперь ни малейших сомнений.

Все это время Герберт был слишком болен, чтобы узнать о случившемся. Вскоре, однако, он стал проявлять первые признаки выздоровления: не подозревая о совершенно особом интересе юного офицера к семье Ловеллов, товарищи тут же рассказали ему о том, что произошло. Отказавшись поначалу поверить в виновность друга, он пришел в необычайное раздражение. Однополчане заверили Герберта в том, что они и сами рады были бы ошибиться, но расследование не оставило им на то ни малейшей надежды. Он погрузился в тяжкое безмолвие.

Наутро слуга обнаружил дверь его комнаты запертой. Когда по настоянию врача дверь взломали, Герберт был мертв. Рядом с бездыханным телом лежал револьвер. Было проведено дознание. "Временное умопомрачение" — гласило заключение медицинской комиссии. Вряд ли можно было бы точнее сформулировать причину трагедии.

В полку начали готовиться к похоронам — тем самым похоронам, случайными свидетелями которых мы оказались. Но прежде, чем настал этот день, закрытой оказалась еще одна глава нашей печальной истории.

В ту роковую ночь, когда он был изобличен, Чарльз, выйдя из казарм, пошел домой не сразу, до самого рассвета он бесцельно бродил по сельским окрестностям. С наступлением утра он, опасаясь посторонних глаз, вернулся в домик викария и незаметно проскользнул к себе в комнату.

К завтраку Чарльз не вышел. Мать сама отправилась к нему и обнаружила сына в постели. Сказавшись больным (что вполне соответствовало действительности), он попросил всех оставить его в покое. Поскольку на следующий день улучшения не последовало, мать настояла на том, чтобы вызвать доктора. Тот обнаружил у пациента все симптомы умственного перевозбуждения. Пожаловавшись на бессонницу, Чарльз попросил себе опия, но врач был начеку: несмотря на то, что все заинтересованные лица решили не разглашать тайны, по городу уже поползли слухи.

Родители его и предположить не могли, какой их ждет удар. Оба жили очень замкнуто, не водили знакомств с военными и даже не знали о том, что их сын сблизился с офицерами полка. Так что, когда до Ловеллов дошло известие о трагической гибели Герберта, им и в голову не пришло скрывать это от Чарльза.

— Ты не знал молодого офицера по фамилии Герберт, кажется, лейтенанта? — спросила его

мать. — Очень надеюсь, что это не тот самый Герберт, о котором упоминала Эмили.

— Знал ли я Герберта? — Чарльз резко перевернулся в кровати (до сих пор он лежал лицом к стене, спасаясь от света). — Мама, почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Потому что он мертв! У бедняжки случился жар, а потом…

— Герберт мертв! — Чарльз внезапно сел.

— Да, у него была лихорадка. Предполагают, что в бреду он и выстрелил себе в голову. Дорогой, что случилось?.. О, Чарльз, нельзя мне было говорить об этом! Я и предположить не могла, что ты с ним знаком.

— Мама, позови отца и возвратись сама вместе с ним! — неожиданно резко бросил Чарльз и яростным жестом выпроводил ее из комнаты.

Через несколько минут он усадил родителей перед собой и рассказал им все — с такой болью в голосе, какую не описать словами. С побелевшими лицами слушали Ловеллы ужасную исповедь сына, и сердца их готовы были остановиться.

— И вот я здесь, — заключил он, — трус и негодяй, не нашедший в себе мужества умереть! О, Герберт, счастливчик Герберт! Как бы мне хотелось последовать за тобой!

В эту минуту дверь приоткрылась и в комнату заглянуло очаровательное сияющее улыбкой личико. То была Эмили Ловелл: любимая дочь и обожаемая сестра прибыла из Лондона по вызову Герберта, сообщавшего о том, что к моменту получения ею послания он будет уже капитаном.

Девушка приехала, чтобы познакомить его с родителями — как обрученного возлюбленного и будущего мужа, — зная, что те будут счастливы видеть ее женой такого доброго и честного человека. Ни о чем не подозревая, в ужасе от услышанного, они пустили чашу горя по кругу — и заставили дочь испить ее до конца. Не прошло и пяти минут, как Эмили знала все. Да разве и смогли бы они скрыть от нее свое горе? Чем еще объяснили бы они эти слезы, смятение, отчаяние?

Еще до того дня, на который были назначены похороны Герберта, Эмили слегла с воспалением мозга и несколько дней пребывала на грани между жизнью и смертью.

Движимый легко понятной жаждой самоуничижения и поиском новой боли, которая помогла бы хоть чуточку снять тяжесть проклятия, сдавившего ему грудь, Чарльз поднялся в тот день с постели и, накинув висевшее в комнате широкое пальто, пробрался по саду к башне, откуда смог от начала до конца наблюдать церемонию погребения человека, которому сестра отдала свое сердце и чья кончина произошла по его вине.

На этом наша история подошла к концу. На следующее утро мы выехали из Т", и новые известия о семье Ловеллов мы получили лишь через два или три года. Впрочем, узнали мы совсем немного: всего лишь, что Чарльз, добровольно приговорив себя к изгнанию, отправился в Австралию, а Эмили настояла на том, чтобы уехать вместе с ним.

*1892 г.*

**Тайна особняка на Даффодил-Террас**

На дом джентльмену в черном указал юный арапчонок, да тут же и побежал перед ним вприпрыжку, как то принято у его соплеменников. Когда мальчишка затрусил прочь по привычным маршрутам местных авгиевых конюшен, прилично одетый незнакомец вперился сквозь очки в особняк с таким удовольствием, словно увидел перед собой зрелый лакомый плод. Он понял, что приобрел нечто стоящее и теперь изучал свое приобретение.

Какой-нибудь скряга, чего доброго, уже начал бы оплакивать выброшенные на ветер денежки: группа неописуемых грязнуль обеспечивала этому строению весьма недвусмысленную рекламу. Оборванные дамы и господа — звезды собственного "высшего общества" — сновали взад-вперед по самой середине дороги: некоторые из них свешивались с перил или восседали на запертых воротах, надеясь таким образом в полной мере удовлетворить свое любопытство. Понемногу рассасываясь с одного конца улицы, нищенское сообщество тут же прибывало с другого, чем и обеспечивало в собственной массе определенное равновесие. Вряд ли кто-то из присутствующих надеялся, что с домом произойдет нечто чудесное: упадет, например, фронтон подобно фанерной декорации в пантомиме, или двери вдруг распахнутся и всех их гостеприимно пригласят зайти и преподнесут какой-нибудь приятный сюрприз; тем не менее, глазели они на дом с величайшим рвением, в чем явно находили для себя какое-то особое удовлетворение. Созерцательство это началось с восьми часов утра, должно было продлиться до самого наступления темноты и, стоит повториться, содержало в себе некий высший смысл.

Явившийся сюда наблюдатель из иных мест неминуемо задался бы вопросом: что именно привело к дому подразделения великой армии немытых граждан? Сам дом — об этом мы уже говорили; такой ответ, однако, был бы слишком общим. Стало быть, уточним: дом номер пять по Даффодил-Террас, всего лишь на дюйм выбившийся из аккуратного ярко-красного кирпичного ряда, что протянулся на сотни ярдов террасой ad infinitum — почти театральных, очаровательно чистеньких домиков, своеобразно украшенных декоративной мозаикой пестрых кирпичиков, в основном горчичного цвета, — выбранного, очевидно, чтобы напомнить о "хорошем вкусе" создателя. Автор жилищного проекта, надо сказать, с благородным рвением отнесся к своей работе, и протянул ленточку того же рисунка на многие мили, захватив пространства сельской местности, ни дать, ни взять — торговец, умело обставивший однообразный прилавок.

Но почему весь этот чумазый мир, разбавленный почетными гостями мальчишками из мясной и горшечных лавок, — облюбовал себе именно пятый номер, имея богатейший выбор точно таких же особняков, протянувшихся едва ли не до двухсот пятидесятого номера? Дело в том, что — сие говорилось шепотом — утром в этом доме произошло нечто ужасное — столь же мучительное для хозяев, сколь и нежелательное для соседей, — как с точки зрения сдачи строения внаем, так и по другим причинам. Жизнь любого респектабельного квартала предполагает полную безмятежность и не терпит безобразных судорог. Как люди, истинно достойные уважения, предпочитают не выделяться одеждой или манерами, так и дома скромно выражают свою респектабельность.

А произошло тут самоубийство, ни больше ни меньше: ужасное, вопиющее, недвусмысленное самоубийство со всеми вытекающими последствиями в виде печально знакомой компании — коронера, полиции, докторов, составляющих пост-мортем, и прочими подобными неприятностями. Примечательно, что как раз в этом доме человечество (в лице соседей как лучших своих представителей) менее всего вправе было ждать катастрофы такого рода. Ведь до сих пор только и разговору тут было, что о предстоящей свадебной церемонии, которая должна была состояться в этом самом доме. Участники грядущего мероприятия, размеры их собственности, обстоятельства и детали предстоящего церемониала — служили местной публике главной темой для сплетен.

Округа полнилась сообщениями о новых подробностях. Событие стало своего рода общественным фондом, в котором каждый имел свой интерес. Имя жениха и его избранницы, их финансовое положение, трудности, которые пришлось им преодолеть, — все было прекрасно известно. Свадьба обещала стать веселым, счастливым праздником: обе стороны этого страстно желали. Имя женщины, вернее, девушки, было Маргарет — Маргарет Джой (так передавали просочившиеся во двор тем, кто толпился за оградой): она была у родителей единственной дочерью. Дом принадлежал семейству Джоев, родителям невесты; избранник ее, мистер Хенгист, работал в Сити коммивояжером. Ту, чье тело лежало теперь наверху, звали Марта Джой, и она была хозяйкой дома.

Перейдем теперь к рассказу о несостоявшейся свадьбе, о самоубийстве и запутанных событиях, которые к нему привели. Самоубийство, воплощенное в столь вещественную форму,

как безжизненное тело, само служит доказательством собственной ужасающей реальности; брачные планы, однако, развеяны по ветру и прах их уж не собрать воедино.

Вернемся для начала на несколько лет назад — к тем дням, когда семья Джоев впервые появилась в этом респектабельном районе и укрылась за безмятежной гладью кирпичной кладки. Главе семейства было тогда около сорока пяти; супруге его (которая формально считалась домовладелицей, но являлась фактически домоправительницей: присматривала за прислугой, заказывала еду и так далее) — около тридцати восьми. Она и яркий кирпичный дом составили единое целое, потому что Джой, мужчина зрелого возраста, женился и въехал сюда почти одновременно.

Дом и супруга бок о бок вошли в его жизнь: дом — новенький и сияющий, жена — не первой свежести, немного уставшая от жизни — с подрастающим ребенком в качестве единственного приданого.

Джой, достаточно зрелый жених в свои сорок шесть, работал торговцем. Это был спокойный и тихий человек С холодным сухощавым лицом, не страдавший от полнокровия. Ясно было, что он пробирался по жизни темными закоулками, держась подальше от дневного света и избегая близкого общения со встречными. Высокий, сутулый, сухощавый и тихий, прошедший огонь и воду в молодости и сокрушенный ужасной трагедией (вся его семья — мать, сестры и брат — в течение недели умерли от чумы во время эпидемии), деньги свои он зарабатывал незаметно; женился и въехал в новенький особняк — также без треволнений. На его печальном и бесстрастном лице нетрудно было прочесть историю жизни: трагедия выжгла свое клеймо, и он достойно нес его по жизни.

Наконец, странствуя по здешнему унылому побережью, он сошелся с местной Калипсо — вдовой — и, обнаружив в ней для себя тот бальзам, который если и не излечивает раны, то по крайней мере облегчает боль, пригласил ее жить к себе. Не по любви — для обоих страсти остались уже позади; ею, во всяком случае, двигало лишь сострадание к бедному молчаливому торговцу. Каков бы ни был повод, их судьбы соединились: они въехали в дом, взяв с собой дочь, нежную Маргарет — милого ребенка с молочно-белой кожей, от которой судьба, казалось, требовала одного: полной покорности.

Сын миссис Джой, отъявленный негодяй, успел уже окунуться в бездну порока; наверное, лучше бы им никогда о нем и не слышать. Но к несчастью, он имел обыкновение подобно комете через определенные промежутки времени проноситься в непосредственной близости от них, причем всегда в свете каких-то сомнительных обстоятельств с оттенком неприличия; его эпизодические появления хоть и успокаивали в каком-то смысле его родительницу, но причиняли ей такие страдания, что, право же, лучше бы ему сразу бесследно кануть в небытие или в иное, специально для таких странников уготованное, мрачное место. На наружности миссис Джой все изматывающие испытания сказывались так же, как на лице ее мужа. Каждый нес собственную чашу горя, при случае стараясь делиться со спутником жизни редкими радостями, если такие случались. Обретя друг друга, они облегчили каждый свою жизнь.

Он, как мы уже говорили, то ли служил коммивояжером, то ли был предпринимателем: имел приличное состояние и ежедневно добавлял к нему небольшие суммы. Поэтому капелька нищеты — самая горькая из всех — в их чашу еще не просочилась. Любое горе переносится легче, ежели слезы падают на мягкую подушку, приглашающую страждущего откинуться на спину и в тишине красивого дома предаться размышлениям, не прерываемым мыслями о необходимости труда. Роскошь ведь и создана ради того, чтобы подсластить горечь.

Ярко-вишневый особняк, куда вселилась наша супружеская пара, являл собою один из оплотов этого района для избранных. Естественно, округа счастлива была принять таких соседей; семья двинулась вперед по новому отрезку жизненного пути уверенно и умиротворенно, не подозревая даже, что жестокая длань судьбы неумолимо толкает их к тому роковому финалу, о котором мы упомянули в начале нашего повествования.

Известно, что мрачные и жестокие представления древних греков о Судьбе погребены в глубинах веков; и тем не менее, окидывая мысленным взором перипетии данной истории, мы вынуждены признать, что ход ее — это дело рук все той же древней жестокой силы. Вот они, наши актеры, сами о том не подозревая, бредут к концу — и невидимый хор печально вздыхает, оплакивая их долю — совсем как в монашеском псалме.

По соседству с ними через несколько домов вниз по той же улице поселился некто Хенгист — весьма состоятельный человек, обладавший необычным характером. Это был одинокий мужчина тридцати пяти лет, успевший ступить на тот крутой склон, что стремительно несет

путника к омуту холостяцкой старости. Так и оказался бы он вскоре на дне, невозвратно потерянный для внешнего мира, если бы невидимая рука не подхватила его и не приостановила в этом скольжении.

Диковинный характер сего джентльмена отличался подозрительностью и той эксцентричностью, что часто развивается от одиночества; заметна была в нем, кроме того, алчность, редко встречающаяся в молодых людях. Хенгист служил какое-то время в Индии, откуда был демобилизован по инвалидности, но с приличным состоянием. Получив что-то еще по наследству, он, слишком слабый здоровьем, чтобы приумножить свой капитал, отошел от дел и довольствовался лишь завистливым созерцанием внешнего хода жизни. Появились и покусительницы на его свободу: казалось, весь слабый пол объединился, дабы навязать ему habeas corpus. Мужчина, избравший в жизни тропу столь неопределенных очертаний, всегда должен помнить об обилии нежных разбойниц, поджидающих его в зарослях. Хенгист, однако, был не лишен обаяния, оказывал внимание благотворительным обществам и не уклонялся от мероприятий, коими склонность к благотворительности поверятся: подписных взносов.

Домашними его делами заправляла дама не то чтобы совсем пожилая, но так — допустимой степени древности. Долгими вечерами Хенгист читал у своего торшера, днем прогуливался по окрестностям, и время от времени с величайшей неохотой отправлялся в Лондон — в общем, убежден был, что преуспевает в искусстве убивать время. Однако и он неуклонно двигался к кризису, уготованному Судьбой. Ждать оставалось недолго.

Что за сюрприз уготовил ему Рок, догадаться нетрудно: надломленный одиночка — всегда наилегчайшая для него добыча. Каждое утро в ранний час мимо окон дома Хен-гиста проходила милая девушка с молочно-белым лицом: она отправлялась, чтобы, как ей представлялось, подышать свежим воздухом — на самом деле, конечно, — вдохнуть изрядную порцию пыли. Фигурка ее мелькала за окном с поразительной регулярностью и в одно и то же время, когда знакомый нам Хенгист восседал за столом среди кофейников, чайника и блюдец с булочками, не только скрытый от мира зеркальным стеклом, но и отгородившийся от него белым парусом развернутой на всю ширину утренней газеты. Совершенно автоматически он каждый раз поднимал голову и провожал девушку взглядом. Носитель истинно благонравных идей заподозрил бы в постоянстве этих утренних появлений неладное — приманку, выставленную на пути к ловушке, — но девушка была совершенно лишена каких бы то ни было корыстных и неблаговидных намерений. За окнами любого особняка здесь можно было увидеть джентльменов за тем же занятием, что и наш герой: такого рода утренние церемонии за зеркальными стеклами были в этом районе делом обыденным.

Угадать дальнейший ход событий нам не составит труда. Каждый склонен рано или поздно проявлять интерес ко всему, что становится привычным. Хенгист, человек непредсказуемый и подозрительный, стал привыкать к появлениям девушки и ждать их; когда же дождь или иная помеха вынуждали девушку остаться дома, он чувствовал себя так, словно его обманным путем лишили важного блюда. Женщины в целом представлялись ему жадными хищницами (по крайней мере в отношении мужчин, отягощенных деньгами), но, будучи в своем укрытии неуязвимым, он мог разглядывать ее в свое удовольствие.

А потом, как обычно и бывает, подвернулся удобный случай. Высшие силы, устраивающие подобные встречи, прибегают, как правило, к услугами мелких посредников — потерявшейся собачонки, кошечки или птички. На этот раз выбор пал на птичку. Как-то вечером из комнаты юной леди вылетел попугайчик с цепочкой на лапке и, спасаясь от преследования, стал перелетать с одного забора на другой. Мистер Хенгист, находившийся у себя в саду, тут же ловко его изловил. Вскоре к нему зашел отец девушки — джентльмен с печальным лицом — и получил беглеца в свои руки; но прежде хозяин усадил его отдохнуть (хоть тот вовсе и не устал). Обменявшись мнениями по поводу плохой уборки улиц, недостаточной помывки мостовых и тому подобных вопросов, гость ушел. Хенгист не преминул упрочить наметившийся фундамент знакомства. Время от времени они стали встречаться — то в дилижансе по пути в Лондон, то на улице, — и каждый раз джентльмен с печальным лицом скорее терпел компаньона, нежели жаждал с ним встречи.

Действуя в привычной для себя осторожной манере — то недоверчиво отступая, то снова переходя в наступление, — Хенгист, наконец, появился в доме, был представлен хозяйке и девушке, той самой, что сделала своей привычкой совершать регулярный моцион мимо окон его дома. Не лишенный определенного обаяния, он очень скоро сделался здесь завсегдатаем. Хозяева не жаждали его компании. Родителей новое знакомство если и радовало, то лишь как возможное развлечение для дочери, влачившей монотонное существование. Потому что Хенгиста, при всех его странностях, никак нельзя было упрекнуть в пустоте и бессодержательности. Он много путешествовал, кое-что повидал на своем веку и всегда готов был произнести обстоятельную речь или бросить колкую реплику, как правило,

прелюбопытную. Очень скоро он стал своим в семье: приходил сюда вечерами, когда ему было удобно, читал книги — вслух или про себя, — в общем, обрел здесь нечто вроде достаточно приятного клуба.

Иногда приезжал кузен из Лондона — шумный веселый простак с открытым лицом, языком без костей и душой нараспашку. Звали кузена Уилсден: он выглядел полной противоположностью сдержанному соседу и смотрел на него, по правде говоря, сверху вниз, как на неполноценного, нередко над ним подшучивал и даже дал прозвище. Впрочем, кузену редко удавалось наезжать вечерами: в этом смысле Хенгист имел перед ним неоспоримое преимущество. А вечернее время, известно, — важнейшая пора человеческого общения.

Иногда Хенгист спохватывался: да ведь он уже на краю пропасти! Что если перед ним — компания интриганов, вознамерившихся искусно прибрать к рукам его свободу? Пугаясь подобных мыслей, он не появлялся неделю-другую; потом, видя, что штурмовать его замок никто не собирается, более того, не проявляет особого желания его видеть, — с величайшим облегчением и покаянным видом возвращался по собственной воле. Обнаруживая, что за время его отсутствия шумливый кузен успел перехватить инициативу, он начинал странно досадовать на себя, чем, наверное, проявлял ревность. Хенгист приходил и уходил, некоторое время воздерживался от визитов и возобновлял их опять, все более увлекаясь белоликой девушкой.

Печальные родители взирали на происходящее издалека, отдав нити судьбы в его руки. Они ничего не понимали в подобных вещах и не пытались торопить события. Их бледнолицее дитя не рассматривало гостя в качестве кавалера; девушка относилась к нему со всей возможной терпимостью, в симпатиях своих явно склоняясь к более шумному кузену. Жизнь текла своим чередом, а грядущее постепенно обретало все более определенные очертания.

Дикая комета, достигая время от времени перигея, то и дело вспыхивала на горизонте. В последнее время, однако, ее появления участились: раз в полгода, раз в месяц, в полмесяца — непременно происходило что-нибудь безобразное, требовавшее для устранения себя помощи в виде каких-то экстренных расходов. Время от времени родители получали требования перевести деньги по тому или иному адресу, угадывая за этим нечто отвратительное, грозившее оглаской, — и каждый раз успевали ценой величайших жертв отвести беду. Испытаниям этим не было видно конца. На их лицах, и без того опечаленных, стала появляться печать измученности.

В последнее время финансовое положение отца стало ухудшаться. Бизнес не терпит беззаботности в критических ситуациях. Потеряв крупную сумму денег, мистер Джой воспринял известие без всяких волнений. Он, конечно, попытался восстановить ущерб, но приложил к тому недостаточно усилий, и все оказалось тщетно. Денег как ни бывало — но что значит весь этот мусор для старого coeur brise! За дальнейшим развитием событий он следил разве что из любопытства. И деньги, как вода, стали утекать у него меж пальцев.

Однажды вечером мистер Джой недвусмысленно сообщил жене, что с этого момента им придется жить экономно, во многом себе отказывая, потому что он угодил в серьезный переплет и почти лишился средств. Женщина восприняла это известие с куда большим волнением, чем можно было предположить, зная о том, какое уныние царит в ее душе. Переживая по поводу этого пренеприятнейшего сюрприза, она думала не о себе и даже не о белолицей дочери, а о той самой безумной комете, которая продолжала свое сверхскоростное движение по спирали, совершая по пути невероятные выходки.

Миссис Джой давно уже втайне от всех снабжала его деньгами; подпитывала это ненасытное пламя ради каких-то надежд в будущем, ущемляя себя даже в том малом, что еще могла себе позволить. Но деньги уходили в бездонную бочку. Душа матери полнилась ужасным предчувствием: наступит день и сгубивший душу юноша совершит такое, о чем узнает вся страна. Теперь она стремилась лишь к одному: малыми подачками отвратить неминуемую катастрофу.

В том, что судьба преподнесет ей перед смертью что-то ужасное, миссис Джой не сомневалась и жаждала одного: отсрочить неотвратимое. Ужас перед будущим мучил ее по ночам, лишая остатков сна. Она не находила себе покоя и днем, но хуже всего — вынуждена была страдать молча, не рассчитывая на поддержку. У мужа было достаточно своих проблем, и кроме того, о безобразиях своего отпрыска она рассказывала ему далеко не все.

Так за безупречно чистым фасадом стали складываться воедино зловещие фрагменты общей картины; каждый из ручейков вливался в общее русло из какого-то собственного источника, оставляя непосвященных в неведении. У отца была своя беда, у матери — своя. Вечерний

визитер мучался собственными мелкими беспокойствами, а белолицая дочь жила с печалью оттого, что невеселы родители. Несколько попыток повернуть вспять колесо фортуны закончились безрезультатно, и стало ясно: семья может позволить себе теперь лишь самое скромное существование, а к концу года вынуждена будет покинуть великолепный кирпичный дом и отправиться на поиски нового жилья.

И тут в поведении белоликой девушки стали заметны перемены. Она начала проявлять благосклонность к гостю, потакая ему во всем, и почти порвала с кузеном. Кто-то в сказанном усомнится, но у нее были лишь самые благие намерения. Она решила спасти дорогих ей людей от катастрофы, каких бы жертв ей это ни стоило. Когда перед семейным кораблем возникают рифы, любовь кузена превращается в обузу, которую тут же бросают за борт.

Нить повествования привела нас к темному осеннему вечеру. Ноябрь вообще месяц несчастий, во всяком случае, для них он охотно предоставляет самые подходящие декорации. В тот вечер супруги сидели в полумраке, каждый думал о своем горе. Дела шли все хуже. Тучи начинали сгущаться над их головами, и оттянуть беду можно было не более, чем на месяц. Мистер Джой не был готов к кризису: он не отличался решительностью — принадлежал, скорее, к числу тех, кто готов сдаться без боя.

В дверь постучали — почтальон принес письмо. Принято считать, что в тяжелые минуты все вести — дурные. Миссис Джой распечатала конверт и прочла следующее:

"Мадам!

Мне жаль расстраивать Вас этим печальным сообщением, но будет лучше, если Вы все узнаете сразу. Недавно мне был предъявлен к оплате чек, содержащий нечто, напоминавшее мою подпись. Я тут же понял, что имею дело с фальшивкой, и ни на минуту не усомнился в том, чьих рук это дело. От профессиональных услуг Вашего сына мне, как Вы знаете, пришлось отказаться около месяца назад; вскоре, однако, он был найден и признал свою вину. Я долго колебался между общественным долгом и дружескими к Вам чувствами, боясь ошибиться в своем решении. Прекрасно понимая Ваши трудности, готов ограничиться суммой в 150 фунтов — в случае выплаты, не стану давать делу дальнейшего хода. Надеюсь, что это послужит хорошим уроком молодому человеку. Деньги мне потребуются через несколько дней, поскольку чек должен быть оплачен. Искренне Ваш, мадам,

Джаспер Браун."

Это был ужасный удар, не столько даже финансовый, сколько моральный. Найти такие деньги никак невозможно: названная сумма явилась той самой соломинкой, что ломает верблюду хребет.

С другой стороны, нельзя сказать, что известие было для Джоев полной неожиданностью. Оба так и остались сидеть в темноте, не пытаясь ни найти выхода из создавшегося положения, ни чем-то друг друга утешить, — пока в комнату не вошла дочь.

Она волновалась, смущалась, была в явной растерянности. Девушка пришла к родителям поделиться радостью. Во время прогулки она повстречала мистера Хенгиста; он изменил маршрут, пошел рядом с ней, заговорил очень серьезно и, в своей странной, отрывистой манере, сделал ей вдруг предложение. Он ведь человек добрый, щедрый; девушка была убеждена, что когда-нибудь он по-настоящему ей понравится. Что ж, ангел несчастий сложил свои крылья по крайней мере на эту ночь. Тучи рассеялись; казалось, развеялся и мерзкий туман финансовой катастрофы. В ярко-красном кирпичном доме воцарилось праздничное настроение.

И все же денег не было. Предполагалось, что источником будущих доходов должен стать жених, но тут же начались всевозможные проволочки, затруднившие путь к спасению. У Хенгиста был столь переменчивый характер, что невозможно было угадать, от чего он обратится в бегство. Уже после первого разговора о деньгах отцу стало ясно, что здесь — зыбкая почва. Едва узнав, что вместе с невестой он не получит состояния, Хенгист растерялся, заговорил о жизненных ошибках и дурных предчувствиях, после чего заявил, что считает себя обманутым, и удалился, оставив всех с ощущением, что с помолвкой покончено. Есть такой тип состоятельных господ: они полагают, будто богатства должны стекаться к ним просто из уважения к их персоне.

Дня три или четыре о Хенгисте не было слышно; затем он объявился как ни в чем не бывало, и далее о деньгах уже ни словом не обмолвился. От Хенгиста следовало теперь скрывать финансовые трудности: он любил громогласно провозглашать, что банкроты внушают ему ужас, поскольку покрыты плесенью разложения, и вполне заслуживают быть ею съеденными.

После чего выражал гордость от сознания, что его будущий тесть — столь солидный и состоятельный господин, и надежду на то, что со временем они объединят капиталы и начнут творить чудеса в финансовом мире. Эта тема для Хенгиста оставалась главной: только ее и развивал он сидя у камина, с отвращением отзываясь о ком-то разорившемся и в жизни ничего не достигшем.

С горестью и трепетом в сердцах слушали его родители. Право же, эти люди заслуживают сочувствия — к кому могли бы обратиться они за поддержкой? Даже девушка оставалась в полнейшем неведении относительно грозившей опасности: о своих трудностях родители лишь туманно намекали. Затем случилось еще одно затруднение, грозившее сделаться окончательным. В течение недель супруги оттягивали час расплаты, однако Хенгист стал проявлять чрезвычайную медлительность во всем, что касалось свадебных приготовлений. Сначала он решил, что отправится на север страны, чтобы продать там дома и земли; другими словами, готов будет не ранее чем через два месяца — в лучшем случае, шесть недель. Воздействовать на него упреками или иными аргументами было небезопасно: человек этот обладал слишком капризным нравом. В своем сияющем домишке на Террас он стал бывать все реже, а затем и вовсе отправился в Лондон, чтобы обзавестись новым жилищем и, как сам он сказал, уладить все дела перед свадьбой.

Расплату за безобразия сына удалось отсрочить посредством обязательства вернуть деньги в течение трех недель. Джаспер Браун, человек деловой и практичный, согласился до тех пор не передавать дело в суд. Но ясно было, что для надвигающейся беды — это слабая преграда.

Одной рукой судьба, казалось, протягивала несчастным спасительную соломинку, другой — грозила громом и молнией. И ни единого просвета не видели для себя супруги в безвыходной ситуации. Несчастные, страждущие души!

Им бы толику пылкой юношеской предприимчивости — но нет: привычка к несчастьям сделала этих людей неповоротливыми. Сквозь мрак судьба гнала их вперед ко дню расплаты — за грехи, которые вряд ли можно было счесть их собственными. С той же скоростью приближался и счастливый день. То и дело стал появляться уладивший дела Хенгист — возбужденный, радостный, но — как никогда исполненный отвращения к жалким, раздавленным судьбою банкротам. И девушка сияла счастьем: она уже видела в конце темного тоннеля свет, который нес избавление ей и родителям. Оставшись наедине со своими темными предчувствиями, родители так и не нашли в себе сил рассказать дочери о том, что Немезида уже занесла над ними свою карающую десницу. Так проходил день за днем.

Все это время жених, будучи человеком весьма бережливым, как богачу и положено, жил у них, поскольку собственного дома здесь уже не имел. Хозяева выделили ему лучшую комнату и старались во всем угодить — надеясь, что продолжаться такое будет недолго.

— Не могли бы вы дать за дочерью немного денег? — иногда грустно спрашивал он будущего тестя. — Фунтов пятьсот, триста, двести — хотя бы сто?

И отцу приходилось отказывать — под смехотворным предлогом о якобы взятых обязательствах, раз за разом обещая, что к дочери его состояние перейдет после его смерти. До дня свадьбы оставалось три недели; до карающего удара Немезиды — день-другой!

Все это время миссис Джой неустанно молила Джаспера Брауна о новой отсрочке, чем лишь укрепляла его решимость стоять на своем: самоуничижение в денежных делах, как известно, к добру не ведет. Оно является признанием в слабости, сигналом возможной опасности. В кратком ответе Джаспер Браун недвусмысленно заявил, что "запахивает карманы" и не намерен ждать более ни часа. Подобная неблагодарность показалась ему тем более отвратительной, что исходила от человека, слывшего состоятельным. Свое веское слово теперь должен был сказать закон. Немезида медленно приближалась.

Субботний вечер. Миссис Джой печально сидит у камина; остальные ушли и вернутся к ужину. Суббота всегда изнурительна — это день нескончаемых увещеваний и просьб. Но вот, кажется, преодолены все препятствия: миссис Джой сидит у огня одна. Раздается стук в дверь. Она тяжело вздыхает: предстоит непредвиденное сражение — а казалось, что сегодня все позади. Женщина устало выходит — и видит двух плохо выбритых, слегка затасканных детин: вид их говорит сам за себя. Ярко-красные шарфы, тяжелые трости этого достаточно. Мы-то с вами хорошо знаем, кто эти люди, по каким поручениям они являются. Несчастная женщина догадалась о цели визита, прежде чем взяла в руки лист официальной бумаги. Люди шерифа явились сюда, чтобы описать все имущество. Эти двое оказались вежливы и по-своему предупредительны: они решили не усугублять лишними неудобствами для хозяйки свою и без того неприятную миссию.

В первую минуту разум, казалось, оставил миссис Джой; потом мысль заработала с новой силой. Что можно было сделать, какой шаг предпринять? Оставались считанные минуты: остальные могут вернуться в любой момент. Прислуга отсутствует: то ли в саду, то ли во дворе — не видит позора. Значит, в доме больше ни души: только она — и посланники с прозаической миссией. А у нее в наличности двадцать фунтов, или около того — сумма столь же ничтожная, как и двадцать пенсов. Но в доме больше денег, несравненно больше! И рядом — никого, кто бы мог помочь. Сам вид подручных шерифа, которые теперь ожидали в холле, перепугал женщину до полусмерти. Мысль об официальной процедуре, которая должна была вот-вот начаться, обручем сжала ей сердце. Женщина выпросила у суровых эмиссаров несколько минут отсрочки; содрогаясь от ужаса, она бросилась к себе в комнату, надеясь, что судьба в последний момент предложит ей какую-нибудь соломинку.

В минуту кризиса, когда человек прижат к стене, зная, что у ворот его поджидают кровожадные волки, в голову ему лезут самые противозаконные мысли — более того, напоминают о себе со всей возможной назойливостью. Совсем недавно Хенгист получил какие-то проценты от сдачи дома внаем, но в Лондон отправился поздно, застал закрытыми банки и привез всю сумму обратно, наверняка не взяв ее с собой на прогулку. Деньги — золото и банкноты, — по всей вероятности, лежат наверху, в лучшей спальне дома, в его саквояже… Не станем судить слишком строго бедную женщину, сломленную судьбой. Вспомнив о зловещих фигурах, что маячат перед ней почти уже в качестве хозяев дома; об ужасных мыслях, вызываемых посланниками такого рода; о тех, кто в эту самую минуту спокойно возвращался домой; о счастливой свадьбе, которая может не состояться, о черном отчаянии, поселившемся в ее сердце, подавив ясность взгляда и совесть. Вспомним все это — и, если так уж необходимо осудить слабую женщину, поднимающуюся по ступенькам, проникнемся к ней по меньшей мере сочувствием.

Ну вот, уж и полегчало: ушли ужасные помощники шерифа. Но передышка будет короткой: домашние уже возвращаются с прогулки, и двое из них очень веселы и возбуждены. Проходит вечер, наступает воскресное утро и вместе с ним — церковная служба, на которой они вместе присутствуют. И лишь в конце воскресного дня мистер Хенгист несется вниз с ужасным воплем: он ограблен, разорен, и всех призовет к ответу.

Поднимается обычный в таких случаях шум. Появляется полиция: обыск, осмотр, расспросы. Триста фунтов — большая потеря. Кто в таких случаях первым оказывается под подозрением? Прислуга. Всех слуг вызывают наверх. И вот разнесчастная Сюзанна или Мэри Энн является на допрос. Она всхлипывает что само по себе весьма подозрительно. Выясняется, что шкатулка была открыта вторым ключом; его нигде не могут найти — пока где-то между кухней и моечной не находят маленький ключик «брама», который миссис Джой тут же опознает. Сюзанна (а может быть, Мэри Энн) отправляется в заключение…

В течение всего этого времени миссис Джой не произнесла ни слова: она словно окаменела, взор ее холодный, безразличный. Она превратилась в воплощение Немезиды и была исполнена решимости роль свою сыграть до конца, чего бы ей это ни стоило. Миссис Джой вела себя мужественно: подобные сцены в респектабельном семействе выглядят отвратительно. Когда все было кончено и похитительницу препроводили в участок, хозяйка поднялась к себе наверх.

Мистер Хенгист был на грани безумия, он сидел в своей комнате и стенал о своих утраченных сокровищах. Мистер Джой отвел дочь в соседнюю комнату и устало поведал ей все, о чем она до сих пор не подозревала. Он сказал ей, что устал от борьбы. Все должно закончиться уже через день-другой. Больше он сопротивляться не в силах. И лучше будет, если она узнает обо всем сразу. Только что случившееся несчастье лишь приближает финал. Рассказ отца потряс девушку; однако она попыталась утешить его — мол, все будет хорошо, главное, не падать духом. Ах, эти увещевания: сколь сладостны они, столь и бесплодны. Счастливый день когда-нибудь наступит, но пока он так далек…

Девушка отправляется в гостиную, где ее избранник оплакивает утраченные деньги. Она принимается подбадривать и его: кто знает, вдруг деньги еще найдутся?.. Поначалу он раздражителен и капризен. Но как устоять перед нежным голосом и милым личиком? Хенгист, человек в сущности жизнерадостный, очень скоро поддался на уговоры: стоит ли действительно так убиваться из-за нескольких гиней? Осталось-то их у него ничуть не меньше. Завоевав первый плацдарм, девушка стала продвигаться дальше. Она сама навела его на разговор о причинах родительской опечаленности, и осторожно открыла всю правду, рассказав об опасности, которая нагрянет, возможно, уже завтра.

— Лучше будет, если вы узнаете об этом сейчас, — сказала она. — Я сама услышала новость лишь нынешним вечером. Я думала, что наша семья богата оказалось, отнюдь нет. Было бы

несправедливо, если бы вы стали ее членом, не зная правды. Думаю, самое правильное было бы — освободить вас от всяких обязательств.

Такая прямота Хенгиста несколько обескуражила. Сам он вполне мог заявить о разрыве, но чтобы девушка предложила ему свободу — это было невообразимо. Жених засомневался. Сначала он решил, будто здесь кроется какая-то хитрость. Затем обиделся: что плохого он сделал, почему она так дурно о нем думает? Мы говорили уже: характер его был переменчив и противоречив. Позабыв о финансовых потерях, он ощутил вдруг прилив щедрости и готовность предложить родителям невесты любую помощь, какая только понадобится.

Словно камень свалился у нее с души: она поспешила к отцу. Тот встретил известие спокойно: сильные чувства — радость, горе — оставили его окончательно.

— Ты спасла нас, — сказал он. — Ты наш ангел. Поди наверх, сообщи это своей бедной матери: она приняла случившееся куда ближе к сердцу, чем мы.

Ангел-дочь поцеловала отца в лоб и пожелала ему оставаться в добром расположении духа.

— Мы все еще будем счастливы. Нас ждут радостные дни, — сказала она и стала подниматься по ступенькам.

Эхо слов ее, казалось, застыло в воздухе. Вечер несчастий остался позади, и естественно было ждать первых лучей забрезжившего рассвета. У них вновь появилась надежда на счастье. Утомительны бессонные ночи, стоило ли удивляться, что миссис Джой задержалась в постели, решив отдохнуть немного и днем? Дочь осторожно, на цыпочках ступила в комнату, не желая тревожить мать. Уже стемнело, в комнате царил полумрак. Женщина спала крепко, в этом не оставалось сомнения. Однако даже в темноте девушка заметила на столе записку с подписью. Она приблизилась к кровати. Темная фигура в своем повседневном платье лежала так неподвижно, что… Дочь бросилась к матери и все поняла.

Нетрудно догадаться, что привлекло чумазую ораву тем утром в понедельник к ограде ярко-красного кирпичного особняка. В тот день здесь появились коронер, поверенные, полицейские. Особенного расследования и не потребовалось. Обычная в таких случаях склянка с резким запахом служила более чем ясным объяснением случившегося. Наконец из комнаты вышел доктор и изложил собственную версию происшедшего.

Никаких сомнений дело не вызывало. Разве что содержание записки хозяева скрыли от этих джентльменов, ибо в ней было признание — последний возглас разбитого сердца и сломленного духа.

"В минуту временного помрачения рассудка…" — нередко эта газетная формулировка служит лишь утешением родственникам, сраженным горем. В данном случае, однако, нам придется отнестись к этим словам с полной серьезностью. И сам дом — заброшенный, приходящий в упадок — идеальная сцена для нашего повествования. Он весь во власти увядания: достаточное основание, чтобы усомниться, будто намечавшаяся свадьба была здесь сыграна.

*1895 г.*

**Колченогий бакалейщик**

Мой дядя, мистер Стивен Мейпл, был самым удачливым и, в то же время, наименее уважаемым представителем нашего семейства, так что мы толком не знали, радоваться нам его материальному благосостоянию или стыдиться его низменного занятия. Короче говоря, дядя был бакалейщиком и держал крупную торговлю в Степнее, имея самые разнообразные деловые связи — по слухам не всегда безукоризненного характера — с людьми, занимающимися речными и морскими перевозками. Он занимался снабжением судов, торговал провизией, а если злые языки не врали, то кое-чем и еще. Подобная деятельность, будучи, несомненно, прибыльной, имела и свои отрицательные стороны. В этом дяде пришлось убедиться, когда после двадцати лет процветания он сделался жертвой нападения одного из своих клиентов. Нападавший посчитал его мертвым и оставил на месте преступления с тремя сломанными ребрами и перебитой ногой. Последняя срослась так неудачно, что навсегда осталась на три дюйма короче здоровой. Нет ничего удивительного в том, что это событие внушило дядюшке отвращение к окружающей его обстановке. После суда, приговорившего его обидчика к пятнадцати годам каторжных работ, он отошел от дел и поселился в глухой местности на севере Англии. Мы ни разу не имели от него вестей, даже когда умер мой отец (и его единственный брат), — ни разу, вплоть до того памятного утра.

Мать прочла письмо вслух:

"Если твой сын живет с тобой, Эллен, и если он вырос таким крепким и сильным, каким обещал во время нашей последней встречи, пришли его ко мне с первым же поездом, как только получишь мое послание. Мальчик сам убедится, что служба у меня принесет ему много больше, чем профессия инженера. А когда я покину сей мир, — хотя, благодарение Господу, пока мне грех жаловаться на здоровье — будь уверена: я не забуду сына моего родного брата. Станция называется Конглтон. Оттуда до поместья «Грета», где я обосновался, около четырех миль. Я пошлю двуколку к вечернему семичасовому поезду — это единственный, что останавливается здесь. Пришли его обязательно, Эллен. У меня есть веские причины желать присутствия племянника в моем доме. Давай не будем ворошить прошлое и забудем прежние обиды, если они были между нами. Если сегодня ты мне не поможешь, то как бы потом не пришлось горько пожалеть."

Мы сидели за столом с остатками завтрака и глядели друг на друга, недоумевая, что бы все это могло означать, когда внизу зазвенел звонок, а вскоре появилась горничная с телеграммой в руке. Она была отправлена дядей Стивеном.

"Ни в коем случае Джон не должен сходить с поезда в Конглтоне, — так начинался текст. — Двуколка будет ждать вечерний семичасовой на следующей станции, которая называется Стеддинг-Бридж. Пусть он отправляется не ко мне домой, а на ферму Гарта — в шести милях от железной дороги. Там его будут ждать дальнейшие инструкции. Не подведите — больше мне надеяться не на кого."

— Вот уж действительно, — кивнула матушка. — Насколько мне известно, у твоего дяди нет ни единого друга на всем белом свете, да и не будет никто водить дружбы с таким человеком. Всю жизнь он был редкостным сквалыгой, и даже родному брату, а твоему отцу, так и не помог в трудную минуту, когда всего несколько фунтов могли бы его здорово выручить и спасти от краха. Не понимаю, почему я должна посылать ему на помощь моего единственного сына после всего, что было?

У меня, однако, на сей счет сложилось другое мнение: меня влекли неизвестность и возможные приключения.

— Если я завоюю расположение дяди, он может помочь мне в моей профессиональной карьере, — возразил я, намеренно затрагивая самое уязвимое место в душе матушки.

— Никогда не слышала, чтобы Стивен хоть кому-нибудь помог, — с горечью промолвила она. — А к чему, скажи на милость, все эти выкрутасы: сойти с поезда не на той станции и отправиться не по тому адресу? Он, наверняка, вляпался в крупные неприятности и теперь желает выбраться с нашей помощью. Когда же он использует тебя, мой мальчик, он просто вышвырнет тебя вон, как проделывал это уже не раз. Если бы тогда он помог твоему отцу, — кто знает тот, возможно, остался бы в живых!

В конце концов, мои уговоры возобладали. Как справедливо заметил я матери, мы могли многое приобрести, почти ничем при этом не рискуя. Да и к чему нам, бедным родственникам, без особой нужды раздражать богатого? Вещи мои были уже упакованы, а кэб ждал у дверей, когда принесли вторую телеграмму.

"Хорошая охота. Пусть Джон захватит ружье. Помните: Стеддинг-Бридж, а не Конглтон."

Немного удивившись дядюшкиной настойчивости, я добавил к багажу футляр с ружьем и отправился навстречу приключениям.

Первая часть моего путешествия проходила по главному пути Северной Железной дороги до Карнфилда, где берет начало местная ветка, петляющая среди болот. Во всей Англии вы не встретите более сурового и, вместе с тем, более впечатляющего пейзажа. В течение двух часов за окнами вагона тянулась бесконечная холмистая равнина, местами переходящая в низкую каменистую гряду, изобилующую выходами наружу скальных пород. То там, то здесь крохотные коттеджи из серого камня внезапно сбивались в кучу, образуя деревни, но, по большей части, на протяжении многих миль не было видно ни жилья, ни других признаков человеческого обитания, за исключением немногочисленных овечьих отар, разбросанных по горным склонам. Местность навевала уныние, и на сердце у меня становилось все тяжелее по мере приближения к концу путешествия. Но вот, наконец, поезд затормозил у небольшой деревушки Стеддинг-Бридж, где дядя наказывал мне сойти. Рядом со станцией ждала одна-единственная древняя двуколка. Я обратился к вознице неотесаному деревенскому парню:

— Вас прислал мистер Стивен Мейпл?

Малый глянул на меня с нескрываемым подозрением.

— Как ваше имя? — в свою очередь спросил он с таким ужасным акцентом, что я просто не берусь его передать.

— Джон Мейпл, — ответил я.

— Чем можете доказать?

Я уже занес руку для удара, будучи не всегда сдержан по натуре, но вовремя спохватился, вспомнив, что парень, скорее всего, действует строго по дядюшкиным инструкциям. Вместо ответа я указал на ружейный футляр с монограммой.

— Да-да, все правильно. Вы и вправду Джон Мейпл! — с облегчением воскликнул он, медленно, по буквам, прочитав мою фамилию. — Садитесь скорее, мастер, — путь у нас неблизкий.

Дорога была белой и блестящей, подобно большинству дорог в этой части страны, изобилующей меловыми отложениями. По обе стороны она была выложена низким бордюром из не скрепленных между собой камней. Дорога сильно петляла среди многочисленных болот и обширных торфяников, усеянных овечьими стадами и крупными валунами и полого спускающихся вниз к подернутому туманной дымкой горизонту. В одном месте крутой обрыв открывал вид на отдаленный участок покрытого свинцовой зыбью моря. Да и вообще, вся панорама выглядела настолько сурово, уныло и непривлекательно, что затея моя постепенно начала казаться мне куда более серьезной и опасной, чем представлялась в Лондоне. Этот нежданный призыв о помощи от дядюшки, которого я никогда не видел и о котором не слышал ничего хорошего, связанная с ним спешка, упоминание о моих физических возможностях, нелепый предлог, под которым он вынудил меня захватить оружие, — все это вместе взятое камнем ложилось на душу и заставляло поневоле подозревать нечто зловещее и таинственное в подоплеке предстоящего дела. Представлявшееся абсолютно невозможным в Кенсингтоне, выглядело более чем вероятным здесь, среди безжизненных болот и первозданно-диких скал. Наконец, подавленный собственными мрачными мыслями, я повернулся к вознице с намерением задать тому несколько вопросов относительно дядюшки, но выражение его лица заставило меня мгновенно забыть об этом.

Он глядел не вперед, на старого, медлительного, гнедого мерина, не вбок, на дорогу, по которой мы ехали, — лицо его было повернуто в мою сторону, а взор устремлен назад, поверх моего плеча, и в нем отчетливо читалось острое любопытство пополам с тревогой, как мне показалось. Он занес, было, плеть, чтобы подстегнуть лошадь, но тут же обреченно опустил руку, словно смирясь с мыслью, что любое подобное действие бесполезно. Невольно проследив направление его взгляда, я тоже увидел, наконец, что же так взволновало моего кучера.

По торфянику бежал какой-то человек. Он бежал неуклюже, то и дело спотыкаясь и оскальзываясь на камнях, но дорога в этом месте изгибалась в петлю, и у бегущего была полная возможность срезать и перегнать нас. Мы как раз подъезжали к тому месту, куда был направлен бег незнакомца, когда тот перелез через каменную дорожную насыпь и остановился посреди дороги, поджидая коляску. Лучи заходящего солнца ярко освещали его загорелое, чисто выбритое лицо. Это был крупный мужчина, но со здоровьем у него, похоже,

не ладилось: после не такой уж длинной пробежки он держался за грудь и тяжело, с присвистом, дышал. Как только мы поравнялись с ним, я заметил в ушах незнакомца серьги.

— Скажи-ка, приятель, куда вы направляетесь? — окликнул он моего возницу; голос его звучал грубо, но не угрожающе, а, скорее, добродушно.

— К Перселлу, на ферму Гарта, — ответил парень.

— Тогда прошу извинить за задержку, — воскликнул незнакомец, освобождая дорогу. — Дело в том, что я думал, будто вы едете, куда мне нужно, поэтому и спросил — вдруг подвезете.

Извинение его выглядело надуманно и неубедительно, так как в нашей двуколке не было места для третьего, но мой возница не был расположен выяснять отношения по этому поводу. Он молча подхлестнул коня и проехал мимо. Оглянувшись назад, я увидел, что незнакомец уселся на обочину и занялся набиванием трубки.

— Похоже, моряк, — заметил я.

— Да, мастер. До Моркамб-Бей всего несколько миль, — пояснил возница.

— Он вас чем-то испугал, — поинтересовался я как бы вскользь.

— Неужели? — сухо удивился он, но после долгой паузы сумрачно произнес: — А может, оно и так.

Как я ни старался, мне не удалось выяснить причин страха моего спутника. Я засыпал его множеством вопросов, но малый оказался либо слишком туп, либо слишком умен, — во всяком случае, из его ответов я так ничего и не уяснил. Я обратил внимание, однако, что время от времени он беспокойно озирал окрестные торфяники, но на всей их обширной однообразно-бурой поверхности не было видно ни единой движущейся человеческой фигуры. Но вот в цепи лежащих впереди холмов образовалось некое подобие разрыва, и я увидел длинную, приземистую постройку — естественный центр притяжения разбросанных по периметру овечьих стад.

— Ферма Гарта, — объявил мой спутник. — А вот и сам фермер Перселл, добавил он, указывая на вышедшего из дома и остановившегося в ожидании на крыльце мужчину. Как только я сошел с двуколки, он приблизился, и я смог его рассмотреть. На суровом обветренном лице выделялись светло-голубые глаза, а борода и волосы цветом напоминали сильно выгоревшую на солнце траву. В выражении лица хозяина фермы я заметил то же плохо скрываемое недовольство происходящим, что и у возницы. Их отрицательное отношение не могло быть направлено на мою персону, поскольку оба видели меня впервые. Отсюда автоматически следовал вывод, что популярность моего дядюшки среди обитателей здешних болот едва ли выше, чем в бытность его владельцем бакалеи в Степнее на Хайвей. — Вы останетесь здесь до наступления ночи, — сухо сказал он. — Таково распоряжение мистера Стивена Мейпла. Если желаете, могу предложить чаю с беконом и хлебом, других разносолов у нас не имеется.

Я страшно проголодался и поэтому с готовностью принял предложение хозяина, несмотря на откровенно грубый тон, каким оно было сделано. Во время еды в столовую вошли жена фермера и двое их дочерей, и я не мог не заметить определенного любопытства с их стороны. Было ли это связано с тем, что молодые люди — большая редкость в этой глуши, или мои попытки завязать беседу вызвали у дам расположение к гостю — как бы то ни было, вся троица отнеслась ко мне с неожиданным участием.

Начало смеркаться, и я заметил, что мне пора отправляться в поместье «Грета».

— Так вы твердо намерены итти туда? — опросила мать.

— Разумеется. Для этого я и проделал весь путь от самого Лондона.

— Между прочим, никто не мешает вам вернуться обратно.

— Но мой дядя, мистер Мейпл, ожидает меня.

— Ну что ж, никто не станет вас останавливать, раз уж вам так хочется, — вздохнула женщина и тут же замолчала, так как в комнату вошел ее муж.

Каждый новый инцидент только сгущал соткавшуюся вокруг меня атмосферу тайны и нависшей угрозы, но все это выглядело так смутно и неопределенно, что при всем желании я был не в состоянии предугадать ожидающие меня опасности. Мне бы следовало задать доброй

женщине вопрос напрямую, но ее угрюмый супруг, словно почувствовав ее симпатию ко мне, как нарочно, больше ни разу не оставил нас наедине.

— Пора двигаться, господин хороший, — произнес он, наконец, как только женщина засветила лампу на столе.

— Двуколка готова?

— Вам она не понадобится. Пойдете пешком, — сказал он.

— Как же я найду дорогу?

— Уильям покажет.

Уильямом звали того паренька, что привез меня со станции. Он уже ждал за дверью, взвалив на плечо мой багаж и футляр с ружьем. Я хотел задержаться ненадолго, чтобы поблагодарить фермера за оказанное гостеприимство, но тот разом пресек мои излияния.

— Мне не нужна благодарность ни мистера Стивена Мейпла, ни кого-либо из его друзей, — заявил он с грубой откровенностью. — За все, что я сделал, мне хорошо заплачено, а не было бы заплачено — так я бы и пальцем не пошевелил. Ступайте своей дорогой, молодой человек, и ни слова больше! — с этими словами фермер резко развернулся на каблуках и потопал обратно в дом, с силой захлопнув за собой дверь.

Уже совсем стемнело, и по небу медленно ползли тяжелые черные тучи. Будь я один, — сразу бы безнадежно заблудился в торфяниках, едва выйдя со двора фермы, но мой проводник уверенно вел меня за собой, шагая впереди по узеньким овечьим тропам, которые я, при всем старании, не мог разглядеть во мраке. То и дело с разных сторон слышалась неуклюжая возня сбившихся в кучу животных, но их самих в темноте невозможно было различить. Сначала Уильям шагал быстро и беззаботно, но постепенно снизил темп, пока, наконец, не начал передвигаться вперед медленно и бесшумно, чуть ли не крадучись, словно ожидая в любой момент столкнуться с неведомой опасностью. Это гнетущее чувство надвигающейся угрозы вкупе с пустынной местностью и ночным мраком действовало на нервы гораздо сильнее, чем любая реальная опасность. Я начал теребить проводника вопросами, чтобы выяснить, чего же нам следует бояться, но тот внезапно застыл на месте, а затем потащил меня вниз по склону, в самую гущу какого-то колючего кустарника, росшего вдоль тропы. Он рванул меня за полы одежды с такой силой и настойчивостью, что я сразу же безоговорочно поверил в близость опасности и незамедлительно распростерся рядом с проводником, замерев, как скрывающие нас кусты. Там было так темно, что я с трудом различал лицо Уильяма в нескольких дюймах от своего.

Ночь выдалась душной, и теплый ветерок дул прямо нам в лица. Внезапно с порывом ветра до моих ноздрей долетел знакомый и домашний запах — запах табачного дыма. Вслед за тем на дороге возникло человеческое лицо, слабо освещенное тлеющим в трубке табаком. Все остальное надежно скрывала ночная тьма, и только это лицо, окруженное светящимся ореолом, словно плыло по воздуху в направлении нашего убежища. Нижняя часть его выделялась более четко на фоне окружающего мрака, верхняя — слабее, плавно переходя за грань света и темноты. То было худое, голодное лицо, от скул и выше сплошь усеянное веснушками, с голубыми водянистыми глазками и редкими неухоженными усиками. На макушке его обладателя красовалась фуражка с козырьком, и это было последней деталью, которую мне удалось разглядеть. Он прошел мимо, тупо глядя прямо перед собой, а мы еще долго лежали, прислушиваясь к удаляющимся шагам.

— Кто это был? — спросил я, как только мы поднялись на ноги.

— Не знаю.

Меня наконец разозлила постоянная уклончивость моего спутника.

— Тогда какого дьявола ты прятался? — спросил я грубо и без обиняков.

— Потому что мастер Мейпл так велел. Он сказал, что меня никто не должен видеть по пути, а если кто увидит, то он мне ничего не заплатит.

— Но ведь тот морячок на дороге тебя видел, не так ли?

— Верно, — признал Уильям. — И думается мне, он тоже из энтих.

— Из каких «энтих»?

— Из тех, что прячутся где-то на болотах. Они следят за поместьем «Грета» и мастер Мейпл сильно их напужался. Вот он, значитца, и велел мне держаться от энтих подале, ну, а я, знамо дело, потому и запрятался.

Наконец-то я услышал нечто определенное! Теперь стало очевидно, что какая-то шайка угрожает дядюшке, и встреченный нами моряк принадлежит к ней. Второй — в фуражке — скорее всего, тоже моряк и также член шайки. Мне вспомнилось едва не прикончившее дядю нападение на него в Степнее. Постепенно все детали головоломки начали вставать на свои места, но тут впереди за болотом затеплился огонек, и проводник сообщил, что это и есть дядюшкино поместье. Оно лежало в низине меж торфяников, поэтому увидеть его можно было только подойдя совсем близко. Еще несколько шагов, и вот мы уже у дверей.

Сквозь забранное решеткой оконце пробивался свет лампы, но его было явно недостаточно, чтобы разглядеть в темноте весь дом, как следует, поэтому у меня сохранилось только смутное впечатление чего-то длинного и очень просторного. Низкая дверь под козырьком навеса оказалась плохо подогнана к стоякам, и свет проникал изнутри со всех сторон сквозь широкие щели. Обитатели дома, однако, держались настороже. Как ни легки были наши шаги, нас услышали и окликнули еще на подходе к двери.

— Кто там? — громко спросил кто-то за дверью тяжелым басом. — Да кто там? Отвечайте! — почти без паузы зарычал тот же голос.

— Это я, мастер Мейпл. Я привел того жентельмена, про которого вы говорили.

Что-то звонко щелкнуло, и в двери открылся небольшой деревянный глазок. Несколько секунд наши лица освещал поднесенный изнутри к отверстию фонарь, затем глазок закрылся, загремели замки и засовы, дверь отворилась, и на фоне беспросветной темноты в желтом световом прямоугольнике дверного проема обрисовался силуэт моего дяди.

Это был толстый, низенький человечек с огромной шарообразной головой, почти полностью облысевшей, если не считать узкого венчика вьющихся волос по краям. То была великолепная голова, голова мыслителя, а вот обрюзгшее, мертвенно-бледное лицо могло принадлежать простому обывателю, так же как безвольный, толстогубый рот и свисающие по обе стороны от него жировые складки. Светлые редкие ресницы постоянно находились в движении, отчего казалось, что маленькие заплывшие глазки беспокойно бегают по сторонам. Мать как-то говорила мне, что дядины ресницы напоминают ей мокриц. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться в меткости ее сравнения. Еще я слышал, что в Степнее он перенял простонародный говор своих покупателей, и я теперь мучительно краснел от стыда за все наше семейство, с трудом воспринимая на слух его чудовищный жаргон.

— Здорово, племянничек, — сказал он, протягивая руку. — Да входи же, входи скорее, парень, не держи так долго дверь открытой. Что ж, мать твоя вырастила большого сыночка — честное слово, ей есть, чем гордиться. Держи свои полкроны, Уильям, и можешь возвращаться назад. Вещи только не забудь оставить. А ты, Енох, забери-ка багаж мастера Джона, да проследи, чтобы ему накрыли поужинать.

Закончив закрывать многочисленные запоры, дядя повернулся ко мне лицом. Только сейчас я обратил внимание на самую характерную особенность его фигуры. Полученные много лет назад увечья, как я уже упоминал, на несколько дюймов укоротили ему одну ногу по сравнению с другой. Чтобы скрыть этот недостаток, один из дядиных башмаков был снабжен толстенной деревянной подошвой, какие рекомендуют обычно в подобных случаях врачи-ортопеды. При ходьбе такое приспособление позволяло дядюшке почти не хромать, и только своеобразный звук: клик-кляк, клик-кляк от чередования кожи и дерева на каменном полу служил постоянным напоминанием о его физической неполноценности. Подобно испанским кастаньетам, это цоканье непрерывно сопровождало его, куда бы он ни направлялся.

Просторная кухня с огромным очагом и резными ларями по углам свидетельствовала о том, что в былые времена этот дом был жилищем зажиточного фермера. Вдоль одной из стен было сложено множество упакованных и перевязанных коробок и ящиков. Обстановка была скудной и непритязательной, но на столе посреди помещения был накрыт для меня скромный ужин, состоящий из холодной говядины, хлеба и кувшина с элем. Прислуживал за столом пожилой слуга, такой же кокни, судя по акценту, как и его хозяин. Последний, пристроившись в углу, засыпал меня множеством вопросов, касающихся нашей жизни с матерью. Когда я закончил трапезу, дядя приказал слуге, которого звали Енох, распаковать мое ружье. Я обратил внимание еще на два старых ружья с изрядно заржавевшими стволами, прислоненные к стене рядом с окном.

— Наибольшая опасность грозит со стороны окна, — пояснил дядя звучным, раскатистым

голосом, плохо вяжущимся с его коротенькой, пухлой фигурой. Двери в доме надежные — без динамита их не вышибить, а вот окна никуда не годятся. Эй, ты что делаешь?! — внезапно завопил он. — Не стой на свету и пригибайся, когда проходишь мимо решетки.

— Чтобы не увидели? — поинтересовался я.

— Чтобы не подстрелили, мой мальчик. Вот в чем загвоздка. А теперь присядь рядом со мной на скамеечку, и я все тебе расскажу, потому как вижу, что парень ты надежный и доверять тебе можно.

Попытка дяди подольститься ко мне выглядела неуклюже и, со всей очевидностью, свидетельствовала о том, что ему во что бы то ни стало необходимо было как можно быстрее завоевать мое расположение. Я уселся рядом с ним. Дядя достал из кармана сложенный газетный листок. Это была "Уэстерн Морнинг-ньюс" десятидневной давности. Черным заскорузлым ногтем он отчеркнул нужный абзац, в котором сообщалось об освобождении из Дартмура заключенного по фамилии Элиас, которому сократили срок за то, что он встал на защиту одного из тюремных надзирателей, подвергшегося нападению каторжников во время работ в каменоломне. Все сообщение занимало буквально несколько строк.

— И кто же он такой? — спросил я.

Дядя приподнял изуродованную ногу и помахал ей в воздухе.

— Вот его метка, — сказал он, — и за это же он получил свой срок. А теперь он откинулся из тюряги и снова точит на меня зуб.

— А за что, собственно, он "точит на вас зуб"?

— Он хочет убить меня, черт неотвязный! Я точно знаю, что он не успокоится, пока не отомстит. Такой уж это человек, племянничек. От тебя у меня нет секретов. Он считает, что когда-то я его здорово кинул. Для пущей ясности предположим, что так оно и есть. Ну, а теперь он со своими корешками открыл на меня форменную охоту.

— А кто они такие?

Дядюшкин бас неожиданно сменился испуганным шепотом.

— Моряки, — сказал он, непроизвольно оглядываясь. — Я знал, что они объявятся, как только прочитал газету. И точно — пару дней назад гляжу в окно, а там трое морячков стоят и глазеют на мой дом. Вот тогда я и отправил письмо твоей мамаше. Они нашли меня и теперь поджидают его, чтобы расправиться со мной.

— Но почему же вы не сообщите в полицию?

Дядя отвел глаза в сторону.

— От полиции никакого толку не будет, — заявил он, — зато ты, мой мальчик, можешь здорово мне помочь.

— Что я должен сделать?

— Сейчас объясню. Я собираюсь уехать отсюда. Видишь эти ящики? Все мои вещи подготовлены, осталось только упаковать. В Лидсе у меня есть друзья, и там мне будет безопасней. Не то что бы совсем безопасно, но все же спокойней, чем здесь. Я рассчитываю отправиться туда завтра вечером. Если до тех пор ты не покинешь меня, клянусь — ты об этом не пожалеешь. Кроме Еноха, мне некому помочь, но ты не волнуйся — завтра к вечеру все будет готово. К этому же времени мне обещали прислать телегу. Мы с тобой, Енох и тот мальчишка Уильям как-нибудь довезем вещи до Конглтонской станции. Кстати, вам никто не встретился в окрестностях?

— По дороге со станции нас остановил какой-то моряк, — ответил я.

— Ах, я так и знал, что они следят за нами. Вот почему я велел тебе сойти с поезда на другой остановке и отправиться сначала к Перселлу, а не сразу сюда. Мы в блокаде, да-да, в блокаде — это очень подходящее слово!

— Там был еще один, — сказал я, — с трубкой.

— Как он выглядел?

— Худое лицо, веснушки, фуражка с...

Хрипло вскрикнув, дядя вскочил с места.

— Это он! Это он! Он явился, наконец, по мою душу! Прости, Господи, меня, грешника! — И дядя начал лихорадочно метаться по всему помещению, перемежая скрип кожи со стуком дерева по полу. Было что-то по-детски трогательное в его огромной, лысой, как шар, голове, и я впервые ощутил в душе порыв жалости к этому человеку.

— Бросьте, дядя, — произнес я успокаивающим тоном, — все-таки мы живем в цивилизованной стране. Есть, в конце концов, закон, который поможет призвать к порядку весь этот сброд. Позвольте мне завтра поутру съездить в окружной полицейский участок — и я ручаюсь вам, что очень скоро все будет в лучшем виде.

Дядя отрицательно покачал головой.

— Он слишком хитер и жесток, — сказал он. — Не случайно я вспоминал о нем каждое мгновение все эти годы, стоило мне только вдохнуть или выдохнуть. Это он поломал мне целых три ребра. У нас есть только один шанс: придется бросить все, что мы не успели упаковать, и завтра на рассвете сделать отсюда ноги. Великий Боже, что это?!

Сильнейший удар в дверь заставил задрожать стены и эхом разнесся по всему дому. За ним последовал второй, потом третий. Казалось, будто кто-то молотит по ней закованным в броню кулаком. Дядя в отчаянии упал в кресло, я же схватил ружье и бросился к двери.

— Кто здесь?! — возвысил я голос.

Никто не ответил, тогда я приоткрыл глазок и выглянул наружу. За дверью также никого не оказалось, но случайно опустив глаза, я увидел просунутый в щель под дверью листок бумаги. Схватив его и поднеся к свету, я прочел написанное энергичным почерком краткое послание:

"Хочешь спасти свою шкуру — положи их на крыльцо."

— Чего они хотят от вас, дядюшка? — спросил я, ознакомив его с текстом.

— Того, что они никогда не получат! — воскликнул он в отчаянном порыве отваги. — Никогда и ни за что, клянусь Всевышним! Эй, Енох! Енох! — Старый слуга тут же прибежал на зов.

— Послушай, Енох, — начал дядя, — всю жизнь я был для тебя добрым хозяином. Настало время, когда ты можешь отплатить за доброту. Готов ли ты рискнуть ради меня?

Мое мнение о дяде Стивене заметно повысилось, когда я увидел, с какой готовностью согласился старик. Какие бы чувства ни питали к дяде другие, этот человек, похоже, относился к нему с любовью.

— Оденешь плащ и шляпу, Енох, — напутствовал его хозяин, — и выскользнешь через заднюю дверь. Ты знаешь дорогу напрямик, через торфяники, до фермы Перселла. Скажешь ему, что на рассвете мне нужна будет его повозка, и пускай он сам придет, да пастуха прихватит. Либо мы выберемся отсюда, либо нам всем хана. Скажешь ему, Енох, что на рассвете я буду ждать его с десятью фунтами за работу. Не раскрывай черный плащ и двигайся медленно — тогда им тебя нипочем не засечь. А мы постараемся продержаться в доме до твоего возвращения.

Пуститься в ночь навстречу неведомым опасностям среди болот требовало немалого мужества, но, к чести старого слуги, он воспринял это поручение как нечто, входящее в круг его ежедневных обязанностей. Сняв с вешалки у двери свой длинный черный плащ и мягкую шляпу, он уже через минуту был готов к выходу. Мы потушили малый фонарь у задней двери, неслышно вынули засовы, пропустили Еноха наружу и снова заперлись изнутри. Выглянув в окошечко, я уловил лишь, как его черное одеяние мгновенно слилось с ночным мраком, и фигура посланца растворилась во тьме.

— До зари всего несколько часов, племянничек, — нарочито бодро сказал дядя, тщательно проверив все замки и засовы, — и я обещаю, что труды твои этой ночью не останутся без воздаяния. От тебя зависит, доживем ли мы до рассвета. Поддержи меня до утра, а я окажу тебе поддержку во всем, пока живу и дышу. Телега прибудет в пять. Погрузим, что есть, а остальное можно и бросить. Если поторопимся, успеем в Конглтон к первому утреннему поезду.

— Вы полагаете, они позволят нам уехать?

— При свете дня они не осмелятся нас задержать. Нас будет шестеро, если Перселл прихватит всех своих, да плюс еще три ружья. В случае чего отобьемся! Ружей у них нет, да и где простым морякам их достать? Пара револьверов от силы — большего у них не наберется. Главное — не дать им проникнуть в дом за эти несколько часов. Енох, должно быть, уже на полпути к ферме.

— Так что все-таки нужно от вас этим морякам? — повторил я предыдущий вопрос. — Вы, кажется, сказали, что сильно обидели кого-то из них?

— Не задавай лишних вопросов, парень, а делай лучше, что я тебе говорю, — буркнул дядя. — Енох сегодня ночью уже не вернется. Он отсидится до утра на ферме, а утром явится вместе со всеми… Постой-ка, что это там такое?

Отдаленный вопль прозвучал во мраке, за ним другой — короткий и резкий, как крик кроншнепа.

— Это Енох! — воскликнул дядя, больно стиснув мне Запястье. — Они убивают старого доброго Еноха, мерзавцы!

Снова раздался отчаянный крик, но уже значительно ближе. Я услыхал топот ног бегущего человека и хриплый голос, зовущий на помощь.

— Они гонятся за ним! — закричал дядя, бросаясь к парадному входу. Он схватил фонарь и приблизил его к окошечку в двери. Широкий желтый луч света вырвал из темноты бегущую человеческую фигуру. Беглец стремительно мчался прямо на нас. Голова его была наклонена вниз, а полы черного плаща развевались за спиной. Сзади и по бокам, на грани тьмы и света, мелькали смутные фигуры преследователей.

— Засов! Скорее засов! — выдохнул дядя. Пока я поворачивал ключ, он тянул его на себя, и как только дверь открылась, мы вдвоем распахнули тяжелую створку, чтобы впустить беглеца. Он влетел внутрь и тут же развернулся в нашу сторону с торжествующим возгласом на устах:

— Вперед, ребята! Все наверх! Все наверх! Давай, не зевай, скорей поспешай!

Все было проделано так быстро и четко, что дом оказался взят приступом прежде, чем мы успели сообразить, что подверглись нападению. Коридор внезапно наполнился атакующими в матросской одежде. Я чудом вывернулся из захвата одного из них и рванулся к составленным у окна ружьям, но мгновение спустя с грохотом распростерся на каменных плитах пола, так как в меня успели вцепиться еще двое. Они действовали с удивительной ловкостью и быстротой: как я ни сопротивлялся, руки мои в мгновение ока оказались связаны, а самого меня отволокли в угол, целого и невредимого, но крайне удрученного той легкостью, с которой нападавшие преодолели наши оборонительные порядки, поймав нас на нехитрую, в общем-то, уловку. Они даже не потрудились связать дядю Стивена. Его просто толкнули в кресло и оставили в нем, а остальные тем временем позаботились прибрать к рукам весь наш арсенал. Страшная бледность покрывала дядино лицо. Его коротенькое грузное тело и абсурдный венчик окаймляющих лысину кудряшек странным образом контрастировали с окружающими его фигурами, исполненными примитивной мощи и угрозы.

Всего их было шестеро. Одного из них я сразу узнал по серьгам в ушах это его мы встретили на дороге накануне вечером. То были ладно сложенные, мускулистые парни с потемневшими от ветра и загара лицами, по матросской моде украшенными пышными бакенбардами. В центре толпы, опираясь на стол, стоял тот самый малый с веснушками, которого я видел ночью на торфянике. Черный плащ, взятый из дому несчастным Енохом, все еще свисал у него с плеч. Внешне этот человек разительно отличался от прочих. Черты его выражали пронырливость, коварство, злобность и жестокость, а хитрые, все подмечающие глазки светились неприкрытым торжеством при взгляде на распростертого в кресле дядю. Внезапно он повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза, заставив впервые на своей шкуре ощутить смысл выражения: "мурашки по коже от этого взгляда".

— А ты кто такой? — спросил он. — Отвечай, не то мы найдем способ развязать тебе язык.

— Я племянник мистера Стивена Мейпла и приехал сюда навестить его.

— Ах, вот как! Ну что ж, желаю тебе и твоему дяде приятно провести времечко. А теперь за работу, парни, да поскорее — нам еще до рассвета нужно вернуться на борт. Что будем делать со стариком?

— Подвесить его, как это делают янки, да ввалить шесть дюжин, предложил один из матросов.

— Слыхал, презренный ворюга-кокни? Мы тебя до смерти запорем, если не вернешь украденное. Где они, отвечай?! Я же знаю, что ты никогда с ними не расстаешься.

Дядя сжал губы и покрутил головой. Страх на его лице мешался с упрямством.

— Не хочешь говорить? Ладно. Подготовь-ка его, Джим.

Один из матросов схватил дядю и грубо сорвал с него сюртук вместе с рубашкой. Он остался сидеть в кресле, обнаженный до пояса. Торс его был весь в жировых складках, мелко подрагивающих от холода и страха.

— На крюк его, ребята!

Вдоль одной из стен висело множество крючьев, предназначенных для копченых окороков. Матросы привязали дядю за запястья к двум из них. Затем кто-то из матросов снял кожаный ремень.

— Бей пряжкой, Джим, — сказал главарь. — Пряжкой оно вернее!

— Трусы! — закричал я. — Как вам не стыдно истязать старого человека!

— Следующим на очереди будет молодой, если не заткнется, — пригрозил предводитель, метнув в мой угол злобный взгляд. — Давай, Джимми, вырежи из его шкуры ремешок!

— Постойте! — крикнул один из матросов. — Дайте ему еще один шанс!

— Да-да, — поддержали его остальные, — дайте старой швабре последний шанс!

— Если вы разнюнитесь, ничего не получите, — отрезал главарь. Выбирайте что-то одно. Либо мы выбьем из него правду, либо можете заранее забыть о том, ради чего мы все положили столько сил и трудов и что сделает всех и каждого из нас джентльменами на всю оставшуюся жизнь. Третьего не дано. Так что прикажете делать?

— Пускай получит свое! — хором закричали все, больше не колеблясь.

— Тогда все в сторону!

Тяжелая пряжка ремня со свистом разрезала воздух, когда Джим несколько раз взмахнул им на пробу. Но прежде чем первый удар упал на него, дядя в отчаянии взмолился:

— Отпустите меня, я этого не перенесу!

— Скажи сначала, где они?

— Я покажу, если отпустите.

Они развязали носовые платки, которыми дядя был привязан к крючьям, и спустили его на пол. Первым делом он натянул на свои жирные округлые телеса сорванную одежду. Матросы окружали его тесным кольцом. На смуглых лицах явственно читалось нарастающее возбуждение и живой интерес.

— Только без обмана! — угрожающе молвил веснушчатый. — Ежели попытаешься нас надуть, мы тебя на кусочки изрежем. А теперь говори! Где они?

— В моей спальне.

— Где это?

— Наверху.

— В каком месте?

— В углу дубового ларца рядом с кроватью. Матросы ринулись к ведущей на второй этаж лестнице, но окрик главаря заставил их вернуться.

— Нельзя оставлять здесь этого старого хитрого лиса, ребята. Ха! Что-то ты на лицо переменился — значит, я правильно угадал, разве нет? Клянусь Господом, он собирался потихоньку сняться с якоря, пока мы там будем ковыряться. А ну-ка, парни, свяжите его покрепче, да прихватим эту тварь с собой.

Нестройно топоча по лестнице, они направились на второй этаж, таща за собой связанного пленника. На несколько мгновений я остался один. Руки мои были связаны, зато ноги оставались свободными. Если бы только найти дорогу через торфяники! Тогда я смог бы вызвать полицию и перехватить разбойников, прежде чем они доберутся до побережья. В какой-то момент я замешкался, усомнившись, имею ли я моральное право оставлять дядюшку одного в лапах бандитов. В то же время, будучи на свободе, я мог принести намного больше пользы своему родственнику, а случись худшее — позаботиться о его собственности, чем оставаясь здесь. Приняв решение, я метнулся к двери, но не успел еще достичь ее, как прямо над моей головой раздался пронзительный душераздирающий вопль, сопровождаемый испуганными возгласами, и к ногам моим с ужасающим грохотом свалилось что-то тяжелое. Этот жуткий хлюпающий звук до конца жизни будет звучать у меня в ушах. Передо мной, в полосе света, протянувшейся от открытой двери, лежал мой несчастный дядя. Его лысая голова под неестественным углом вывернулась на плечо, как у цыпленка, которому свернули шею. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться в его смерти вследствие перелома шейных позвонков.

Вся шайка ссыпалась с лестницы и окружила меня и мертвеца так быстро, что я едва успел толком осознать, что же произошло.

— Мы тут ни при чем, приятель, — обратился ко мне один из матросов. Он сам выпрыгнул в окно, и это святая правда. Нашей вины здесь нет.

— Он думал, небось, что успеет оказаться с наветренной стороны от нас и воспользоваться темнотой, чтобы смыться, — сказал другой. — Вот только нырял он головой вперед, и даже такая толстая шея не выдержала.

— Туда ему и дорога! — вмешался главарь, грязно выругавшись при этом. Если бы он сам не подох, уж я бы ему всенепременно помог. А вы, ребятки, напрасно оправдываетесь. Это убийство, и все мы — соучастники! Есть только один способ спастись: держаться друг за дружку, если, конечно, как говорится, вы не предпочтете висеть поодиночке. Здесь всего один свидетель…

Он снова метнул на меня взгляд своих злобных маленьких глаз, а я заметил у него в боковом кармане что-то блестящее: то ли нож, то ли револьвер. В то же мгновение двое матросов встали между нами.

— Забудь об этом, капитан Элиас, — сказал первый. — Старик готов, это так, но ни один из нас не приложил руку к его смерти. В конце концов, мы не собирались его убивать. Самое худшее, что его ожидало, — это потеря нескольких лоскутов кожи на спине. Что же касается этого молодого человека, то к нему у нас никаких претензий нет…

— Болван! Если у тебя нет к нему претензий, то они есть у него. Стоит ему раскрыть пасть на суде, и за твою шкуру никто не даст и ломаного гроша. Он не должен заговорить — вы сами понимаете, что на весах его жизнь против наших.

— У шкипера башка хорошо варит, — поддержал главаря другой матрос. — Уж лучше сделать так, как он говорит.

Но мой защитник — тот самый тип с серьгами в ушах заслонил меня своей широкой грудью и во всеуслышание поклялся, что никому не позволит пальцем ко мне притронуться. Мнения остальных разделились поровну. Споры по поводу моей грядущей участи грозили перерасти в серьезную драку, но капитан вдруг издал крик восторга и удивления, тут же подхваченный всей шайкой. Они радостно смеялись и показывали пальцами. Проследив направление их взглядов, я увидел удивительную картину.

Тело дяди лежало на земле с широко раскинутыми ногами. Та, что короче, находилась дальше от нас, чем здоровая. Вокруг ступни валялось около дюжины мелких блестящих круглых предметов, сверкающих в лучах пробивающегося сквозь открытую дверь света. Схватив фонарь, главарь ярко осветил привлекший всеобщее внимание участок. В падении толстая деревянная подошва раскололась, и стало ясно, что она представляла собой тот самый тайник, в котором дядя хранил свои ценности. Дорожка была буквально усеяна сияющими драгоценными камнями. Три из них поражали необыкновенно крупными размерами, а еще десятка четыре также представляли довольно большую ценность. Матросы вместе с капитаном кинулись на четвереньках собирать добычу, и в это время мой «адвокат» с серьгами незаметно дернул меня за рукав.

— Это твой единственный шанс, — прошептал он. — Катись отсюда, парень, пока не случилось чего плохого.

Очень своевременное предложение, незамедлительно принятое мною к исполнению. Несколько осторожных шагов в сторону — и вот я уже выскользнул из освещенного пятна незамеченным, а затем пустился наутек. Я бежал, спотыкаясь и падая, поднимаясь и падая вновь, а если кто удивится попробуйте пробежать сами хоть немного по пересеченной местности со связанными руками. Я бежал и бежал, пока у меня не перехватило дыхание, а ноги устали до такой степени, что еле волочились. И тут выяснилось, что никакой нужды в столь поспешном бегстве вовсе не было. Когда я остановился перевести дух, достаточно далеко, по моим расчетам, убежав от дядюшкиного дома, и оглянулся назад, то увидел в отдалении мерцающий фонарь и контуры тел окруживших его матросов. Спустя несколько секунд фонарь внезапно погас, оставив меня в кромешном мраке посреди высохшего торфяного болота. Связали меня так крепко и профессионально, что прошло не менее получаса, прежде чем, ценой невероятных ухищрений и одного сломанного зуба, мне удалось все же освободиться от пут. Первоначальным моим замыслом было вернуться на ферму Перселла, но в темноте под беззвездным небом нельзя было отличить север от юга, так что пришлось мне несколько часов до рассвета бродить среди блеющих овечьих отар, не имея ни малейшего представления, куда, собственно, я направляюсь. Но вот, наконец, на востоке слабо разалелся край неба, и в предрассветных сумерках я обнаружил, что нахожусь совсем рядом с той самой фермой, к которой стремился всю ночь. В свете приближающегося дня проявились волнообразные просторы покрытых предутренним туманом торфяников, уходящих к самому горизонту, и я с удивлением заметил чью-то фигуру, бредущую в том же направлении, что и я сам. Поначалу я приближался к незнакомцу с некоторой опаской, но вскоре, еще не догнав его, узнал по сутулой спине и прыгающей походке старого Еноха. Трудно передать, как я обрадовался, увидев его живым. Он поведал мне, что бандиты оглушили его, избили, отобрали плащ и шляпу, и всю ночь он странствовал в темноте, как и я, не зная, куда податься и у кого искать помощи. Узнав от меня б смерти хозяина, старый слуга расплакался. Он сидел среди голых камней и рыдал взахлеб, судорожно сотрясаясь всем телом от приступа старческого кашля и икоты.

— Эти люди — они из команды "Черного Могола", — сказал он, немного успокоившись. — Я знал, я всегда знал, что они прикончат его рано или поздно!

— Кто они такие? — спросил я.

— Что ж, вы все-таки его родственник, — помявшись немного, начал старик. — Хозяин умер, и дело это наконец-то закончилось. Никто не расскажет вам обо всем лучше меня. Другое дело, останься он в живых: без хозяйского приказу старый Енох и рта бы не раскрыл. Но раз уж вы, стало быть, покойному племянником доводитесь, да в трудную минуту не погнушались ему на помощь явиться, то я так считаю, мастер Джон, что вам следует об этом знать.

Вот как было дело, сэр. Дядюшка ваш имел бакалейную торговлю в Степнее, как вы, наверное, знаете, но, помимо торговли, занимался еще кое-чем. Он покупал и продавал разные вещи, никогда не спрашивая при покупке, откуда что взялось. В конце концов, зачем спрашивать людей о том, что его лично не касается? Если кто-нибудь приносил ему камушек или серебряное блюдо — какое ему дело, где продавец все это взял? Здраво рассуждая, так и надо себя вести, а парламенту следует принять закон на этот счет — я всегда говорил об этом покойнику. Как бы то ни было, а в Степнее такой порядок всех устраивал.

Ну так вот, один пароход, шедший из Южной Африки, взял, да и потонул. Так оно было или нет, но Ллойд страховку заплатил. Поговаривали, что на нем везли крупную партию первосортных алмазов. Вскоре после этого в Лондонский порт прибыл бриг "Черный Могол". Бумаги у него были в полном порядке, и по ним выходило, что он доставил из Порт-Элизабет груз кож. Капитан брига, которого звали Элиас, явился к хозяину, и как вы думаете, что он предложил ему? Клянусь своей грешной душой, сэр, это были алмазы, точь-в-точь такие, что потонули вместе с тем африканским пароходом. Как они попали к нему в лапы? Я не знаю. Хозяин тоже не знал, да и не особенно интересовался. У капитана были свои причины не держать их при себе, вот он и отдал камни хозяину, ну, вроде как вы, к примеру, кладете что-нибудь в банковский сейф. Со временем ваш дядюшка привык к ним и даже полюбил. Вот тогда-то у него стали возникать те самые вопросы, которых он прежде не любил: в каких местах, например, побывал "Черный Могол", и где его шкипер заполучил алмазы. Короче говоря, когда Элиас пришел за своими камушками, хозяин заявил ему, что предпочитает с ними не расставаться и что у него в руках они вроде как целее будут. Вы не подумайте только, что я тогда одобрил его поступок, но хозяин уперся и высказал все это шкиперу прямо у себя в лавке, в задней комнате. Ну, а в результате получил перелом ноги и три сломанных ребра.

Капитана Элиаса осудили за это дело, а хозяин, как только поправился, решил, что в ближайшие пятнадцать лет ему не о чем беспокоиться. Из Лондона, правда, пришлось убраться — хозяин все же побаивался матросиков — да только мало это ему помогло. Элиас

вышел на свободу всего через пять лет и сразу начал охотиться за вашим дядюшкой вместе с теми из прежней команды, кого он сумел собрать. А вы еще предлагали полицию вызвать! Тут с какой стороны ни глянь, а полицию хозяину звать было так же не с руки, как и Элиасу. И все-таки они его обошли по кривой и одолели, как вы сами видели, сэр. Он надеялся, что в безлюдном месте сможет отсидеться в безопасности, а на поверку вышло, что безопасность эта дутой оказалась. Эх, да что говорить! многих людей покойник обидел. А вот ко мне всегда хорошо относился, и навряд ли я когда-нибудь сумею отыскать другого такого хозяина.

Несколько слов в заключение. Одномачтовый тендер, несколько дней болтавшийся близ берега, был замечен в то утро идущим против ветра в Ирландском море. Можно предположить, что судно имело на борту Элиаса и его сообщников. Во всяком случае, больше никто и никогда о них не слышал. На дознании выяснилось, что последние годы дядя влачил довольно убогое существование, и после него почти ничего не осталось. Судя по всему, сознание обладания таким сказочным сокровищем, постоянно хранимым им в не совсем обычной манере на собственной персоне, являлось единственной настоящей радостью в жизни покойного. Насколько мы смогли выяснить, он ни разу не попытался реализовать даже малую часть своих алмазов. Таким образом, прожив жизнь с подмоченной репутацией, дядя и после смерти не сумел восстановить свое доброе имя в глазах родственников, не оставив никакого наследства. Последние, в равной степени шокированные как обстоятельствами его гибели, так и его порочным образом жизни, постарались как можно скорее изгнать из семейных анналов всякое упоминание и саму память о колченогом бакалейщике из Степнея.

*1898 г.*

**Гостиница со странностями**

В те самые мгновения, когда вечернее солнце — неизменный компаньон путника, спешащего к началу очередного художественного повествования, опускалось за линию горизонта, вдали показалась сельская гостиница, которая, судя по всему, и должна была дать мне приют на ночь.

Подобно заблудшему ягненку или потерявшемуся младенцу, одинокий постоялый двор на обочине являл собой печальное зрелище. При виде его так и слышалось — то ли жалобное блеяние, то ли детский плач. По своей унылой заброшенности с такими гостиницами сравнится разве что Стоунхендж. В недавнем прошлом — храмы британского гостеприимства, сегодня они способны завлечь разве что самого любопытного.

Вблизи бэйтаунской гостиницы не наблюдалось заливов, и только наивный путник решился бы назвать «городом» близлежащую деревушку. Домик бурым пятнышком пригрелся на склоне холма. Восточная сторона его уже погрузилась в сизовато-серый полумрак; последние лучи заката, в которых все еще грелись отдаленные равнины, освещали строение с запада — казалось, холодный багрянец загасил в нем последнюю искру жизни. Жуткие истории, место действия которых — полузаброшенная придорожная гостиница, одна за другой стали приходить мне на память.

Между тем, солнце, кажется, решило задержаться на небосклоне и дало мне возможность достичь цели под своим покровительством: так, догорающая свеча отчаянно вспыхивает в последний миг ради того лишь, чтобы помочь читателю одолеть заключительные строки книги.

Благосклонность светила не осталась с моей стороны незамеченной: я решил, что внимание его заслуживает по меньшей мере того, чтобы им воспользоваться, пришпорил коня и вскоре бросил поводья у самого дома. А красный шар, оставив после себя лучезарный шлейф, удалился за горизонт, и мне подумалось, что в свое время земные монархи, решая вопрос о необходимости мантий, по которым стекали бы в бренный мир остатки монаршего сияния, явно пошли на поводу у небесной моды.

Но найдется ли на земле монарх, способный, подобно солнцу, с такой легкостью рассыпать свои цвета вдоль горизонта? Сомкнутые ряды облаков, величественно проплывая там, где только что опустилось светило, не помешали последним его лучам достичь самых высоких верхушек деревьев: счастливейшие листики, поймав остатки царственного сияния, заискрились, словно россыпь отполированных золотых монет.

Красоту представшей предо мной картины я мог бы воспевать до бесконечности, ибо склонность к рефлексиям такого рода сродни привычке к табаку и жертву свою порабощает целиком и полностью. Ну, и подобно курильщику, который никогда не держит в своей коробке менее одной сигары, обладатель развитого воображения всегда найдет в запасе две-три мысли глобального характера, достойные всяческого поощрения и развития. Размышления сии были, однако, прерваны появлением конюха: выйдя из гостиницы, он приблизился к моему коню и положил руку на уздечку с выражением одобрения на физиономии.

— Хорошая сегодня погода, сэр. А вот завтра сыровато будет.

— С чего ты взял? — спросил я.

— Взгляните на те облака, сэр. Да нет, упаси Боже, не там, где закат, а напротив. Видите, как их там плотно сбило — аж посинели, словно заплесневелый сыр. Ну, так если ночью гром не грянет, считайте, в жизни своей я не видел настоящей грозы. Заходите, сэр. Дадим пристанище коню и властелину, как сказал бы поэт.

— Местечко тут у вас невеселое, — заметил я не слишком почтительно.

— Отнюдь, сэр. Дважды в неделю мимо нас валит народ в Вукль, что в двух милях отсюда. После чего отваливает обратно — по закону природы, согласно коему, как говаривал мой папаша, река мокра хотя бы в устье. И верно, не много лестных слов могли бы мы сказать о реке, которая, вздумав впасть в океан, высохла бы вдруг у истока. "Благотворительность начинай в доме своем", — как говаривала моя мамаша.

— Бабушка твоя ничего такого на говаривала? — поинтересовался я как можно более дружелюбным тоном. Конюх бросил на меня хитрый взгляд.

— Помнится, сэр, говорила она, будто бы вежливость сама себя вознаграждает. По моему же скромному разумению, лучшее для нее вознаграждение — хорошая промывка пищевого тракта, по которому следует она к месту назначения.

— На трезвенника ты не похож, — заметил я, шаря по карманам и разглядывая между делом красноватый нос своего нового знакомого. — Скажи, а, кроме тебя, еще хотя бы одна живая душа тут обитает? Дело в том, что мне хотелось бы получить у вас ужин и комнату на ночь.

— Хозяин пошел проведать свиней, — сообщил конюх, ловко подхватывая мою подачку. — А Саймон… Не знаю я, где Саймон. Эй, Саймон! — заорал он, обращаясь к пустому пространству. — Ты нам нужен!

Вопль затих, не встретив ответа.

— Похоже, он не идет к нам, сэр, — заметил конюх по прошествии трех безмолвных минут.

— Похоже, что так, — ответил я. И верно, лишь обладатель самого живого воображения мог предположить, будто кто-то внезапно появится среди ужасающей тишины, безмятежность которой однажды нарушило жужжание навозной мухи, спикировавшей из ниоткуда мне прямо на нос.

— А не мог бы ты сам проводить меня в дом? — спросил я, заметив, что конюх рупором сложил ладони и готов испустить еще один вопль.

— Ну, конечно. — Он быстро опустил руки. — Пройдемте сюда, сэр. Надеюсь, вы не обидитесь на один добрый совет: не попадайтесь на пути вон тому козлу. Он, бедолага, всегда бодает незнакомцев.

Я охотно согласился не обижаться на этот дельный совет, мысленно усомнившись, правда, в том, что именно козел, а не его жертвы заслуживают столь трогательно выраженного конюхом сочувствия. Споткнувшись о доску, которая отправила мою шляпу в долгий полет, завершившийся в бочке с грязной водой, я относительно благополучно добрался до двери гостиницы и оставил таким образом грозного козла в далеком тылу.

— Но во имя грома небесного, с какой стати козла и бочку с грязной водой вы держите перед самой дверью? — воскликнул я, не слишком удачно, может быть, подобрав выражения.

— Как говаривал мой школьный учитель, сэр, — усмехнулся конюх, — что козел, что бочка — один черт: имя существительное.

— Черт бы побрал твоего школьного учителя! — раздраженно вскричал я.

— К сожалению, ваше пожелание запоздало, — ответствовал конюх. — Он уже опочил.

Я подобрал свою подмокшую шляпу, не пытаясь выказать при этом особого изящества манер, и последовал за своим провожатым в гостиницу. Здесь он и оставил меня, жизнерадостно пообещав напоследок, что если застенчивый Саймон в скором будущем не появится, то придет сам хозяин — как только расстанется со своими свиньями. Судя по безмолвию, коим сопровождал свое отдаленное бытие загадочный Саймон, мне предстояло набраться терпения. Оглядевшись, я принялся исследовать помещение, как если бы сам и являлся его новым хозяином.

Огромная мрачная комната, похоже, сумела вместить в себя весь мебельный антиквариат графства. Стулья, на одном из которых я не преминул расположиться, скрипели так, словно заранее желали предупредить: никого, кроме разве что привидения одного из бывших хозяев, выдержать они больше не в силах. Старое зеркало над треснувшим камином изошло в рыданиях: некогда сиявшая поверхность была сплошь покрыта мутными разводами. Букетики павлиньих перьев в паре почти античных ваз покачивались, словно плюмаж катафалка. Несколько гравюр — несомненно, очень старых, но вряд ли обладавших иным достоинством, вжались в стены, как бы норовя скрыться с глаз, чем у зрителя вызывали лишь благодарность, ибо выполнены были ужасно. Только на одной из них можно было разглядеть нечто существенное, а именно подобие головы и в некотором отдалении от нее — хвост. Вероятно, ценителю искусства с богатым воображением и склонностью к фантазиям на сельскохозяйственные темы предлагалось заподозрить в этой тусклой мазне намек на веселящегося барашка.

Ткань дивана, пораженного какой-то древесной болезнью, характерной для репса и красного дерева, была сплошь усыпана грязно-белой гнилью: нечто подобное можно было бы получить

из шерсти живописного барашка, если бы извалять его предварительно в грязной канаве.

Центральное место в комнате занимал шифоньер, забитый фотографиями на разных стадиях тления, с увесистой библией наверху. Для полноты инвентарной картины стоило бы упомянуть еще чучело собаки, скамеечку для ног и пару элегантно-хилых кресел.

Раздался неуверенный стук в дверь.

— Войдите! — заорал я, полагая, что столь слабый сигнал требует самой энергичной реакции: ничто иное подателя сего явно не удовлетворит. Отворилась дверь и передо мной предстал слуга. Спина его была, по-видимому, не намного крепче спинки стула, которая неохотно меня поддерживала. Похоже было, что в глубоком детстве из несчастного извлекли позвоночник, но, освоившись, он затем искусно овладел целым набором изощренных конвульсий, помогавших ему держаться более или менее вертикально. Слуга передвигался с врожденной элегантностью гусеницы, причем густая поросль на руках усиливала это не слишком приятное сходство. Я радостно поприветствовал гибкого человечка. Он же, открыв дверь и почти ползком перебравшись через порог, изрек с тихой загадочностью:

— Итак, сэр? — после чего смерил меня таким взглядом, словно пытался оценить трудность очередного возникшего перед ним препятствия.

— Итак, сэр? — эхом отозвался я, заинтригованный мыслью о том, что же он мне на это скажет.

— Итак, сэр? — мой собеседник явно мучим был тем же вопросом.

— Тебе больше нечего мне сказать?

— Нечего, сэр, — признался человечек с возмутительной покорностью.

— Так уж и нечего? — вскричал я, раздражаясь.

— Миссис приказала спросить у вас, не собираетесь ли вы остаться тут на ночь.

— Ну вот, а говоришь, сказать нечего.

— Господь с вами, так ведь и нечего же, — очень серьезно отвечал слуга. — Своих слов у меня нет, сэр, да и не было никогда.

Я взглянул на собеседника и преисполнился раскаянием: слова его, мысли, время — все принадлежало другим. Заметив мой сочувственный взгляд, слуга готов был уже улизнуть, но я вовремя его окликнул.

— Можешь сказать своей хозяйке, что я действительно намерен остаться здесь на ночь. И… в чем дело?

Слуга… расплакался!

Некоторое время я глядел на него в немом изумлении. Потом мне стало не по себе. Я закрыл глаза и крепко сомкнул веки в надежде вернуть себе ощущение реальности. Тест оказался напрасным. Итак, слуга этой провинциальной гостиницы за очень короткий срок успел продемонстрировать по меньшей мере две уникальных способности: извиваться подобно червю и рыдать. Причем, и то и другое давалось ему с такой легкостью, что было очевидно: для него это дело привычное.

Я сунул руки в карманы (ибо нет лучшего способа стать в позу хозяина положения) и тут же почувствовал себя маленьким Наполеоном.

— Итак, дружок, что ты этим хочешь сказать? Ежели ты — прохвост, то разоблачен будешь немедленно; ежели просто болван…

— Господь с вами, сэр, — смущенно прервал мою речь слуга, — я не сумасшедший. Но клянусь жизнью, в доме нет свободного места. Мы ведь все здесь ночуем. У нас никогда не останавливались незнакомцы.

— Тем не менее, хозяйка направила тебя сюда, чтобы спросить, не собираюсь ли я остаться на ночь?

— Нет, в том-то все и дело! — вскричал слуга и в горестном отчаянии принялся извиваться

пуще прежнего, как если бы я неосторожным движением придавил ему одновременно все нервные окончания. — Она сказала, что на ночь вам тут остановиться нельзя. Но я забыл, я все перепутал. О, горе мне!

— Хватит дурить, — перебил я его. — Показывай мне свою комнату. Я готов…

Человечек смерил меня диковатым взглядом.

— Но у меня нет ничего своего в этом мире, сэр! — медленно произнес он. — Тут все не мое!

Более нелепую ситуацию трудно было себе вообразить. Не отказаться ли, пока не поздно, от планов, связанных с бэйтаунской гостиницей? — пронеслось у меня в голове.

— Со спальнями все ясно. Где тут у вас чердак?

Ответом мне была гримаса полнейшего недоумения, за которой, как ни ужасно, присутствия какого бы то ни было скрытого смысла даже и не угадывалось.

— Слушай, хотя бы это ты должен знать, — простонал я умоляюще. Но и вторая попытка оказалась безрезультатной — на этот раз из-за появления на пороге плотной и достаточно представительной фигуры с круглой, как шар, головой, уютно утопленной в мягкой фетровой шляпе, смысл земного существования которой явно сводился к отчаянному стремлению не лопнуть по швам от постоянного внутреннего давления. Усилия эти можно было считать успешными лишь отчасти: кое-где в шляпе уже зияли несносные дыры.

— Вы — хозяин дома? — поинтересовался я у третьего персонажа этой почти призрачной галереи.

— Полагаю, что так, — со смехом ответил тот, — Толстоват для столь хилого местечка — это вы хотите сказать, сэр?

Не дождавшись ответа, но заметив, вероятно, в своей реплике (смысл которой, впрочем, ускользнул от моего понимания) проблески остроумия, владелец дома принялся хохотать, да столь энергично, что глядя со стороны, можно было предположить, будто с ним случился припадок. Слуга перестал плакать; хозяин продолжал смеяться — ну, и мне не удалось сохранить бесстрастное выражение лица.

Спустя несколько минут, вдоволь нахохотавшись, весельчак поинтересовался наконец, что мне угодно.

— Мне было бы угодно получить тут на ночь комнату, — проговорил я с некоторой осторожностью, заранее опасаясь, что, услышав предположение такого рода хозяин может по примеру слуги взять, да и разрыдаться.

— Комната готова, — немедленно отвечал тот. — Ну-ка, Вертлявый, пойди и попроси мадам поторопиться. Вертлявый мигом исчез.

— Этот слуга у вас… — начал я.

— Гибковат местами? Ха-ха! — Хозяин жизнерадостно потер ладони. — У каждого из нас есть где-то мягкое место — верно я говорю, сэр? У одного голова, у меня вот — сердце.

Я поздравил хозяина с тем, что ахиллесова пята нашла в его организме столь достойное вместилище и спросил, действительно ли во всем доме для гостей держат только одну комнату.

— Только одну, сэр. Источник наших доходов — рыночные торговцы. Не так уж часто наш дом удостаивают посещением джентльмены столь неоспоримых достоинств, как вы, сэр. Есть у нас еще чердачок, с которого, как говорят, открывается неплохой вид на Луну. Ха-ха-ха! Мы называем его верхним этажом, сэр!

Как может человек так много смеяться без причины? — мысленно спросил я себя и… обнаружил, что сам потихоньку посмеиваюсь. Объединив усилия, мы с хозяином некоторое время сотрясались телами так, что иной мизантроп, глядя на эту сцену со стороны, решил бы, что тут сошлись два эпилептика.

— Ну вот, и пошутили на славу! — хозяин потер ладони с удовлетворением торговца, только что заключившего выгодную сделку.

— Капитально! — отозвался я.

— Не каждый день выпадает такая удача, — мой собеседник явно вошел в роль коммивояжера.

— Да уж, это точно, — отозвался я сердечно.

— Если вы еще и в вине, сэр, разбираетесь так же хорошо, как в шутках, значит, судьба подарила мне встречу с поистине знающим человеком.

Я благосклонно принял этот деликатный намек, и некоторое время спустя мы с хозяином уже сидели в маленькой гостиной; бутылка кларета если и представляла для нас барьер, то не слишком серьезный: так гальваническая батарея разъединяет экспериментаторов, вздумавших ухватиться за концы проводов. В беседе я наметил для себя тайную цель. Дело в том, что время от времени мне начинало казаться, что хозяин себе на уме. То и дело среди бесконечных всплесков буйного веселья я ловил на себе косой взгляд, исполненный тревоги и недоверия. Но как художнику не дано запечатлеть на холсте молнию в момент ее появления, так и я не в состоянии был разгадать истинного смысла этих не слишком приятных мгновений.

Мы проговорили довольно долго: я решил, что беседа — лучший способ скоротать время до ужина. Хозяин оказался чуть менее заинтересован в беседе: кухня, судя по всему, волновала его не меньше, и он несколько раз отлучался, чтобы проверить, как там идут дела. Я оставался ждать его возвращения — и по известному закону природы, согласно которому сильная воля всегда одерживает верх над слабой, — своего добивался: хозяин возвращался, причем каждый раз с новой шуткой на устах. Явно пересмеявшись — исключительно ради того, чтобы доставить ему удовольствие, — я стал все чаще подумывать о еде: за ней можно было провести по меньшей мере несколько серьезных минут. Вскоре источник моего красноречия иссяк окончательно, а ужин все не несли.

Тем не менее, мне удалось разузнать массу мелких деталей. С энтузиазмом прирожденного антиквара я расспросил хозяина обо всем, что касалось истории дома, и тот охотно поделился со мной своими воспоминаниями. Я спросил, не позволит ли он мне осмотреть строение. Хозяин радушно пообещал провести для меня экскурсию после еды. Но прежде… "Хорошо бы, предстоящая трапеза обострила мои чувства вместо того, чтобы вогнать в сонливость", — подумал я.

Пока в ту комнату, где я оказался в самом начале, вносили ужин, в голове у меня вертелся вопрос: как все-таки мне разгадать хозяина? Проникнуть под оболочку напускной веселости всегда непросто: хитрец куда чаще выдает себя, когда он серьезен. В облике моего собеседника, однако, незаметно было ровно ничего таинственного. Скелет, если верить пословице, можно найти в темном чулане… Но кости, торчащие из котла, бурлящего буйным весельем? Нет, это было бы слишком.

В общем, я решил, что разгадаю тайну дома, чего бы мне это ни стоило пусть даже ценой появления новых, еще более неразрешимых вопросов. Робости, к счастью, во мне не было. Но, не зная с чего начать, я впервые в жизни поймал себя на мысли, что ни к одному из ныне здравствующих политических деятелей не испытываю больше зависти.

Ужин оказался превосходным. Каждое из блюд благоухало изысканнейшими ароматами, так что не отдать должное хозяйскому усердию было никак нельзя. Мог ли я предполагать, что в таком захолустье мне доведется насладиться шедеврами поварского искусства? Хозяин объяснил свое мастерство тем, что некогда работал учеником у известного кулинара. Нелегко подозревать в дурных намерениях человека, только что потчевавшего тебя прекрасным ужином. Как только Вертлявый, передвигаясь подобно штопору, вынес последнюю пустую тарелку, я задымил сигарой и принялся глубокомысленно вышагивать по комнате.

"Каков фантазер! — начал я монолог, как бы мысленно обращаясь к невидимому другу. — В один прекрасный день ты и в сахарнице найдешь привидение. Нет, ну до чего же мнительный тип! Вспомни напоследок грибной омлет и обо всем остальном позабудь. Ф-фу! Любой здравомыслящий человек согласится с тем, что все это — чистейшей воды домыслы!"

В тот самый момент, когда мой монолог достиг кульминации, дверь зловеще скрипнула. Внутреннее равновесие мое оставалось непоколебимым. Дверь, в отличие от последнего, обнаружила признаки подвижности, повернулась на петлях, и — на пороге возник Вертлявый.

Будучи уже достаточно осведомлен о характере дома и нравах его обитателей, я не удивился тому, что он не заговорил со мной первым. Пару секунд слуга глядел на меня в величайшей задумчивости, но и в этом я не нашел для себя ровно ничего поразительного. Более того, мне удалось сохранить на физиономии подобающее случаю выражение серьезности — каждый, кто

достиг кое-чего в нелегком искусстве фотографироваться, поймет, о чем я говорю. С тем же торжественным выражением разглядывал меня и Вертлявый. Если бы не бурные извивания, его можно было бы принять со стороны за вдохновенного живописца, охваченного возвышенным стремлением как можно точнее изобразить мою физиономию на холсте.

Оставалось терпеливо ждать, пока сей оракул не начнет свое прорицание. Когда он открыл рот, я решил, что дождался наконец чего-то, заслуживающего самого пристального внимания, но… жестоко обманулся в собственных ожиданиях. Вертлявый вдруг повернулся ко мне спиной и принялся вытворять что-то с дверью — возможно, пытаться изнутри закрыть ее на наружный засов. Окриком я остановил эту деятельность. Некоторое время он стоял среди комнаты, извиваясь тихо, но с изяществом удава. Наконец, в кулаке своем я почувствовал его воротник.

— Итак, — начал я по возможности незлобиво, — будь так добр, объясни мне, что заставило тебя столь долго разглядывать мое лицо? Не понимаешь? Что такое в чертах моего лица требует столь пристального внимания?

— Миссис приказала мне пойти посмотреть на вас, — пробормотал Вертлявый и, явно расставшись с надеждой исполнить до конца волю хозяйки, скользнул к двери с легкостью масла, покидающего разогретый сосуд. — Только прошу вас, продолжал он, запинаясь, — миссис приказала мне не говорить вам о том, что мне на вас нужно посмотреть.

— И что же от меня требуется?

— Так вы ей не говорите. Когда она узнает, что я вам об этом сказал, то очень рассердится — если, конечно, вы ей про это расскажете.

Решив не внедряться в этот лабиринт местоимений, я посоветовал слуге убираться восвояси и заняться своими делами.

— Господь с вами, сэр, своих дел у меня не бывает, — заверил он меня, удаляясь.

Этот неожиданный визит нарушил весь ход моих благодушных размышлений, суть которых сводилась к попытке объявить аргументы внутреннего собеседника чистейшей фантазией. Зачем послали ко мне Вертлявого? Далеко не юноша, и уж во всяком случае не обладатель внешности Аполлона, я изначально не был предназначен природой для того, чтобы производить впечатление — пусть даже на домохозяек. Желая сделать мне комплимент, друзья в лучшем случае замечают, что с очками на носу я куда симпатичнее, и мне ничего не остается, как мысленно поблагодарить их за такую деликатность. Чтобы произвести на женщину хотя бы минимальное впечатление, я должен приложить к тому немало стараний. Нет, интерес хозяйки к моей скромной персоне, при всем желании, объяснялся отнюдь не моей наружностью, если даже предположить, что хозяйка ухитрилась рассмотреть меня из укромного уголка.

Вне всякого сомнения, дом хранил какую-то тайну (появление слуги окончательно в том меня убедило), и я уселся, чтобы самым методичным образом поразмыслить над возникшей проблемой. То и дело среди кошмаров, порожденных моей распаленной фантазией, всплывала физиономия хозяина, и вместе с ней возникал вопрос: может ли под столь добродушной личиной скрываться какой-нибудь ужас? Совершенно, казалось бы, исключено. И все же…

Глубокое раздумье — что плантация для фантомов. Последние чем-то напоминают грибы: уродливые, бесформенные, извивающиеся — они выползают из мрака совершенно внезапно. Прогреть бы жаркими угольками холодный сумрак, прогнать жуткие грезы и впустить в голову свежих мыслей… но нет, в комнате было слишком тепло, чтобы разводить огонь. Я вперил взгляд в решетку мертвого камина. Поглядел на мерцающее пламя свечей. Мысленно измерил собственную тень на стене. Пошагал немного по комнате. Присел поочередно на каждый стул. Открыл Библию и очень внимательно перечитал родословную Ноя, после чего, удовлетворенный доказательством полнейшей респектабельности этого славного героя древности, выпил за его долгую память.

А потом — то ли под воздействием винных паров, то ли увлеченный не на шутку библейским сказанием, — перелистал страницы вплоть до того места, где кончается Ветхий Завет и начинается Новый. Здесь глазам моим предстало описание еще одного генеалогического древа — не столь, может быть, древнего, как Ноево, но для меня в данной ситуации ничуть не менее интересного.

В Библию между Ветхим и Новым Заветами были вложены три узко разлинованных странички, озаглавленные: «Рождения», «Бракосочетания» и «Смерти». Строк тут размечено было

столько, что хватило бы на всех детей, произведенных Мафусаилом на свет за тысячу лет его существования. Предполагалось, что в доме будет зарегистрировано сорок рождений, сорок браков и столько же смертей. Щедро разметил свое будущее составитель сего реестра!

Но щедрость, подобно благотворительности, редко попадает на благодатную почву. Лишь три оазиса виднелись в этой регистрационной пустыне — по одному на каждом листочке. В этих крупных нервных каракулях без труда угадывался почерк хозяина. Давно замечено: веселые и не слишком обремененные образованием люди склонны проявлять волнение в одном только случае: когда судьба вынуждает их сесть за стол и взяться за перо. Изучение реестра я начал с конца. В графе «Смерти» было записано: "Моя матушка, Элизабет Энн Ферн, мирно скончалась 20 января 18... года. Кончина ее была тихой."

Под заголовком: «Бракосочетания» значилось: "10 сентября 18... года я, Томас Ферн, холостяк, в приходской церкви Бэйтауна сочетался браком с девушкой Мэри Секстон. Пусть долгие годы жизни не заставят нас пожалеть о содеянном!"

Я взял листок рождений. И тут была одна только запись: "В этот день, 9 августа 18... года, я, Томас Ферн, с радостью свидетельствую о появлении на свет дочери. Имя ее — Люси."

Это произошло через 11 лет после женитьбы. Я захлопнул Библию. Простые и практичные заметки были вполне в духе моего веселого хозяина. Вновь ощутив некоторое облегчение, я подумал, что неплохо было бы проверить, здесь ли находится ребенок, а потом, возможно, как и подобает пожилому джентльмену, обожающему детей, пригласить ее к шутливой беседе.

Выйдя из гостиной я в низком коридорчике столкнулся с первым своим здешним знакомым — конюхом. Он бежал через весь дом к парадному входу и решил, видимо, проскочить сквозь меня, как если бы я был привидением — во всяком случае, препятствием эфирной природы.

— Точное попадание, сэр, — прокряхтел конюх, потирая лоб в точке соприкосновения с моей головой.

— Поразительная меткость, — в тон ему отвечал я, стараясь ничем не испортить возникшей вдруг атмосферы поистине братского дружелюбия.

— Этот чертов козел опять убежал, сэр, и я...

— Решил убежать вслед за ним, — подхватил я понятливо. — Так ведь и молодец! Пора бы уж мне привыкнуть к тому, что все в этом доме сопротивляется естественным законам природы. Могу я чем-то тебе помочь?

— Да вот, знаете ли, на дворе буря разыгралась, — заметил конюх, быстро погружаясь в знакомое мне философическое настроение, — а козел этот — наш вечный странник. Трудно сыскать ему равного по любви к прогулкам. — Он понизил голос до выразительного шепота. — Эта тварь одержима нечистой силой, сэр, уж можете мне поверить!

— Да что ты говоришь? — удивился я, принимая вид человека, пораженного ужасным открытием.

— Факт, сэр! С тех пор, как... Э, да нет: если переступлю порог с мыслями о привидениях, точно не доберусь до пруда Дичли.

— Если козел у вас действительно такой уж завзятый путешественник, каким ты его расписываешь, то почему бы не предоставить ему возможность найти дорогу назад самостоятельно?

— Храни вас Бог, сэр, за такую наивность. Миссис ни на минуту не успокоится, пока этот козел бродит на стороне. С тех пор, как...

Он вновь осекся на полуслове.

— Итак, с тех пор, как... — я ободряюще кивнул.

— Ну нет, ни слова больше! — вскричал конюх, с неожиданной решимостью застегивая ворот. — Не самое подходящее воспоминание для темной ночи. Не хотите ли прогуляться, сэр? Полагаю, он не успел еще добраться до пруда Дичли. Козел, а вот ведь как к воде его тянет — что твою водяную крысу.

— И как далеко отсюда этот пруд? — спросил я, будучи в некотором сомнении.

— Не более двух миль, сэр. Обратный путь, думаю, будет длиннее, поскольку эту тварь придется тащить насильно. Когда видишь козла, упирающегося в землю всеми четырьмя копытами, невольно приходит в голову мысль: и на кой черт ему их столько?

— И что же, хозяйка отправила тебя за козлом в такую бурю?

— Тс-с! Мы никогда не признаемся ей в том, что козел потерялся, — до тех пор, пока его не разыщем. Иначе мадам тут же окажется в том неопределенном состоянии, что между обмороком и истерикой. Ну, так я мигом его настигну, а вы, сэр, ежели опасаетесь, что шляпа поутратит свой блеск, оставайтесь, пожалуй, здесь, ибо тучи водой брызжут что твои пузыри — аж посинели от натуги.

Последний довод показался мне достаточно убедительным, и я, руководствуясь исключительно интересами своей сияющей шляпы, отказался от перспективы провести остаток вечера в погоне за козлом. Бодро пожелав мне спокойной ночи, конюх открыл дверь. Снаружи лило, как из ведра. Мощным порывом ветер ворвался в дом и, обдав меня брызгами, принялся стенать и вздыхать в узком коридоре. Только я собрался уговорить конюха отложить поход до лучших в климатическом смысле времен, как он шагнул через порог и был таков, Я открыл дверь, что-то крикнул ему вослед, но услышал в ответ лишь завывание ветра, да звуки удаляющихся шагов. "С тех пор, как..." Интересно, услышал бы я продолжение этой загадочной фразы, если б пошел вместе с конюхом? Судя по решимости его тона, вряд ли. Кроме того, застарелый ревматизм вынуждал меня почти инстинктивно сторониться всякой сырости.

Что ж, оставалось только выследить хозяйку этого славного заведения. Если она окажется личностью столь же диковинной, как и прочие его обитатели, можно будет считать, что квартет удался на славу. Кроме того, в доме должен был находиться еще и ребенок, а где же и быть ему еще, как не подле матери? Я проследовал по кривому коридорчику, соединявшему черный ход с парадным, очень внимательно глядя перед собой — на случай, если Вертлявого отправят куда-нибудь со спешным поручением и ему также удастся "точное попадание", по меткому выражению конюха.

Тускло освещенный коридор явно рассчитан был на завсегдатая, изучившего тут каждую половицу: неудивительно, что я дважды споткнулся в самых темных его углах. Но впереди слышались голоса, и на пол из приоткрытой двери падала полоска света, источником которого, судя по характерным красноватым сполохам, был камин. Голоса, словно выплывавшие во мрак по световой дорожке, звучали дуэтом: в нежную женскую трель неуклюже вписывался мужской бас.

Я продвигался вперед осторожно, но не воровски: когда не уверен в том, какой прием тебя ожидает, всегда лучше топать погромче. Судя по тому, что голоса вдруг смолкли, мои ботинки сделали свое дело. Я прошел еще немного, распахнул полуоткрытую дверь и оказался лицом к лицу с супругой хозяина и Вертлявым.

Последний подвергался допросу: выражение его лица свидетельствовало об отчаянной попытке вспомнить что-то важное. Мое появление слуга воспринял с нескрываемой радостью — во всяком случае, на дверь он бросил такой взгляд, каким грабитель благодарит табличку с надписью "черный ход", за которой его ждет оживленная городская улица. Женщина поднялась, а я весьма бесцеремонно переступил порог.

Стучать я не стал вполне осознанно, и все же одной только решимости оказалось мало, чтобы подавить ощущение вдруг возникшей неловкости. Смущение мое лишь возросло после того, как я взглянул на хозяйку внимательнее. Вместо дородной дамы свойских манер с цветущей физиономией передо мной предстала женщина, которая в любом обществе была вправе рассчитывать на самое уважительное отношение. Спокойствие и решительность, чувство собственного достоинства, светившееся в каждой черте ее смугловатого лица, производили достаточно сильное впечатление. Мое умышленно невежливое вторжение вряд ли могло теперь быть оправдано смягчающими обстоятельствами: присутствие в комнате такой женщины делало мою фамильярность совершенно неприличной.

— Вынужден принести вам свои самые искренние извинения, — начал я как нельзя серьезнее. — Единственное готовое у меня на сей момент объяснение столь бесцеремонному вторжению состоит в следующем: услышав голоса, я захотел с кем-нибудь пообщаться.

— Ничего страшного, сэр, — несколько удивленно проговорила миссис Ферн. — Я готова поговорить с вами, если это действительно необходимо. Саймон, можешь идти.

Женщина говорила с шотландским акцентом. Возможно, именно происхождение и объясняло

отчасти некоторые особенности ее поведения. Саймон — он же Вертлявый — воспользовался разрешением с необычайной живостью, причем от восторга рискнул даже мне подмигнуть.

— Вам, наверное, одиноко, сэр? — спросила миссис Ферн с улыбкой, очень украсившей ее тонкие, четко очерченные губы.

— Жутко! Думаю, вы как никто другой можете это понять.

— Ага, уловили акцент? Но я не из Шотландии, хотя отец мой действительно приехал с Севера. Ужасно суеверный был человек и любил пугать меня сказками о феях, домовых и прочей нечисти, обитающей среди холодных горных вершин.

— Место, где вы поселились, вполне подходит для того, чтобы продолжить общение с миром духов, — заметил я. — Не сомневаюсь, что дом кишит привидениями. Вы чем-то взволнованы?

— Ничуть, — отвечала миссис Ферн с веселым смехом. — Да и вы, сэр, страхи свои явно преувеличиваете. Просто воображение у вас слишком развито, что для мужчин, вообще-то, нехарактерно.

— А вы, я вижу, увлекаетесь фотографией, — заметил я с улыбкой. Подтверждение тому я нашел и в гостиной.

— Что вы, сэр, это все муж. Терпеть не могу всякий хлам и обожаю, когда перед глазами — сплошь полированное красное дерево — если, конечно, таковое в комнате вообще имеется. Но мой муж обожает мусор, и с фотографиями своими не расстанется, наверное, ради даже самых расчудесных шедевров живописи.

— Ничего не поделаешь — любимое увлечение.

— Не совсем так, сэр. Это скорее… нежное сердце. Он разве не успел еще рассказать вам, что сердце — его слабое место? Ну, так это чистая правда, хотя, насколько я могу судить, характеризуя себя таким образом, люди далеко не всегда оказываются правы. Вещи очень быстро приобретают для него ценность в силу всего лишь каких-то ассоциаций, так что любую безделушку он готов хранить по той лишь причине, что она была с ним и прежде. Я-то мелочь всякую терпеть не могу. Но муж потакает моим слабостям, а значит, и я должна быть к нему снисходительна.

— Не знаю, миссис Ферн, вправе ли я — пусть даже ради того, чтобы выделить вас как приятное исключение, — критиковать представительниц вашего пола, но во всем, что касается понятий «дать» и «взять», женщины, как правило, не отличаются особой душевной щедростью.

— Вы женаты, сэр? — хозяйка взглянула на меня так спокойно и вместе с тем проницательно, что вопрос этот не показался мне неуместным.

— Ну нет, — рассмеялся я. — Могу похвастаться полным отсутствием каких бы то ни было увлечений — не считая, разве что, слабости к сигарам. Можете вы в такое поверить?

— Нет, не могу, — тихо, но твердо ответила она, не выказав при этом ни малейшего любопытства. После чего вернулась к прежней теме. — Видите ли, сэр, лишь человек, познавший тонкости супружеской жизни, вправе судить о том, что готова отдать женщина и сколько может она претерпеть так, что страданий ее никто не заметит. Простите меня, сэр, но вряд ли вы можете считать себя судьей в этом вопросе.

— Спасибо, что поставили меня на место, — ответил я. — Признаю за вами авторитет во всем, что касается брака. Но я, наверное, вас задерживаю — не говоря уж о том, что заставляю стоять? Ваш муж обещал провести меня по дому после ужина — показать кое-какие комнаты.

— Он будет здесь через минуту, — сказала миссис Ферн. — Не хотите ли присесть, сэр? Саймон, где Джордж?

Последние слова были адресованы Вертлявому, вернувшемуся в комнату с лопаткой угля. Не успел я удивиться тому, что столь почтенная дама, обращаясь к слуге, называет мужа по имени, как она со смехом обернулась ко мне:

— Ну, разумеется, я имею в виду не мужа, а конюха!

Я машинально кивнул и в очередной раз поразился проницательности этой женщины: конспиративная часть моего визита явно находилась под угрозой. Вспомнив о первоначальной

его цели, я ощутил неловкость.

Вертлявый стоял неподвижно, разинув рот, с лопаткой в руке. Хозяйка не стала гневаться, а просто спросила решительно:

— Ты что, Саймон, окончательно рехнулся?

Воспоминание о детской песенке, герой которой отказал в угощении Саймону, пожалевшему пенни, заставило меня рассмеяться, и это не осталось незамеченным.

— Пожалуйста, извините, — пробормотал я. — Всего лишь очередной фотографический отпечаток прошлого.

— Я вижу, у вас хорошая память, — улыбнулась она. — Итак, Саймон, где Джордж?

Вертлявый задрожал всем телом; после недавней своей встречи с конюхом я мог догадаться о причине его волнений.

— Ну же, Саймон! — резко повторила хозяйка.

— Он вышел, — выпалил несчастный слуга и затрясся так, что угольки из лопатки посыпались во все стороны.

— Эй, парень! — Миссис Ферн ухватилась за рукоятку, прекратив этот угольный град. — Ты в своем уме?

Швырнув угли в огонь, она ужаснула Вертлявого следующим вопросом:

— Зачем вышел Джордж? Он под таким ливнем и потонуть может.

— Умоляю вас, мадам, я не знаю, — заикаясь, солгал Вертлявый.

Наконец хозяйка его отпустила.

— Никогда не поймешь, что у этого несчастного на уме. Правду он говорит с таким видом, будто лжет. Выдумки же получаются у него вполне правдоподобно.

"Кого надеется она ввести в заблуждение таким объяснением, себя или меня?" — подумал я, но, бросив взгляд на спокойное, открытое лицо этой женщины, тут же укорил себя за подозрительность. В комнату вошел хозяин.

— Добрый вечер, сэр, — пробасил он раскатисто. — Как вам наш ужин?

— Не припомню более вкусного угощения, — ответил я. — В комбинационной кулинарии вы настоящий виртуоз!

— Мне ведь, сэр, пришлось однажды работать под началом у хорошего шефа. В чем дело, миссис? Что-то, я вижу, тебе взгрустнулось.

— Джордж вышел из дому, — недоверчиво проговорила хозяйка.

— Неужели? — мистер Ферн наклонился, чтобы зашнуровать ботинок. — Что ж, остается только благодарить Бога за то, что он у нас такой плавучий. Этот ливень, пожалуй, и рыбу утопит.

— Зачем он вышел, хотела бы я знать.

— Вот уж, понятия не имею, — ответил хозяин, увлеченный своим шнурком. — Он у нас парень с причудами. А причуды — дело такое: лучше им не мешать. Одной переболеешь, другой — глядишь, и полегчает.

Столь либеральное высказывание по упомянутому вопросу, похоже, не произвело на миссис Ферн должного впечатления. Я видел, что с губ ее готов был сорваться какой-то вопрос — более того, несколько раз она удержалась от него в самый последний момент. Я, разумеется, удалился бы, чтобы дать хозяйке возможность свободно высказать все свои сомнения, если бы не понимал при этом, что муж ее явно не в восторге от перспективы остаться тут в качестве единственного ответчика. Желая хоть как-то меня задержать, он потребовал у жены "пузырек сосудорасширяющего", выразив уверенность в том, что это средство "наверняка и труп вернет к жизни". Я заметил, что означенные твари могут услышать нас и явиться с ближайшего кладбища, дабы отведать чудесного эликсира, на что он со смехом предложил мне, как

потенциальному кандидату, оценить его свойства заранее.

Вино — сладкое, как «нуайо», ароматное, как «шартрез» — оказалось великолепным. Стоило мне, однако, заговорить о шартрезе, как тут же услышал легенду о старом монахе, которому приятели — за то, что он выдал секрет старого ликера, — придумали славное наказание: стали поить одним только этим самым ликером, пока бедняга не испустил дух.

— Лучшая диета из всех, о которых мне приходилось слышать, — заверил хозяин и пошел вставлять клинышек в расшатавшуюся оконную раму.

За то время, пока мы беседовали, буря усилилась. Словно вихрь дикой ярости вырвался вдруг из самого ее сердца: в том, как стучался ветер в окна и двери ощущалась почти личная ненависть ко всему живому.

Лицо хозяйки побледнело, тонкие губы сжались так, что стали почти незаметны. Муж отпил «сосудорасширяющего», поднес бутылку к свету и принялся восхищаться цветом вина с веселостью, показавшейся мне слегка наигранной.

Я сгорал от желания расспросить супругов о ребенке, но не знал, как перевести разговор на эту тему. Миссис Ферн была в черном платье, но без траурной повязки: ничто, кроме цвета, о трауре в нем не напоминало. В гостиной не видно было тех мелких деталей, что свидетельствуют о присутствии в доме ребенка. Тщетно искал я взглядом куклу или игрушку, ленточку или туфельку. Где находилась Люси Ферн? В гостях? В постели? Исключено. В самом облике супругов не было и намека на то, что мысли их заняты ребенком. В такую ужасную ночь родители не смогли бы оставить дитя; мать — да еще такая нежная и внимательная (черты лица миссис Ферн выдавали в ней присутствие этих качеств) — обязательно осталась бы у кроватки ребенка, напуганного буйством промозглого мрака.

Я выпил два бокала вина, и хозяйка принялась настойчиво предлагать мне третий, когда в заднюю дверь постучали и мистер Ферн пошел открывать. Вошел Джордж и вместе с хозяином в сопровождении Вертлявого проследовал в комнату. Миссис Ферн, уже опускавшая горлышко к моему бокалу, поставила бутылку на стол.

Хозяин снял шляпу и вновь натянул ее на голову, явно пытаясь преодолеть таким образом неловкость первого мгновения. Миссис Ферн пристально осмотрела Джорджа. Конюх промок с головы до ног: струйки воды с густых бровей стекали на широкое, чуть приплюснутое лицо, то и дело проникая в разинутый рот.

— Слушай, Джордж, — голос миссис Ферн прозвучал весьма резко. — Намок ты основательно, но воды, я вижу, наглотался мало! Подойди к огню, дружок, и дай-ка нам на тебя наглядеться.

Джордж без видимого удовольствия двинулся на осмотр, а я вновь не смог удержаться от улыбки. Жилистый конюх промок до нитки, короткий плащ его пестрел пятнами, дождевые капли всеми цветами радуги играли на рукавах. Выглядел он так, словно утратил внезапно какую-то часть человеческой сути, превратился в водоплавающее и теперь сам удивляется своему новому состоянию.

— Слушай, парень, — нетерпеливо продолжала миссис Ферн, — я вижу, ты решил в сообразительности переплюнуть даже нашего Саймона. Что вынудило тебя прогуляться в такую ночь?

Наступила тишина. Хозяин вспомнил о своем ботинке. Вертлявый начал медленно ускользать к двери. Джордж стоял неподвижно, опустив голову и глядя в пол. Я оставался единственным заинтересованным зрителем этой живописной сценки. Лицо миссис Ферн помрачнело: чистые серые глаза подернулись жарким туманом. Повернувшись в полоборота, она открыла дверцу буфета.

— Ну, конечно, — тихо и взволнованно заговорила она, — я так и знала. Джордж, ты привел его обратно?

Последние слова прозвучали слегка вызывающе; женщина вопросительно взглянула на конюха.

— Да, мэм, — ответил Джордж. — Я не хотел говорить вам об этом, пока не привел его, но Вертлявый — он же не удержит в себе ничего, что размером поболе воробьиного яичка.

Миссис Ферн снова взялась за бутылку. Рука ее была теперь не столь тверда, но она налила мне вина, после чего достала еще один бокал, наполнила его наполовину и подала конюху.

— Выпей, Джордж, и отправляйся в постель: Саймон высушит твою одежду. Ты славный малый. Козел в порядке?

— Да какая холера его возьмет? Он если и помрет, так только от упрямства — нам назло, — заверил всех Джордж с улыбкой. — Ни одна живая душа не в силах управиться с ним после того, как...

— Ну вот что, хватит! — воскликнул хозяин. — Кончай дрожать тут, парень, доживи сначала до моих лет — можешь потом заводить себе ревматизм.

Джордж, пожелав всем покойной ночи, отправился восвояси; за ним поплелся и Вертлявый. Странная грусть овладела хозяином, да и хозяйка показалась мне вдруг необычно суровой и опечаленной. Расспрашивать их в этот вечер я был не вправе. Миссис Ферн дала мне свечу и предложила показать спальню. Было еще достаточно рано, но возвращаться в гостиную, напоминавшую склеп, у меня не было никакого желания. Хозяин высказал уверенность в том, что сон мой будет спокоен и крепок — я ответил ему тем же. Миссис Ферн провела меня наверх, открыла дверь спальни и выразила надежду, что я не испытаю тут никаких неудобств. Ответив ей в том же духе, я остался наедине со свечой и собственными размышлениями.

Комната располагалась как раз над гостиной и была тех же размеров; более того, в четырех стенах ее царило то же уныние. Мебель тут казалась еще более обветшалой, а огромная кровать, подобно севшему на мель ковчегу, торчала прямо посреди комнаты. Я прошел по изъеденному червями полу к тому месту, где стоял мой рюкзачок и начал его расстегивать. Ремешки заскрипели, но одновременно раздался и посторонний скрип. Я подскочил к двери, распахнул ее, но ничего особенного за порогом не обнаружил. Из замочной скважины торчал старый ключ — слишком ржавый, чтобы стоило пытаться его повернуть. Засов отсутствовал, так что защититься от непрошенных гостей я мог лишь придвинув к двери стул и поставив на него два оловянных подсвечника в надежде, что пришелец, ворвавшись в комнату, по меньшей мере выдаст себя каким-то шумом.

Ураган усиливался с каждой минутой. Я отдернул шторы и попытался вглядеться в полузатопленную сельскую местность. Ливень обрушивался с небес сплошной водяной лавиной, но сквозь этот шквал местами проглядывал мрачный пейзаж и печальные в своем одиночестве гиганты-деревья. Вдали слабо мерцали огоньки деревеньки, но и они, казалось, вот-вот погаснут под яростным напором ветра. Поскольку вид, открывавшийся из окна, навевал в лучшем случае мысли о смерти, я вновь обратил свое внимание к интерьеру. В комнате, пусть даже защищенной от ливня и ветра, было не намного веселее, чем снаружи. Я поднял свечу и огляделся.

Стену украшала единственная картина. Точнее, увеличенная и раскрашенная фотография очаровательной девочки со светло-голубыми глазами, льняными волосами и милым личиком, в чертах которого угадывались и твердость миссис Ферн, и искреннее добродушие ее мужа. Вне всяких сомнений, я глядел на лицо ребенка, чью дату рождения мистер Ферн внес в регистрационный листок, найденный мною в Библии. На вид девочке было лет семь, но высокий лоб и светящиеся умом большие глаза свидетельствовали о том, что в интеллектуальном и духовном развитии она намного опередила свой возраст.

Необычайная яркость этого детского облика удивить меня не могла: мать Люси была женщиной выдающейся, пусть и надломленной обстоятельствами. Самый одаренный скульптор никогда не проявит себя, если заставить его всю жизнь заливать в формы металл. Условия жизни, которые уготовила судьба миссис Ферн, вряд ли могли способствовать развитию всех сторон ее оригинальной натуры. А ведь в иные времена она вполне могла бы оказаться в центре бурных событий, вызывая всеобщее восхищение и проявляя неженскую стойкость. Такой характер можно лишь уничтожить: подавить его невозможно.

Детский лик словно светился аурой надежды: казалось, юное существо это должно оставить в нашем мире заметный след, и речь его всегда будет слышна в гуле толпы. Но где она сейчас, эта девочка? Разве мать не должна всем сердцем любить такое дитя — лелеять этот уникальный росток, которому суждено расцвести в грядущем?

Пока за окном бушевал шторм, заснуть я, конечно, не мог. Откатив от стены диванчик, стоявший в одном из углов, я прилег и стал вслушиваться в дьявольские придыхания ветра. Тысячеголосым бесовским хором вопил он у моего окна, посылая вопли в трубу и дымоход; словно шотландец, обезумевший в пляске, то выплевывал страшные ругательства, то опустошенно стонал, то всхлипывал от яростной боли.

Наконец, подавленный этими тягостными впечатлениями, я сомкнул веки, и тут же передо мной возникло лицо девочки — лицо, которое было последним, что я видел в тот вечер.

Умоляющий взгляд серьезных глаз, решительно сжатые губы, сдвинутые брови… Тоненькое существо, напряженно выпрямившись, тянулось ко мне и капли дождя стекали по ручонкам куда-то вниз. Я попытался прикоснуться к ней, но не смог: видение отпрянуло прочь, продолжая издалека молить меня о чем-то. А когда я совсем уже отчаялся понять его, приблизилось вдруг к самому уху и прошептало ледяными губами: "Я обречена бродить здесь… навеки обречена бродить здесь." Бесприютная и измученная, усталая, но неугомонная, сущность эта жаждала успокоения, не в силах отыскать себе клочка земли, который согрел бы ее остов, навсегда укрыл бы от этого мира.

Тусклые глаза молили о вожделенном сне, юное измученное лицо жаждало коснуться подушки, маленькое тельце, уставшее от жутких скитаний, трепетало в последней надежде обрести себе вечное ложе. Ни прикоснуться к ребенку, ни заговорить с ним я не успел: видение вдруг исчезло. На смену ему явился мрак, окутав меня пустым и тяжелым сном.

Что-то вдруг разбудило меня: что именно, понять было невозможно. Я вскочил на ноги, охваченный тем странным чувством, что возникает при внезапном пробуждении, когда не подозревая еще, с какой стороны грозит опасность, человек готов действовать, и притом без промедления. Нервы мои напряглись. Что разбудило меня? Во всем доме не слышно было ни звука. И все же… Так ли уж безмолвен был этот мрак? Когда все чувства обострены до предела, звук скорее чувствуется, нежели слышится. Теперь я мог уже сказать совершенно точно: в нескольких шагах от меня кто-то бесшумно ступал по половицам.

Я взглянул на часы: стрелки показывали час ночи. Я проспал три часа. Послышались тихие шаги: кто-то приближался к моей двери. Тяжелой поступью шел мужчина, за ним едва слышно следовала женщина. Я в ужасе глядел на дверь, ожидая, что она распахнется, подсвечники слетят со стула и произойдет нечто ужасное. Но дверь оставалась закрытой. Я быстро приблизился к ней и прильнул к замочной скважине. Совсем рядом прошуршало женское платье.

— Томас, дорогой, не сегодня! — послышался печальный шепот миссис Ферн. — Нет, только не в эту ночь!

— Нет, сейчас! — этот угрюмый бас мало напоминал голос моего радушного хозяина. — Иди в постель, моя милая, я просто принесу тебе свечку.

— Как же я могу вернуться, Томас, ты сошел с ума. Не этой ночью, пожалуйста. Твои нервы уже на пределе.

— Возвращайся, моя девочка. Оставь меня: я просто принесу тебе свечку.

Обладатель тяжелой поступи стал подниматься, легкие шаги затихли внизу. Наступила тишина. Десятки самых фантастических предположений ночными тенями возникали у меня в мозгу. Одна такая минута по насыщенности своей стоит сотни жизней. Свеча догорела, и я вдруг осознал, что за окном тихо. Я отдернул шторы: на небе, словно разорванном пополам, сияла безмятежная луна. Ее бездушный свет не несет в себе любви и огня: он — квинтэссенция чужого сияния — сродни тем из нас, кто любит пригреться в тени великого человека, не испытывая при этом даже симпатии к источнику, этот огонь порождающему.

Все же лучше отраженный свет, чем свеча, — решил я, — тем более, что свечи-то у меня теперь как раз и не было. Но потом понял, что весь свет Вселенной я отдал бы в ту минуту за одну-единственную свечку: не понесешь же луну с собой в коридор! Впрочем, без нее было бы, пожалуй, еще хуже. Я чуть-чуть выждал, но не услышал ни звука. Возможно, хозяин также решил довериться яркому свету царицы ночи и не стал искать свечу. Я открыл дверь и остановился в темном коридоре. Через несколько секунд внизу послышались шаги; на лестнице не видно было ни зги. Шаги приближались. Прежде, чем человек достиг лестничной площадки, на которой располагалась моя комната, я успел скрыться за дверью и тихо ее прикрыть. Наступила пауза; затем вновь раздались звуки шагов — хозяин продолжал подниматься. С неожиданной решимостью я в одних носках вышел на темную лестницу и отправился вслед за ним.

На следующей площадке он опять постоял в темноте; вновь миссис Ферн вышла из спальни и стала уговаривать мужа вернуться. Тот с прежним упрямством посоветовал ей возвращаться в постель и продолжал свой путь. Лунный свет, струившийся из маленького оконца, падал на лесенку, скрывавшуюся в нише на верхней площадке. Хозяин взбежал по ней с юношеской прытью, затем разжал кулак, вставил ключ в замок скрывавшейся в темноте двери, бесшумно повернул его и вошел внутрь. Дверь осталась чуть приоткрытой. Вверх по той же лесенке осторожно двинулся и я. Ноги меня не слушались, поступь была нетвердой, но я сумел добраться до вершины без единого звука. Затем толкнул дверь и оказался в комнате — точнее,

на чердаке.

В первое же мгновение я успел охватить взглядом все детали обстановки; в следующее — разгадать тайну "верхнего этажа". Каждый уголок комнатки был освещен ярким и холодным лунным светом. Скошенная крыша, подпираемая грубо отесанными суковатыми балками. Черная ткань на стенах. Красный коврик в середине помещения, а на нем — ящичек с высокими серебристыми рукоятками. Перед гробиком в ярком сиянии лунного света согнулся в три погибели скорбно, но явно не для святой молитвы — пожилой мужчина. Все мои чувства напряглись, словно натянутые струны.

Похолодев от ужаса, я шагнул в комнату. Хозяин вскочил на ноги, да так и остался стоять передо мной, не в силах произнести ни слова. Я заговорил первым.

— Итак, мистер Ферн, вы наконец-то разоблачены.

Он продолжал глядеть на меня, словно ожидая, пока из хаоса мыслей не составится вразумительного ответа. Затем вздохнул и с какой-то вялой покорностью произнес:

— Да, наконец-то.

Я растерялся. Хозяин не оправдывался — похоже, он был в замешательстве.

— При моем скромном участии закон настиг вас, мистер Ферн, и вам придется ему подчиниться.

— Да, да, — тихо ответил он. — Вот уж три года исполнится в октябре, как я дурачу его, этот самый закон.

— О, Боже, как можете вы столь хладнокровно говорить о содеянном! вскричал я. — Неужто сердце ваше так очерствело, что, даже совершив ужаснейшее убийство…

— Как вы сказали?! — воскликнул хозяин, пораженный моими последними словами. — Убийство? Да будьте вы прокляты! Пусть Бог осудит вас так же несправедливо, как вы меня осудили!

Он схватил меня своей огромной ручищей и принялся трясти за плечо. По лицу его потекли слезы, а проклятия, казалось, вырвавшиеся из глубин сердца, так и застыли на губах, не находя себе выхода. Я поглядел на него, на посеребренный гробик, стоявший посреди этого заброшенного чердака, и вырвался из тисков.

— В таком случае, во имя общего нашего Судии ответьте мне, что это такое? — я указал на жуткий ящик.

Страсть его вдруг угасла. Он закрыл руками лицо и как слепой побрел к середине комнаты. Затем опустил голову к гробику и сквозь слезы принялся шептать какие-то ласковые слова, тут же сливавшиеся со всхлипываниями. Почувствовав какое-то движение за спиной, я обернулся и увидел миссис Ферн. Лицо ее было таким же белым, как и падавший на него свет, но женщина держалась с достоинством, являя собой резкий контраст как с мрачным чердачным склепом, так и с самим видом сломленного горем мужа. Видно было, как быстро под длинной ночной рубашкой вздымается грудь — в остальном хозяйка оставалась совершенно спокойной.

Бросив на меня быстрый взгляд, она подошла к мужу и обвила руками его шею. Он вздрогнул от прикосновения и склонил свою огромную взъерошенную голову ей на плечо. Глубина горя, потрясшего этого человека, была неизмерима: его необузданный темперамент открылся вдруг передо мной с совершенно неожиданной стороны. Она вытерла ему, как младенцу, ладонями слезы с лица. А когда несколько мгновений спустя взгляды их обратились к маленькому окошку, указала на небо, по которому проплывали облака и где торжественная синева словно спряталась среди россыпи мерцающих звезд, спасаясь от яркой луны. Он снизу вверх взглянул на жену, подобно бессловесной твари, требующей от высшего существа объяснения собственным невыразимым чувствам. В голосе миссис Ферн, ответившей на его немой вопрос, послышалась особенная теплота:

— Почему бы тебе не обратить взгляд твой — туда?

Мистер Ферн повернулся к гробу и закрыл руками лицо, словно защищаясь от мыслей, навеваемых видом звездного неба.

— Потому что она — тут… — грубый голос его дрожал. — Тельце, которое я обнимал — здесь,

губы и щечки, которые я целовал — здесь. Ты говоришь, что это — материя, а не дух. Дух — в вышине, такой же холодный и жуткий, как те божественные звезды. Но ведь это тело я так лелеял, так любил. Эти яркие глаза… ее голубые глаза, я сохранил их!

Он кивнул мне и продолжал свою печальную, но как ни странно, весьма горделивую речь.

— В отношении меня, сэр, вы только что употребили страшное слово, которое само по себе подчас искушает оправдать его смысл. В чутье вам не откажешь, но в самый последний момент оно вас обмануло. Имя демона, погубившего мое дитя — круп: я же лишь поцеловал ее мертвые веки. Пойдите в церковь: вы увидите там могильный камень с ее именем, а окажись вы здесь три года назад, могли бы попасть и на похороны. Они спустили гроб в могилу верно я говорю, жена? но моей дорогой девочки в нем не было. Мистер Ферн выпрямился, всем телом дрожа от возбуждения, и в порыве неожиданного красноречия продолжал свою речь.

— Неужели вы думаете, что я способен отдать мою красавицу червям на съедение — чтобы они выели ей глаза, уши, губы? Как мог я предать мою девочку стуже, буре, сырой земле? Разве эта старая крыша, которая защищала Люси при жизни, неспособна дать ей приют сейчас, когда она сделалась тиха и безмолвна? Из одной древней книги я узнал, как бальзамируют мертвых, сохраняя их облик на долгие годы. Я изготовил два гроба: один вставил в другой, и уложил ее на мягкую подстилку из перьев. А потом вынул тело и перенес его сюда. Пустой гроб закопали, а мы с женой провели здесь свою службу: стоны и слезы были единственной нашей молитвой. Дитя мое всегда боялось бури: я приходил к ней каждый раз, как только начинался дождь и поднимался ветер. Сегодня жена начала уговаривать меня не ходить сюда: потому что вы остановились на ночь. Я терпел, но душа моя не могла успокоиться. Я должен был навестить ее и пришел — просто чтобы удостовериться, что ей хорошо и покойно среди бушующего урагана. Но вы, сэр, перехитрили меня. Моя жена — проницательная женщина — что-то такое прочла в вашем взгляде. Вы не были женаты, вам не приходилось терять родное дитя. Вы думаете, легко схоронить свою мертвую девочку и больше уже никогда ее не увидеть? О нет, сэр, ошибаетесь. Одна только мысль об этом способна разорвать мне сердце! О, Боже!

Он вновь склонил голову над крышкой гроба. Я шагнул к миссис Ферн и прошептал:

— Простите, я должен покинуть вас. Ухожу к себе в комнату. Утром мы увидимся?

Она кивнула, и я вышел.

Год спустя мы с конюхом Джорджем стояли на бэйтаунском кладбище у могильного камня, под которым нашли наконец пристанище останки маленькой Люси Ферн.

Тогда, на следующее утро после той памятной грозовой ночи, я отправился к приходскому священнику. Выслушав мой рассказ с профессиональным ужасом и чисто человеческим участием, он сделал затем все, чтобы гробик с телом, три года пролежавшим на чердаке, обрел последний приют.

И вот год спустя мы с Джорджем бок о бок стояли у могилы. Я помалкивал, а конюх бормотал — в своей привычной философской манере.

— Храни вас Господь, сэр: вы сделали доброе дело для нашего хозяина и его миссис. О нас давно уже перешептывались в округе. Они все равно не смогли бы жить счастливо с мертвым телом, разлагающимся над головами. Как говорила моя мамаша, черви тоже хотят жить, и кто мы такие, чтобы лишать несчастных хлеба насущного? А знаете, маленькая Люси отдала Богу душу, когда за окнами бушевала буря, и непонятно было, кто воет громче — ветер ли за окном, или наш хозяин. Миссис — нет: она из тех, кто привык проглатывать слезы.

Этот козел, дьявол его забери, был для мисс Люси, ну, словно игрушка. До чего ласков был с ней — ни дать, ни взять ослик на пастбище. В ту ночь, когда она умерла, он впервые и выбежал — прямо под дождь. Миссис тут же снарядила меня за козлом, но пока я притащил его, крошка уже испустила дух. С тех пор, как только начинается буря, наш козел непременно убегает из дома. Привязывать его миссис не хочет, опять же из-за мисс Люси. Но и терять его нам теперь никак нельзя: ей, видите ли, взбрело в голову, будто душа девочки с этим козлом связана какой-то незримой нитью. И если он вдруг утонет в пруду, то и дух мисс Люси пропадет вместе с ним. Хотя, храни вас Господь, сэр, не верю я в эти сказки про духов. Как говаривал мой папаша, тот «дух» только и хорош, который сидит в бутылке: он не холодком пробирает, а наоборот, душу греет. Хорошенькая получилась могилка, сэр. Фиалки я посалил. Земля, она лучше нас знает, как приукрасить то, что в ней покоится.

— Решили и мы, сэр, последовать за вами, — послышался голос мистера Ферна. С ним была и

жена. Я посторонился, чтобы пропустить ее к могильной плите. Некоторое время она очень спокойно и нежно глядела на надпись — так, словно любовалась чертами любимой дочери. Мистер Ферн нагнулся, сорвал фиалку и подал ее жене.

Наступившую вдруг тишину нарушил порыв свежего весеннего ветерка: дыханием своим он донес до нас безмолвное слово о вечной юности мира и нежно обнял могилку девочки, умершей, едва успев расцвести — как весенний цветочек.

*1895 г.*

**Опечатанная комната**

Если вы склонны к активному образу жизни и занятиям спортом, но вынуждены, будучи стряпчим, с пяти до десяти томиться в конторе в ожидании клиентов, для физических упражнений остаются одни лишь вечера. Вот так я и приобрел привычку пускаться в поздние долгие прогулки по холмам Хэмпстеда и Хайгейта с целью очистить легкие от загрязненного воздуха Эбчерч-лэйн. Во время одной из подобных эскапад произошла моя первая встреча с Феликсом Стэннифордом, повлекшая за собой самое удивительное приключение во всей моей жизни.

Как-то вечером, в конце апреля или начале мая 1894 года, я направил свои стопы на север, в район самых крайних предместий Лондона, где забрел на симпатичную улицу, застроенную кирпичными особняками, одну из тех улиц, которые большой город постоянно вытесняет все дальше и дальше за свои пределы. Стояла чудесная, ясная весенняя ночь. Луна изливала яркий свет с незамутненного облаками неба. Оставив за спиной уже немало миль, я позволил себе снизить темп и поглазеть по сторонам. Пребывая в созерцательном настроении, я обратил внимание на один из домов, мимо которых проходил.

То было очень большое строение, занимающее отдельный участок земли и отстоящее от мостовой несколько дальше других домов. Выглядел он вполне современно, но далеко не так кричаще ново, как вульгарные свежевыстроенные особняки по соседству. Их стройный ряд нарушался просторной лужайкой, засаженной лавровым деревом, и огромным, темным, мрачным зданием, высящимся на дальнем ее конце. Очевидно, это была загородная резиденция какого-нибудь состоятельного коммерсанта, возведенная в те дни, когда от ближайшей городской улицы ее отделяло не меньше мили, а сегодня настигнутая и окруженная краснокирпичными щупальцами гигантского осьминога, имя которому Лондон. В голове у меня мелькнуло, что следующей стадией должно стать переваривание и поглощение, после чего какой-нибудь дешевый подрядчик застроит лужайку еще дюжиной одинаковых домиков со стандартной годовой рентой в восемьдесят фунтов. В то время как в голове моей лениво и смутно копошились все эти мысли, и произошел тот самый случай, после которого думать пришлось уже совсем о другом.

Четырехколесный кэб — это позорное порождение Большого Лондона катился, скрипя и громыхая, по мостовой, а навстречу ему, судя по яркому свету фонаря, ехал велосипедист. Только эти два объекта и двигались по пустынной, прямой, залитой лунным светом улице, что не помешало им врезаться друг в друга с той злополучной точностью, что сводит нос к носу два лайнера в бескрайних просторах Атлантики. В данном случае виноват был велосипедист. Он попытался повернуть прямо перед кэбом, не рассчитал дистанцию и был сброшен наземь лошадиным плечом. Он поднялся на ноги и разразился проклятиями. Кэбмен не остался в долгу, но тут же быстренько сообразил, что номер его остался незаписанным, подстегнул лошадь и с громыханием умчался прочь. Велосипедист взялся, было, за руль своей поверженной машины, но внезапно со стоном уселся на мостовую и воскликнул:

— О, Боже!

Я бегом бросился к нему.

— Вы не пострадали? — спросил я.

— Мое колено, — ответил он. — Полагаю, это всего лишь растяжение, но болит ужасно. Если не трудно, дайте, пожалуйста, мне руку.

Он лежал в круге света, излучаемого велосипедным фонарем. Помогая ему подняться, я обратил внимание на наружность молодого человека. Судя по всему, он был джентльменом. На лице выделялись тонкие темные усики и большие карие глаза. Держался он нервозно и как-то скованно и не обладал, должно быть, крепким здоровьем, о чем свидетельствовали впалые щеки и тонкая с желтизной кожа лица, на котором тяжелая работа или душевные терзания успели оставить неизгладимый след. Когда я потянул его за руку, он встал, но только на одну ногу. Вторую он держал на весу и снова застонал, как только попробовал двинуть ею.

— Не могу стоять на ней, — пожаловался он.

— Где вы живете?

— Здесь, — кивнул он в направлении большого темного дома в глубине сада. — Я хотел срезать наискосок к воротам, когда этот проклятый кэб налетел на меня. Вы не сможете мне помочь?

Сделать это оказалось нетрудно. Я поставил велосипед за ворота и помог пострадавшему проковылять по дорожке и подняться по ступеням парадного. В окнах не светилось ни огонька, и дом выглядел таким темным и безмолвным, словно в нем никто никогда не жил.

— Достаточно. Благодарю вас от всей души, — проговорил молодой человек, ковыряясь ключом в замке.

— Ну, нет, — возразил я, — позвольте уж мне позаботиться о вас до конца.

Сначала он попытался протестовать, слабо и неуверенно, но потом сообразил, что без меня не сможет на самом деле сделать ни шагу. Дверь открылась в кромешную тьму холла, и он двинулся вперед, по-прежнему опираясь на мою руку.

— Вон та дверь направо, — сказал он, шаря свободной рукой в темноте.

Я открыл дверь, и в то же мгновение он ухитрился зажечь огонь. На столе стояла лампа, и мы засветили ее совместными усилиями.

— Ну вот, теперь со мной все в порядке. Вы можете меня спокойно оставить. Прощайте! — сказал он, садясь в кресло, и тут же потерял сознание.

Я попал в щекотливую ситуацию. Этот парень был так бледен, что невозможно было с уверенностью определить, жив он или умер. Вскоре, правда, губы его зашевелились, грудь начала слабо вздыматься, но зрачки закатились, а цвет лица прямо-таки внушал ужас. Я не мог дольше взваливать на себя такую ответственность, поэтому дернул за шнурок звонка и даже услышал, как он звенит где-то в глубине дома. Но никто не явился на зов. Я немного подождал и позвонил снова, но результат остался прежним. Но ведь должен кто-то быть поблизости. Не может же этот молодой джентльмен жить один в таком огромном доме. Надо было непременно сообщить кому-нибудь из домочадцев о состоянии травмированного. Что ж, если они не хотят отвечать на звонки, придется мне самому пуститься на охоту. Я схватил лампу и выбежал из комнаты.

Увиденное снаружи поразило меня. Холл был пуст. Голые ступени лестницы пожелтели от пыли. Три двери вели из холла в просторные помещения, ни в одном из которых я не заметил ни ковров, ни стенной обивки. Только серые кружева паутины свисали с карнизов, да пятна плесени образовывали на стенах причудливый узор. Мои шаги гулко отдавались эхом, когда я проходил сквозь эту пустую, безмолвную обитель. Затем я решил попробовать поискать в конце коридора, полагая, что уж на кухне обязательно должен кто-то быть, или, если не на кухне, то в помещении для прислуги. Но и там все комнаты оказались пусты. Отчаявшись разыскать хоть кого-нибудь в помощь, я забрел в другой коридор и наткнулся на нечто, удивившее меня в еще большей степени, чем все остальное.

Проход заканчивался большой коричневой дверью, замочная скважина которой была залеплена печатью из красного воска размером в пятишиллинговую монету. У меня сложилось впечатление, что печать эта находится здесь уже очень долгое время, так как она была густо покрыта пылью к местами утратила изначальный цвет. Я стоял перед дверью, уставясь на нее и гадая, что может быть за нею скрыто, когда услышал за спиной чей-то голос. Бросившись на зов, я обнаружил молодого человека уже в сознании, по-прежнему сидящим в кресле и крайне удивленным окружающим его мраком.

— Чего ради вы унесли лампу? — спросил он.

— Я искал кого-нибудь из прислуги, чтобы помочь вам.

— Долго же вам пришлось бы искать, — сказал он. — В доме никого нет, кроме меня.

— Весьма неудобно, если случится заболеть.

— Весьма глупо с моей стороны лишиться чувств. От матери я унаследовал слабое сердце. Боль или сильное волнение оказывают на меня подобное действие. В один прекрасный день это сведет меня в могилу, как когда-то и ее. Вы, случайно, не доктор?

— Нет, я юрист. Мое имя Фрэнк Олдер.

— А меня зовут Феликс Стэннифорд. Странно, что мы с вами встретились как раз в тот момент, когда, по словам моего друга мистера Персивела, нам пришло время подыскать себе профессионального юриста.

— Буду счастлив оказать вам услугу.

— Вы знаете, выбор, в конечном счете, будет зависеть от него. Так вы сказали, что обошли с лампой весь первый этаж?

— Да.

— Весь этаж? — повторил он, упирая на первое слово и не сводя с меня напряженного взгляда.

— Полагаю, что весь. Я ведь надеялся, что вот-вот кого-нибудь найду.

— Вы входили во все комнаты? — спросил он, продолжая смотреть на меня с прежней интенсивностью во взоре.

— Во все, куда мог войти.

— Значит, вы не могли не заметить этого! — сказал он, пожимая плечами с видом человека, делающего хорошую мину при плохой игре.

— Не заметить чего?

— Опечатанной двери, разумеется.

— Да, я ее видел.

— Вам не стало любопытно, что за этим скрывается?

— Должен признать, что выглядит это весьма необычно.

— Как вы думаете, смогли бы вы жить в одиночестве год за годом в этом доме, все время жаждая узнать, что лежит по ту сторону двери, но не позволяя себе заглянуть туда?

— Вы хотите сказать, — воскликнул я, — что сами не знаете?

— Не более, чем вы.

— Так почему же вы не посмотрите?

— Я не должен этого делать, — ответил он. Последняя фраза прозвучала уклончиво, и я понял, что коснулся предмета весьма деликатного свойства. Не могу сказать, что страдаю избытком любопытства, но в сложившихся обстоятельствах оно оказалось распалено в высшей степени. Однако, я не имел больше предлога оставаться в доме, поскольку мой новый знакомый уже пришел в себя и не нуждался в моей помощи. Я поднялся, собираясь уходить.

— Вы очень торопитесь? — задал он вопрос.

— Нет, меня никто не ждет.

— Очень хорошо. Вы знаете, я буду очень рад, если вы побудете со мной еще немного. Дело в том, что мне приходится вести очень одинокий и замкнутый образ жизни. Сильно сомневаюсь, что во всем Лондоне найдется еще один такой же затворник. Даже поговорить с кем-либо — из ряда вон выходящее для меня событие.

Я окинул взглядом скудно обставленную маленькую комнату с диваном-кроватью у противоположной стены и подумал об огромном пустом доме и зловещей двери, скованной обесцветившейся от времени печатью. Было в обстановке что-то до крайности необычное и будоражащее воображение так сильно, что мне страстно захотелось узнать немного больше. Быть может, мне удастся сделать это, если подождать? Я сказал, что буду счастлив задержаться.

— Спиртное и сифон с содовой на боковом столике. Вы уж простите, что не могу взять на себя обязанности хозяина, но мне не добраться даже до другого конца комнаты. Сигары на том подносе. Я тоже закурю, с вашего позволения. Итак, вы стряпчий, мистер Олдер?

— Да.

— А я — никто. Я — самое беспомощное из всех живущих на свете существ сын миллионера. Я рос наследником огромного состояния, а теперь я нищий, не имеющий даже профессии. В довершение всех несчастий, на руках у меня этот дворец, который я не имею средств содержать. Вам не кажется абсурдным мое положение? Живя в этом доме, я уподобляюсь уличному торговцу, запрягающему в свою тележку чистокровного скакуна, хотя обычный мул подошел бы ему с тем же успехом, равно как и мне — небольшой коттедж.

— Отчего бы вам тогда не продать дом? — спросил я.

— Я не должен этого делать.

— А сдать в аренду?

— Нет, этого я также не должен делать.

Заметив мое недоумение, собеседник усмехнулся.

— Я расскажу вам, как обстоит дело, если только вас не утомит мой рассказ, — сказал он.

— Напротив! Я буду чрезвычайно заинтересован, — поспешил уверить его я, пока он не передумал.

— Вы отнеслись ко мне с добротой и вниманием. Самое малое, чем я могу отблагодарить вас, — утолить то любопытство, которое вы можете испытывать. Для начала скажу, что отцом моим был банкир Станислав Стэннифорд.

Банкир Стэннифорд! Я сразу вспомнил это имя. Лет семь назад его бегство из страны вызвало один из самых сенсационных скандалов того времени.

— Я вижу, вы вспомнили, — заметил мой собеседник. — Мой бедный отец покинул страну, чтобы избежать упреков многочисленных друзей, чьи средства он вложил в неудачную спекуляцию. Он был очень чувствительным человеком со слабой нервной системой, и тяжесть ответственности за случившееся сильно повлияла на его рассудок, хотя, с точки зрения закона, никакого преступления он не совершал. Причины его поступка следует искать в области эмоций. Даже членам собственной семьи он не смел больше смотреть в глаза и умер среди чужих людей, так и не дав нам знать, где он находится.

— Так он умер… — промолвил я.

— У нас нет доказательств его смерти, но мы уверены в этом, потому что спекуляция, в конечном итоге, оказалась верной, и теперь отец имел полное право смело смотреть в глаза любому человеку. Он наверняка вернулся бы, будь он жив. Вероятнее всего, отец умер года два назад.

— Почему вероятнее всего?

— Потому что два года назад мы получили от него весточку.

— И он не сообщил вам, где живет?

— Письмо пришло из Парижа, но без обратного адреса. Это случилось как раз, когда умерла моя бедная матушка. Тогда я и получил то письмо с инструкциями и советами, после которого отец больше ни разу не дал о себе знать.

— А раньше он давал о себе знать?

— Да, конечно, мы имели от него известия. В них-то и кроется загадка запечатанной двери, на которую вы наткнулись сегодня. Передайте мне вон ту папку, будьте любезны. Здесь я храню письма отца. Вы станете первым, не считая мистера Персивела, кому я их показываю.

— Могу я узнать, кто такой мистер Персивел?

— Он был доверенным клерком моего отца и с тех пор продолжает оставаться другом и советчиком сначала моей матери, а теперь и моим. Я просто не представляю, что бы мы делали без Персивела. Он читал письма, но только он один. Вот самое первое, полученное в тот день, когда отец вынужден был бежать семь лет назад. Прочтите его.

Вот текст прочитанного мною письма:

"Моя бесконечно дорогая жена!

С тех пор как сэр Уильям поведал мне, как сильно ты больна и как опасно для твоего сердца любое потрясение, я никогда не обсуждал с тобой мои коммерческие дела. Но настало время, когда я не могу больше, невзирая на риск, воздерживаться от горькой правды. Дела мои сильно расстроились, и это обстоятельство вынуждает меня расстаться с тобой на короткое время, но я поступаю так в полной уверенности, что очень скоро мы увидимся вновь. Ты

можешь твердо на это рассчитывать. Разлука наша пролетит быстро и незаметно, моя любимая, поэтому не позволяй ей отражаться на твоем настроении, а пуще того — на твоем здоровье, ибо о нем я беспокоюсь более всего на свете.

А теперь у меня есть одна просьба, и я заклинаю тебя всем, что связывает нас вместе, исполнить ее в точности, как я прошу. В темной комнате, расположенной в конце коридора, выходящего в сад, той самой, что я использовал для занятий фотографией, имеются кое-какие вещи, которые я не хочу, чтобы кто-нибудь видел. Чтобы избавить тебя от мучительных раздумий, дорогая, позволь уверить раз и навсегда, что в ней не содержится ничего такого, чего я мог бы стыдиться. Тем не менее, я не желаю, чтобы ты или Феликс входили в эту комнату. Она заперта на ключ, и я призываю вас сразу по получении этого послания поставить печать на замочную скважину и больше ничего не трогать. Не продавайте дом и не сдавайте внаем, так как в обоих случаях мой секрет будет обнаружен. Пока ты или Феликс остаетесь в доме, я буду знать, что мои пожелания выполняются. Как только Феликсу исполнится двадцать один год, он получит право войти в комнату, но ни днем ранее.

А сейчас я прощаюсь с тобой, моя бесценная супруга. Во время нашей краткой разлуки ты можешь пользоваться услугами и советами мистера Персивела по поводу любой возникшей проблемы. Я ему полностью доверяю. Мне ужасно тяжело покидать Феликса и тебя даже на короткое время, но выбора, к сожалению, у меня нет.

Твой вечно любящий супруг,

Станислав Стэннифорд.

4 июня 1887.

"

— Разумеется, все эти предметы касаются исключительно нашего семейства и носят частный характер, — извиняющимся тоном заговорил мой собеседник, поэтому мне хотелось бы, чтобы вы рассматривали их с чисто профессиональной точки зрения. Я столько лет мечтал поговорить об этом.

— Польщен вашим доверием, и должен отметить, что чрезвычайно заинтересован изложенными фактами, — ответил я.

— Мой отец отличался почти маниакальным пристрастием к правдивости и в этом отношении всегда был скрупулезен до педантичности. Если он написал, что надеется в ближайшем будущем снова встретиться с матерью, а в темной комнате не имеется ничего постыдного, вы можете смело принять его слова на веру.

— Что же тогда там может быть? — не сдержался я.

— Мы с матерью и представить не могли. Все пожелания отца были выполнены точь-в-точь, как он просил. Мы опечатали дверь, и с тех пор она так и стоит. Мать прожила еще пять лет после исчезновения отца, несмотря на уверения врачей, что долго она не протянет. У нее было очень больное сердце. В течение первых нескольких месяцев она получила от отца два письма. На обоих стоял парижский штемпель, но не было обратного адреса. Оба были короткими и сходными по содержанию: скоро мы встретимся вновь и ни о чем не волнуйся. Потом наступило долгое молчание, тянувшееся до самой ее смерти, а затем я получил письмо от отца, носившее столь личный характер, что вам я его показать не могу. В нем он умолял меня никогда не думать о нем плохо, давал множество полезных советов и сообщал, что запечатанная комната больше не имеет такого значения, как при жизни матери. Вместе с тем, он писал, что ее открытие по-прежнему может болезненно отразиться на других людях, поэтому, по его мнению, это действие следует отложить до достижения мной совершеннолетия, когда время сгладит и залечит былые раны. А до тех пор он поручил заботу о комнате мне, своему сыну. Теперь вы понимаете, почему я, будучи бедняком, не могу ни сдать, ни продать этот огромный дом?

— Вы могли бы заложить его.

— Это уже сделал мой отец.

— Весьма своеобразное состояние дел.

— Мать и я были принуждены постепенно распродать мебель и рассчитать слуг, и сегодня, как видите, я должен один ютиться в крохотной комнатушке. Но мне осталось всего два месяца.

— Что вы имеете в виду?

— Очень просто, через два месяца я достигну совершеннолетия. Первым делом я открою эту дверь, вторым избавлюсь от дома.

— Вы не задумывались, почему ваш отец не вернулся, когда положение со вложенными средствами выправилось?

— Полагаю, он уже был мертв.

— Вы сказали, что он бежал за границу, будучи официально чист перед законом?

— Верно.

— Почему же он не взял с собой вашу мать?

— Не знаю.

— Для чего ему было скрывать свой адрес?

— Понятия не имею.

— Почему, наконец, он позволил любимой жене умереть и быть похороненной без него? Почему он так и не вернулся?

— И этого я тоже не знаю.

— Мой дорогой сэр, — начал я, — позвольте говорить с вами с профессиональной откровенностью юриста. Должен сказать, что мне представляется совершенно неоспоримым следующее: отец ваш имел очень веские причины скрываться за границей, и если против него никаких доказательств найдено не было, он, вероятно, считал, что в будущем таковые могут обнаружиться, почему и не решался отдаться в руки правосудия. Мне этот вывод кажется очевидным, иначе как объяснить все имеющиеся в нашем распоряжении факты?

Мои логические рассуждения не очень понравились собеседнику.

— Вы не имели удовольствия знать моего отца, мистер Олдер, — сказал он ледяным тоном. — Хотя я был еще мальчишкой, когда он покинул нас, для меня отец навсегда остался идеалом человека и джентльмена. Единственными его недостатками были обостренная чувствительность и бескорыстие. Одна только мысль, что кто-то по его вине потерял деньги, заставляла кровоточить его сердце. Честь свою отец ставил превыше всего, и любая теория, которая этого не учитывает, является ошибочной.

Мне понравилось, с каким жаром молодой человек защищает память отца, но факты все же говорили о другом, да и трудно было ожидать от него непредвзятого отношения в сложившихся обстоятельствах.

— Я для вас человек посторонний и только высказал свое мнение, — сказал я. — А теперь я вынужден вас покинуть. Мне довольно далеко добираться домой, а время позднее. История ваша заинтересовала меня в высшей степени, и я буду рад, если вы позволите узнать продолжение.

— Оставьте мне вашу карточку, — сказал он.

Я так и сделал, пожелал ему доброй ночи и удалился. Больше я ничего не слышал об этом деле и начал уже подозревать, что оно так и останется мимолетным эпизодом в моей жизни, подобно многим другим уйдя из поля зрения в небытие и оставив по себе лишь смутное ощущение надежды или разочарования. Но в один прекрасный день в мою контору на Эбчерч-лэйн принесли визитную карточку с именем мистера Дж. Г. Персивела, а вслед за карточкой клерк пригласил в кабинет и ее владельца — невысокого, худощавого мужчину лет пятидесяти с удивительно ясными глазами.

— Я полагаю, сэр, — начал он, — мое имя уже упоминалось в вашем присутствии моим юным другом Феликсом Стэннифордом?

— Да, конечно, я помню его, — поспешно ответил я.

— Насколько я могу судить, он сообщил вам определенные факты, касающиеся исчезновения моего прежнего хозяина, мистера Станислава Стэннифорда, а также, существования некой

запечатанной комнаты в его нынешней резиденции.

— Совершенно верно.

— Вы, кажется, выразили интерес к данному предмету?

— Да, меня это чрезвычайно заинтересовало.

— Вы осведомлены о том, что, согласно воле мистера Стэннифорда, мы имеем право открыть дверь в двадцать первый день рождения его сына?

— Я припоминаю.

— Сегодня этот день настал.

— Вы уже открыли комнату? — спросил я с живостью.

— Еще нет, сэр, — серьезным тоном ответил мистер Персизел. — У меня есть основания считать необходимым присутствие свидетелей в момент открытия. Вы — юрист и уже знакомы с основными фактами. Согласны ли вы присоединиться к нам?

— Безусловно!

— Днем вы заняты на службе, как и я. Вас устроит в девять часов вечера в доме Стэннифордов?

— Приду с большим удовольствием.

— Мы будем ожидать вас. До скорого свидания.

Он с достоинством поклонился и вышел.

В тот вечер я спешил на встречу, а голова моя шла кругом, устав от бесплодных попыток предугадать более или менее правдоподобную развязку тайны, которую нам предстояло раскрыть. Мистер Персивел и мой молодой знакомый ждали меня в маленькой комнате. Меня не удивили бледность и нервозность последнего, но я, признаться, был поражен, увидев, в каком сильнейшем возбуждении, несмотря на все старания скрыть его, находится низенький сухощавый служащий из Сити. Щеки его горели румянцем, руки беспрестанно двигались, а сам он и секунды не мог постоять на одном месте.

Стэннифорд тепло приветствовал меня и несколько раз выразил благодарность за мой приход.

— Ну, а теперь, Персивел, — обратился он к своему компаньону, — я полагаю, что на нашем пути к разгадке больше не существует препятствий? Как же я буду рад, когда все это закончится!

Бывший клерк поднял лампу и пошел первым. В коридоре перед дверью он остановился. Рука его заметно дрожала, заставляя плясать то вверх, то вниз по голой стене отбрасываемое лампой световое пятно.

— Мистер Стэннифорд, — заговорил он срывающимся голосом, — я надеюсь, вы сумели подготовиться к возможному потрясению, ожидающему вас, когда печать будет сломана и дверь открыта.

— Да что там такое может быть, Персивел? Вы пытаетесь напугать меня!

— Нет, мистер Стэннифорд, я лишь желаю, чтобы вы были готовы… собрались с силами… не позволили себе… — он облизывал пересохшие губы после каждой отрывистой фразы, и я внезапно осознал с полной отчетливостью, — как если бы он сам мне об этом сказал, — что Персивел знает, что скрыто за опечатанной дверью, и что это — в самом деле нечто ужасное.

— Вот ключи, мистер Стэннифорд, но помните о моем предупреждении!

В руке он держал связку разнородных ключей, которую молодой человек буквально выхватил у него. Затем он подсунул лезвие ножа под край выцветшей печати и резким движением сорвал ее. Лампа по-прежнему тряслась и дребезжала в руках у Персивела, поэтому я отобрал ее у него и поднес поближе к замочной скважине, в то время как Стэннифорд лихорадочно примерял к ней один ключ за другим. Наконец один из них повернулся в замке, дверь отворилась, он сделал шаг внутрь и в то же мгновение, издав ужасающий крик, упал без

чувств у наших ног.

Если бы я вовремя не прислушался к предупреждению старого клерка и не приготовился к возможному потрясению, то наверняка выронил бы лампу. С голыми стенами и без окон, комната некогда была оборудована под фотографическую лабораторию. Сбоку виднелся водопроводный кран над раковиной, а по другую сторону — полка с какими-то бутылками и мензурками. Своеобразный тяжелый запах наполнял помещение, — отчасти химического, отчасти животного происхождения. Прямо напротив нас располагался стол с единственным креслом, и в этом кресле сидел спиной к нам человек и что-то писал. Его очертания и поза выглядели настолько натурально, что можно было легко посчитать его живым. Но когда на сидящего упал свет лампы, я почувствовал, как волосы у меня на голове встают дыбом. Шея его почернела и сморщилась, сделавшись не толще моего запястья. Пыль покрывала тело толстый слой желтой пыли. Она лежала на волосах, на плечах, на высохших кистях рук, обтянутых пергаментной, лимонного цвета кожей. Голова его была склонена на грудь, а перо по-прежнему лежало на пожелтевшем от времени листе бумаги.

— Мой бедный хозяин! Мой бедный, бедный хозяин! — воскликнул клерк, и слезы градом покатились по его щекам.

— Как?! — вскричал я. — Неужели это и есть Станислав Стэннифорд?

— Он сидит здесь вот уже семь лет. Ну почему, почему он так поступил?! Я просил, я умолял его, вставал перед ним на колени, но он был непреклонен. Видите ключ на столе? Он заперся изнутри. И он что-то написал. Мы должны забрать это с собой.

— Да-да, забирайте и, Бога ради, пойдемте скорей отсюда! — воскликнул я. — Здесь сам воздух чем-то отравлен. Идемте, Стэннифорд, идемте! — и, подхватив под руки с двух сторон, мы полуотвели, полуотнесли молодого человека в его комнату.

— Это был мой отец! — вскричал он, едва обретя вновь сознание. — Он сидит там мертвый в своем кресле. Вы знали об этом, Персивел! Вы ведь это имели в виду, когда предупреждали меня?

— Да, я знал, мистер Стэннифорд. Я находился в ужасно тяжелом положении, хотя в поступках своих всегда стремился к общему благу. Все семь лет я знал, что ваш батюшка умер в этой комнате.

— Вы знали, но ничего нам не сказали!

— Не судите меня строго, мистер Стэннифорд, сэр! Имейте снисхождение к старику, которому выпало играть трудную роль.

— У меня голова идет кругом. Ничего не соображаю! — он с трудом поднялся и отхлебнул глоток бренди прямо из бутылки. — Эти письма — матери и мне — подделка?

— Нет, сэр, ваш отец сам написал и адресовал их. Он оставил их мне для последующего отправления. Я только скрупулезно следовал его инструкциям. Не забывайте: он был моим хозяином, и я должен был повиноваться.

Бренди немного успокоил расшатавшиеся нервы молодого человека.

— Расскажите мне все до конца. Теперь я в состоянии выслушать вас спокойно, — проговорил он.

— Хорошо, мистер Стэннифорд. Как вам уже известно, у отца вашего возникли тогда крупные неприятности. Он думал, что по его вине множество небогатых людей могут потерять свои сбережения. Ваш батюшка был так добросердечен, что мысль эта была для него невыносима. Она беспокоила и терзала его до тех пор, пока не подвела вплотную к самоубийству. О, если бы вы знали, мистер Стэннифорд, как я молил и отговаривал его, вы ни в чем не стали бы меня винить. И ваш отец, в свою очередь, уговаривал и умолял меня, как никто и никогда не умолял меня прежде. Он сказал, что решение его бесповоротно, и он свершит задуманное в любом случае, но от меня зависит, будет его смерть легкой и счастливой или полной страданий. В глазах его я прочел, что он твердо намерен поступить так, как сказал. Тогда я сдался и поклялся выполнить его волю.

Больше всего его волновало вот какое обстоятельство. Лучшие врачи Лондона предупредили его, что сердце миссис Стэннифорд не выдержит и малейшего потрясения — настолько она больна. Его терзала мысль, что своим уходом из жизни он ускорит и ее конец; в то же время

собственное существование стало для него невыносимо. Как же он мог покончить с собой, не причиняя вреда ей?

Вы уже знаете, какой способ он избрал. Он написал письмо жене, которое она получила первым. В нем не было ни одной строчки, где он погрешил бы против истины. Когда он писал о скорой встрече, то имел в виду ее скорую смерть от болезни, которая, по уверениям врачей, должна была наступить не позднее, чем через несколько месяцев. Он был настолько убежден в их непогрешимости, что оставил мне всего два письма, которые я должен был отправить с небольшими интервалами после его смерти. Она прожила еще целых пять лет, а мне больше нечего было посылать.

Последнее письмо, предназначавшееся вам, сэр, следовало отправить сразу после смерти вашей матушки. Все письма посылались из Парижа, чтобы поддержать вас в убеждении, что он находится за границей. Его последним наказом мне было хранить молчание — вот я и молчал. Я всегда служил преданно и верно. А семилетний срок после своей смерти хозяин назначил, полагая, что этого будет достаточно, чтобы сгладить неизбежный шок у родных и оставшихся в живых друзей. Ваш отец всегда в первую очередь думал о других.

Воцарилось долгое молчание. Первым нарушил его молодой Стэннифорд.

— Я больше не осуждаю вас, Персивел. Вы сохранили мою мать от потрясения, которое, без сомнения, разбило бы ее сердце. А что это за бумага?

— Последние записи вашего отца, сэр. Могу я прочитать это для вас?

— Прошу вас.

— "Я принял яд, и мне кажется, я чувствую, как он струится у меня по жилам, свершая свою разрушительную работу. Ощущение странное, но не болезненное. Когда эти строки будут прочитаны, после моей смерти пройдет уже немало лет, если только те, кому я доверился, исполнили в точности мою волю. Полагаю, по истечении такого срока никто из тех, кому случилось потерять деньги по моей вине, не станет более держать на меня зла. А ты, Феликс, конечно же, простишь мне этот семейный скандал. И да упокоит Господь мою смертельно уставшую душу!"

— Аминь! — воскликнули мы хором.

*1898 г.*

**Тайна замка Свэйлклифф**

Снова дома! Какое же это счастье — оказаться здесь вновь после пяти лет заморских странствий. Значит, все-таки стоит обогнуть земной шар — хотя бы ради того, чтоб испытать радость возвращения в исходный пункт. Лишь узнав о кончине тетушки Мариэнн, я понял, как до сих пор ее недооценивал; только покинув Эверсфолд, осознал, сколь дорог он моему сердцу. Было время, когда я только и помышлял, как бы унести отсюда ноги, но теперь, на всем обратном пути, начиная от Парижа, лишь зеленые лужайки да дроковые пустыри Суррея занимали мои мысли. Бесконечно долго тянулись те четыре часа, что пришлось провести мне в Лондоне, ожидая поезда на Кросс-Хиллс. Прогуливаясь в нетерпении по Стрэнду, я едва не столкнулся с человеком, который не так давно случайно встретился мне за границей. В Риме он и его семья приняли меня с величайшим радушием, однако, зная, как меняется характер человека в зависимости от его положения на географической долготе, я не решился заговорить первым. Впрочем, к добродушному Мэтью Паркеру, эсквайру, наблюдение это не имело ни малейшего отношения. На Стрэнде он встретил меня тем самым вопросом, каким распрощался со мною на Пьяцца ди Спанья:

— Так когда же мне ждать вас в Свэйлклиффе? Рабочие наконец уехали, и у нас там теперь вполне уютно и мило. Во вторник — новоселье. Вы обещали! Мои дамы никогда не простят мне, если я позволю вам ускользнуть!

— Сейчас я еду домой к матери, но на праздник загляну непременно.

Что такое две сотни миль для человека, который только что оставил за спиной двадцать тысяч?

— Вот моя карточка: замок Свэйлклифф. Возьмете билет до Вудс-Энда — это по западной линии. Не забудьте!

Я сунул карточку в карман и тут же выбросил этот разговор из головы, мыслями своими устремившись к Эверсфолду.

На станции Кросс-Хиллс (откуда до нашего дома было две мили) я сошел, когда уже сгустились сумерки. Как изменилось здесь все за пять лет! Новый сторож не узнал Фрэнсиса Мильфорда, новый начальник станции в знак приветствия не притронулся к шляпе… Даже слуга, присланный навстречу мне матерью, оказался из новеньких: некоторое время мы искоса поглядывали друг на друга, свыкаясь с тем, что одному отныне придется выполнять роль хозяина, другому — лакея.

Наконец он взял мой багаж. Я предпочел пройтись по полям, рассудив, что путь в карете ничуть не быстрее, а главное, таким образом я смогу вспомнить шаг за шагом дорогу, отметив все происшедшие вокруг изменения.

Таковых я насчитал несколько, причем далеко не все изменилось здесь к лучшему. У обочины дороги появилась новая таверна; сбросив старую солому, коттеджики покрылись шифером; вокруг старого пустыря выросла изгородь. А ворота старого Гловера так непочиненными 'и остались. Вот она, экономия скряги!.. Живая изгородь: в ней знакома мне каждая веточка. Тут растет паслен, тут — осока, а тут мы с Джемми Кингом нашли когда-то птичье гнездо. Тропинка вывела меня на дорожку: отсюда до нас было уже полмили. Поднимаясь по вырубленным в почве ступенькам, я увидел силуэт человека, который, кажется, мелькнул передо мной еще где-то на станции. Он перемахнул через калитку в изгороди, но, увидев меня, сбавил шаг. Я продолжал свой путь, ощущая, что он держится за мной на некотором расстоянии. Странная, почти воровская походка попутчика показалась мне подозрительной. Одет он был бедно, шляпу надвинул на лоб, а в руке держал толстую трость. Со мной были лишь легкий зонтик да дорогие 'часы на цепочке, дразняще выставленные напоказ.

Вокруг не было ни души, так что, решив пропустить бродягу вперед, я отошел на обочину, ступил на бугорок и, сделав вид, будто вглядываюсь в контуры деревенских строений, стал ждать, пока он не пройдет мимо. Тот не сдвинулся с места. Раздосадованный столь упрямым преследованием, я резко обернулся, заглянул ему в лицо и… расхохотался, забыв о своих опасениях.

— Неужто это ты, Джемми? Жив-здоров — как, впрочем, и я! Первый знакомый, которого я тут встретил…

"Первый — и изменившийся явно к худшему", — пришлось добавить мне мысленно. Неужели это бледное тощее существо и есть тот крепкий зажиточный фермер, с которым я

распрощался пять лет назад. Плохи же были последние его урожаи… Впрочем, более всего поразила меня какая-то нервная пугливость во взгляде; для прежнего Джемми она была совершенно нехарактерна.

— Ты, никак, захворал, старина? Может быть, я помогу тебе стать на ноги? Имей в виду: сегодня у тебя в Англии стало на одного друга больше вчерашнего!

Мое приветствие, судя по всему, совершенно его ошеломило.

— Мастер Фрэнк, — едва слышно проговорил он срывающимся голосом. С раннего детства мы были закадычными друзьями и оставались хорошими приятелями, когда я в свои 22 года отбыл в Штаты.

— Пожмем же руки! — воскликнул я, хватая ладонь, которую он не осмеливался мне протянуть. — Пойдем, и ты обо всех мне расскажешь: о пасторе, о старом скряге Гловере и его шалопае-племяннике. А как поживает очаровательная Роз Эванс, за которой все вы тут, когда я уезжал, ухаживали, не оставляя мне ни малейшего шанса?

Я осекся. Лицо Джема сделалось мертвенно-бледным, черты его исказились. Я вспомнил, что мой друг всегда отличался вспыльчивостью, из-за чего и получил в школе прозвище: Король-Тигр. Как-то в детстве я вызвал Джема на драку, и памятку о той своей оплошности до сих пор ношу на плече.

— Черт побери, ты в своем уме? — воскликнул он. — Как ты смеешь говорить мне такое?

— Это ты, кажется, не в себе, — отвечал я. — Странно же ты приветствуешь возвращение старого друга.

— Так ты ни о чем не знаешь? — хмуро проговорил он, вызывающе смерив меня косым взглядом.

— О чем это? Мама не делится со мной местными новостями. Давай же, сам расскажи обо всем.

Он яростно оттолкнул мою ладонь. Это снова был Король-Тигр. Будто забыв обо мне на минуту, он взошел на насыпь и устремил сквозь листву напряженный взгляд — туда, где виднелись крытая красной черепицей церковь, остроконечная крыша школы и эверсфолдские амбары.

— Черт меня надоумил снова вернуться в родные места! Зачем? Разве что перерезать тут себе горло, чтобы покончить с этим уже навсегда?

— Джемми, в чем дело? — вскричал я, обеспокоившись не на шутку. — Скажи мне, и клянусь, я помогу тебе все уладить.

— Там все расскажут. А уладить тут ничего не сможет уже ни один человек на свете.

— Послушай, дружище, — снова начал я, теряясь в догадках, — похоже, у тебя неприятности; какие — этого мне, может быть, знать пока и не обязательно. Но если кошелек или просто дружеская рука способны тебе как-то помочь, счастлив буду предложить и то, и другое! Сейчас дела у меня идут прекрасно, но я знаю: чуть переменись фортуна, и ты ответишь мне тем же. Auld lang syne — вот наш с тобой сегодняшний девиз!

На мгновение лицо Джемми вновь просветлело, но он быстро взял себя в руки.

— Чтобы добраться до места, денег мне хватит, — последовал резкий ответ.

— Где же оно, это место?

— В копях Колорадо. «Камбрия» отчаливает сегодня вечером, и я вместе с ней. Живой или мертвый, Джемми Кинг никогда уже вас тут не потревожит. — С этими словами он повернулся, бросился прочь и секундой позже скрылся за поворотом.

Вне себя от изумления и мучительной душевной боли я продолжил свой путь. Но по мере приближения к дому радость затмила все прочие чувства, и несколько минут спустя я совершенно забылся в объятиях матери, которую, к счастью, изменения коснулись меньше всего.

Читатель легко представит себе этот сбивчивый, жадный обмен расспросами, за которым

пролетели первые часы. Лишь после обеда, погрузившись в состояние ленивого блаженства, что наступает обычно после десерта, когда стихает звон посуды и исчезают слуги, я вновь вернулся мыслями к странной встрече.

— Кстати, мама, по пути сюда я встретил Джемми Кинга. Я и предположить не мог, что человек за столь короткий срок способен так измениться.

Сообщение это привело маму — по природе своей, привычкам и убеждениям человека в высшей степени умиротворенного — в состояние величайшего возбуждения. Даже ленточки и кружева на чепчике ее взволнованно затрепетали.

— Джеймс Кинг здесь? — воскликнула она.

— Да, мы встретились на Шутерс-Хилл. А что такое с ним приключилось?

— На Шутерс-Хилл? Значит, его выпустили. Боже милостивый, как это неблагоразумно!

— Выпустили откуда? — спросил я озадаченно. — Он что, побывал в сумасшедшем доме?

— В Дартмурской тюрьме, — последовал мрачный ответ.

— Джемми Кинг?! — я даже вскочил с места во гневе. — Ты шутишь. Но за что?

— Сущая безделица: человека чуть не прикончил, — ответила она.

Плечо мое отозвалось резкой болью. Я получил еще один ответ, но готов теперь был поклясться, что жертва Джема заслужила свою участь.

— Довели же его, должно быть. Кто этот человек?

— Несчастный Мик Гловер, племянник старого Сэмпсона.

— Мик всегда был чертовски дерзок. — Я готов был защищать приятеля до последнего, на какое бы злодеяние не толкнула его злая судьба. Мама, естественно, тут же осудила эту мою к нему снисходительность.

— Дорогой Фрэнк, сразу видно, что ты вернулся из страны, знающей один закон — Линча, где суд вершат кинжалом да кольтом. Если кто-то и испытывает твое терпение, это еще не повод для того, чтобы подстеречь его в чистом поле и избить до беспамятства.

— Мик, наверное, очень его разозлил. — Видя, что мама начинает выходить из себя, я поспешно добавил: — Все так неожиданно. Трудно даже свыкнуться с этой мыслью. Ты же знаешь, мы с Джемми Кингом были как братья. Из-за чего же они поссорились?

— Разумеется, из-за этой глупой красотки Роз Эванс, — вздохнула она, и я стал понемногу догадываться о том, что произошло. Еще до моего отъезда в деревне стали поговаривать о том, что фермер Кинг и дочь кузнеца Эванса питают друг к другу весьма нежные чувства. Но красавец-повеса Мик легко мог перейти дорогу любому местному кавалеру. Нрава он был совершенно дикого, однако все без исключения женщины, независимо от возраста и происхождения, предпочитали сквозь пальцы смотреть на его проказы, виня во всем — кто торгашей, у которых Мик вымогал деньга, кто дядюшку, в которого племянничек всосался пиявкой, кто девушек, чье доброе имя он успел уже опорочить — одним словом, кого угодно, кроме истинного виновника всех бед.

— Узнав о том, что юный Гловер ухаживает за Роз, Кинг сообщил об этом Эвансу, и тот запретил дочери встречаться с Миком, — продолжала мать. — Тот взвился, как укушенный, и в «Сверчках» позволил себе в адрес девушки несколько не слишком уважительных замечаний. Началась перепалка — пришлось вмешаться хозяину заведения. Кинг ушел взбешенный, пообещав прикончить Мика, как только тот попадется ему на пути. Мик, не вняв советам приятелей, бесстрашно отправился домой без провожатых. Стояла светлая лунная ночь. Соперник подстерег его у старого каштана на поле Элмера, избил до беспамятства и ушел, оставив несчастного умирать. Это была подлая месть: Мик ведь совсем не умел драться.

— Джем был, наверное, очень нетрезв. — Универсальное английское оправдание я приберег напоследок.

— Да, как тот каменотес, что убивает жену. Кинг полагал, будто заткнул врагу рот навеки и может быть спокоен. Но Мик выжил и дал показания против своего без пяти минут убийцы.

Оставив надежду оправдать преступника, я накинулся на его жертву.

— И как поживает наш сельский донжуан? Сполна ли испил горькую чашу?

— Вскоре после этого умер дядюшка Мика, оставив все свои сбережения какому-то дальнему родственнику. Племянника такой поворот событий, конечно же, не обрадовал: деньгами дяди он привык распоряжаться более чем свободно. У бедняжки имелась кое-какая наличность, но уезжал он отсюда явно на мели. С тех пор о нем здесь никто не слышал.

— А что же Роз Эванс? — спросил я.

— Все еще Роз Эванс. Не столь миловидна, как прежде, но… свой урок она получила. Парни вокруг Роз уж не вьются, но сегодня она, как никогда прежде достойна стать женой приличного человека. После смерти миссис Эванс душою и сердцем она осталась с престарелым отцом. Но слушай, Фрэнк, если Кинга выпустили и он шляется где-то неподалеку, думаю, следует сообщить об этом в полицию.

— Нет смысла его бояться, мама. Я собственными глазами видел, как он поспешил на саутгемптонский экспресс. Сегодня вечером Джем отплывает в Америку. И дай Бог ему того же счастья, что улыбнулось там мне!

Пустое. Счастье улыбается лишь ищущим — людям со связями и капиталом. У Джемми же не было ничего, кроме запятнанного имени.

Как приятно впервые за пять лет проснуться в собственной комнате! За это время где только не приходилось мне спать: в недостроенных домиках, в хижинах дикарей, даже на столе в таверне. Стоит ли говорить о том, что возвращение в спальню со всеми ее удобствами, не говоря уж о многочисленных напоминаниях о счастливом детстве, было само по себе событием ужасно волнующим.

Не приснилось ли мне во сне все, что произошло за последние пять лет? Неужели я стал на пять лет старше? После завтрака мы с мамой провели продолжительную беседу, потом прошлись в огород и обратно (более длинным маршрутом ей, кажется, в жизни своей путешествовать не приходилось), после чего я насладился ленчем, конной прогулкой и чаем. Наскоро сочинив записку Паркеру с извинениями за то, что не смогу сдержать обещание и приехать на новоселье (мероприятие представилось мне скучнейшей тратой времени), я почувствовал вдруг… что умру, если хотя бы еще минуту останусь на месте. Решив, что не смогу без хорошего моциона оценить по достоинству жирную телятину, ожидавшую нас на ужин, я, получив на то улыбчивое мамино благословение, отправился вдоль по деревне — так привыкли мы именовать десяток коттеджиков Эверс-фолда (каждый из них был окружен садом, издали напоминавшим цветочный букетик), разбросанных вокруг церкви, служившей здесь центром.

Ага, вот еще новшество: кооперативная лавка, выросшая на месте магазинчика, торговавшего имбирным пивом и леденцами, — впрочем, и она успела уже обветшать. Здание школы не просто стоит, где стояло, но и, напротив, приобрело нарядный вид: местный комитет поработал на славу. Ну, а сельские старожилы не изменились, конечно же, ни на йоту.

Ни пять, ни пятнадцать лет не в силах сделать другими церковного сторожа или почтового клерка. Все приветствовали меня очень радушно, но так, будто отсутствия моего не заметили вовсе. Вот и дом кузнеца Эванса. Главное, не спросить по ошибке о здоровье супруги. А вот… Ну, конечно же, Бог мой, это она! У дверей дома в темном шерстяном платье, белом батистовом фартуке и простом чепчике стояла, чуть нагнувшись, чтобы принять ведерко из рук мальчика-молочника, Роз Эванс. "О, мама, как ты была неправа, — воскликнул я мысленно. — Она стала краше прежнего!"

Какими словами мне описать ее? Ангел, фея, может быть, королева? — нет, все не то. Роз отличалась высоким ростом и прекрасным телосложением; изящную головку венчала густая копна блестящих каштановых волос. Лицо ее ни чертами своими (излишне, пожалуй, миниатюрными), ни цветом кожи не поражало воображения, но в целом этот чудесный образ медленно, но верно проникал в самую душу. У нее была необычайно красивая шея, а уж ямочки на щечках… они разбили немало сердец!

Роз олицетворяла пасторальный тип красоты — тихий, но в контрасте с внутренней силой своей, неотразимый. Как это удивительно — обнаружить, что застенчивое юное создание, которую издали можно было бы принять за нарядную куколку, обладает недюжинной волей и яркой индивидуальностью! Иные наши красотки, куда более миловидные и кокетливые, с ума сходили от ревности, видя, как их воздыхатели бегут, чтобы в очередной раз столпиться

вокруг этой тихони Эванс.

Но до чего же больно было мне при виде Роз — как всегда, аккуратной, элегантной и чуточку самодовольной (к числу тех, кто склонен себя недооценивать, отнести ее было никак не возможно), — вспомнить внезапно о горе, ею причиненном! Нет, этого я никогда уже ей простить не смогу. Позволив какие-то вольности этому смазливому негодяю Мику, она едва не сделала убийцей достойного человека. "Останься же навсегда одинокой, мисс Роз, ты этого заслужила..." — Более резких слов з ее адрес я не смог заставить себя произнести даже мысленно. Роз выглядела такой милой, свежей и невинной, что я, приблизившись, заговорил далеко не так холодно и отстраненно, как мне самому того хотелось бы.

— Добрый вечер. Вы, видно, совсем меня позабыли?

— Не совсем, — ответила Роз. На губах ее появилась едва заметная улыбка, щеки покрылись слабым румянцем (не девушка, а сама умеренность, во всех отношениях!). — Вы появились так неожиданно. Не хотите ли зайти в дом, сэр? Сейчас папа вернется из кузницы, и будет очень рад вас видеть.

Мы вошли в кухню. Наблюдая за тем, как открывает она дверь в кладовую, чтобы поставить туда молоко, я невольно загляделся на полные руки, выглянувшие из-под подвернутых рукавов. Все-таки было в этой девушке что-то дьявольски привлекательное.

Но затем, отметив про себя идеально сидящее платьице с аккуратными складочками, юное личико, такое свежее, будто за пять минувших лет ничто не нарушило его безмятежности, оглядев кухню с безупречно чистым кирпичным полом и сияющими кастрюлями (Эвансы жили вполне безбедно), я вспомнил о сломленном, опороченном Джемми, обреченном один на один бороться с враждебным миром за свое жалкое существование, и вновь почувствовал, как душа моя переполняется горечью.

— Сколько лет прошло? Пять?

— Достаточный срок, чтобы кое-кому жизнь пустить под откос, — ответил я. Ничто в лице ее не дрогнуло при этих словах. Под решетчатым окошком с шитьем в руках Роз словно воплотилась в персонаж какого-то голландского живописца. "Завидная флегматичность. Пожалуй, излишняя деликатность с моей стороны совершенно тут неуместна", — заметил я мысленно, а вслух многозначительно добавил:

— Одним за это время повезло больше, другим — куда меньше.

— Вы явно принадлежите к числу первых, — парировала Роз.

— Не стану спорить. К сожалению, оказалось, что фортуна была куда менее милостива к другому вашему поклоннику прежних лет, которого я случайно вчера повстречал.

Роз метнула на меня быстрый взгляд; от прежней ее сдержанности не осталось и следа.

— Вы имеете в виду Мика? — выпалила она. — Но где вы его встретили? Он ни разу не дал о себе знать с тех пор, как после смерти дяди покинул наши места. А тому уж три года минет на Рождество.

— Сколько же разбитых сердец он здесь после себя оставил? — осведомился я язвительно.

Роз еще ниже склонилась над шитьем, с видимым усилием набрала в легкие воздуха и тихо, но гордо ответила:

— Мое сердце, во всяком случае, им не разбито.

"Оно-то, конечно, цело — если вообще существует", — подумал я, все более раздражаясь от ее непробиваемого самодовольства.

— Нет, я повстречал не Мика. Этот человек гораздо достойнее, пусть и побывал в арестантской робе; но, имей он неосторожность здесь показаться, то сошел бы за прокаженного.

Вот тут я попал в самую точку. Роз выронила шитье и побелела. Губы ее так и не посмели вымолвить его имени.

— Он... на свободе? — спросила она наконец, тщетно пытаясь сдержать волнение.

— Да, и отбыл уже в Америку, — ответил я. — Пусть же Сам Господь Бог протянет там ему руку дружбы!

Ее карие глаза лани смотрели на меня очень внимательно.

— Как он выглядел?

— Очень плохо, — ответил я. — Боюсь, Джем — из тех, кто, раз преступив закон, предпочитают по ту сторону его и остаться. Что ж, по крайней мере там, куда он держит путь, первый встречный не станет указывать на него пальцем.

— Как бы мне хотелось увидеть его, — прошептала она, будто размышляя вслух.

— Вам? Это было бы слишком жестоко. Зачем напоминать лишний раз человеку, кому он обязан своим паденьем?

Роз зарделась от возмущения.

— Вы говорите со мной так, словно я во всем виновата!

— Полагаю, так оно и есть, — заявил я без обиняков. — Вы позволили Джему ухаживать за собой, делая вид, будто вам это нравится. Но скажите, разве у него не было причин для ревности? Неужели он сам их выдумал?

— Я совсем забыла о том, какой у него необузданный нрав, — печально молвила Роз. — До сих пор не могу поверить в то, что произошло. Рядом со мной он всегда был так мягок. Кроме того, я не была связана с ним каким-либо обещанием, и выслушать Мика имела полное право — почему бы нет?

— Правом этим, конечно, вы воспользовались.

— Возможно и так, — честно призналась Роз. — Он из тех, кто способен заставить тебя поверить во что угодно. И кто легко раздает обещания ради того лишь, чтобы их тут же нарушить. Обещания эти погубили тут многих. И хотя мне Мик не сделал дурного, я заявила, что между нами все кончено. Тогда-то он и произнес слова, которые…

— Едва не стоили ему жизни, — закончил я за нее. — Конечно, он был нетрезв. А такого, как он, если уж заведешь, то не остановишь.

— С тех пор я не обмолвилась с Миком ни словом, — произнесла Роз, как бы оправдываясь.

"Все это, дорогая моя, очень мило, но этим дела теперь не поправишь", заметил я про себя. Потом не сдержался и вслух добавил:

— Вряд ли это известие утешит Джемми Кинга, где бы он ни был сейчас — в тюрьме, или на корабле, среди незнакомых людей.

И тут Роз, к моему удивлению, расплакалась. Я понял, что проповеди моей пришел конец.

— Не плачьте, — пробормотал я, чувствуя себя совершенно беспомощным.

— Я не считаю, что во всем виновата, — снова заговорила она. — Хотя, конечно, не будь меня, Джема никогда не постигла бы такая участь. Сама мысль об этом для меня сейчас невыносима. Я все сделала бы, чтобы хоть как-то ему помочь, хоть что-то поправить!

— Неужели? Даже вышли бы за него замуж? — спросил я, не пытаясь скрыть любопытства.

— Вышла бы. — Роз опустила ладони и приоткрыла лицо. Голос ее зазвучал теперь твердо и убедительно. — Но вы же знаете, это невозможно. Отец скорее увидит меня мертвой, чем согласится на брак с Джемом.

— Да, верно.

В ту же секунду, будто в подтверждение прозвучавших слов, передо мной вырос коренастый кузнец в гетрах и фартуке, типичный представитель сельского сообщества — упрямого, ограниченного, по-своему добродушного. В юности Эванс был популярным проповедником, но собственной паствы в Эверсфолде собрать не сумел и вскоре стал посещать церковь наравне с остальными. Мы вышли на крыльцо и некоторое время сидели, наблюдая за тем, как весь сельский приход в лице полудюжины крестьян расходится по домам после вечерней службы.

— Неужто это Джо Мерфи?! — воскликнул я при виде человека со взъерошенными волосами и странным выражением лица, лихо сбежавшего по ступенькам. На нем была поношенная ряса, извлеченная, очевидно, из гардероба священника. — И он церковь стал посещать? Ну, это уже ни в какие ворота не лезет.

— Серьезным стал человеком: органные мехи раздувает, — торжественно сообщил Эванс.

Прежде Джо жил как в тумане, предаваясь, в основном, двум утехам: браконьерству (об этом мы только догадывались) и джину (о чем все знали наверняка). В силу некоторых особенностей интеллекта (не совладавшего, очевидно, с последствиями второй привычки) ему прощали все эти безобразия, считая любую проделку для этого безобидного сельского шута совершенно естественной.

— Он принял обет и хранит ему верность вот уж почти два года, добавила Роз. — Сначала стал разносить церковные книги и получил прозвище: "Святоша Джо" — но потом занемог, и теперь, кроме как раздувать мехи, ни на что не способен.

— Ну, Мерфи, добрый вечер, — окликнул я новообращенного прихожанина. Откуда путь держишь?

Он тронул пальцами полы шляпы, как бы давая понять, что весьма рад меня видеть.

— Вера святая ведет меня. А откуда? Всегда из церкви. В пятнадцатый вечер месяца — ох и длинный же псалом! Дай Бог, чтобы вам, хозяин, никогда не пришлось зарабатывать хлеб насущный раздуванием мехов.

— Рад был услышать, что ты изменился к лучшему, — заметил я с некоторым сомнением, ибо разглядел в физиономии Святоши Джо некоторые признаки того, что по крайней мере с одной из своих привычек он порвал неокончательно.

— Спиртного в рот теперь не беру, — тут же развеял он все мои сомнения. — Вкус вина успел уже позабыть.

Джо испустил тяжкий вздох, пожелал мне спокойной ночи и двинулся прочь, напевая под нос то ли псалом, то ли что-то еще.

— И он ничего не слыхал о Мике? — спросил я. — Они же были неразлучны.

— Ничего, — ответила Роз. — Что ему наш Эверсфолд? Мик теперь — птица иного полета.

Местные жители оправдывали безобразия Мика пагубным влиянием Джо, но в действительности это были два сапога пара. Более того, подле своевольного Мика Джо всегда оставался лишь бледной тенью.

Заглянув в тот вечер к себе в блокнот, я нашел там записку с адресованными Паркеру извинениями, которую сунул сюда по ошибке. Отправлять письмо было уже слишком поздно. Посоветовавшись с матушкой (она у меня сама пунктуальность), я решил, что поеду к нему, как мы и договаривались, в понедельник, а домой вернусь в среду. Вот такие случайности круто меняют подчас судьбу человека.

До Вудс-Энда я добрался уже после того, как сгустились сырые, ветреные сумерки. Станция эта выглядела еще более заброшенной людьми и Богом, чем даже большинство ее насквозь продуваемых и промокаемых соплеменниц. Приметив едва различимые силуэты двух человекоподобных существ, которые стояли, опершись об ограду, я принял их за носильщика с кучером.

— Далеко ли до Свэйлклиффа?

— Добрая миля будет, если не две — а к ним прибавь еще две с половиной. — Из этого не слишком исчерпывающего и достаточно вызывающего ответа следовало, что собеседник мой — представитель свободных ремесел и потому от общения со мной не ждет ничего для себя полезного.

— Я направляюсь в Свэйлклифф. Не найдется ли здесь двуколки, которая могла бы меня подбросить?

— Билл, парень направляется в Свэйлклифф, — один из них со сдавленным смешком толкнул приятеля в бок. — И просит его подбросить…

— В замок Свэйлклифф, — уточнил я. — Вы знаете, где он?

Вопрос этот вызвал новый взрыв непонятного мне веселья. Носильщик, впрочем, отделился-таки от ограды и, обменявшись нечленораздельными, но, судя по реакции, необычайно остроумными шуточками в мой адрес с дружком-бездельником, взял мои вещи. Спустя еще десять минут с постоялого двора выехала открытая двуколка.

Из-за непролазной грязи короткий путь оказался на редкость долгим. Дождь, правда, прекратился, да и ветер начал стихать: теперь он налетал лишь редкими стремительными порывами. Тяжелые массы черных облаков, напоминавших базальтовые колонны, унеслись прочь к горизонту. Небо над головой очистилось и воссияла луна — такая яркая, какой она бывает только после дождя. Местность, по которой мы проезжали, поразила меня своей пышной растительностью. Гигантские вязы, сикоморы и буки, густо увитые плющом, обступали дорогу, погружая наш путь во мрак. Даже путник, не смыслящий, вроде меня, в географии, легко мог предположить, что где-то рядом протекает река. Неожиданно свернув с основной колеи, мы въехали в ворота недавно отстроенной сторожки, забрали вверх по холму и еще милю, если не больше, продвигались по частным владениям Свэйлклиффа. По обе стороны от нас раскинулась живописная чаща, присутствие которой под тенью огромных деревьев нелегко было угадать. Еще немного — и слева зачернел глубокий овраг, буйством зелени напомнивший мне болота штата Каролина.

Гигантские наросты ползучих растений на стволах и ветвях превращали деревья в бесформенных гигантов. Щетинившаяся под ними густая поросль гигантских папоротников, лавра и искореженных ив скрывала болото, присутствие которого угадывалось по черным лужицам, вспыхивавшим время от времени яркими отблесками лунного света. Путь в Свэйлклифф остался в моей памяти этакой фантастической прогулкой по картинам Доре — художника, чья фантазия способна оживить искривленные ветви деревьев, придав им человеческие формы, и чьи пейзажи словно освещены зловещим заревом черной магии. Ощущение было столь гнетущим, что, когда мы выехали из леса, я почувствовал немалое облегчение.

Внезапно прямо передо мной на травянистой возвышенности вырос замок из серого камня (на фоне темно-синего неба он в ту минуту показался мне белоснежным), поражавший размерами, массивностью и красочным стилем. Эта древняя крепость с башенками, бойницами и парадноq дверью, спрятавшейся под сводами готической башни, напоминала чудовищную игрушку какого-то сказочно богатого принца. Замок вместе с прилегавшими к нему домиками и игровой площадкой был огорожен кирпичной стеной.

Мэтью Паркер встретил меня в холле.

— Поспели как раз к ужину, — воскликнул он. — У вас двадцать минут, чтобы переодеться. Дэвид, проводите мистера Мильфорда в его апартаменты.

Вслед за пожилым благообразным дворецким я пересек огромный холл с высоким застекленным потолком, через который просматривалось темно-синее небо, а затем поднялся по широкой лестнице, минуя площадки, от коих разбегались во все стороны бесчисленные коридоры. Неудивительно, что Паркер был столь гостеприимен: его замок казался способным вместить население целой страны.

Я проследовал за Дэвидом по длинному коридору верхнего этажа, в самом конце которого располагалась моя комната. Он отомкнул дверь, и в тот же миг порывом ветра из открытого окна загасило свечу в его руке. Вместо того, чтобы захлопнуть ставни, дворецкий бросился в коридор вновь зажигать свечу. Намереваясь исправить его ошибку, я шагнул вперед, и сквозняк тут же захлопнул дверь за моей спиной.

Это была маленькая продолговатая комнатка с окошком прямо напротив двери. Ветер распахнул шторы, и в проем между ними нежно струился лунный свет. Переступив порог, я замер, пораженный странной картиной. Ни до, ни после этого ничего подобного мне испытывать не приходилось. Фантастически яркое видение предстало моему взору: забыть его, при всем желании, я не смогу уже никогда. Мне показалось, будто между распахнутыми ветром шторами стоит, притаившись, человеческая фигура в каких-то странных одеждах. Наваждение длилось не более минуты, но мне показалось, что наедине с этим подобием человека, лицо которого никак нельзя было рассмотреть, я пробыл во мраке целую вечность.

В комнату вошел Дэвид с лампой в руке. Лишь только он поставил ее на стол, как лунный свет поблек, а фигура превратилась в орнамент, сотканный игрой света и тени. Еще мгновение — и место, на котором только что стоял призрачный незнакомец, занял живой человек. "Кому-то в языках пламени лица мерещатся, кому-то — лешие средь ветвей. Почему бы и человеческой

фигуре не появиться меж штор?" — успокаивал я сам себя, пока Дэвид закрывал окно и задергивал занавески.

С помощью дворецкого мне удалось поспеть вниз как раз вовремя. Веселье Паркер устроил королевское, под стать своему замку. Большинство гостей составляла молодежь, так что вечер игр и шарад-экспромтов пролетел очень весело. В полночь, вдоволь нахохотавшись, я покинул компанию, совершенно забыв о странном видении, посетившем меня в первые минуты моего тут пребывания. Я обнаружил своего знакомца Дэвида за разжиганием камина. В комнате и без того было жарко, однако дворецкий преисполнился вдруг самой трогательной заботы о моем благополучии.

— Надеюсь, сэр, этой ночью ничто не потревожит ваш сон. Могу ли я быть еще чем-то полезен?

— Вы могли бы раздвинуть шторы, — предложил я, желая сделать приятное старику, который явно пытался чем-то мне услужить. — Ночь сегодня теплая, а я люблю свежий воздух.

— Мне кажется, сэр, с задернутыми шторами вы будете спать крепче, твердо ответил он.

— Луна мне не помешает. Можете опустить жалюзи, если хотите.

— Я бы очень рекомендовал вам, сэр, оставить тут все, как есть.

— С комнатой что-то не так? — спросил я, удивленный его несколько странным поведением. — По-моему, Дэвид, для одного постояльца она превосходна.

— Поговаривают, сэр, здесь происходит что-то странное.

— Где-нибудь протекает?

— О, нет, тут сухо, как в проповеди евангелиста, — ответил он без тени усмешки.

— Ага, значит, водятся крысы.

— Нет, сэр.

Дэвид помолчал немного, потом добавил:

— Вы, конечно, не верите в духов, сэр; я тоже. Но есть вещи, которые объяснить невозможно. Послушайтесь моего совета: оставьте шторы задернутыми. Спокойной вам ночи, сэр.

Немалых усилий стоило мне скрыть то крайне неприятное впечатление, которое произвели на меня эти последние слова, Я издавна мечтал провести ночь в «непокойной» комнате, однако в данную минуту желал только одного: чтобы Паркер перевел меня отсюда как можно скорее, и куда угодно. Впрочем, малость поразмыслив, я пришел к выводу, что произошло чисто случайное совпадение. Известны ведь сотни случаев, когда человек становился жертвой подобных оптических иллюзий. Наверняка происшедшее со мной можно было объяснить причинами, к таинственным намекам Дэвида не имевшими ни малейшего отношения. Да и такой замок, как Свэйлклифф, без хотя бы одного, малюсенького привидения был бы в глазах его обитателей несовершенен. Я рассмеялся, отмахнулся решительно от мира духов, отдернул шторы, лег в постель и очень крепко проспал всю ночь.

После завтрака гости оказались предоставленными сами себе. Вместе с двумя здешними джентльменами я вышел на луг, чтобы выкурить по утренней сигаре. Поднявшись по холму, наша небольшая компания остановилась на пригорке, с которого открывался превосходный вид на замок, и предалась созерцанию.

— Умно придумано, честное слово, — изрек одобрительно сэр Джон.

— Мог ли я предположить, что окажусь когда-нибудь в Свэйлклиффе? смешливо поддакнул второй. Что-то в их напускной веселости необъяснимым образом напомнило мне тех станционных лоботрясов.

— Свэйлклиффский замок. Звучит! — продолжал тем временем мой второй компаньон. — Глядишь, постепенно к этому и привыкнем.

— Привыкнете к чему? — поинтересовался я.

— Как, вы разве не знаете? — удивился сэр Джон, вынимая изо рта сигару.

— О чем именно? Видите ли, я в этих местах впервые.

— Тогда все ясно. — Он сунул сигару обратно. — Дело в том, что до прошлого года Свэйлклифф был… тюрьмой.

Я вздрогнул: наверное, это было заметно.

— Что такое? — спросил, посмеиваясь, сэр Джон. — Похоже, известие это не очень-то вас обрадовало.

— Да уж, не очень. — Моя попытка рассмеяться не увенчалась особым успехом. Еще одно совпадение — удивительное само по себе.

— Строение решили продать за бесценок. Земля, здания, строительные материалы — все перешло в полное распоряжение нового хозяина. Из-за постоянных речных разливов — ну, и еще по кое-каким причинам — всех заключенных перевели в Саутбери, что в десяти милях отсюда. Паркер же, купив землю, вознамерился осушить болота, так что все останутся в выигрыше. Но вы, я вижу, никак не придете в себя.

— Провести ночь в тюремной камере, — пробормотал я. — Есть, знаете ли, что-то мрачное в самой этой идее.

— Ну, дом — он не человек: хозяев не выбирает, — философски заметил сэр Джон. — А по респектабельности наш Свэйлклифф иному фамильному поместью даст фору. Заведение это было во всех отношениях образцовое.

Тем временем я окончательно сумел взять себя в руки.

— Что ж, остается только надеяться, что он не оставил в себе никаких зловещих воспоминаний.

— Кажется, есть где-то там камера с привидением, — усмехнулся мой компаньон. — Но что за взломщик решил в ней поселиться навеки, а главное, почему — этого я, хоть убейте, не знаю…

И разговор перешел на другую тему. Из тысячи историй о привидениях внимания заслуживает в лучшем случае лишь одна, в этом я не. сомневался, но… Не она ли попалась мне на пути? Я решил, что расспрошу обо всем Паркера, но только не сегодня — во всяком случае, не до начала бала.

Танцы закончились на рассвете, и это меня, боюсь, не слишком расстроило. Тут только и вернулся я в комнату, к которой испытывал теперь глубочайшее отвращение. Вставать пришлось рано: сразу же после завтрака нужно было готовиться к отъезду. Паркер к гостям не вышел. Легкий приступ подагры вынудил его остаться в спальне. Я отправился к нему попрощаться и обнаружил хозяина в обычном для него жизнерадостном расположении духа.

— Помните: в Свэйлклиффе вы всегда желанный гость. А что, вид ему мы придали вполне приличный — вы не находите?

— Избавить бы еще это строение от кое-каких мрачных ассоциаций — вот тогда успех можно было бы считать окончательным, — многозначительно заметил я.

— Но разве нам этого не удалось? — беззаботно воскликнул Паркер.

— А от постояльцев с расшатанной нервной системой вам, случайно, никаких жалоб не поступало? Не удивляйтесь: для такого вопроса у меня имеются веские основания.

— Что вы хотите этим сказать? — резко спросил он.

— Гнетущие ощущения, странные разговоры — ничто не беспокоит тут ни вас, ни ваших гостей?

— Чертовы слуги, — пробормотал он смущенно. — Неужели этот старый болван Дэвид…

— Он всего лишь намекнул на нечто, о чем я в ту же секунду забыл бы, если бы за четыре часа до этого, едва только переступив порог комнаты, сам не стал жертвой странной… если хотите, галлюцинации. Она-то — в совокупности с его замечанием — и вынудила меня задать вам этот вопрос.

Паркер заерзал, всем своим видом выражая крайнее нетерпение.

— Ну же, мистер Мильфорд, вы человек благоразумный. Расскажите-ка лучше, что вы там такое увидели — вернее, подумали, будто увидели.

— Боюсь, если рассказать вам это, вы в моем благоразумии усомнитесь.

Кажется, мое признание не пробудило в Паркере любопытства — оно всего лишь привело его в величайшее раздражение.

— Если так будет продолжаться и дальше, придется снести все крыло хотя бы ради того, чтобы положить конец всей этой болтовне.

— Будет продолжаться… что?

— Я спал в той комнате целую неделю и ничего не видел!

— Ну а, кроме меня, имеются еще очевидцы?

— Слугам там каждый вечер что-то мерещится. Что именно? Черные псы, женщины в белом, рыцари в доспехах, громыхающий цепями скелет — одним словом, всякая ерунда.

— А с этой комнатой… или, точнее, с камерой, не связано ли какой-то истории?

— Неужели вы думаете, дорогой мой, что я стал бы об этом расспрашивать? Если и ходят о ней какие-то слухи, то я всеми силами стараюсь их избегать. Впрочем, могу рассказать об одном происшествии: оно, несомненно, имеет какое-то отношение к делу.

Не так давно у нас гостила одна дама, приехавшая дать уроки рисования моим дочерям: талантливая художница, но очень уж нервная, впечатлительная, чтоб не сказать, истеричная. Зная о том, я не стал посвящать ее в прошлое нашего замка, но кто-то, видимо, проговорился. Поскольку строительные работы еще продолжались, эту комнатку пришлось отдать ей. Однажды вечером женщина вне себя от ужаса и возбуждения вбежала к моим девочкам и заявила, что видела у себя в комнате нечто ужасное. Им удалось успокоить учительницу, но вернуться в комнату она отказалась наотрез. Более того, поначалу эта сверхчувствительная особа, опасаясь насмешек, не стала рассказывать, что ей такое привиделось, а пообещала впоследствии изобразить свое видение на холсте. Она сдержала слово.

— Вы сохранили ее рисунок? — спросил я, сгорая от нетерпения.

— Да, случилось так, что он сохранился. Я собирался его уничтожить, но потом отложил в сторону, и все это вылетело у меня из головы.

Я пристал к Паркеру с просьбами показать мне картину. Наконец он с явным неудовольствием открыл дверцу стенного шкафчика и вынул оттуда большое полотно.

— Умело сработано, но очень уж вычурно. А так, в целом — вполне убедительный получился сюжетец с призраком.

Он развернул передо мной холст. Потрясение, которое я испытал в тот момент было невероятным: ценой лишь неимоверных усилий, дабы не остаться в глазах хозяина полным безумцем, мне удалось сдержать свои чувства. Мебель где-то неясная, очерченная лишь тенью, где-то видимая отчетливо под лучами лунного света, открытое окно с раздвинутыми шторами, а между ними — зловещая фигура с сокрытыми чертами лица — все было воссоздано художницей в мельчайших деталях!

— Вот видите, — заметил Паркер после некоторой паузы. — Только начнешь размышлять о прошлом нашего Свэйлклиффа, как воображение такое тебе нарисует!

Но я-то приехал в замок, ничего не зная о прежних его обитателях!

— Ну что ж, сейчас мы с этим художеством и покончим, — решительно заключил Паркер. — У меня лично галлюцинации такого рода не вызывают ни малейшего интереса.

— А не могли бы вы отдать эту картину мне? Я-то как раз и неравнодушен к галлюцинациям такого рода. Обещаю не сплетничать и никому не показывать этот рисунок дома.

— Как будет угодно, — безразличным тоном бросил хозяин. — Но, ради всего святого, как собираетесь вы унести картину такого размера?

— Очень просто. — Я вынул нож и, отделив холст от деревянной рамки, свернул его в трубку,

которую можно было зажать в ладони.

Обстоятельства, сопутствовавшие этому моему приобретению, были слишком поразительны, почти невероятны. Мне требовалось время, чтобы оправиться от потрясения, ибо разум отказывался верить тому, что произошло.

В Лондоне я опоздал на пригородный поезд и, поужинав на станции, добрался до Кросс-Хиллс лишь в десять часов вместо шести. Оставив саквояж носильщику с тем, чтобы тот утром доставил его в дом, я отправился через поля напрямик. Вскоре тропинка вывела меня на дорожку, огороженную от наших земель частоколом с калиткой, ключ от которой лежал у меня в кармане.

Я щелкнул замком и вышел в рощицу, откуда было рукой подать до деревенского летнего домика, служившего мне очень удобной курительной комнатой: он был основательно выстроен, покрыт вереском, уложен циновками, а меблирован простым деревянным столом, кушеткой и стульями. Несколько книг, канцелярские принадлежности и газеты, которые я успел принести сюда уже после приезда, придавали интерьеру вполне жилой вид. Именно здесь и решил я повесить картину с изображением призрака. Место показалось мне вполне безопасным: домик запирался, так что никто кроме меня проникнуть сюда не смог бы. Дома же слуги матери непременно пронюхали бы о картине, а я обещал Паркеру держать язык за зубами. При свете лампы я расправил картину, слегка помявшуюся в пути, и четырьмя кнопками прикрепил ее к настенной циновке.

Боже милостивый, что же это был за кошмар! Я поймал себя на том, что при всем своем отвращении не в силах оторвать от картины взгляда. Насколько же точно воссоздавала она мои собственные воспоминания! Или опять-таки причиной всему — мое воспаленное воображение? Я начал понимать, почему старина Паркер стремился как можно скорее от нее избавиться. Наверное, и мне следовало бы поскорее этот холст уничтожить. Впрочем, сейчас это было бы уже непросто.

Я решил, что оставлю картину здесь по крайней мере до тех пор, пока тайна ее как-то не разрешится, а пока этой же ночью напишу коменданту Саутбери письмо с просьбой провести соответствующее расследование.

Но видеть картину на стене перед глазами было невыносимо. Взяв старый номер «Тайме», я приколол его поверх холста булавками, после чего взял фонарь и повернулся, чтобы отправиться через лес домой.

В эту минуту снаружи послышался глухой стук, словно человек спрыгнул в траву с частокола. Я прикрутил фитиль и, прильнув к щели в стене домика, попытался разглядеть происходящее снаружи. Что могло привести сюда постороннего в такой час? Догадаться нетрудно. Мясная лавка в соседнем городке ломилась от дичи, и поставщиками ее были, конечно же, не те добропорядочные граждане, что имели разрешение на охоту.

Луна скрылась за облаками, но было достаточно светло, чтобы я мог разглядеть фигуру человека, пробиравшегося сквозь заросли. Не будучи особенно ревностным блюстителем закона об охоте, я все же решил во что бы то ни стало установить личность браконьера. Вполне возможно, на воровство его толкнула нужда: несчастная жена, больные детишки — но если так, я должен был знать об этом наверняка.

Впрочем, пока незнакомец продирался сквозь кустарник, мне удалось хорошенько его разглядеть: вне всяких сомнений это был Святоша Джо горе-трезвенник, в прошлом разносчик церковной литературы, а ныне раздуватель мехов! Негодяй скрылся в глубине рощицы, где, несомненно, успел заранее установить западню. Ни сообщников, ни огнестрельного оружия у Мерфи быть не могло, поэтому я решил, что одолею его голыми руками. Пока пришелец возился с капканом, я выскользнул из дома и засел в укрытии, отрезав ему обратный путь к палисаду. В тот самый момент, когда Джо повернулся, чтобы убраться с добычей восвояси, я подскочил к нему и ухватил его за шиворот.

— Отпусти, чертов сторож! — зарычал он. — А не то заявлю, что сам тебя тут застукал! Докажи потом, что не ты поймал птичку! А ну, прочь! Вот тебе, получай! — Яростным усилием Джо вырвался из моих объятий и начал сыпать ударами направо и налево. Мы сцепились, и он стал драться яростно, как дикий зверь, проявив при этом силу которая немало меня изумила. С минуту мне пришлось защищаться, но потом после обмена оплеухами я хорошенько прицелился и одним ударом опрокинул противника на землю. Бессильно распластавшись, он принялся кряхтеть о том, что со Святошей Джо, дескать, покончено навсегда.

— Поднимайся! — крикнул я, заподозрив притворство. Мерфи покачал головой, Конечно же,

он узнал меня и укоризненно заныл теперь о том, что во всем теле у него не осталось-де целенькой косточки — а все из-за несчастной птички, которую прикончил он ради того лишь, чтобы избавить от лишних страданий. С детства, оказывается, этот добряк не мог спокойно взирать на то, как страдают несчастные твари.

Я поднял фонарь. Его лицо показалось мне противоестественно бледным. Видя, что без посторонней помощи Мерфи идти то ли не может, то ли не хочет, я поднял его и затащил в летний домик, решив, что очень скоро пойму, действительно ли не рассчитал силу ударов, или (что куда более вероятно) негодяй получил лишь легкую взбучку, разумеется, более чем заслуженную. Я усадил его на стул и зажег свечи. Мерфи был бледен и сотрясался всем телом от страха, боли или нервного потрясения — этого я понять не мог.

— Мастер Мильфорд, — заявил он торжественно, — я умираю.

— Умираешь? Вздор. Насколько позволяют мне судить мои скромные познания в медицине, ты отделался несколькими ссадинами. С какой стати ты набросился на меня, будто дикая кошка? Меньше всего я ожидал, что ты начнешь драться.

— А во мне ведь дьявол сидит. Попробуйте только его разозлить! ответил Мерфи, состроив нелепейшую в его положении горделивую мину. — Многие на себе это уже испробовали. — С этими словами он вяло стукнул по столу кулаком. — А потом ревматизм меня доконал. Все эта церковь — ух, и сыро же там!

Но пока он говорил, обнаружилась истинная причина — как неожиданной его энергичности, так и столь же резкого приступа слабости: я вынул из кармана у Мерфи наполовину опустошенную фляжку и помахал добычей у него перед носом.

— Ревматизм, говоришь? Вот, оказывается, чем ты решил подбодрить себя, негодяй, прежде чем решился влезть ко мне на участок! Ну, конечно, ты и в субботу был пьян — когда утверждал, что позабыл запах вина и в рот не берешь больше ни капли!

— Исключительно в лечебных целях, — проговорил он мрачно, и вместе с тем очень лукаво. — Только по рецепту врача. Вот вы в медицине кое-что смыслите — сами сейчас признались. Избили человека до полусмерти прописывайте ему теперь чего-нибудь для выздоровления.

— Ну, нет, — ответил я, ни на секунду не сомневаясь в том, что лекарства своего он принял уже достаточно. — Выпей воды, если уж так обессилел.

Я отошел к полке, чтобы взять оттуда кувшин, но не успел повернуться к негодяю спиной, как он вскочил — откуда взялись только проворство и сила! схватил фляжку, неосторожно оставленную мной на столе, и осушил ее с такой жадностью, будто там действительно находилась вода, после чего откинулся на спинку стула, изобразив на физиономии неописуемое блаженство.

— Ах, негодяй, да как же тебе не совестно! — вскричал я в ярости от собственного бессилия. — Живешь на вспомоществование прихода, притворяясь трезвенником, а сам глушишь бренди, да такими дозами, какие способны прикончить и гиппопотама. Мало того, что вор — ты еще и пьяница!

Он продолжал глазеть на меня, радостно и тупо. Наверное, сам Господь Бог не в силах был прошибить сейчас эту стену тупого самодовольства.

Тем временем алкоголь подействовал на Джо возбуждающе, и язык у него развязался. Впрочем, насколько я помню, он всегда очень непрочно держался у него за зубами.

— Вор вору — рознь, — начал он. — Один верхом скачет, другому и за ограду — ни-ни. Вот Мик, к примеру, наш юный дьявол…

— Ах, этот бродяга! — воскликнул я, не в силах сдержаться, ибо одного только этого имени было теперь достаточно, чтобы привести меня в бешенство. — Да вы с ним — два сапога пара.

— Неужто вы его повстречали? — Моя горячность возбудила его любопытство. — Где, хозяин? Бьюсь об заклад, купается в роскоши, пока честные труженики вроде Джо Мерфи голодают, перебиваясь жалкими крохами. Пусть только сунется сюда — мигом все переменится, — уж я о том позабочусь! — добавил он неожиданно.

— Да вы же всегда рядом были, водой не разольешь, — заметил я, пораженный злыми нотками в его голосе. Но Джо и ухом не повел.

— Этак и с граблями недолго сдружиться. Тут главное, не зевай: того и гляди, по лбу хватят. Скажите мне, где он, хозяин: уж я-то денежки из него выжму. Ловко старого друга пристроил: побираться заставил приходской милостыней! А ведь одно мое слово, и полиция тут как тут: мигом упекут его за грабеж.

— Что ж, и поделом бы. — Любой намек на то, что Мику могут грозить какие-то неприятности, доставлял мне теперь удовольствие. Кроме того, я решил вытянуть из Джо как можно больше и, заметив, что мысли его с каждой секундой становятся все туманнее, сделал вид, будто целиком разделяю его чувства.

— Конечно, я и сам хорош: поверил ему на слово. Ну, и все проворонил, конечно. Ждал, что поделится — как же! А Сэмпсон ведь знал, Сэмпсон все знал, — добавил он едва слышно.

— Знал, что Мик его обокрал? — Вопрос мой прозвучал слишком резко. Джо насторожился.

— Этого я не говорил, — покачал он головой с тошнотворной ухмылкой.

— Но ведь старик действительно знал! — Я, кажется, начал уже входить в свою роль. — Он ведь Мику ни гроша не оставил — это ли не доказательство?

Аргумент этот, преподнесенный мною как нечто само собой разумеющееся, произвел на Джо впечатление.

— И верно. Ни гроша не оставил — знал, значит! Как ты мне, так и я тебе. Племянник дядюшку грабанул — дядюшка отвечает тем же, ха-ха! Ничего лучшего Сэпсон и придумать не мог — а то бы уж, конечно, придумал. Доказательств-то ни у кого не было. Кроме меня, конечно. Жалею теперь, что смолчал. Если дядя родной с ним так, то я-то чем хуже? Отвечайте мне, чем?

— Да уж, вы с ним — что пара бешеных псов! — воскликнул я, на секунду забывшись, но Джо не обратил на это никакого внимания. Смысл его сбивчивого монолога сводился, судя по всему, к тому, что они с Миком стащили у старого Сэмпсона шкатулку с деньгами. Все это выглядело достаточно правдоподобно, и чувство справедливости во мне взбунтовалось: подумать только, парочка отпетых мерзавцев разгуливает на свободе, а бедный Джем отсидел срок — за то лишь, что в роковую минуту не совладал с праведным гневом!

— Если бы Господь Бог человеку при жизни воздавал по заслугам, я знаю, где бы вы со своим дружком Миком сейчас пребывали!

Джо покачал головой.

— Собака на воле лучше, чем лев в клетке. Пословица есть такая, пробормотал он с пьяной ухмылкой.

— Итак, ты ограбил дядюшку Мика, и вы поделили добычу? — продолжал я уже спокойнее.

Но Джо, вновь заподозрив неладное, приподнялся со стула и заговорил таким тоном, что стало ясно: ничего мне из него больше не вытянуть.

— Понял, к чему вы клоните. Но старого воробья на мякине не проведешь, чтоб мне треснуть на этом самом месте! Ухожу домой.

— Ну и проваливай, — ответил я, подавив в себе желание поторопить негодяя прощальным пинком. — И заруби себе на носу: еще раз поймаю с куропаткой, усажу куда следует и очень надолго — это так же верно, как и то, что меня зовут Мильфорд. Пресвятая Богородица, что на этот раз с тобой приключилось?

Джо, кажется, не расслышал моих последних слов: внезапная бледность покрыла его лицо, и расширенные зрачки неподвижно вперились в пустоту. Тело его затряслось, он съежился от ужаса.

— Боже праведный, что это? — проговорил он непривычно растерянным тоном и робко протянул перед собой руку.

Сначала я решил, что у Джо началась белая горячка, но, оглянувшись, все понял. Газета соскользнула с холста вниз, и луч света, падавший на стену под несколько странным углом, высветил во мраке одинокую, странно одетую фигуру, лицо которой было почти полностью скрыто шапочкой, натянутой на него. Казалось, в воздухе перед нами завис мертвец, восставший из могилы. Зрелище это произвело на Джо ужасный эффект. Члены его и язык

словно одеревенели. Только я собрался заговорить, как он вдруг зашатался, задергался, будто парализованный, и упал на колени.

— Это он, Король-Тигр — он умер в тюрьме! Точно таким же я видел его и прежде: он являлся ко мне по ночам. Мертв — и явился, чтобы меня утащить за собой в преисподнюю! Не приближайся! — Джо дико рассек пустоту кулаком. Поищи себе лучше Мика. Я против тебя не сказал ни слова, готов присягнуть на веревке! Пощади же и ты мою душу…

Он прикрыл ладонью глаза, вновь украдкой взглянул на рисунок и отчаянно взвыл:

— Да не качайся ты так, будто… И сними шапку, покажи нам свое лицо! Джо издал вопль, от которого кровь застыла у меня в жилах, и отшатнулся, не в силах оторвать глаз от картины.

— Знаю, ты — голова мертвеца. Но слушай, найди себе лучше Мика: вот кто лжесвидетель и негодяй! А я-то что? Человек не вправе сам себе выносить приговор. Таков британский закон, да ведь оно и во всем мире так. Клянусь, Джем, я никогда ничего против тебя не имел. Но какой идиот станет сам себя оговаривать, если дело тюрьмой пахнет? Это же самоубийство. То есть, смертный грех!

Джо прижался спиной к стене. Взгляд его сделался совершенно безумным.

— Это не я засадил тебя за решетку! — воскликнул он, задыхаясь. — С тем же успехом можешь обвинять в этом неродившегося младенца. Засунули тебя туда полицейские. Мик оговорил тебя под присягой, но я-то причем? Сам виноват, раз не смог себя защитить. А теперь проваливай, или я вышибу тебе мозги — не посмотрю, живой ты или мертвый. Иди сюда, я тебя так отделаю, как отделал этого… — Он осекся и бессильно рухнул, задыхаясь в каком-то припадке.

Мгновение я стоял, ошеломленный, не зная, что и думать об этих таинственных полупризнаниях. Страх привел меня в чувство: если он действительно испустит дух, умрут и все мои надежды что-то разузнать об этом деле. Я бросился к Джо, уложил его на кушетку, расстегнул воротник и, подобрав газетный лист, поспешно прикрепил его к картине. Обморок оказался недолгим, и через несколько минут Джо открыл глаза, тут же бросив быстрый взгляд мне за спину — туда, где висела картина.

— Исчез… — Он поднялся, испустил глубокий вздох и огляделся. Кошмарный сон самого отъявленного храбреца сделает трусом.

Он помолчал немного, затем обернулся ко мне и заныл все тем же приторным голоском.

— Хозяин, я умираю. Вы меня погубили. Конец наступает Святоше Джо.

Разумеется, жизни его ровно ничто не угрожало. Виною всему была болезненная мнительность — следствие выпитого бренди. Вполне возможно, впрочем, что он допился-таки до белой горячки, вызвавшей временное умопомрачение.

— Если это действительно так, Джо, — заговорил я, осторожно подбирая слова, — то на твоем месте я бы отошел в мир иной с чистой совестью и рассказал бы обо всех злодеяниях, что совершили вы с Миком.

— Подлец! — злобно рявкнул Джо. — Это он меня довел! Раньше я мухи не мог обидеть. Да, в воскресенье любил глоток пропустить, ну и что с того? Если денек хороший стоит, грех за это не выпить, ха-ха! Мик использовал меня в своих интересах, а потом прикарманил все деньги. Обманул того, кто, рискуя жизнью, выполнил для него всю черную работу.

— Итак, он заставил тебя выкрасть у Сэмпсона шкатулку с деньгами, снова заговорил я, волею обстоятельств взяв на себя роль частного детектива. Увы, на этом поприще я оставался не более, чем дилетантом. Судя по невинному виду, с каким Джо спросил, что я имею в виду, он сохранил остатки благоразумия и готов был выдержать этот допрос.

— Ну, это мы уже проходили, — бросил я с безразличным видом. — Сэмпсон все знал.

— Не знал, а только догадывался, — поправил меня Джо. — Полиция пришла к выводу, что тут поработала банда грабителей. И, кроме того, не нашла шкатулку.

— Еще бы, ты ведь хорошенько ее припрятал, — пошел я ва-банк, обо всем догадавшись по выражению его лица. — Но что, если хорошенько ее поискать?

— Искать будут до второго пришествия. Где она — этого даже сам Мик не знает. Но он

заграбастал все денежки, а мне десять фунтов оставил. А мы договаривались поделить все поровну!

— Нет, ну каков мошенник, — сочувственно встрял я. — Самую грязную работу поручил другу, да еще и долю его прикарманил!

— Так без него я никогда бы и не узнал, где Сэмпсон денежки прячет. Это Мик рассказал мне, как найти сейф в стене и ключ к нему. Просто, как дважды два. Сэмпсон только через три дня обнаружил пропажу.

— Умно сработано, ничего не скажешь.

— В ту самую ночь, когда Мик сцепился в «Сверчках» с Джемми Кингом, мы встретились с ним, как и договаривались, у каштана на поле старого Элмера. Выяснилось, что в шкатулке лишь половина того, на что мы рассчитывали. Тут-то Мик, этот мошенник, и решил все заграбастать. Поклялся, что в случае чего мигом упрячет меня в тюрягу. Да и кто бы поверил мне, несчастному бедняку? Но в ту ночь я за все ему отплатил.

Я оказался плохим актером — не смог скрыть своих чувств.

— Так это ты, Джо Мерфи, совершил злодеяние, в котором обвинили потом Джема?

К Джо снова вернулся инстинкт самосохранения.

— Эй, а с чего это вы взяли? — спросил он, резко меняя тон.

Вне себя от гнева, я не в силах был уже притворяться.

— Все ясно, как Божий день, Ты подрался с Миком, а тот не посмел заявить в полицию, опасаясь, что ты выдашь его как соучастника грабежа.

Но Джо еще не окончательно утратил остатки разума.

— Соображаете! — усмехнулся он. — Вот только Джо несообразительнее вас будет, если заставил поверить такой ерунде.

Я растерялся: надежды мои рушились на глазах. Известно, чего стоят саморазоблачения пьяницы. Других доказательств, кроме его слов, у меня не было. А что, если вся эта история действительно всего лишь плод расстроенного воображения?

— Ладно, кто старое помянет, тому глаз вон, — вздохнул я. — Сэмпсон умер, так что с его стороны неприятностей тебе ждать нечего. Одного только не пойму: что произошло со шкатулкой?

Но Джо уже догадался об истинной цели моих расспросов.

— Со шкатулкой? — удивился он, будто не понимая, о чем идет речь. — Вы что же, всерьез восприняли болтовню полоумного бедолаги? Я уж и забыть успел, что вам тут наговорил.

Вне себя от ярости, я попробовал прибегнуть к угрозам.

— Если ты сейчас обо всем не расскажешь, завтра же предстанешь перед мировым судьей, а потом отправишься за решетку — по меньшей мере за кражу и вторжение в частные владения.

Но все было тщетно.

— Эти благоверные христиане не будут очень строги к бедному немощному старику. Валяйте, хозяин: я готов к новому испытанию.

Отчаявшись, я готов был уже отпустить его на все четыре стороны, как вдруг меня осенило. Незаметным движением я вновь сорвал с картины газету. Джо, не заметивший этого маневра, вновь оказался лицом к лицу с нарисованным призраком. Эффект был мгновенным.

— Хозяин, он появился! — дико вскричал он, вцепившись мне в руку.

— Кто, где? — я принялся озираться. — В чем дело? Что такое тебе привиделось?

— Вот же он, Джемми Кинг в арестантской робе. Узнаю эту широкую стрелку… Он готов придушить меня! Не подпускайте его. Он идет сюда!

И Джо бросился к двери, которую я предусмотрительно запер на ключ.

— Ты трус, Мерфи и, кроме того, мучаешься угрызениями совести, вскричал я. — Вот до чего довели тебя притворство и лживый язык! Чувство вины — единственная причина всех этих ужасных видений. Скажи мне всю правду, и призрак оставит тебя. Итак, вы с Миком ограбили Сэмпсона Гловера и повздорили из-за денег. А шкатулка… ты останешься здесь пока не скажешь мне, где она!

— Зарыта у каштана на поле старого Элмера, — выпалил он, задыхаясь. — В трех шагах к северу, глубоко под землей. А теперь — во имя всего святого отпустите меня!

Я распахнул дверь, и он, закрыв лицо руками, бросился прочь. Увы, с головой у Джо явно было не все в порядке: проковыляв несколько ярдов, он рухнул в траву, не в силах сделать ни шагу.

Я подошел к калитке, свистнул и стал ждать, пока не подоспеют на помощь двое наших работников из ближайших коттеджей.

— Отведите этого человека в приходскую больницу, — сказал я. — Он занимался тут браконьерством, но пусть это останется на его совести. Сейчас же его должен осмотреть доктор.

"А завтра пусть только попробует отпираться, — добавил я про себя. Посмотрим, чего все эти его признания стоят…"

Заключение

Прошло четыре недели. Стоял холодный октябрьский вечер. Матушка решила уже, что у меня помутился рассудок: все эти дни усидеть дома, в четырех стенах, было свыше моих сил.

Событий за этот месяц произошло столько, что их хватило бы на целую книгу. За странными признаниями, вырвавшимися у Джо Мерфи, последовало частное расследование. Вскоре результаты его получили официальное подтверждение: Кинг был признан невиновным по всем пунктам обвинения и полностью оправдан. Между тем, выяснилось еще одно обстоятельство; о самой странной его стороне осведомлен был лишь я один.

Больше всего я боялся теперь, что истина восторжествовала слишком поздно. Я телеграфировал в пункт прибытия «Камбрии», но за восемь дней не получил ни устного, ни письменного ответа. Джем мог отправиться в плавание под чужим именем. А что если он изменил маршрут, пересев на другой корабль? В голову мне приходили и более мрачные предположения.

Сотни раз под ничтожнейшими предлогами я уходил к станции, пока наконец не пообещал себе прекратить эти прогулки. И все же в тот вечер я снова решил пройтись по дорожке, которую называли здесь Шутерс-Хилл.

Предстояло обдумать новый план: мне пришло в голову разослать объявления по американским газетам. Густой осенний туман искажал перспективу, коров и овец превращая в чудовищ, луну — в бледное подобие утреннего солнца, человека — в фантастического гиганта. Одна из таких огромных фигур в эту минуту спускалась с холма, и сердце мое — что поделаешь! — вновь учащенно забилось.

На протяжении последней недели я видел сотни фигур, напоминавших издали Джемми Кинга, но каждый раз оказывалось, что это извозчик, разносчик или молочник. На этот раз я заранее убедил себя в том, что это не Джем, и все же… Поезд прибыл совсем недавно. И что, если этот огромный рост — не просто оптическая шутка тумана?

Броситься навстречу, чтобы в очередной раз стать жертвой разочарования? Ни в коем случае. Я остановился и стал ждать. По мере того, как человек приближался, я начал медленно узнавать: сначала походку, потом — как радостно забилось сердце в моей груди! — знакомые черты лица. Теперь Джем мало походил на того несчастного бродягу, с которым мы на этом самом месте не так давно распрощались. Поздоровевшее, бронзовое от загара лицо его светилось надеждой — она же излечивает от недугов лучше, чем все ветры Атлантики.

Как истинные англичане, мы ограничились молчаливым рукопожатием.

— На этот раз, Джем, ты не откажешься от небольшой прогулки со мной, произнес я многозначительно.

Что-то заподозрив, мой друг отдернул руку.

— Правда ли то, о чем сообщалось в письме? — спросил он сухо, почти грубо. — Если все сделано только ради того, чтобы выманить меня обратно пусть даже с самыми благими намерениями — знай: ты сыграл со мной жестокую и поддую шутку! Я не сделаю ни шагу, прежде чем не узнаю, как обстоят дела.

— Джемми, — сказал я, — ты оправдан. Джо Мерфи, настоящий преступник, сознался во всем.

— Мерфи, — повторил он ошеломленно. — Дружок Мика!

— Правильнее будет сказать — сообщник. Как-то раз Джо допился до чертиков и возомнил себе, будто вот-вот умрет. В противном случае вряд ли когда-нибудь мы дождались бы от него признаний такого рода. Эти двое ограбили Сэмпсона Гловера и в ту ночь повздорили из-за денег. Опасаясь, что Мерфи выдаст его с головой, Мик решил не навлекать на дружка неприятностей. Подозрение пало на тебя. Требовалось лишь подтверждение: Мик предоставил его, рассчитавшись тем самым с тобой за обиду.

— Будь проклят этот подлец, отправивший меня гнить за решетку! воскликнул Джем в необычайном волнении.

— Тише, — перебил я его. — Наших с тобой проклятий он никогда уже не услышит.

— Он мертв? — Известие это Джема явно не успокоило. — Умер, не получив по заслугам?

— Покинув Эверсфолд, Мик некоторое время под вымышленным именем жил в Лондоне. Потом связался с бандой шулеров, два года спустя был вместе с ними уличен в мошенничестве и получил большой срок, оставаясь по-прежнему под чужой фамилией. Мы так и не узнали бы о его судьбе, если бы не одно странное обстоятельство. Фотография, пришедшая вместе с ответами на вопросы, которые я вынужден был по ряду причин задать коменданту тюрьмы Саутбери, помогла нам установить личность заключенного, историей которого я заинтересовался. Так вот, полтора года назад Мик повесился у себя в камере, в тюрьме Свэйлклифф.

Сообщение это возымело на Джема неожиданный эффект. Оно не только остудило в нем страсть, но и мгновенно переменило направление мыслей. Когда мой друг заговорил вновь, голос его изменился: в нем зазвучали даже нотки раскаяния.

— Мне кое-что пришло в голову, мастер Фрэнк. До сих пор, занятый собственными бедами, я старался гнать эти мысли прочь. Вряд ли твое рукопожатие было бы столь же сердечным, признайся я в том, что не так уж чист, как ты меня только что обрисовал.

Джем умолк, словно утратив всякое желание продолжать, потом заговорил вновь — с мрачной настойчивостью, которая произвела на. меня впечатление возможно, не самое приятное, но достаточно сильное.

— Я действительно мог бы убить его за те слова, что он произнес в ту ночь. Даже сейчас его голос и смех стоят у меня в ушах. Стоит, мол, ему только свистнуть, и она, подобно прочим, тут же за ним побежит. Он приравнял Роз к остальным! Говорили, будто вино ударило мне в голову, но нет — то сам дьявол вселился мне в душу. Клянусь, если бы меня не остановили, я прикончил бы его на месте. "Будь я проклят, если ты вернешься сегодня домой живым..." О, в те минуты я знал, что говорил. В таверне мне помешали, но я ведь два часа ждал на перекрестке, через который пролегал его путь. Хотел вызвать его на драку, но честной схватки все равно не получилось бы, Он так и не появился. Уйди я сразу из «Сверчков» домой, мне без труда удалось бы опровергнуть все обвинения. Но кто-то видел меня, шатавшегося в темноте у перекрестка, кто-то заметил, что я возвратился домой позже обычного, да еще и взбешенный до безумия. Сам я толком так и не смог объяснить, где провел это время: мои показания обернулись против меня. Все произошло как в тумане: из одного дьявольского кошмара я перенесся в другой — тюремный.

— Мой бедный друг, — вздохнул я. — Даже если эта необдуманная клятва и могла бы довести тебя до преступления — в чем я сомневаюсь — ты свою вину искупил с лихвой.

Мало-помалу успокаиваясь по мере того, как мы приближались к деревне, Джем рассказал мне и о причине, задержавшей его возвращение: на корабле в последнюю минуту были обнаружены неполадки. Я, в свою очередь, сообщил ему о том, что некоторое время, пока официальное расследование не будет завершено и все факты не станут достоянием гласности, он поживет у нас дома.

— В деревне знают об этом? — спросил он.

— Только один человек. Я обо всем ей рассказал, Джем. И она ждет тебя глаз не спускает с дороги.

Джем попытался сохранить подобающее мужчине хладнокровие, но вышло это у него не слишком удачно.

— Замуж, значит, так и не вышла? — голос его прозвучал как-то сдавленно. — Впрочем, мне-то какое до этого дело? Мной она никогда особенно не интересовалась.

— Интересовалась, Джем, и еще как. Достаточно, во всяком случае, чтобы выйти за тебя еще месяц назад — если бы все тут зависело от нее.

— Роз Эванс?

— Роз Эванс. В те дни она мне сказала об этом открыто. И знаешь, Джем, я бы в таком случае ни от одной девушки не стал требовать большего.

Он промолчал. Мы вышли к игровой площадке и пересекли усаженную кленами и вязами зеленую лужайку, раскинувшуюся перед задним, крыльцом дома.

— Сегодня она была у нас, — снова заговорил я. — Помогала маме с шитьем. Гляди-ка, Джем, не она ли это у ворот?

Но он и сам уже заметил Роз. И девушка, увидев нас, замерла в нерешительности. Очарование мягких линий ее фигуры и чистого румянца на полных щеках ощущалось даже на расстоянии. Джем остановился как вкопанный, и я понял: моя миссия состоит в том, чтобы соединить ладони этих застенчивых сельских влюбленных.

— Я не очень ее испугаю? — едва слышно, совсем немужественно прошептал Джем.

— Твое появление здесь не было для нее неожиданностью. На протяжении всех трех последних недель она ждала тебя, с утра до вечера. Даже я успел отчаяться, она — нет.

Я оставил влюбленных под вязами. Что ни говори, а даже самого горького неудачника не стоит списывать со счетов, пока он жив. Пройдет еще несколько недель, и о Джеме заговорит вся деревня. А еще некоторое время спустя Роз станет его невестой. Думаю, нашего Джема, успевшего познать, что такое страдание, ждет такое вознаграждение, какого не смог бы обеспечить ему сам министр внутренних дел.

Ну, а что же тайна замка Свэйлклифф? — скажете вы. Я всего лишь изложил факты — выводы пусть каждый сделает сам. История эта — всего лишь страничка в гигантской книге посланий иного мира; она — из тех, над коими глупцы смеются, а умные люди ломают головы.

*1895 г.*

**Крепостная певица**

Путешествуя как-то в Польше, автор сиих строк узнал о событиях столь печальных, настолько глубоко потрясших его, что счел необходимым запечатлеть их в повести, дабы показать, к каким трагедиям приводило польское, а точнее сказать, российское крепостничество, причем не только в екатерининские времена, но и в недавнем прошлом. Польская знать, по сути дела сама пребывавшая в рабстве, искренно стремилась к освобождению крепостных, но подчиненность законам Российской Империи запрещала ей осуществить подобный шаг.

Городок Побереже в Подольском воеводстве в Польше примостился у подножья горы, орошаемой множеством ручьев. Он представляет собой скопление жалких домишек, в центре которого расположены католический костел и две православные церкви, которые легко отличить от него по их позолоченным куполам. По одну сторону базарной площади размещается единственный в городе постоялый двор, а по другую — несколько лавок, из окон и дверей которых выглядывают неряшливо одетые евреи-сидельцы. В некотором отдалении от города, на холме, покрытом виноградниками и фруктовыми деревьями, возвышается графский замок, который, быть может, не совсем соответствует своим внешним видом столь пышному названию, но, с другой стороны, у кого повернется язык назвать иначе обитель владетеля здешних мест?

В то утро, с которого начинается наш рассказ, управляющий поместьем получил из замка распоряжение, в нем не было ничего из ряда вон выходящего: следовало подобрать для господской службы двух крепких молодых парней на конюшню и молодую девку в каштелянскую. Повинуясь этому приказу, изрядное число самых красивых крестьянских юношей и девушек Ольгогродского повета собралось на широкой аллее, ведущей к замку. Некоторых провожали опечаленные, плачущие родители, в чьих сердцах, однако, теплилась робкая надежда: "Быть может, выберут не мое дитя?"

Когда всех завели во двор, из замка вышел сам граф Рожинский в сопровождении домочадцев, дабы лично произвести смотр подросшему поколению своих подданных. Это был маленький неприметный человечек лет пятидесяти с глубоко посаженными глазами и насупленными бровями. Его жена — чрезвычайно дородная дама примерно тех же лет — отличалась на редкость вульгарной внешностью и громким, сварливым голосом. Ее жалкие попытки подражать манерам и осанке истинных аристократов выглядели просто смешно. Надо отметить, что оба супруга были полны решимости пробиться в высшее общество, невзирая на собственное весьма сомнительное происхождение: отец «сиятельного» графа Рожинского был простым камердинером. На службе у знатного вельможи, сделавшего его своим фаворитом, папаша сумел скопить достаточно денег, чтобы унаследовавший их сынок смог приобрести обширное поместье в Ольгогродском повете, а вместе с ним еще 1600 человеческих душ в безраздельную собственность. Власть его над крепостными была абсолютной. Если же, доведенные барским гнетом до безумия, они осмеливались проявлять непокорность — горе таким смельчакам! Их ждали сырые, зловонные подвалы, где прикованные за руку узники могли годами томиться, не видя солнечного света, постепенно забываемые всеми, за исключением тюремщика, ежедневно приносившего им кружку воды и заплесневелый сухарь.

Кое-кто из стариков поговаривал, что Савва, отец молоденькой девушки, пришедшей теперь к замку вместе с пожилой женщиной и стоящей первой в ряду своих сверстниц, также заточен в подземную темницу. Этот Савва всегда крутился возле графа. Рассказывали, что граф привез его из какой-то далекой страны вместе с маленькой дочкой, осиротевшей со смертью матери. Савва отдал девочку на воспитание пожилой чете, что присматривала за пасекой в лесу близ замка, и иногда навещал ее. Но вот однажды он не пришел, и больше уже не появился. Напрасно лила слезы маленькая Анелька, тщетно вопрошала: "Где мой отец?". Отца она больше не увидела. В конце концов прошел слух, что Савва был послан куда-то далеко с крупной суммой денег и там сделался жертвой разбойников. В девять лет даже самая тяжелая потеря забывается быстро. Не прошло и полугода, как Анелька перестала горевать. Приемные родители были добры к ней и любили девочку как родную дочь. Им и в голову не приходило, что Анельку могут забрать прислуживать в господский замок, да и у кого хватило бы совести отнять единственное чадо у семидесятилетних стариков?

В тот день она впервые очутилась далеко от дома. С любопытством она разглядывала все, что попадалось на глаза, в особенности девушку, с виду свою ровесницу, в удивительно красивом наряде, и юношу лет восемнадцати, который, судя по плетке у него в руках, только что вернулся с верховой прогулки. Молодой человек расхаживал взад-вперед, разглядывая выстроенных перед ним в шеренгу крестьянских парней. Наконец, он отобрал двоих, и их сразу увели на конюшню.

— А я выбираю вот эту девушку, — заявила его сестра Констанция Рожинская, указывая на Анельку. — Она здесь самая красивая, а я терпеть не могу рядом с собой дурнушек.

Вернувшись в гостиную, Констанция распорядилась, чтобы Анельку отвели в ее апартаменты и отдали под присмотр мадемуазель Дюфур, камеристки-француженки, совсем недавно выписанной из Одессы, где она служила в салоне модной одежды. Несчастное дитя! Когда ее оторвали от приемной матери и стали уводить прочь, она с пронзительным воплем вырвалась из рук барских слуг, бросилась к старой женщине и судорожно обхватила ее стан, но была безжалостно оторвана вновь, и только граф Рожинский вполголоса поинтересовался:

— Это ее дочь или внучка?

— Ни то, пан, ни другое, — ответил один из слуг, — всего лишь сиротка, взятая на воспитание.

— Кто же тогда отведет старуху домой? По-моему, она совсем слепая.

— Я сам, пане, отведу ее, — сказал слуга, склоняясь до земли. — Я позволю ей держаться за стремя моего коня, а когда она окажется в своей хижине, пускай дальше ее муж о ней заботится.

Высказавшись на сей счет, слуга отошел к остальной челяди и присоединился к толпе собравшихся во дворе замка крестьян. Но доставлять старуху домой пришлось двоим; с ней случилась истерика, а потом она потеряла сознание, и ее едва удалось вернуть к жизни.

А что же сталось с Анелькой? Ей не позволили даже поплакать вволю. Теперь все дни напролет она принуждена была сидеть в углу и шить, причем с первого же дня подразумевалось, что она сразу все будет делать правильно. Если же ей случалось в чем-то ошибиться, то провинившуюся оставляли без еды или наказывали розгами. Утром и вечером она обязана была помогать мадемуазель Дюфур одевать и раздевать госпожу. К счастью, юная Констанция, привыкшая к рабскому повиновению и свысока относившаяся ко всем ниже ее по положению, была по-своему добра к бедной сиротке. Настоящая пытка начиналась потом, когда Анеля покидала будуар молодой хозяйки и поступала в полное распоряжение мадемуазель Дюфур. Девушка из кожи вон лезла, только бы угодить француженке, но несмотря на все старания, та ни разу не похвалила новенькую, зато ругани и оскорблений хватало с лихвой. Так прошло два месяца.

В один прекрасный день мадемуазель Дюфур раньше обычного отправилась в церковь к исповеди. Анелька осталась одна. Ее вдруг охватило страстное желание снова узреть величавую красоту и спокойствие зеленеющих листвой деревьев под удивительно глубоким синим рассветным небом, как она часто делала раньше, когда первые лучи восходящего солнца проникали в окошко маленькой лесной хижины. Она выбежала в сад. Очарованная красотой и обилием разнообразных цветов, девушка пробиралась все дальше и дальше по извилистым аллеям, пока не очутилась в самом настоящем лесу. Она так давно не видела своего любимого леса, что теперь намеренно стремилась в самую чащобу. Она огляделась вокруг. Никого! Она одна, совсем одна! Пройдя еще немного, Анеля наткнулась на ручеек, струящийся через лес, и тут вспомнила, что еще не молилась с утра. Опустившись на колени, она сложила вместе ладони, устремила к небесам очи и нежным голоском запела псалом, обращенный к Деве Марии.

Она пела, и голос ее становился все громче, постепенно набирая силу и страсть. Грудь ее лихорадочно вздымалась под напором обуревавших девушку эмоций, глаза сияли необыкновенным блеском, но как только гимн кончился, головка Анели бессильно поникла, по щекам заструились слезы, и она безудержно зарыдала во весь голос. Неизвестно, сколько бы она так просидела, но в эту минуту кто-то подошел к ней сзади со словами:

— Не надо плакать, девочка, петь куда приятнее, чем лить слезы.

Подошедший приподнял ей голову, вытер глаза носовым платком и поцеловал в лоб. Это был сын графа, Леон.

— Ты не должна плакать, милая, — продолжал он. — Успокойся, прошу тебя, а когда к нам приедут коробейники, купи себе нарядный платок.

С этими словами молодой человек вложил в руку Анельки серебряный рубль и удалился, а девушка бережно спрятала монету за корсет и побежала обратно в замок.

Ей повезло, что мадемуазель Дюфур еще не вернулась. Анелька уселась в свой угол и принялась за постылую работу. Она то и дело доставала рубль, чтобы полюбоваться, и даже

потрудилась сшить для него особый маленький кошелек, который на ленточке надела на шею. Она и в мыслях не держала потратить рубль. В ее глазах это были не просто деньги, но свидетельство внимания единственного человека во всем замке, который проявил к ней доброту и ласку.

С этого времени Анеля все чаще оставалась в покоях молодой госпожи. Ее стали лучше одевать, а мадемуазель Дюфур почти перестала донимать ее мелочными придирками. Кто знает, кому обязана была бедная девушка такой переменой? Вполне возможно, здесь не обошлось без вмешательства Леона. Констанция велела Анеле сидеть рядом с собой во время уроков музыки, а когда хозяйка уходила в гостиную, девушке дозволялось оставаться в покоях одной. Привыкнув понемногу к хорошему обращению, Анелька перестала дичиться, и если госпожа, занятая каким-нибудь рукодельем, приказывала спеть, она уже не стеснялась и пела от души и в полный голос. Но и этим благодеяния со стороны Констанции не ограничились. В свободное время она начала учить Анелю читать по-польски, а мадемуазель Дюфур, посчитав политичным последовать ее примеру, решила давать девушке уроки французского.

Теперь она стала испытывать новую пытку. Легко освоив оба языка, Анелька заразилась всепоглощающей страстью к чтению. Книги влекли ее неудержимо, оставаясь в то же время чем-то вроде запретного плода. Читать удавалось либо украдкой, по ночам, либо, когда хозяйка отправлялась с визитом в соседние поместья, да и недавнее доброе отношение к Анеле ее госпожи постепенно становилось все более прохладным. Леон отправился путешествовать в сопровождении старого наставника и друга детства — своего сверстника, такого же веселого и безрассудного, как и он сам.

Молодой хозяин отсутствовал два года. К его возвращению Анеле исполнилось семнадцать лет, она подросла и удивительно похорошела. Вряд ли кто из видевших ее прежде узнал бы ее теперь. Не стал исключением и Леон. Да и трудно было предположить, что в круговерти развлечений и постоянной смены впечатлений он вспомнит бедную крестьянскую девушку. В памяти Анели, однако, Леон навсегда остался неким высшим существом, единственным благодетелем, чутко отнесшимся к маленькому, жалкому, забытому и заброшенному подростку. Когда среди персонажей какого-нибудь французского романа ей попадался молодой человек лет двадцати с благородным сердцем и приятной наружностью, мысленно она присваивала ему имя «Леон». Воспоминание о том единственном поцелуе до сих пор заставляло девушку глубоко вздыхать и сильно краснеть. Как-то раз Леон явился в комнату сестры. Анелька также была там, пристроившись в углу с какой-то вышивкой. Леон сильно изменился за прошедшие годы: из юноши он превратился в мужчину.

— Полагаю, дорогая Констанция, тебе уже поведали, каким пай-мальчиком я бказался и как безропотно согласился надеть на свою шею брачный хомут, уготованный мне графом и графиней? — с насмешливой серьезностью осведомился молодой человек и тут же начал насвистывать мазурку, пританцовывая в такт мелодии.

— Вполне возможно, что ты получишь отказ, — холодно заметила Констанция.

— Отказ?! О, нет! Старый князь уже дал согласие, а что касается его дочки, то она по уши в меня влюблена. Да ты только взгляни на мои усы разве кто-нибудь сможет устоять против такой красы? — и он самодовольно закрутил ус вокруг пальца, остановившись перед зеркалом, а затем продолжил, но уже более серьезным тоном; — Честно признаться, я не испытываю к ней любви. Моя суженая вовсе не в моем вкусе. Ей под тридцать, и она так худа, что каждый раз при взгляде на нее мне вспоминаются анатомические таблицы моего старого учителя. Хотя, должен признать, ее парижский портной так старается, что она ухитряется выглядеть совсем неплохо, особенно в кашемире. Как ты знаешь, я всегда желал иметь жену, рядом с которой было бы не стыдно показаться. А что до любви и прочих сантиментов, то в наше время это уже не модно и существует лишь в экзальтированном воображении поэтов.

— Но ведь нельзя же отрицать, что люди иногда влюбляются друг в друга, — возразила Констанция.

— Иногда… — еле слышно повторила Анеля. Этот диалог болезненно затронул самые потайные струны ее души, и она не могла понять, почему страдает. Сердце ее бешено колотилось, щеки зарделись румянцем, делая ее еще прекрасней, чем всегда.

— Возможно. Не зря же мы клянемся в любви каждой встречной красавице, усмехнулся Леон и тут же сменил тему, — кстати, сестричка, откуда у тебя такая прелестная камеристочка?

Он приблизился к углу, где сидела Анелька, и одарил ее знакомой развязной улыбкой. Хотя девушка была крепостной, ни улыбка, ни тон молодого хозяина ей не понравились, и она встретила взгляд Леона с каменным лицом и полным глубокого достоинства взором. Но едва

глаза ее остановились на красивом мужественном лице, давно пустившее росток в неопытном девичьем сердце чувство возобладало над гордостью и обидой. Анеле больше всего на свете захотелось напомнить Леону об их первой встрече. Почти неосознанно она поднесла руку к маленькому кошельку, всегда висевшему у нее на шее, и извлекла оттуда рубль, некогда подаренный ей Леоном.

— Нет, вы только взгляните! — воскликнул Леон. — Что за чудная девчонка, и как она гордится своим сокровищем! Да ты просто богачка, моя милая, — у тебя целый рубль!

— Надеюсь, она нигде его не стянула, — ворчливо заметила старая графиня, входя в комнату.

При таком незаслуженном оскорблении Анелька от стыда и негодования на время лишилась дара речи. Она поспешно убрала монету обратно в кошелек, с мучительной горечью сознавая при этом, что те счастливые мгновения, память о которых неизгладимо запечатлелась в ее душе, не оставили никакого следа в сердце Леона. Чтобы очистить себя от подозрения, девушка, заметив устремленные на нее взоры, смущенно пролепетала:

— Разве пан Леон не помнит, что сам подарил мне этот рубль два года назад в саду?

— О чем ты, девочка? — со смехом воскликнул Леон. — Неужели ты всерьез думаешь, что я в состоянии запомнить всех красоток, которым когда-то дарил деньги? Впрочем, я склонен тебе верить: ты не стала бы хранить так долго этот несчастный рубль, не будь он для тебя реликвией. Но не нужно делать этого, детка, — деньги существуют для того, чтобы их тратить.

— Прошу тебя, прекрати паясничать, — нетерпеливо оборвала брата Констанция. — Я люблю эту девушку и не позволю ее дразнить. Она знает все мои привычки лучше, чем кто бы то ни было, и способна развеять самое дурное настроение своим очаровательным пением.

— Спой нам что-нибудь, милашка, — немедленно потребовал Леон, — а я подарю тебе еще рубль, новенький и блестящий.

— Спой сейчас же! — приказала Констанция повелительным тоном.

Анеля больше не в силах была сдержать свое горе и разочарование. Услыхав приказ госпожи, она уткнулась лицом в ладони и отчаянно зарыдала.

— С чего это ты вдруг расплакалась? — удивилась Констанция. — Разве ты не знаешь, что я не переношу слез? Я требую, чтобы ты немедленно исполнила мое приказание!

Сказалась ли в этот миг с детства приобретенная привычка рабски повиноваться малейшим капризам хозяев, или в девичьем сердце вдруг взыграла оскорбленная гордость, — как бы то ни было, но Анелька тут же прекратила плакать. Наступила короткая пауза, воспользовавшись которой, графиня-мать с ворчанием покинула покои дочери. Анелька выбрала для исполнения тот самый псалом в честь Девы Марии, который пела тогда в саду. Начав пение, она одновременно возносила в душе пламенную молитву, прося у Неба успокоения духа и избавления от владеющих ею мятежных страстей. Ее искренность и страстность придавали исполнению небывалую выразительность, не оставившую равнодушными обоих слушателей. Когда она умолкла, брат и сестра долгое время не могли проронить ни слова, словно приходя в себя. Леон расхаживал по комнате со скрещенными на груди руками. Что тронуло его сердце? Жалость к бесправной рабыне или другое, более нежное чувство? Из последующих его слов трудно было сделать однозначный вывод.

— Дорогая Констанция, позволь просить тебя об одном одолжении, внезапно произнес молодой человек, остановившись подле сестры и почтительно поднеся к губам ее ручку.

Констанция вопросительно посмотрела брату в глаза.

— Отдай мне эту девушку.

— Это невозможно!

— Нет, я серьезно, — продолжал Леон. — Видишь ли, я хочу подарить ее моей будущей жене. В придворной капелле князя, ее отца, как раз не хватает солирующего сопрано.

— Ты ее все равно не получишь, — упрямо ответила Констанция.

— Но я же не прошу у тебя эту девку в подарок. Давай меняться. Взамен нее я отдам тебе очаровательного негритенка — совсем черного. Если бы ты знала, как дамы в Париже и Санкт-Петербурге выпрашивали его у меня! Но я оставался непреклонен. Я даже княжне, моей

невесте, отказал.

— Нет-нет, — продолжала упорствовать Констанция, — мне будет так одиноко без моей Анельки, я к ней привыкла.

— Глупости! Деревенских девок полно, а вот где ты возьмешь чернокожего слугу с зубами белее слоновой кости и ослепительнее жемчуга? К тому же он большой оригинал. Ручаюсь, ты не сможешь перед ним устоять. Половина провинции сойдет с ума от зависти. Слуга-негр — это последний крик моды, да еще ты первой во всем воеводстве заимеешь арапа среди прислуги.

Последний довод оказался неотразимым.

— Ну, ладно, — сдалась Констанция, — скажи только, когда ты собираешься ее забрать?

— Сегодня в пять часов, — ответил Леон и, весело насвистывая, вышел из комнаты. Вот к каким последствиям привело Анелькино пение гимна Пречистой. Констанция приказала ей немедленно собираться в дорогу с новым хозяином, проявив при этом не больше эмоций, чем при расставании, скажем, с комнатной собачкой или попутаем.

Девушка повиновалась молча. Чувства переполняли ее сердце до такой степени, что при первой возможности она выскользнула в сад, стремясь остаться в одиночестве и выплакаться вдали от посторонних глаз. Держась одной рукой за пылающий лоб, а другую прижимая к сердцу, она брела, куда глаза глядят, пока не очутилась вдруг на берегу ручья. Нащупав кошелек, она достала заветный рубль, намереваясь швырнуть его в воду, но тут же убрала обратно, не в силах расстаться с единственным своим сокровищем. Она чувствовала, что, лишившись его, окончательно осиротеет. Горько рыдая, девушка бессильно прислонилась к стволу дерева, уже бывшего однажды безмолвным свидетелем ее слез.

Мало-помалу ураган страстей, бушевавший в груди Анели, уступил место трезвому рассудку. Итак, сегодня ей предстоит покинуть этот дом и в дальнейшем жить под другой крышей и служить другой госпоже. О, унижение! Вечное унижение! Ну что ж, по крайней мере, жизнь ее хоть как-то изменится. Мысль о грядущих переменах заставила девушку поскорее вернуться в замок — не стоило в последний день пребывания в его стенах навлекать на себя гнев молодой хозяйки — мадемуазель Констанции.

Анелька едва успела облачиться в свое самое нарядное платье, как явилась Констанция с маленькой шкатулкой в руках. Из нее она извлекла несколько красивых разноцветных лент и собственноручно вплела их в волосы девушки, чтобы на новом месте крепостная своим внешним видом не посрамила прежней хозяйки. А когда Анелька, склонясь к ногам молодой госпожи, благодарила ее за подарок, произошло неслыханное: Констанция снизошла до того, что поцеловала на прощание свою уже бывшую служанку в лоб. Даже Леон окинул Анелю откровенно восхищенным взглядом. Подоспевший слуга отвел ее к карете, показал, куда сесть, и вскоре она уже мчалась по тракту в сторону Радополя.

Впервые в жизни Анеля ехала в настоящей карете. Голова у нее быстро закружилась — так стремительно мелькали за окошком деревья и поля, но постепенно она привыкла, свежий воздух охладил ее жар, и остаток путешествия Анеля проделала в сравнительно приятном расположении духа. И вот, наконец, экипаж вкатился в просторный двор Радопольского замка, резиденции некогда богатого и могущественного рода польских магнатов, ныне порядком обнищавшего. Даже Анельке было ясно, что в будущем браке сочетаются деньги, с одной стороны, и знатность, с другой.

Князь Пеляжский, владелец замка, готовясь к свадьбе дочери, помимо других новшеств, устроил певческую капеллу, для управления которой выписал из Италии опытного капельмейстера, синьора Джустиниани. Сразу по прибытии Леон представил Анельку музыканту. Тот попросил ее пропеть несколько гамм и без околичностей объявил голос девушки превосходным.

В Радополе к Анеле относились с несколько большим почтением, чем в Ольгогроде, хотя и на новом месте приходилось часто подчиняться капризам новой госпожи, так что порой времени для чтения оставалось еще меньше. Чтобы утешиться, она отдавала все свое внимание вокальным упражнениям, занимаясь по нескольку часов кряду каждый день. Под руководством итальянца ее природные способности быстро развивались. Помимо религиозной музыки, он научил ее начаткам оперной. Как-то раз Анелька спела оперную арию в таком безупречном стиле, что синьор Джустиниани, очарованный до глубины души, разразился бурными аплодисментами, в волнении забегал по комнате и, не находя других слов для похвалы певице, несколько раз воскликнул:

— Примадонна! Примадонна!

Уроки пришлось прекратить. День свадьбы княжны был уже назначен, после чего она и Леон должны были отправиться во Флоренцию и взять Анелю с собой. Увы! В груди девушки по-прежнему горело чувство, причинявшее ей невыносимые страдания. Она презирала себя за слабость, но все равно продолжала любить Леона. Любовь ее была так сильна, что сопротивляться ей у бедной Анели не находилось сил. То была первая любовь юного и невинного существа — любовь невысказанная и безнадежная.

Анельку очень беспокоила судьба ее приемных родителей. Однажды старый князь, растроганный ее пением, ласково спросил девушку о доме и родных. Она ответила, что осталась сиротой и была взята на воспитание доброй супружеской четой, из объятий которой ее исторгли насильно. Очевидная привязанность Анельки к старому пасечнику и его жене так тронула князя, что он сказал:

— Ты славное дитя, Анеля. Завтра я разрешаю тебе навестить их и отвезти подарки от меня.

В порыве благодарности ошеломленная добротой князя девушка бросилась к его ногам. Всю ночь она грезила о предстоящем счастливом свидании и о той радости, какую доставит ее приезд бедным, всеми забытым старикам. Пускаясь наутро в путь, она едва могла сдержать нетерпение. И вот, наконец, впереди показалась убогая хижина пасечника посреди покрытой цветами лужайки, окруженной лесными великанами. Анеля выпрыгнула из кареты, чтобы быть как можно ближе к этим цветам и деревьям, каждое из которых казалось ей знакомым и родным. Погода в тот день выдалась великолепная. Девушка с наслаждением вдыхала чистейший лесной воздух, отождествлявшийся в ее сознании с поцелуями и ласками ее покойного родителя. Она не рассчитывала увидеть приемного отца — в это время дня тот, скорее всего, находился на пасеке, а вот его жена должна быть дома...

Анелька отворила дверь хижины и поразилась тишине и запустению внутри, Перевернутое кресло, на котором так любила отдыхать ее приемная мать, валялось в углу. Страшное предчувствие коснулось души девушки ледяным крылом. С трудом передвигая ставшие непослушными ноги, она отправилась на пасеку. Незнакомый мальчуган хлопотал возле ульев, а старый пасечник лежал на земле рядом. Даже под яркими лучами солнца его лицо оставалось болезненно бледным — без сомнения, пасечника одолевал тяжкий недуг. Склонившись над ним, девушка горячо заговорила:

— Это я, твоя Анелька, твоя девочка, которая всегда тебя любила!

Старик приподнял голову, пристально поглядел на нее с жуткой усмешкой на устах и снял шапку.

— А мама? Скажи скорее, где моя милая старая мама? — продолжала Анелька.

— Умерла! — ответил пасечник, откинувшись назад и разразившись бессмысленным смехом. Анеля зарыдала. Сквозь слезы она с горечью вглядывалась в изможденную фигуру и бледное, изборожденное морщинами лицо, на котором уже нельзя было уловить признаков жизни, но девушке показалось, будто старик просто заснул. Не желая тревожить его внезапный сон, она отправилась к карете за привезенными гостинцами, но когда вернулась и взяла приемного отца за руку, та была холодна, как лед. Старый пасечник испустил свой последний вздох!

Лишившуюся чувств Анельку на руках отнесли в экипаж и со всей поспешностью доставили обратно в замок. Там она пришла в себя, но сознание того, что теперь на всем белом свете у нее больше никого нет, повергло девушку в глубокое отчаяние.

Свадьба госпожи и последующее путешествие во Флоренцию прошли для Анели, словно во сне. Новые впечатления в незнакомом городе помогли вернуть прежнюю остроту чувств, но не могли вернуть прежней жизнерадостности. Она больше не в силах была выносить тяготы жизни и молилась о ниспослании ей забвения в смерти.

— Что за печаль тебя гнетет? — как-то раз участливо спросил девушку Леон, но что могла ответить ему несчастная Анеля, для которой признание было бы равносильно смертному приговору?

— У меня есть для тебя поручение, — продолжал Леон, не дождавшись ответа. — Сегодня в здешнем театре должна петь заезжая знаменитость. Я пошлю тебя послушать ее пение, а после ты споешь мне все, что запомнишь из ее выступления.

И Анелька пошла, В ее существовании открылась новая эра. Сама к этому времени

превратившись в артистку, она смогла позабыть былые печали и всей душой окунуться в прекрасный мир искусства. Впервые слышала она столь совершенное исполнение, заставляющее созвучно трепетать в груди незнакомые прежде струны. Во время концерта она так чутко реагировала на происходящее, что то сидела, едва дыша, бледная, дрожащая, и слезы струились по ее щекам, то готова была в экстатическом восторге броситься к стопам солистки. «Примадонна» — так вызывали певицу благодарные зрители, чтобы вновь и вновь наградить аплодисментами, и Анеле вдруг вспомнилось, что синьор Джустиниани называл ее тем же словом. Неужели она тоже способна стать примадонной? О, какая великолепная, божественная судьба! Быть в состоянии передавать свои чувства и эмоции толпам очарованных слушателей, магией собственного голоса будить в них попеременно печаль, любовь, радость, страх…

Странные мысли продолжали тревожить ее и по дороге домой. В ту ночь она так и не смогла заснуть. Отчаянные планы роились у нее в голове. И наконец настала минута, когда Анеля твердо решилась сбросить ярмо рабства, а вместе с ним — куда более тяжкое ярмо духовной закрепощенности, ранящее достоинство и чувства много глубже, чем физические страдания. Узнав адрес примадонны, она в одно прекрасное утро направилась к ней домой.

Представ перед певицей, девушка едва смогла пролепетать по-французски так велико было владевшее ею возбуждение:

— Мадам, я несчастная крепостная, принадлежащая одной знатной польской семье, недавно прибывшей во Флоренцию. Я убежала от них и теперь молю вас оказать мне помощь и покровительство. Говорят, я умею петь.

Синьору Терезину, итальянскую певицу, обладавшую добрым сердцем и чувствительной душой, не оставила равнодушной безыскусная искренность просительницы.

— Бедное дитя! — воскликнула она, беря Анельку за руку. — Боже! Как ты, должно быть, много выстрадала! Ты говоришь, что умеешь петь? Позволь мне послушать тебя.

Девушка присела на оттоманку, сплела пальцы, положила руки на колени и запела, не успев до конца осушить слезы. Высокий пафос и совершенная манера исполнения слились воедино в проникновенном гимне, обращенном к Деве. Потрясенной Терезине казалось, будто на поющую снизошло вдохновение свыше.

— Где ты училась петь? — в изумлении спросила итальянка.

Анелька поведала ей свою историю. Выслушав девушку, синьора Терезина отнеслась к ней с такой теплотой, что бедной Анельке показалось, будто она всю жизнь знакома с этой женщиной. Ни в тот день, ни на следующий Анеля не покидала дома певицы. А на третий день, выступив в концерте, Терезина усадила Анельку рядом с собой и сказала:

— Ты замечательная девушка, моя милая, и я думаю, что нам с тобой никогда не следует расставаться.

Надо ли говорить, что бедняжка была вне себя от радости, услышав эти слова.

— Ты всегда будешь рядом со мной, — продолжала примадонна. — Ты согласна, Анелька?

— Только не называйте меня больше Анелькой! Дайте мне взамен какое-нибудь итальянское имя.

— Ну что ж, будь тогда Джованной. Так звали мою лучшую подругу, которую я, увы, потеряла, — пояснила итальянка свой выбор.

— Очень хорошо. Отныне я стану для вас второй Джованной!

— И вот еще что, девочка моя, — добавила Терезина. — Сначала я опасалась принять тебя к себе, беспокоясь о твоей безопасности, но сегодня тебе нечего больше бояться. Я узнала, что твои хозяева, отчаявшись отыскать тебя, отправились обратно в Польшу.

С тех пор для Анельки началась совершенно другая жизнь. Сама синьора Терезина каждый день давала ей уроки вокала, а в театре предложили выступать на вторых ролях. Теперь у нее появился независимый источник доходов и даже собственная служанка, тогда как раньше ей приходилось обслуживать себя самой. Итальянский язык она выучила в кратчайший срок и вскоре вполне могла сойти за уроженку этой солнечной страны.

Так пролетело три года, однако ни новые города, ни новые впечатления не смогли заслонить

былых переживаний. В искусстве пения Анеля достигла высокой степени совершенства и даже начала превосходить в мастерстве свою наставницу, понемногу терявшую прежний голос вследствие болезни груди. Это печальное обстоятельство совершенно изменило жизнерадостную натуру Терезины. Она прекратила петь на публике, будучи не в силах выносить презрительную жалость поклонявшихся ей прежде зрителей.

Она твердо решила уйти на покой.

— Теперь ты должна занять место среди лучших современных певиц, сказала она Анельке. — Оно принадлежит тебе по праву. Ты уже поешь лучше меня… Стыдно признаться, но порой, слушая твое пение, я с трудом удерживаюсь от зависти.

Анелька обняла Терезину за плечи и нежно поцеловала.

— Да! Мы с тобой поедем в Вену, — продолжала рисовать блестящее будущее, уготованное ее юной подруге, стареющая певица, — в Вену, где тебя оценят и примут должным образом. Ты будешь петь в Итальянской Опере, а я — я буду всегда рядом, никому больше не известная, никому не нужная, никем не превозносимая, но зато разделяющая твой будущий триумф, Твои успехи станут повторением моих — разве не я научила тебя всему? Разве не будет твоя слава результатом и моих трудов?

Слова наставницы разожгли в груди Анельки жажду славы и успеха, но сердце ее осталось добрым и мягким, поэтому она бурно расплакалась в объятиях синьоры Терезины.

Не прошло и пяти месяцев со времени описываемых событий, как появление на сцене Венской Итальянской Оперы новой певицы по имени синьора Джованна произвело самый настоящий фурор. Фантастическое жалованье позволяло ей совершать самые невообразимые и экстравагантные траты. Высокомерное третирование ею многочисленных поклонников-мужчин только привлекало к ней легионы новых. Но даже находясь на гребне волны успеха и популярности, певица часто обращалась мыслью к тем временам, когда никому не было дела до несчастной маленькой сиротки из Побереже. Эти воспоминания позволяли ей с ироничной усмешкой на устах встречать лесть толпы и обращенные к ней восторги; изысканные комплименты почитателей она научилась пропускать мимо ушей; даже самые красивые поклонники не оставляли ни малейшего следа в ее сердце, и никакие перемены, никакое искушение не могли ни на йоту изменить ее отношения к мужчинам.

В самый разгар феерической, головокружительной карьеры на Анелю обрушилось новое, сокрушительное несчастье. После приезда в Вену здоровье Терезины начало быстро ухудшаться. Не прошло и полугода с момента воцарения новой оперной звезды на музыкальном троне, как Терезина тихо отошла в мир иной, оставив все немалое состояние своей подруге и ученице.

Опять Анелька осталась одна на свете. Несмотря на громкую славу и преимущества ее положения, прежнее чувство тоскливой заброшенности овладело девушкой с новой силой. Тяжкая потеря подорвала ее здоровье и заставила отказаться от публичных выступлений. Пение причиняло ей физические страдания. Постепенно она сделалась равнодушной ко всему, что ее окружало. Единственным утешением стала для нее помощь бедным и обездоленным, причем особую щедрость Анеля проявляла в отношении молодых девушек, главным образом, сироток-бесприданниц. Она по-прежнему сохраняла в душе страстную любовь к родимой стороне и если выбиралась в свет, то только для того, чтобы встретиться с земляками, а когда случалось запеть, пела она исключительно по-польски.

Прошел год со дня смерти синьоры Терезины. Граф Силко, богатый польский вельможа, приехавший в Вену, пригласил Анелю на прием. Отказать графу и его супруге, всегда относившимся к ней с большим участием, не было никакой возможности. Анеля отправилась в гости. Роскошные залы салона заполняла самая модная и аристократическая публика австрийской столицы, но когда было объявлено о прибытии синьоры Джованны, это вызвало всеобщее волнение. С отсутствующим видом проследовала она по проходу, образованному двумя рядами собравшихся ценителей ее таланта к самому почетному месту рядом с хозяйкой дома. Примадонна была невероятно бледна.

Спустя некоторое время граф Силко пригласил Анелю за фортепиано. Она уселась за инструмент и, не решив еще, что будет петь, окинула взглядом аудиторию. На окружающих ее лицах читалось открытое восхищение, вдвойне приятное тем, что оно было следствием долгого и упорного труда певицы, ибо никто не стал бы восторгаться самым ценным природным даром Анели — ее голосом, не приложи она столько усилий для его развития и шлифовки. Щеки ее разрумянились, в глазах засияла законная гордость за свое мастерство, пальцы уверенно взяли первые аккорды, и из груди певицы, кажущейся такой слабой и хрупкой, полилась

трогательная польская мелодия. Жалобно и напевно, но вместе с тем чисто и мощно звучала она, заставляя быстрее биться сердца слушателей и вызывая у многих на глазах слезы.

Песня кончилась, но никто не решался первым нарушить зачарованное молчание. Джованна в изнеможении откинулась на спинку кресла и опустила очи долу. Когда она вновь подняла их, то заметила устремленный на нее взгляд какого-то господина. Он смотрел на нее, не отрывая глаз и так пристально, будто все еще прислушивался к отголоскам звучащей где-то внутри него мелодии. Хозяин дома, чтобы сгладить бестактное поведение гостя, взял его под руку и подвел к Джованне.

— Позвольте представить вам, синьора, — сказал он, — моего земляка графа Леона Рожинского.

Девушка задрожала и едва нашла в себе силы молча ответить на поклон, но так и не решилась поднять глаза и посмотреть ему в лицо. Вскоре она покинула салон, сославшись на недомогание, что никого не удивило: настолько певица была бледна.

На следующее утро слуга Джованны доложил о визите господ Силко и Рожинского. На губах девушки появилась странная улыбка, и когда гости вошли в гостиную, она приняла их с холодной учтивостью, ничем не выказав свое прежнее знакомство с Леоном. Обуздав душевное волнение, она смогла изобразить полное безразличие, чего нельзя было сказать о графе Рожинском. Хотя тот и не узнал Анельку, но вел себя так, словно все время мучительно пытался вспомнить что-то очень важное, связанное с ней. Визит обоих графов объяснялся простой данью вежливости и был связан с ее вчерашним недомоганием, но в конце его, перед тем, как откланяться, Леон испросил у хозяйки разрешения навестить ее снова.

Где его жена? Почему он ни словом не упомянул о ней? Эти два вопроса Джованна ежеминутно задавала себе все время после ухода гостей.

Несколько дней спустя граф Леон вновь посетил Джованну. Он выглядел печальным и задумчивым. Молодому человеку удалось уговорить Анелю исполнить одну из любимых ею польских песенок, которым, по ее словам, она научилась в детстве от старой нянюшки. Когда отзвучала песня, Рожинский, не в состоянии больше сдерживать овладевшее им еще при первой встрече чувство, пылко схватил Анелю за руку и воскликнул:

— Я люблю вас!

Девушка спокойно высвободила руку, помолчала с минуту, а затем, чеканя слова и с иронией в голосе, произнесла:

— Ну и что с того, если я не люблю вас, граф Рожинский?

Леон вскочил с места, прижал руку ко лбу и замер в безмолвном отчаянии. Но Джованна оставалась холодной и неприступной.

— Несомненно, это кара Господня, — заговорил наконец Леон, словно обращаясь к самому себе. — Бог покарал меня за пренебрежение супружеским долгом по отношению к той, кого я по недомыслию, хотя и добровольно, выбрал себе в жены. Я был несправедлив к ней и теперь несу заслуженное наказание.

Джованна впервые посмотрела ему в глаза, а Леон продолжал, ничего не замечая:

— Я был молод тогда, и сердце мое оставалось незанятым. Я женился на дочери князя, бывшей десятью годами старше меня. Жена моя обладала эксцентричными привычками и скверным характером. Ко мне она относилась как к полному ничтожеству. Она пустила на ветер почти все мое состояние, с таким трудом накопленное моими родителями, стыдясь, в то же время, называться моей фамилией, по ее мнению, недостаточно знатной. К счастью для меня, она была целиком поглощена визитами и развлечениями. Веди она себя по-иному, я мог бы пристраститься к игре или к чему-нибудь худшему, но вышло так, что я постоянно оставался дома. Это было единственное место, где я с успехом мог избегать общества жены, так как дома она бывала реже всего. И тогда, сперва от безделья, а позже, получая настоящее наслаждение, я посвятил себя ученым занятиям. Книги помогли сформироваться мышлению и укрепили сердце. Я сделался совершенно другим человеком. Несколько месяцев назад отец мой умер, сестра уехала в Литву, а мать слишком стара и прямолинейна, чтобы понять и развеять мою печаль. Вот так и получилось, что жена моя отправилась на воды поправить расстроенное здоровье, а я приехал сюда, надеясь встретить кое-кого из старых друзей. А встретил вас…

Джованна покраснела, словно уличенная в чем-то постыдном, но сумела быстро овладеть собой и спросила с ледяной вежливостью:

— Надеюсь, вы не относите мою скромную персону к числу ваших "старых друзей?"

— Сам не знаю. У меня просто ум за разум заходит. Вам это может показаться странным, но, как только я увидел вас в салоне графа Силко, мною овладела необоримая любовь к вам. Но самое удивительное в другом. У меня такое чувство, что любовь к вам жила в моей душе уже давно, но до сих пор она лишь тлела под спудом, не имея выхода наружу, а сегодня вырвалась на свободу, вспыхнув неугасимым пламенем. Я люблю, я обожаю вас! Я…

Примадонна прервала пылкие излияния графа, но сделала это не словами, а взглядом, столь убийственно холодным, что слова застыли у того на губах. Высокомерная, пренебрежительная усмешка играла на устах певицы, глаза смотрели с открытой издевкой. Выдержав паузу, она произнесла со значением в голосе:

— Так вы любите меня, граф Рожинский?

— Так, видно, мне на роду написано, — печально отвечал Леон. — Вы можете презирать меня, но я не в силах сопротивляться этой страсти. Я чувствую, что судьба моя — любить вас вечно, поэтому вдвойне ужасно сознавать, что вряд ли суждено мне быть любимым вами.

С горечью внимала Джованна взволнованным признаниям гостя. Скорбная тоска звучала в ее голосе, когда она вновь заговорила:

— А разве не ужасно, когда первое, самое чистое, самое пылкое и сильное чувство остается безответным или, хуже того, осмеянным и оскорбленным? Не кажется ли вам, что сама смерть не может быть горше такой участи? Сделав над собой огромное усилие, она добилась того, чтобы речь ее зазвучала ровно и спокойно:

— Вы были, по крайней мере, искренни со мной, граф Рожинский. Постараюсь отплатить вам тем же. Выслушайте небольшой рассказ об одной девушке, жившей когда-то в вашей стране. Она была рождена и воспитана в крепостном рабстве и предназначена для служения своему знатному и богатому господину. Ей не было и пятнадцати, когда безжалостные руки вырвали несчастную из привычной деревенской жизни, в которой она обладала относительной свободой, была по-своему счастлива, и сделали одной из придворных рабынь в господском замке, где над ней либо издевались и смеялись, либо бранили. Лишь однажды довелось бедной девушке услышать доброе слово из уст хозяйского сына. Она лелеяла и берегла это воспоминание, скрывая ото всех свои чувства, пока благодарность и уважение не переросли в нечто более сильное. Но какое дело светскому молодому человеку до чувств какой-то крепостной? Такая безделица неспособна потешить его мужское самолюбие. Конечно, молодой аристократ не мог понять причину слез, печали и тоски бедняжки, поэтому, ничтоже сумняшеся, подарил ее будущей невесте, как подарил бы какую-нибудь собачку или зверушку.

Леон, начавший, похоже, что-то вспоминать, пришел от рассказа в большое волнение и хотел было прервать певицу, но синьора Джованна непререкаемым тоном попросила его дать ей закончить.

— Провидение не покинуло бедную сиротку, — продолжала она, — позволив обрести высокое положение в обществе, благодаря таланту, которым щедро наградила ее природа. Презренная крепостная из Побережье стала знаменитой певицей. И тогда ее бывший владелец и господин, случайно встретив девушку и видя ее известной и почитаемой всем светом, но не догадываясь о ее настоящем происхождении, вдруг загорелся к ней страстью, словно ниспосланной с Небес, — страстью греховной, происходящей от нечистой совести…

Произнеся последние слова, Джованна порывисто встала и хотела покинуть гостиную.

— Нет! — воскликнул Леон. — Это неправда! Любовь моя чиста и свята, клянусь!

— Не может того быть, — возразила Джованна. — Разве вы не женаты?

Вместо ответа граф выхватил из кармана какое-то письмо и протянул его Джованне. Конверт был с траурной каймой, а письмо извещало о смерти жены графа, последовавшей во время лечения на водах. Письмо пришло только этим утром.

— Вы не теряли времени даром! — язвительно заметила примадонна, стараясь скрыть свою растерянность под железной маской иронии.

Наступила пауза. Никто не решался заговорить первым. Граф, хотя разум его и отказывался

верить, что перед ним его бывшая раба, знал теперь — и у него не осталось и тени сомнения, — что Анеля и Джованна — одно и то же лицо. Это невозможное открытие лишило его дара речи. Анелька также выбилась из сил, борясь с бушевавшими в груди чувствами, и не могла дольше играть взятую на себя роль. Давно таившиеся в душе любовь и величайшая нежность, единственная подлинная страсть всей ее жизни — рвались наружу и больше не поддавались контролю. До сих пор беседа шла на итальянском, но теперь Анеля обратилась к польской речи.

— Вы имеете полное право, господин мой, граф Рожинский, снова заставить служить вам бедную Анельку, сбежавшую от вашей жены и вас во Флоренции. Отправьте ее обратно в свой замок, заставьте исполнять самую грязную работу, но...

— О, пощадите меня! — вскричал Леон.

— ...но, — продолжала твердо бывшая крепостная из Побереже, — вы не сможете заставить меня полюбить вас.

— Прошу вас, не нужно больше мучить меня — вы уже достаточно отмщены. Я не стану более докучать вам своей назойливостью. Должно быть, вы и в самом деле ненавидите меня. Вспомните только, что мы, поляки, давно мечтали дать свободу крепостным, и именно по этой причине страна наша была завоевана и расчленена деспотами-захватчиками. Мы вынуждены сохранять крепостное право, пока оно существует в России, но душой и телом мы против него. Если Польша когда-нибудь скинет иноземное иго, можете быть уверены, на всей ее территории от рабства не останется даже воспоминания. Не нас надо клясть, но врагов наших, тогда как мы, польские аристократы, более всего достойны жалости, ибо находимся как бы меж двух огней: с одной стороны грозят нам русские штыки и Сибирь, с другой — сжигает ненависть наших крепостных.

Не дожидаясь ответа, Леон выбежал из комнаты, захлопнув за собой дверь, Джованна прислушивалась к звукам его быстрых шагов, пока они не утонули в уличном шуме за окном. Она с радостью бросилась бы следом за любимым, но не смогла решиться и только подбежала к окну. Экипаж Рожинского уже отъехал от ее дома и теперь быстро удалялся прочь.

— Я люблю тебя, Леон! Я всегда любила тебя! — крикнула она вслед карете, но порыв ее пропал втуне — некому было услышать эти слова.

Невозможно описать страдания бедной Анели. Не в состоянии долее переносить их, она устремилась к письменному столу, чтобы написать следующие строки:

"Милый Леон, прости меня! Пусть прошлое будет навсегда забыто. Вернись к твоей Анельке. Она всегда была и будет твоей и только твоей!"

Она отправила письмо, терзаясь мучительными сомнениями: поможет ли оно вернуть возлюбленного, или уже слишком поздно? Молясь в душе о первом, она поспешила в свои покои, чтобы сделать кое-какие приготовления.

Леон пребывал в безнадежном отчаянии. Ясно было, что он совершил ошибку, поторопившись открыть свои чувства сразу по получении известия о смерти жены. Он поклялся себе, что не станет докучать Анельке своим присутствием в ближайшие несколько месяцев. Чтобы немного остыть и успокоиться, он поехал за город кататься на лошади. Вернувшись через несколько часов домой, граф нашел послание певицы. Надежда вспыхнула в его душе ярким пламенем; словно на крыльях полетел он назад к своей желанной.

Новое ужасное разочарование ждало Леона в апартаментах примадонны: как ни искал он, ее нигде не было. Неужели синьора Джованна вновь сбежала от него? Надежда снова сменилась отчаянием, лишившим графа способности трезво мыслить. В полной растерянности он остановился посреди зала, не зная, что предпринять, как вдруг слуха его коснулись летящие откуда-то издалека звуки "Ave Maria", исполняемой хорошо знакомым ему голосом; они принесли с собой отголосок давнего воспоминания: рыдающая девушка, забравшаяся в самый дальний уголок сада при его собственном замке. Охваченный незнакомым волнующим предчувствием, он последовал на голос. Источник его отыскался в одном из внутренних покоев дома. Войдя, Леон обнаружил коленопреклоненную певицу, одетую в скромный наряд крепостной крестьянки. Она поднялась с колен, одарила вошедшего трогательной улыбкой и смущенно, но решительно, шагнула ему навстречу. Леон простер к ней руки, она прильнула к его груди, и в этом нежном объятии все прошлые обиды и горести были навечно преданы забвению. Из маленького кошелька у себя на груди Анелька достала серебряную монетку. Это был тот самый рубль, только сегодня Леон уже не смеялся при виде его. Наконец-то ему открылся сокровенный смысл священного трепета, с которым она относилась к его

случайному дару. Несколько слез, пролитых графом на ладонь Анели стали убедительным свидетельством его полного раскаяния.

Спустя несколько месяцев управляющий Ольгогродским замком получил от хозяина письмо, в котором тот приказывал подготовить достойную встречу ему и его новой супруге. Письмо заканчивалось следующим распоряжением: "Насколько мне известно, в подвалах замка все еще содержатся несчастные, посаженные в темницу при жизни отца моего. Приказываю немедленно освободить всех до единого. Пусть это будет моим первым деянием во славу Господа, благословившего меня бесконечным счастьем!»

Анеля страстно желала вновь увидеть родные края, и они покинули Вену сразу же после венчания, хотя на дворе была только середина января.

Уже совсем стемнело, когда запряженная четверкой коней карета остановилась перед парадным крыльцом Ольгогродского замка. Пока слуга открывал дверцу, с другой стороны кареты, где сидела Анеля, появился какой-то бродяга, выпрашивающий милостыню. Радуясь, что может совершить богоугодное дело на пороге своего нового дома, Анеля подала нищему немного денег. К ее удивлению, тот, вместо благодарности, швырнул подачку к ногам молодой женщины и разразился диким хохотом, одновременно корча свирепые рожи и бросая на нее угрожающие взгляды из-под густых косматых бровей. Это странное событие вывело Анельку из равновесия и на некоторое время омрачило ее безоблачно-счастливое настроение. К счастью, рядом был Леон, который утешил и ободрил ее, а уж в объятиях любимого мужа она быстро позабыла обо всем, кроме счастья быть единственным предметом его пылкого обожания.

Усталые и возбужденные с дороги, супруги были рады как следует отдохнуть в первую ночь под сводами замка. Вскоре все вокруг и внутри погрузилось во мрак и безмолвие. Прошло несколько ночных часов, как вдруг сразу из нескольких окон взметнулись языки пламени. Пожар мгновенно распространился и минутой позже бушевал уже с невиданной свирепостью, охватив здание сплошным кольцом. Пламя вздымалось все выше и выше, оконные стекла лопались одно за другим, клубы едкого дыма проникали в самые отдаленные уголки замка.

Одинокая мужская фигура пробиралась, крадучись, по снежным сугробам, подобно савану окутавшим пустынные поля. Как ни осторожна была его поступь, скрип мерзлого снега под ногами разносился далеко вокруг. Этим человеком был тот самый бродяга, что так напугал Анелю. Поднявшись на небольшую возвышенность, он остановился и обернулся, чтобы насладиться страшным зрелищем пожара.

— Не томиться больше безвинно несчастным всю свою жизнь в твоих подвалах! — воскликнул он. — В чем было мое преступление? Всего лишь в том, что я напомнил хозяину о его низком происхождении! И за это меня разлучили с моим единственным ребенком — моей любимой малышкой Анелькой! В их сердцах не нашлось жалости для бедной сиротки — так пускай теперь все они сгинут в огне!

Внезапно в одном из больших окон замка показалась прекрасная фигура молодой женщины. Она старается найти путь к спасению, но тщетны ее усилия. Всего на мгновение возникла облаченная в белое красавица на фоне пылающих гардин и охваченных пламенем стен и тут же сгинула, поглощенная огненной стихией. За спиной несчастной мелькнула другая фигура — мужская. Он пытается помочь женщине, но его попытка терпит фиаско. Никому больше не видать их живыми.

Эта ужасная сцена устрашила даже самого поджигателя. Опрометью бросился он прочь, зажимая уши ладонями, чтобы не слышать грохота рушащихся стен, и все ускоряя и ускоряя свой бег.

Наутро крестьяне нашли в снегу тело замерзшего человека. Милосердное Провидение сжалилось над страдальцем, долгие годы томившимся в заключении, не дав тому испытать перед кончиной новые муки от сознания того, что он собственными руками предал жестокой смерти в языках пламени ту, что была когда-то его возлюбленной дочуркой, — бывшую крепостную сиротку из Побереже.

*1892 г.*

**Сошел с дистанции**

К северу от Батсера протянулась застывшей волной холмистая гряда Гемпшир-Дауне. Милях в двух от нее в низине лежит городок Питерсфилд. Серые крыши и красные стены домов едва видны среди густой зелени деревьев. От гребня холмов местность понижается широкими дугообразными уступами, чем-то напоминая окаменевшее в доисторические времена зеленое море. Внизу в долине, как раз в том месте, где пологий склон плавно переходит в равнину, расположилась крупная ферма. В центре ее находится кирпичный дом квадратной формы, из трубы которого лениво струится серый дым. Владение принадлежит явно процветающему фермеру, о чем наглядно свидетельствуют два коровника, несколько стогов сена и обширные поля, желтые от наливающейся пшеницы.

На зелени склонов то тут, то там темнеют скопления кустов дрока, ветви которых пламенеют ярко-желтыми цветами. По левую сторону от фермы проходит широкий Портсмутский тракт, вдоль которого цепочкой тянутся от гребня высокие телеграфные столбы. За границей хозяйства открывается зияющий гигантский провал, резко выделяясь белым пятном на зеленом фоне. Это знаменитая меловая каменоломня. Из глубин провала доносятся отдаленные голоса людей и звяканье инструментов. В седловине меж двух зеленых холмов, возвышающихся над карьером, виднеется крохотный треугольник — окрашенный в свинцовые тона морской пейзаж с белой блесткой одинокого паруса.

По тракту спускаются в долину две женщины: пожилая полная матрона с красным лицом в грубом саржевом платье и накинутой на плечи темно-желтой пейслейской шали и совсем юная девушка, хорошенькая, с большими серыми глазами и приятным личиком, усеянным множеством веснушек, словно перепелиное яйцо. На ней аккуратная белая блузка с узким черным пояском и простая короткая юбка, придающие девушке утонченно-изящный вид, чего никак нельзя сказать о ее старшей спутнице. Впрочем, в глаза сразу бросается заметное сходство между ними, откуда легко прийти к выводу, что перед нами мать и дочь. Если у первой от тяжелого крестьянского труда давно огрубела кожа, покрылось морщинами лицо и расплылась фигура, то вторая являет собой наглядный пример благотворного влияния обучения в частном пансионе на свежий цвет лица и гибкость стана. Тем не менее, характерные особенности походки обеих женщин, изгиб плеч, одинаковые движения бедер при ходьбе — все указывает на кровное родство между ними.

— Матушка, мне кажется, я вижу отца на пятиакровом поле, — воскликнула девушка, указывая вниз, в направлении фермы.

Пожилая женщина прищурилась и приставила ладонь козырьком к глазам.

— А это еще что за тип рядом с ним? — спросила она.

— Билл, по-моему.

— Ах, да причем тут этот недоумок? Я спрашиваю, с кем он разговаривает?

— Никак не разберу, матушка. Он в соломенной шляпе. Адам Уилсон с карьера носит такую же.

— Ну, конечно! Как же я сразу не узнала Адама? Что ж, очень хорошо. Мы вернемся домой как раз вовремя, чтобы повидаться с ним. Негоже будет, если он понапрасну потратит время, а с тобой так и не поговорит. Провались пропадом эта пыль! В таком виде и на глаза приличным людям показаться стыдно.

Та же мысль пришла, должно быть, и в голову дочери. Она вытащила носовой платок и теперь старательно счищала пыль с рукавов и переда юбки.

— Это ты правильно сообразила, Долли. А ну-ка, пройдись еще по оборкам — там осталось немного. Ты хорошая девочка, Долли, благослови тебя Господь, да только зря стараешься. Его ведь не платье твое интересует, а мордашка. На платье-то он, поди, и не глянет. А знаешь, дочка, я не удивлюсь, ежели он сегодня к отцу сватать тебя заявился!

— Не мешало бы ему сначала меня спросить, — заметила девушка.

— Но ведь ты же согласишься, когда он спросит, разве нет?

— Я пока не совсем уверена, матушка.

— Ну и дела! — всплеснула руками мать. — Ума не приложу, чего теперешним девкам

надобно? Просто ума не приложу! Это тебе в пансионе твоем головку невесть чем забили. Вот когда я в девках ходила, коли к кому сватался достойный человек, то ему прямо отвечали: «да» или «нет», а не держали в подвешенном состоянии, как какую-нибудь полуобстриженную овцу. Взять хотя бы тебя — сразу два ухажера за тобой увиваются, а ты ни одного из них никак выбрать не можешь!

— В том-то и дело, мамочка! — воскликнула Долли, то ли смеясь, то ли плача. — Если бы они не ухаживали за мной сразу вдвоем, тогда я, может быть, нашла, что ответить.

— Ты что-нибудь имеешь против Адама Уилсона?

— Ничего, матушка. Но и против Элиаса Мейсона я тоже ничего не имею.

— Да и я, признаться, тоже, зато я точно знаю, который из двух лучше выглядит.

— Ах, хорошо выглядеть — это еще не все, матушка. Ты бы послушала, как умеет говорить Элиас Мейсон. А как он стихи читает!

— Вот и отлично — выходи тогда за Элиаса.

— Но у меня язык не повернется отказать Адаму!

— Ну и ну! В жизни не встречала такую взбалмошную девчонку. Ты как теленок между двумя копнами сена — то от одной отщипнешь, то к другой тянешься. А между тем, одной на сотню выпадает такая удача, как тебе. Возьми Адама: три с половиной фунта в неделю, уже мастер на каменоломне, а коли повезет, так и до управляющего дослужится. Да и Элиас зарабатывает неплохие деньги. Старший телеграфист на почте — должность немаленькая. Но нельзя же обоих на поводке водить. Пора остановиться на ком-нибудь одном, а иначе помяни мое слово — останешься ты вообще на бобах, ежели глупости свои не прекратишь.

— Ну и пусть! Мне все равно. Никого мне не нужно! И вообще я не понимаю, чего они за мной бегают?

— Такова уж человеческая природа, девочка моя. Мужчинам так положено. А вот если бы они вдруг начали вести себя по-другому, ты бы первая стала возмущаться. Разве не записано в Священном Писании: "Мужчина стремится к женской любви, как искра от костра — к небу". — При этом мать краем глаза глянула на дочку, будучи, похоже, не совсем уверенной в точности приведенной цитаты. — Разрази меня гром, если это не Билл шкандыбает. В Писании сказано, что все мы сотворены из глины, но у Билла это куда заметнее, чем у всех знакомых мне парней!

Они как раз свернули с дороги в глубокую узкую колею, ведущую к ферме. Навстречу им несся, сломя голову, долговязый малый удивительно расхлябанной наружности. Он мчался напрямик неуклюжим галопом подростка, бесстрашно шлепая желтыми безразмерными деревянными башмаками по грязи и лужам. На нем были коричневые короткие штаны и грязная рубаха неопределенного цвета, а довершал туалет красный шейный платок. Старая потертая соломенная шляпа сбилась на макушку. Из под нее выбивались наружу спутанные вихры жестких темнокаштановых волос. Рукава рубашки были подвернуты выше локтей, так что лицо и руки парня загорели и огрубели до такой степени, что цветом и текстурой напоминали кору молодого деревца. Услышав звук шагов, он поднял голову и остановился. Голубые глаза, бронзовый загар и темный пушок от пробивающихся усов над верхней губой могли бы сделать лицо юноши вполне привлекательным, если бы не застывшее на нем, подобно маске, туповато-вялое, тяжелое и угрюмое выражение, придающее ему облик деревенского дурачка.

— День добрый, мэм, — проговорил он, коснувшись полей шляпы в знак приветствия. — Хозяин увидал, как вы идете, и послал, стало быть, меня, сказать вам, чтобы вы знали, что он сейчас, значитца, работает на пятиакровом поле.

— Беги назад, Билл, и передай, что мы скоро придем, — сказала женщина, и гонец пустился вприпрыжку обратно через поле, нелепо вскидывая на бегу ноги.

— Послушай, мамочка, а как фамилия нашего Билла? — спросила внезапно Долли, просто так, из любопытства.

— Да нет у него никакой фамилии.

— Нет фамилии?

— Нет, дочка. Он ведь подкидыш, и никто не знает, кто были его отец и мать. Мы взяли его из богадельни в семилетнем возрасте рубить кормовую свеклу на силос, и вот уже почти двенадцать лет он живет на ферме. Как он был тогда просто Биллом, так и остался.

— Как интересно! Не представляю, как это можно жить без фамилии? А как будут называть его жену?

— Понятия не имею. Об этом будем думать, когда он сможет себе позволить таковую иметь. А теперь, милая моя, приготовься. Вон идут по полю твой отец и Адам Уилсон, Я ведь хочу только надежно пристроить тебя, доченька. Адам очень порядочный молодой человек. Он носит синий бант и имеет счет в почтовом отделении.

— Хотелось бы мне знать, который из двух любит меня сильнее, — молвила девушка, вглядываясь из-под полей шляпки в приближающиеся фигуры, — тогда и я полюбила бы его всей душой. Но ты не волнуйся, мамочка, я знаю, как мне это выяснить, и нечего тебе лишний раз переживать.

Кандидат в женихи оказался молодым человеком довольно высокого роста, в сером костюме и соломенной шляпе, украшенной черно-белыми ленточками. Он курил трубку, но, приблизившись к дамам, поспешно спрятал ее в нагрудный карман, шагнул им навстречу и протянул руку, нервно сжимая другой часовую цепочку.

— Ваш покорный слуга, миссис Фостер. А вы как поживаете, мисс Долли? Еще декада, и придет пора убирать ваш урожай, не так ли?

— Плохая примета в наших краях — загадывать заранее, — проворчал фермер Фостер, бросая тревожный взгляд на небо.

— Все в руце Господней, — молвила миссис Фостер, набожно склоняя голову.

— Господь, конечно, нас не оставляет, но мне сдается, что в последние годы Он вроде бы малость подзабыл, как надо управлять погодой. Ну да ничего, в этом году, даст Бог, отыграемся. А ты, мать, что делала в городе?

Пожилая пара ушла вперед, в то время как молодые люди отстали, в основном благодаря стараниям кавалера, который нарочно укорачивал шаги, чтобы еще больше увеличить дистанцию.

— Послушайте, Долли, — начал он, наконец, взглянув на девушку и слегка покраснев от смущения, — я только что имел разговор с вашим отцом — вы знаете, насчет чего.

Долли, однако, явно не знала, о чем беседовал с ее отцом молодой человек. Более того, она об этом не имела ни малейшего представления. На ее прелестном веснушчатом личике было написано откровенное любопытство и ожидание.

Такая тактика заставила Алама Уилсона несколько смешаться и покраснеть еще больше.

— Вы прекрасно знаете, о чем у нас шла речь! — нетерпеливо выпалил он. — Я говорил с ним о женитьбе.

— Как, неужели вы хотите жениться на моем папочке?!

— Ну вот, всегда вы так! Вам хорошо надо мной смеяться, а я ведь серьезно говорю, Долли. Ваш отец сказал, что не возражает, если я стану членом вашей семьи. Вам давно известно, как сильно и верно я люблю вас…

— Как же мне может быть это известно?

— Но ведь я сам говорю вам. Неужели этого мало?

— А вы пытались хоть раз доказать мне вашу любовь?

— Доказать? Дайте мне любое задание — и сами увидите, как я с ним справлюсь.

— Иными словами, до сих пор вы ничего не сделали?

— Я не понимаю. Я сделал все, что только мог.

— А что вы скажете об этом? — и она вытащила из корсета изрядно помятый побег дикого

шиповника, что цветет по обочинам дорог в сельской местности. Вам ни о чем не напоминает этот цветок?

Адам улыбнулся и хотел было ответить, как вдруг брови его грозно нахмурились, губы плотно сжались, а глаза засверкали гневом при виде показавшейся вдали человеческой фигуры, быстро приближающейся к ним. Устремив свой взор в ту же сторону, девушка увидела на тропинке через три поля одетого в черное стройного, худощавого мужчину.

— Кажется, сюда идет мой добрый друг мистер Элиас Мейсон, — спокойно заметила она.

— Ваш добрый друг?! — в ярости Адам Уилсон начисто позабыл о сдержанности. — Знаю я, что это за друг! Интересно, какого черта он шляется сюда по вечерам через день?

— Быть может, он задает себе тот же вопрос, только в отношении вас?

— Вы полагаете? Хотелось бы мне, в таком случае, чтобы он сам меня спросил. Уж я бы ему ответил, да так, что все очень быстро станет понятно.

— По-моему, ему уже и так все понятно. Смотрите, он снял шляпу и кланяется мне! — со смехом воскликнула Долли.

Ее смех стал последней каплей, переполнившей чашу терпения Адама. Стремясь произвести впечатление, он оказался, вместо этого, посмешищем в глазах любимой. Круто развернувшись на каблуках, он обратился к девушке срывающимся от негодования голосом:

— Отлично, мисс Фостер! Превосходно! Теперь я знаю, наконец, что к чему. Я сюда явился не для того, чтобы потешать вас, так что счастливо вам оставаться, мисс Фостер! — С этими словами молодой человек яростно нахлобучил на голову шляпу и быстрым шагом устремился прочь. Долли провожала его растерянным взглядом, надеясь уловить в удаляющейся фигуре признаки раскаяния, но Адам Уилсон ни разу не оглянулся, а вскоре и вовсе скрылся за ближайшим поворотом.

Когда девушка снова обернулась, прямо перед ней стоял второй претендент на ее руку и сердце. Он был жилист, худощав и заметно нервничал, что сразу отражалось на его выразительном, скуластом и слегка желтоватом лице.

— Добрый вечер, мисс Фостер. Сегодня чудесная погода, вот я и решил прогуляться, хотя, должен признаться, никак не рассчитывал на такое везение, что встречу в поле именно вас.

— Уверена, что отец будет очень рад вас видеть, мистер Мейсон. Вы должны заглянуть к нам в дом и выпить стаканчик парного молока.

— Благодарю за приглашение, мисс Фостер, но, по правде говоря, мне куда приятней побыть на природе, рядом с вами. Боюсь только, что своим присутствием невольно помешал вашей беседе. Если не ошибаюсь, молодой человек, который только что покинул вас с такой поспешностью, это Адам Уилсон? — мягкая, сдержанная манера выражаться мистера Мейсона странным образом контрастировала с его плотно поджатыми губами и беспокойным взглядом, свидетельствующими о том, что испытываемые им муки ревности, пожалуй, еще сильнее и глубже, чем у его соперника.

— Вы правы, это был Адам Уилсон, — подтвердила девушка; в поведении и манерах Элиаса незримо присутствовало нечто такое, что не позволяло ей обращаться с ним с той же непринужденностью, с какой она привыкла разговаривать с Адамом.

— Последнее время я неоднократно замечал здесь это-то господина.

— Верно. Вы слышали, наверное, что он работает старшим мастером на соседнем карьере?

— В самом деле? А мне казалось, что его больше привлекает ваше общество, мисс Фостер. Не могу сказать, что упрекаю его за это, поскольку сам грешен в том же, однако хотелось бы все-таки достичь между нами определенного взаимопонимания. Я полагаю, мисс Фостер, что мои истинные чувства не могли укрыться от ваших глаз? Я не ошибся, не правда ли? Я обладаю достаточными средствами и положением, чтобы обеспечить семью. Не согласитесь ли вы стать моей женой, мисс Фостер?

Долли с превеликой радостью отшутилась бы в ответ на предложение Элиаса, но под пристальным взглядом его горящих глаз у нее начисто пропала всякая охота шутить. Она медленно зашагала по направлению к дому. Элиас безмолвно следовал за ней, покорно ожидая ответа.

— Вы должны дать мне немного времени на раздумье, мистер Мейсон, сказала, наконец, девушка. — Не зря говорится: "Поспешишь — людей насмешишь". Или вот еще: "Наспех жениться — век мыкаться".

— Ручаюсь, у вас не будет случая пожалеть об этом!

— Кто знает? В жизни всякое случается.

— Я сделаю вас счастливейшей женщиной во всей Англии!

— Звучит заманчиво. Вы ведь поэт, мистер Мейсон, не так ли?

— Скажем по-другому: я большой любитель поэзии.

— Скажите, поэтам нравятся цветы?

— Мне нравятся. Очень.

— Тогда, возможно, этот цветок вам что-то скажет, — молвила девушка, протягивая Элиасу все тот же скромный побег шиповника и одновременно вглядываясь с жадным любопытством ему в лицо. Тот принял цветок и благоговейно поднес его к губам.

— Он говорит о том, как сладостно быть рядом с вами. О, как завидую я ему и как мечтаю оказаться на его месте! — напыщенно произнес телеграфист.

— Добрый вечер, мистер Мейсон, — раздался вдруг голос фермера Фостера, вышедшего из дома встретить гостя. — А где же мистер… Гм-м-м… Ах, да, конечно… Чай на столе, молодые люди, и вам лучше поторопиться, пока заварка не перестоялась.

Покидая в тот вечер гостеприимный дом Фостеров, мистер Элиас Мейсон на минуту увлек Долли в сторонку.

— Я не смогу снова прийти раньше субботы, — сказал он.

— Мы рады видеть вас в любой день, мистер Мейсон.

— Я надеюсь получить ваш ответ в субботу.

— Ах, но я не могу ничего обещать вам заранее.

— Разумеется, но ведь надеяться вы позволите мне?

— Ну, этого вам никто не может запретить, — ответила девушка со смешком в голосе; теперь, когда она убедилась в прочности своей власти над этим поклонником, она в значительной мере утратила прежнюю робость и держалась с ним почти так же свободно, как и с Адамом Уилсоном. Она стояла у двери, прислонясь к косяку. Вьющиеся побеги жимолости обрамляли ее легкую, стройную фигурку. Огромный, багрово-красный солнечный диск уже опустился на западе к самой линии горизонта, и лишь верхний край его выглядывал из-за ломаной гряды холмов, заставляя одинокий бук в поле, небольшое стадо коров и удаляющуюся мужскую фигуру отбрасывать бесконечно длинные тени в противоположном направлении. Девушка с усмешкой отметила, как сильно удлинились ноги у тени мистера Мейсона, и каким ничтожным выглядит он сам по сравнению с неотступно следующим за ним гигантом.

В маленьком палисаднике перед домом слышалось гудение пчел. Припозднившаяся дневная или ранняя ночная бабочка лениво порхала над цветочной клумбой. И еще тысячи и тысячи крохотных существ жужжали и звенели вокруг, каждое занятое устройством собственной судьбы и почитающее себя, вне всякого сомнения, центром мироздания. Впрочем, то же самое можно было отнести и к присутствующей здесь девушке. Правда, комару отмерено природой всего несколько дней, а человеку — долгие годы, но это не мешало каждому из них радоваться жизни в тот теплый летний вечер. На посыпанную гравием дорожку выполз большой жук и целенаправленно побежал куда-то, стремительно перебирая всеми шестью ногами. Жук то и дело спотыкался, наталкивался на препятствия, падал, но каждый раз поднимался вновь, встряхивался и спешил дальше к ему одному ведомой цели в дебрях травяных джунглей. Летучая мышь, неслышно трепеща крыльями, вылетела откуда-то из-за дерева. Легкий ночной ветерок окутал свежим дыханием склон холма, принеся на своих крыльях слабый соленый привкус холодной морской воды. Долли Фостер поежилась и собралась уже вернуться в дом, но тут из коридора вышла ее мать.

— Билл! — воскликнула она. — Ты чем это здесь занимаешься, негодник?

Девушка присмотрелась и только сейчас заметила присевшего на корточки под буком бесфамильного батрака. Его желто-коричневое облачение практически сливалось с корой дерева.

— А ну-ка убирайся отсюда, да поживей! — продолжала вопить миссис Фостер.

— Что делать надо, хозяйка? — спросил тот, подойдя поближе и покорно склонив голову

— Ступай, поруби солому на сечку в овине.

Билл кивнул и удалился шаркающей походкой — ни дать, ни взять, комический персонаж в заляпанных грязью башмаках, подвязанных веревкой штанах и с задубевшей кожей цвета жареного миндаля.

— Так ты, дочка, выходит, выбрала Элиаса, — сказала мать, обнимая девушку за талию. — То-то я углядела в окошко, как он аж присосался губами к твоему цветочку. Ну, что тебе сказать? Жаль, конечно, Адама. Человек он, хоть и молодой, но вполне самостоятельный и порядочный. Опять же, бант синий носит, и денежки у него на книжке в почтовой конторе имеются. Но ведь должен же кто-то страдать, иначе как можем мы очиститься от скверны греха? Ежели к молоку не приложить рук, так и маслица не попробуешь. Сначала надо его снять, потом взболтать, а после взбить в маслобойке. Так же и с людьми Господь поступает, прежде чем принять их в сонм ангелов. Точно, как при сбивании масла!

Долли расхохоталась.

— Да, мамочка, только я еще не выбрала Элиаса. Пока, во всяком случае.

— Нет? Значит, ты предпочитаешь Адама?

— Адаму я тоже не дала ответа.

— Ах, Долли, девочка моя! Ну, почему ты не желаешь слушать советов старших? Сколько можно повторять, что с такими выкрутасами ты потеряешь обоих, только и всего.

— Успокойся, мамочка, ничего подобного не произойдет. Все в порядке. Но ты ведь должна понимать, как непросто мне приходится. Мне нравится Элиас. Он умеет красиво говорить, всегда такой уверенный и твердо знает, чего он хочет. Но мне нравится и Адам, потому что… Да просто потому, что я отлично знаю, как сильно он меня любит.

— Ах ты, Господи, да что же мне с тобой делать? Ты же не можешь выйти замуж сразу за обоих, — это все равно, что гнаться за двумя зайцами одновременно.

— Ты права, матушка, но у меня есть верный способ не ошибиться в выборе. Видишь эту веточку с цветком?

— Ну и что? Обыкновенный шиповник.

— А как ты думаешь, где я его нашла?

— Где-нибудь на обочине, скорее всего.

— Вот и не угадала! На подоконнике в моей комнате.

— В самом деле? И когда это было?

— Сегодня утром. Я встала в шесть часов, смотрю он лежит, свеженький, только сорванный. То же самое случилось вчера и позавчера. Каждое утро на подоконнике появляется новый цветок. Ты правильно сказала, матушка, что в нем нет ничего необычного, другое дело, можно ли считать обычным человека, который день за днем находит в себе силы вставать на рассвете и тайком пробираться к моему окну только ради того, чтобы показать девушке, какое место мысли о ней занимают в его сердце?

— Ну и кто ж это?

— Ах, если б я только знала! Думаю, что это Элиас. Ты же знаешь — он поэт, а поэты любят делать подобные приятные сюрпризы.

— И как же ты собираешься узнать точно?

— Утром обязательно узнаю. Кто бы это ни был, утром он явится снова. Вот тогда я точно

пойму, за кого мне выходить. Скажи, мамочка, отец перед вашей свадьбой когда-нибудь делал что-то похожее для тебя?

— Как-то не припоминается, доченька. Скажу только, что твой отец всегда был большой любитель поспать.

— Ну ладно, матушка, можешь больше ни о чем не волноваться. Будь уверена, завтра утром я первым делом расскажу тебе, кто приходил.

В тот вечер Долли решила разобраться со всеми мелочами, до которых в большом фермерском хозяйстве не всегда доходят руки, вследствие чего они имеют обыкновение быстро накапливаться. Она отполировала темную старомодную мебель в столовой, а затем занялась погребом: расставила по-новому мешки и лари, сосчитала бочонки с сидром, сварила огромный котел малинового варенья и разлила его по банкам, снабдив каждую бумажным ярлыком с датой. Долго еще после того, как большой дом со всеми его обитателями погрузился в сон, хлопотала она по хозяйству, добровольно выполняя порой нудную и грязную, но необходимую работу. Когда со всем было покончено, ночь уже шла на убыль, а Долли едва держалась на ногах от усталости. Она прошла на кухню, разожгла почти совсем угасшую плиту и вскипятила чай. С чашкой в руке она вернулась в свою спальню и пристроилась в уголке, мелкими глотками прихлебывая ароматный напиток и листая старую переплетенную подшивку журнала "В час досуга". Выбранное ей для наблюдения место находилось за оконной занавеской. Отсюда она могла видеть все, сама оставаясь незамеченной.

За окном забрезжил рассвет, и сразу задул довольно свежий ветер. По окрасившемуся в нежный бледно-голубой цвет небу стремительно неслись гонимые ветром облака. Потоки воздуха то разрывали на части белую кипень облачных масс, то сгоняли рваные клочья обратно в кучу. Белоснежные барашки мчались по небосводу, перегоняя друг дружку и устремляясь нескончаемой чередой с уже зарозовевшего восточного края горизонта в сторону пока еще остающегося в тени западного. А ветер, тем временем, разгулялся не на шутку. Со двора доносился пронзительный посвист, то нарастающий чуть ли не до рева, то понижающийся до едва слышного шелеста. Долли встала и поплотнее укуталась в теплую шаль. Она не успела еще усесться обратно на место, как произошло то, чего она дожидалась всю ночь, разом рассеяв все ее сомнения.

Окно спальни выходило во внутренний дворик и находилось примерно в восьми футах от земли. Стоящего под окном человека нельзя было увидеть из комнаты, и все же девушка успела заметить достаточно, чтобы узнать все, что ее интересовало. Внезапно и бесшумно в оконном проеме показалась чья-то рука. Пальцы разжались, уронив на подоконник веточку шиповника, и рука тут же исчезла. Все происшедшее не заняло и пары секунд. Долли не успела ни увидеть лица раннего гостя, ни услышать шороха его шагов, зато смогла как следует разглядеть его руку, а больше ей ничего и не требовалось. Со счастливой улыбкой на губах она бросилась в постель, натянула на себя плед и провалилась в глубокий сон.

Долли проснулась от того, что вошедшая в спальню мать потрясла ее за плечо.

— Пора завтракать, дочка. Ты вчера замучилась, так что я принесла тебе немного хлеба и кофе. Присядь, будь умницей, и выпей пожалуйста.

— Спасибо, мамочка. Ты не беспокойся, со мной все в порядке. Я скоро выйду. Ты видишь — мне и одеваться не нужно.

— Нет, вы только гляньте на эту девчонку! — даже раздеться не соизволила. Так-так-так, а это что у нас такое? Цветочек на подоконнике, чтоб мне лопнуть! Ну и как, солнышко, рассмотрела ты, кто его сюда положил?

— Да, матушка.

— Кто же?

— Это был Адам.

— Взаправду? Вот уж никогда бы не подумала, что он способен на такое! Ну что ж, Адам — так Адам. Парень он надежный, а это, скажу я тебе, много лучше, чем какой-нибудь умник. Он откуда пришел? Через двор?

— Нет, он прокрался вдоль стены дома.

— Как же ты тогда его увидела?

— А я его не видела.

— Откуда же ты тогда знаешь, кто это был?

— Я видела его руку.

— Ты хочешь сказать, что так хорошо знаешь руку Адама?

— Матушка, пойми, только слепой не отличит руку Адама от руки Элиаса. Эта рука была смуглой от загара, как кофе, который я пью, тогда как у мистера Мейсона рука белая, как эта чашка, и вся в голубых прожилках от вен.

— А ведь верно! Так оно и есть, доченька, хотя самой мне ни в жизнь бы не догадаться. Ну ладно, вставай, Долли. Сегодня будет тяжелый день. Вон слышишь, как ветер-то завывает?

Ветер и в самом деле заметно усилился. С восхода солнца прошло всего несколько часов, а задувший на рассвете свежий бриз перерос за это время в самый настоящий шторм. Оконные ставни надсадно скрипели под его напором. Бросив взгляд во двор, Долли увидела закрученные смерчем и беспорядочно кружащиеся в воздухе обрывки капустных листьев, клочки сена и соломы и прочий мусор.

— Самый большой стог может вот-вот развалиться, — сообщила мать. — Наши все там, стараются закрепить сено получше. Нет, ну надо же, какой ветрище на нашу голову!

Стихия действительно разыгралась. Когда Долли спустилась вниз, то с большим трудом смогла выйти на крыльцо. Небо до самого горизонта приобрело зловещий медно-желтый оттенок, над головой завывал в бесовской злобе ветер, стремясь разметать по кусочкам сгрудившиеся в кучу в своем беспорядочном бегстве облака. На ближнем к дому поле фермер Фостер вместе с тремя или четырьмя работниками с помощью жердей и веревок пытался закрепить длинный высоченный стог. Простоволосые, с развевающимися по ветру бородами, метались они вокруг в почти безнадежной попытке спасти сено. Задержав на мгновение взгляд на этой сцене, Долли наклонила голову, пригнула плечи и решительно зашагала против ветра наискосок через поля, придерживая одной рукой соломенную шляпку на голове.

Рабочим местом Адама Уилсона был строго определенный участок на ближнем к ферме склоне мелового карьера. Туда-то и направила свои стопы девушка. Адам издалека заметил изящную, стройную фигурку с хлопающими на ветру юбками и вьющимися шляпными ленточками и сразу пошел навстречу, забыв даже положить на место белый от мела тяжелый лом, который так и остался у него в руке. Впрочем, следует признать, что молодой человек отнюдь не спешил, всем своим видом изображая несправедливо обиженного и избегая встречаться с девушкой взглядом.

— Доброе утро, мисс Фостер.

— Доброе утро, мистер Уилсон. Между прочим, если вы все еще сердитесь на меня, я думаю, мне будет лучше вернуться домой.

— Я вовсе не сержусь, мисс Фостер. Напротив, я чрезвычайно польщен, что в такую погоду вы сочли возможным заглянуть сюда.

— Я только хотела сказать вам… Я хотела попросить прощения за вчерашнее. Я, наверное, обидела вас вчера, но поверьте мне, Адам, у меня и в мыслях не было насмехаться над вами. Честное слово! Это у меня просто такая манера разговаривать, вы же знаете. А если вы на меня больше не сердитесь, то это очень благородно и великодушно с вашей стороны.

— Боже! О чем вы говорите, Долли! — воскликнул Адам, засиявший от радости при таком повороте дел. — Да если бы я не любил вас так сильно, стал бы я волноваться из-за того парня? Какое мне дело, что он там говорит или чем занимается? Если бы только мне твердо знать, что для вас я значу больше, чем он…

— Но это так, Адам.

— Благослови вас Господь, Долли, за ваши слова! Если бы вы знали, какую тяжесть сняли с моего сердца! Послушайте, сегодня мне необходимо уехать в Портсмут по делам фирмы, но завтра вечером я к вам обязательно приду.

— Очень хорошо, Адам. Я буду ждать… Боже! Что там такое?!

Со стороны фермы донесся душераздирающий треск и грохот, затем послышались отчаянные крики людей.

— Стог обрушился, и кого-то задавило! — воскликнула Долли и, не сговариваясь, молодые люди бросились бегом вниз по склону к месту происшествия.

— Папа! Папочка! — задыхаясь, кричала на бегу девушка.

— С ним все в порядке! — крикнул в ответ ее спутник. — Я вижу его. Лежит кто-то другой. Они поднимают его. А вон кто-то еще бежит, как сумасшедший. За доктором, должно быть.

Бегущий батрак поравнялся с Адамом и Долли.

— Не ходите туда, мисси, — закричал он, — не стоит вам смотреть на раненого.

— Кто ранен?

— Это Билл. Когда стог начал падать, его задело опорной жердью, да так неудачно — прямо по хребту. Сдается мне, он уже помер, а ежели не помер, то протянет недолго. А меня послали за доктором Стронгом, — с этими словами он вновь пригнул голову и ринулся дальше по дороге.

— Бедный Билл! Слава Богу, что это не отец!

Молодые люди как раз добрались до границы поля, на котором произошел несчастный случай. Обвалившийся стог раскинулся по земле бесформенной грудой, из которой торчала длинная толстая жердь, прежде поддерживавшая брезент, которым стог покрывали на случай дождя. Четверо мужчин мелкими шажками продвигались к дому, таща на полусогнутых плечах импровизированные носилки с пятым. Предсмертная бледность не смогла смыть краску глубоко въевшегося в его лицо загара, и со стороны казалось, будто это и не человек вовсе, а большой ком земли, которую он всю жизнь обрабатывал. Раненый не шевелился и переносил муки безмолвно, с тупой покорностью вьючного животного. Та же покорность судьбе читалась во взгляде несчастного, устремленном в пространство из-под полуприкрытых век. Дышал он неровно, но ни крика, ни стона не срывалось с побелевших губ. Было что-то нечеловеческое, почти животное, в этой абсолютной пассивности. За всю свою жизнь он не встретил сочувствия у окружающих и не искал его и теперь, на пороге смерти, больше напоминая в эти минуты сломанный инструмент, чем человеческое существо.

— Могу я чем-нибудь помочь, отец?

— Нет, девочка моя. Да и не место тебе здесь. Я уже послал за доктором — скоро прибудет, наверное.

— Куда его несут?

— На сеновал, где он обычно спит.

— Я считаю, что его следует перенести в мою спальню, папочка.

— Что ты, дочка! Лучше уж не вмешивайся в это дело.

Как раз в этот момент носильщики проходили мимо, и раненый услыхал великодушное предложение девушки.

— Большое спасибо вам, мисси, — прошептал он, словно обретя на мгновение жизненные силы, но тут голова его безжизненно откинулась, и бедняга снова вернулся в прежнее состояние полного ступора.

Работник на ферме — человек полезный, но что прикажете делать с батраком, у которого поврежден позвоночник и сломана половина ребер? Фермер Фостер долго качал головой и чесал в затылке, выслушав приговор врача.

— Так вы говорите, док, что ему уже не поправиться?

— Да.

— Тогда нам, наверное, следует отослать его.

— Куда?

— В больницу при богадельне, откуда мы взяли его аккурат одиннадцать лет назад. Вроде как

домой парень вернется.

— Боюсь, скоро он отправится намного дальше, — серьезно сказал доктор Стронг. — Но как бы то ни было, сейчас больного никак нельзя перемещать. Придется ему остаться здесь, пока не поправится или…

Пока все шло к тому, что оправдается вторая, невысказанная доктором, часть прогноза. Билла поместили на небольшом сеновале над конюшней. Он лежал неподвижно, распростертый на деревянном топчане, покрытом тощим голубым соломенным тюфяком. Взор его был устремлен в потолок, где на вбитых в стропила крючьях висели седла, конская упряжь, старые косы и еще масса разнообразных предметов, имеющих обыкновение, подобно летучим мышам, скапливаться именно на чердаках. Чуть ниже, на двух крючках, висел незамысловатый гардероб самого Билла, состоящий из двух рубах, синей и серой, покрытых пятнами штанов и заляпанной грязью куртки. В головах у раненого стояла старая силосорезка, а рядом с ней был свален огромный ворох ботвы. Он лежал тихо, никого не беспокоя, ни к кому не обращаясь, ни на что не жалуясь, и только взгляд его, неотрывно устремленный на крохотный клочок голубого неба в узком чердачном окошке, казалось, вопрошал Господа, почему Тот сотворил этот мир таким непонятным и несправедливым.

Ухаживать за раненым приставили пожилую женщину, жену одного из работников фермы, так как врач наказал, чтобы его ни на минуту не оставляли одного. Она крутилась вокруг топчана, разбирая и перекладывая с места на место всякий хлам, и бурчала себе под нос что-то невразумительное, словно жалуясь на свое неблагодарное и скучное занятие. На несущей балке стояли несколько полуразбитых горшочков с цветами, которые она заботливо разместила на деревянном упаковочном ящике, стоящем рядом с изголовьем больного. Билл лежал неподвижно, только при вдохе и выдохе из груди его доносился неприятный скрежещущий звук. Однако он с некоторым интересом следил за каждым движением сиделки, а однажды даже улыбнулся, когда та расставляла горшочки с цветами.

Еще раз губы раненого тронуло улыбкой, когда он услышал, как миссис Фостер и ее дочь интересуются состоянием его здоровья. Они как раз вернулись с почты, куда ходили вместе и где мисс Фостер отправила весьма тщательно составленное письмо, адресованное мистеру Элиасу Мейсону, эсквайру. В этом письме юная леди вежливо сообщала вышеупомянутому джентльмену, что уже нашла себе достойного спутника жизни, в связи с чем достопочтенный м-р Мейсон может не затруднять себя назначенным для получения ответа субботним визитом. По возвращении обе дамы заглянули в конюшню и, не поднимаясь на сеновал, спросили сиделку, как себя чувствует Билл. Но даже с того места, где они стояли, слышно было ужасное хрипение от дыхания страдальца. Долли почти сразу убежала прочь, побледнев до такой степени, что даже ее многочисленные веснушки слегка побелели. Ничего удивительного — она была еще очень молода и плохо подготовлена к тому, чтобы без содрогания воспринимать наиболее отвратительные детали переносимых ближним мучений, хотя этому «ближнему» было на год меньше, чем ей самой, и он, несмотря на невыносимую боль, все же находил в себе силы сдерживаться и мужественно смотреть прямо в глаза приближающейся смерти.

Всю ночь он пролежал так тихо, что если бы не зловещий тяжелый хрип, сиделке могло показаться, будто жизнь уже покинула разбитое тело. Она ухаживала и присматривала за ним в меру своих скромных сил, но сама будучи старой и слабой женщиной, поддалась усталости и в тот предрассветный час, когда первые проблески света наступающего дня начали робко пробиваться сквозь маленькое чердачное оконце, присела отдохнуть и даже не заметила, как крепко уснула. Прошло два часа. Поднявшиеся с петухами работники стали собираться в поле, и их голоса во дворе разбудили старушку. Она вскочила на ноги и первым делом бросила взгляд на топчан с раненым. Великий Боже! — он был пуст! Заламывая руки и причитая, женщина бросилась на поиски. В конюшне Билла не оказалось, но дверь была открыта. Он вышел — хотя, как мог он выйти? — нет, он выполз через эту дверь. Сиделка тоже выбежала наружу, поведала собравшимся батракам о случившемся, те оторвали хозяина фермы с семьей от утреннего кофе, и вскоре уже все обитатели фермы, от мала до велика, оказались вовлечены в поиски пропавшего Билла. Но вот кто-то закричал, извещая об успехе поисков, и через несколько минут люди собрались у стены внутреннего дворика, в который выходили окна спальни дочери фермера мисс Долли Фостер. Он лежал всего в нескольких футах от окна, уткнувшись лицом в каменную кладку. Голые ноги торчали из-под разодранной в клочья ночной рубахи. Кровавый след от стертых до мяса коленей отмечал проделанный им путь. Правая рука безжизненно откинулась в сторону, и в ней была зажата маленькая веточка шиповника с только что распустившимся розовым бутоном.

Они отнесли холодное, начавшее коченеть тело назад и уложили на тот же топчан на сеновале. Сердобольная старушка накрыла его покрывалом с головой и удалилась, ибо больше

не было нужды сидеть с ним рядом.

Долли Фостер тоже ушла в свою спальню, куда последовала за ней ее мать, — обе потрясенные случившейся на их глазах трагедией.

— Подумать только, — с возмущением в голосе произнесла миссис Фостер, что это был всего лишь Билл!

Но Долли, присев на краешек кровати, уткнула лицо в передник и разразилась горькими, безутешными рыданиями.

*1911 г.*

**Дуэль на сцене**

Безумен? О, да! я безумен — так они говорят. И поэтому держат меня взаперти, в этой ужасной комнате… Ну, сами знаете.

Что ж! может, они и правы, может, я и впрямь сойду с ума, если буду думать, как мир был ко мне жесток и несправедлив.

Да! Я расскажу вам свою историю. Прошу садиться! Мы одни, совсем одни, не так ли? Не обращайте внимания, если в глазах у меня появляется странный блеск или если порой я кажусь безумным — вам это ничем не грозит.

Слушайте же! Прежде всего я должен рассказать вам о Грейс.

Грейс Брертон! Ах, много лет прошло с той поры, как я впервые увидел тебя, бедная Грейс, упокой, Господи, твою душу!

Всему свой черед, но воспоминание о первой нашей встрече еще живет во мне и свежо настолько, словно бы это случилось вчера. Я был тогда всего лишь ребенком, взбалмошным и упрямым, как и все дети. Я оставил отчий дом, семью, друзей, чтобы сделаться странствующим актером.

Вскоре я получил от отца письмо. Он писал мне, что я его обесчестил, что бросил тень на всю достопочтенную семью, все члены которой привыкли ходить с высоко поднятой головой. Я запятнал имя, которое значилось в Англии среди самых древних и уважаемых. Но меня это мало трогало. Я просто посмеялся тогда над спесивыми бреднями и неистовыми обвинениями старого вельможи, призывавшего меня вернуться под отчий кров и вновь занять приличествующее мне положение, какое пристало мне по праву моего богатства и имени…

Я так и не ответил на то письмо, и моей родне не удалось напасть на мой след. Я отказался от старинного имени. Я умер для всего, кроме ремесла, которому решил посвятить себя без остатка. И, тем не менее, изредка до меня доходили слухи о моих родственниках. Отец мой умер через год после того, как я ушел из дома, о чем мне стало известно из английской газеты во время своих странствий по театрам Америки.

По прибытии в Англию я узнал некоторые подробности случившегося. Отец мой так и не оправился от удара, который ему нанесло бегство единственного сына, и разбитое сердце старика не выдержало. Сестры мои все повыходили замуж, а кузен стал хозяином родового поместья.

Меня огорчила смерть отца, но в ремесло артиста я в ту пору был влюблен безумнее прежнего. Мой кузен унаследовал мои земли? — пускай, это не вызывало у меня сожалений. Пусть каждая пядь зеленого луга, каждый лист на огромных старых деревьях пойдут ему впрок. Мой кузен очень дорожил возможностью оказаться на высоте положения, которое он теперь и занял. Обо всем этом мне и прежде было известно; он позаботится о старом замке и будет в нем жить.

Я точно знаю, что не смог бы вынести унылого однообразия, которое составляет жизнь деревенского сквайра, Актерская жизнь, полная напряжения и волнений, ее мытарства и триумфы — вот что было моей стихией, вот к чему меня влекло неудержимо. И все прочее представлялось мне вялым, бесцветным и скучным прозябанием.

Грейс Брертон была самой юной Офелией, какая когда-либо появлялась на подмостках — таково оказалось мнение ветеранов труппы — самая юная, а также самая прекрасная и самая одаренная. Ей не было и семнадцати, когда она дебютировала в самой знаменитой пьесе Шекспира, в известнейшем театре на севере Англии.

Публика, собравшаяся на первом ее представлении, знала толк в искусстве сцены; угодить ей, растрогать ее было нелегко, даже, как уверяли артисты, куда труднее, нежели самых что ни на есть взыскательных театралов в Лондоне.

И Грейс Брертон играла Офелию, играла впервые, перед до отказу заполненным залом. Критики потом заявили, что им уже доводилось лицезреть Офелию в великолепном исполнении актрис, владеющих высокими секретами искусства, но тем не менее Грейс Брертон затмила всех своих предшественниц, и критики усмотрели в ее игре идеальный и великий талант.

Они утверждали, что каждый жест у дебютантки, малейшие изгибы голоса, то звучного и

твердого, то умоляющего и нежного, являлись совершенным воплощением черт шекспировской героини.

Она играла в этом городе шесть вечеров подряд, и каждый раз, как опускался занавес, был триумф. Когда она уезжала, ее заклинали приезжать еще и еще; ей обещали переполненный зал, не имеющий равных прием.

Я припоминаю актера, игравшего тогда Гамлета. Разумеется, он не был гений, но все же в его исполнении ощущались бесспорные искусство и мастерство. Помню я и того, который играл Лаэрта. И еще бы не помнить: Лаэртом был я! Хотя мне едва исполнился двадцать один год, моя игра признавалась лучшей в труппе — говорили, что ничего подобного зрители уже давно не видели.

Роль Лаэрта мне случалось играть и прежде, но в тот вечер, с Офелией, стоявшей передо мной, я и помыслить не мог, будто я Лаэрта играю. Я воспылал безумной любовью к этой девушке, стал ее рабом, хотя тогда она была мне совершенно чужая. И с той минуты у меня пропало всякое желание нравиться зрителям. Все мои мысли, все мои желания устремились к ней одной.

Красивых женщин мне доводилось видеть и прежде, множество красивых женщин, таких, чья красота довела мужчин до безумия и гибели, но любви до этого вечера я не знал. Каждый взгляд, устремленный мною на нежное и бледное лицо Офелии, заставлял кровь кипеть в моих жилах.

"Почему, — спрашивал я себя, — почему я настолько подпал под ее власть, что чувствую себя ее рабом и счастлив своим рабством? Какая такая магия, какое очарование в каждом движении этой утонченной и прекрасной формы заставляют меня опьяняться ее грацией и красотой?"

Я ясно ощущал, что из игры на сцене источалось какое-то неуловимое, невыразимое, гипнотическое обаяние; я чувствовал, что все вокруг меня напоено им. Горячая атмосфера театрального зала казалась пронизанной им.

Затем наступила сцена, в которой я должен был стоять рядом с нею, сцена, когда Лаэрт, перед отъездом, обращается к Офелии с братским напутствием. Сто раз прежде я играл в той сцене, и говорили даже, что это одна из моих лучших ролей. Но в этот вечер я был ослеплен, совершенно парализован, никак не мог совладать с собою. Каждое произносимое слово стоило мне неимоверных усилий, и опасение, что я могу забыть стихи и сбиться, терзало мой ум и повергало меня в ужас. Магнетическое влияние ее взглядов то и дело заставляло меня опускать глаза долу.

Совершенно забыв о пьесе и не сознавая толком, где нахожусь и что делаю, я лишь ощущал, что она рядом, настолько близко, что в какой-то миг щеки мои коснулись ее груди и тут же словно воспламенились и залились яркой краской.

Целую минуту я пребывал наверху блаженства, но затем подумал, сколь любовь моя безнадежна, и все вокруг сразу подернулось мраком. Я сделал яростное усилие, чтобы стряхнуть с себя наваждение и отдалить тень безумия, нависшую надо мною. Но тщетно.

Затем наступил момент, когда согласно действию пьесы я должен был дать Офелии прощальный братский поцелуй. Я лишь простер к ней дрожащую руку, ощутил легкое прикосновение и не произнес, а буквально пролепетал стихи, завершающие диалог, после чего наконец отошел от нее.

Когда в последнем акте занавес опустился и я перестал изображать труп Лаэрта, мне подумалось, будто я пробудился ото сна, и мной овладели непередаваемые изумление и замешательство.

Публика снова и снова вызывала героиню драмы, топала ногами, неистово скандируя ее имя и требуя, чтобы подняли занавес. Никто не собирался уходить из театра, не увидев ее еще раз. Такого триумфа история театра, наверно, не знала. Самые старые ветераны сцены не могли припомнить подобного восторга зрителей. Топот ног, аплодисменты не ослабевали.

Вышел сам директор и тщетно призывал публику к умеренности и благоразумию, напомнив о том, что молодая дебютантка сильно устала. Зрители твердо решили ни за что не уходить из зала, не увидав ее еще раз.

О, как сердце трепетало и бешено колотилось у меня в груди от радости и восторга! Как оно

было признательно и благодарно публике, славившей мою возлюбленную! Я думал о том, что завтра все газеты в стране станут превозносить ее имя и провозгласят ее великой актрисой.

Успех был полный, и его никоим образом нельзя было приписать влиянию чьей-то личной симпатии, Грейс Брертон стала знаменитостью после одного-единственного представления, ее имени было уготовано блистать на театральном небосклоне. Я был счастлив, я мог бы разрыдаться от радости!

Укрывшись за будкой суфлера, я увидел, как она проходит вдоль рампы, опираясь на руку директора. Вот она прошла совсем рядом со мной. Я пожирал взглядом ее огромные зеленые глаза, в которых вспыхивали яркие молнии. По-видимому, она догадалась, до какой степени я счастлив, потому что, посмотрев на меня, она улыбнулась и поблагодарила меня. Звук ее голоса не походил ни на один другой голос, настолько он бы чист, ясен, исполнен очарования и спокойного достоинства. Я и сейчас помню ее слова, и улыбка ее по-прежнему играет перед моими глазами.

Когда она проходила, я обратил внимание на ее губки, одновременно пухлые и подвижные. Я заметил, какие усилия ей приходится прилагать, чтобы сохранить спокойствие посреди всего этого неистовства и шума.

То была, несомненно, трудная минута для совсем юной и неопытной девушки. Но все же она не утратила власти над собой. Ее грудь вздымалась, понуждаемая учащенным сердцебиением — только это и выдавало ее радость, но дух ее был тверд. И даже в ту минуту, когда она должна была стоять перед океаном лиц, обращенных к ней, Грейс Брертон оставалась спокойна, словно неистовая овация была для нее делом привычным.

Никогда не забыть мне громовой взрыв аплодисментов, приветствовавших ее новое появление. Никогда не забыть мне и того, что последовало, когда Грейс наконец была избавлена от взглядов своих обожателей. Непомерное напряжение сил, которое ей пришлось пережить, все-таки оказало свое губительное действие на юную, хрупкую конституцию. Едва затихли последние крики и погасли огни, природа вступила в свои права — и бедное дитя, выбившись из сил, рухнуло на подмостки, сраженное почти смертельной усталостью.

Это был страшный час для меня, самый страшный из всех, что мне довелось тогда выстрадать. Я уже потерял всякую надежду, у меня не оставалось и тени сомнения в том, что она умерла…

Как! уста, которые я видел несколькими минутами раньше, те самые уста, на которых играла прекрасная улыбка, улыбка, должная, как мне казалось, наполнить всю жизнь мою радостью и светом, и эти уста недвижимы, бесцветны? Ее прекрасные глаза, только что блиставшие в радостном возбуждении, лучившиеся счастьем, закрылись и никогда, никогда больше не откроются? Долгие темные пряди волос ее разметались на бледном мраморе щек, тех щек, восхитительная и нежная свежесть которых, подобная только что распустившейся розе, заставляла меня неметь от восхищения и восторга! Ее изящный, обворожительный стан, еще недавно полный живости и силы, лежал недвижимо, и казалось, что жизнь оставила его навсегда.

У меня не было никакого права делать то, что я тогда сделал. Но чего мне было бояться? Грейс стала душою моей души, но теперь она умирала. Повторяю: чего мне было отныне бояться? Я стал рядом с ней на колени, устремив на ее божественный лик свой дикий и пристальный взор и словно стараясь вобрать ее всю в себя. И тут из уст моих исторгся крик о помощи!

Мой крик, должно быть, оказался пронизан какой-то особенной жгучей болью, ибо двое или трое артистов, прибежавших на зов мой, выглядели смертельно напуганными. Затем они устремились в разные стороны, исполняя мои приказания и оставив меня наедине с той, что стала для меня смыслом всей моей жизни.

Меня трясла нервная дрожь при радостной мысли, что несколько минут она пробудет наедине со мной и только со мной. Я взял ее безжизненную руку и с такой страстью и неистовством прижал к губам, что в ней появились признаки жизни: кровь, согревшись, начала струиться по жилам, и рука, только что казавшаяся навсегда лишенной жизни, начала оживать. И тогда я не смог сдержать слез, и они упали на ее нежное лицо, пока что совершенно безжизненное.

— Она жива! — воскликнул я.

Не знаю, почему мне позволили делать дальнейшее. Свидетелями всему были пожилая дама, сопровождавшая Грейс во всех странствиях, — она поникла от горя — а также пара других актеров, участвовавших в спектакле. Я делал ей искусственное дыхание, страстно припав к ее

устам, и отогревал ее заледенелые руки. Никто даже не пытался остановить меня. Присутствующие, несомненно, были напуганы — настолько страшен я казался, обезумев от горя. Я и думать забыл о приличиях. Я вообще ни о чем не думал, кроме одного: как вернуть это дивное создание к жизни.

Зачем я делал все это? Почем мне знать? Через неделю ей предстояло очутиться в необъятной столице, она будет богата, будет блистать богатством и красотой и станет первой красавицей в Лондоне. Бедный странствующий актер — что я для нее, знаменитой шекспировской актрисы? Через пару месяцев юная дебютантка будет окружена толпой обожателей. Вельможи и богатей станут соперничать, чтобы добиться ее благосклонной улыбки и сложить свои регалии и богатства к ее стопам.

Так что же мне здесь в конце концов делать? По какому праву я сижу возле Грейс Брертон? По какому праву взираю на побледневшие ланиты, пока кровь вновь не проступит на них, вернув румянец? Зачем с замиранием сердца жду, когда она откроет глаза? Когда она смежила очи, свет жизни — пусть то были какие-то мгновения, но мне они показались часами — померк в моем сердце.

Наконец мои чаяния были исполнены. Она оживала, я видел, что мало-помалу она приходит в себя. Бросив на нее еще один, последний взгляд, я ушел в черную ночь, настолько черную и холодную, что больше не могу припомнить другой такой. Ледяной ветер хлестал мне в лицо. На небе не было ни луны, ни самой маленькой звездочки, ничего, чтобы смягчить безотрадную картину хотя бы искрой света, проникнувшей сквозь заслон из тяжелых туч. Все было тьма, лед, жестокость и грусть. Мне еще подумалось, что теперь, без Грейс, такою будет и вся моя жизнь. Я был совершенно без сил, в руках и ногах — слабость и дрожь. Я не мог идти прямо, меня шатало, как человека, едва начинающего оправляться после затяжной болезни.

Усталость? О, да! я, без сомнения, устал, но у меня не было надежды на отдых, и дух мой блуждал во мраке. Мне захотелось умереть, мне захотелось лежать под могильной плитой и забыть обо всем. Я знал, что мне следует вернуться к себе; и если не спать, то хотя бы уложить на постель свои ноющие члены. Но я не мог вернуться домой, не убедившись, что она, голубка моя, проведет эту ночь вне опасности. И я тайком потащился в тень свода, откуда мог все видеть, сам оставаясь совершенно незамеченным.

Ночь стояла пронзительно-холодная, а я был легко одет, Но это неважно. Кусачий ветер порывами дул сквозь нишу, в которую я забился. Я удивлялся, что служащие театра все медлят и не увозят Грейс отсюда, ведь ей необходимо было отдохнуть и согреться. И тогда мною вновь завладел великий страх. Я с ужасом думал, что она снова впала в каталепсию, похожую на смерть, подобно той, в которой я ее видел. Меня охватило неудержимое желание снова быть подле нее, снова отогреть ее белые ручки в своих руках.

Постепенно ярость моей страсти обострилась до такой степени, что возник соблазн пойти спросить у них, о чем они там думают, так долго удерживая ее в просторном и холодном здании театра. Я уже начал задыхаться от ярости, когда наконец узкая дверь театрального парадного приоткрылась и из нее во мрак ночи выбилась узкая полоска света. Затем я увидел пожилую даму, камеристку Грейс, она несла девушку, словно тюк, к экипажу, стоявшему у парадного.

Я посчитал, что Грейс в безопасности, когда увидел, как за ней закрылась дверца кареты. Мои напряженные глаза последовали за экипажем, глухо катившемся по улице, пока в конце концов я не потерял его из виду во мраке ночи.

На следующее утро я написал директору театра, что, уходя после вчерашнего спектакля, схватил сильный насморк и теперь совершенно потерял голос, а потому, к своему глубокому сожалению, оказываюсь вынужден расторгнуть свой договор с ним.

Грейс Брертон сыграла наконец свой последний спектакль из шести, на которые у нее был заключен контракт с дирекцией этого театра в одном из городов Северной Англии.

Триумф, встретивший ее во время первого представлен ния, каждый раз возобновлялся. Восторг зрителей не ослабевал. Каждый вечер зал был переполнен. Зрители приходили во второй и третий раз. Эти поклонники театра не упускали ни единой возможности выказать юной актрисе свою покоренность; их восхищение ее талантом было безгранично.

Все одинаково хвалили поразительное спокойствие, невозмутимое достоинство, которые, несмотря на молодость, она неизменно выказывала в столь сложных обстоятельствах. Все любили ее за грацию, мягкость и искренность, за скромную манеру держаться.

Пять минут назад закончился последний спектакль, и Грейс обратилась к зрителям, и голос ее, чистый, проникновенный, похожий на серебристый звон колокольчика, нашел отклик в сердцах, которые он так волновал в течение последних дней. То были просто слова признательности, сказанные с едва сдерживаемым волнением. Она поблагодарила их за оказанную ей высокую честь, сказала, что тронута до глубины души. Сказала им, насколько она счастлива, что смогла им понравиться. И добавила, что она обязательно вернется, если у них снова появится желание видеть ее. И когда она прощалась с публикой, в ее прекрасных глазах сверкали бриллианты слезинок.

Восторженный крик зрителей — долгий, могучий, раскатистый (такого еще никогда не слышали стены этого зала) — заставил здание содрогнуться от основания до крыши. Огромная центральная люстра задрожала и закачалась настолько, что ее массивные кристальные подвески застучали друг о друга, словно в свою очередь стараясь выразить юной и прекрасной актрисе свой восторг и обожание.

Лондонские театралы, крайне заинтригованные, выказали большое желание, в свою очередь, лицезреть восхитительную актрису, в честь которой неистовствовали театральные критики Северной Англии.

Неделя, что предшествовала ее выступлениям в столице, была заполнена газетными похвалами в адрес ее неслыханного таланта и поразительного искусства. Высший свет волновался и готовился устроить ослепительный праздник в вечер ее первого спектакля. Никогда прежде восходящей звезде сцены не был гарантирован более верный успех! Говорили, что Грейс уготовано блестящее будущее. Женские дарования пользовались тогда наибольшим спросом, и эта мода должна была продлиться долго.

Лондон — это пробный камень для артистов, способных воплощать наиболее популярные роли, и если кто-то из них добивался успеха в столице, он мог быть уверен, что отныне толпа будет сыпать золотом ему под ноги.

Импресарио Грейс Брертон тем временем не бездействовал. Огромные афиши всех воображаемых цветов покрывали стены, извещая о ее первом выступлении в роли Офелии. Светящиеся анонсы сообщали все подробности. Все необходимое было сделано, все приготовления закончены. Никогда ранее любопытство не подстегивало более нетерпеливого ожидания. Никогда еще страсти в театральном мире не достигали такого накала.

Ангажемент Грейс Брертон в театре на севере Англии закончился в субботу вечером. Весь воскресный день она посвятила отдыху, который вполне заслужила и в котором так нуждалась. Во вторник ей предстояло сесть на поезд, отъезжавший в Лондон. Она спланировала время таким образом, чтобы прибыть в столицу к полудню и иметь время, необходимое, чтобы подготовиться к предстоящему вечером тяжелому испытанию.

В тот день первый выпуск вечерних газет содержал телеграмму, напечатанную жирными буквами, бросавшимися в глаза листавшим рубрику "Последние известия" в самом конце газеты. Телеграмма была лаконична, но слова ее поразили многих читателей в самое сердце:

СТРАШНАЯ КАТАСТРОФА С БОЛЬШИМ СЕВЕРНЫМ ЭКСПРЕССОМ. ДВАДЦАТЬ УБИТЫХ; МНОЖЕСТВО РАНЕНЫХ.

После чего значилась строка:

УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ГРЕЙС БРЕРТОН, ЗНАМЕНИТАЯ АКТРИСА ПРИНАДЛЕЖИТ К ЧИСЛУ ПОСЛЕДНИХ.

И все.

Да, много стонов и вздохов исторгли в тот вечер любители театрального искусства. Театральные лорнеты, уже было заготовленные в дело, вернулись в свои футляры: никто теперь не испытывал в них нужды. Театры не могли больше предложить публике ничего, достойного ее внимания. Высший свет заказал себе на этот вечер экипажи, дабы прибыть на место театрального действа, но они оказались невостребованными: никто никуда не поехал.

Впрочем, сама по себе железнодорожная авария мало взволновала светское общество; оно и думать не думало, что моя бедняжка, может быть, лежала при смерти в ту самую минуту, а может быть, уже умерла! Высший свет помышлял только о своем разочаровании. Обеды в тот день были проглочены в самом скверном расположении духа, а отход ко сну сопровождался признаками гнева и раздражения. Шутка ли? — высшее общество Лондона оказалось лишено вечера удовольствий.

Медицинская помощь Грейс Брертон была оказана прямо на месте аварии, но все это время она была на грани смерти. В следующем выпуске газет не было недостатка в подробностях зловещего события, ужасных, сердце раздирающих подробностях, рассказанных с натуралистической откровенностью.

Произошло столкновение. Все та же старая история: стрелочник виноват. Никому толком не было известно, как все случилось. А если и было известно, то железнодорожные служащие по своему обыкновению об этом помалкивали и отказывались объяснять, как два встречных поезда могли оказаться на одном и том же пути… При этом добавлялось, что будет проведено самое строгое расследование случившегося.

Читающая публика вольна была ответствовать на это, что уж ей-то известно, чем все это кончится: начальники станций, семафорщики, начальники смен будут все допрошены, и каждый из них, в зависимости от своих обязанностей, должен будет доказать (и докажет), что он добросовестно и неукоснительно исполнял свой долг, чем впрочем он всегда и занимается.

О, да! будет проведено тщательное расследование, и общественное мнение полностью удовлетворится его результатами. Комиссия будет торжественно заседать по два, три раза в неделю в течение целого месяца, ведь нельзя же в самом деле реже — из уважения к друзьям погибших и изувеченным во время катастрофы?! А каков окажется результат всей этой волокиты? Разумеется, как всегда, виновным во всем признают стрелочника. И что же? после всей этой выспренной официальной болтовни аварии на железной дороге станут случаться реже? Путешественников, вверивших себя железной дороге, будут с меньшей решимостью везти навстречу смерти?

От смерти я спасся тогда только чудом. Купе, в котором я сидел со своими попутчиками, помещалось во втором вагоне от паровоза, и вагон, таким образом, испытал на себе всю силу страшного удара.

Едва оправившись от сокрушительного толчка, который меня только на несколько мгновений оглушил, я в растерянности огляделся по сторонам; мне понадобилось какое-то время, чтобы уяснить себе страшную трагедию, развернувшуюся перед моими глазами.

Внезапно чудовищный, томительный страх сжал мне сердце: мне вспомнилось, что Грейс Брертон также ехала в этом поезде! Я видел, как она садилась в вагон в другом конце поезда. Что с ней сталось? Я и мысли не мог допустить, что она пострадала: не могло ее юное и грациозное существо быть уничтожено! Чудовищно помыслить такое в ту пору, когда перед ней открылись столь радужные перспективы, когда счастье ей улыбнулось.

На лбу у меня выступили крупные капли пота, такие же, как те, что увлажнили ее чело в вечер премьеры, когда она была при смерти, и воспоминание о той страшной ночи заполнило все мое существо.

Но если Грейс и не погибла в эту минуту, если тело ее не закоченело в холоде смерти, если свет ее очей не померк, то, без сомнения, она все же лежала сейчас там среди обломков разбитого поезда истерзанная, беспомощная.

Мой ум бился в отчаянии, но именно оно и придало мне энергии, и я смог выбраться из-под обломков, после чего бросился со всей быстротой, на какую был в таком состоянии способен, в ту сторону, где, как я знал, я найду мою красавицу.

Мучительное и тяжкое занятие! Мне приходилось на ощупь прокладывать себе путь среди всевозможных обломков. Каждая отвоеванная пядь открывала моему взору все новые и новые ужасы. Когда я проходил, множество раненых страдальчески взывало к моей жалости, но их призывы были напрасны. Я не мог позволить себе остановиться. Я помнил лишь звук одного голоса, черты лишь одного бесконечно прекрасного и дорогого мне лица. И поскольку я нигде ее не видел, мои губы могли лишь молить Небо о том, чтобы она была жива.

Если только ее не стало, то зачем мне жить? ведь моя жизнь безраздельно принадлежала ей и только ей одной, и я охотно бы умер десять тысяч раз, лишь бы уберечь ее от тени печали.

Время мучительно тянулось, приближались ранние сумерки, а поиски мои все еще были напрасны. Я знал, что если я не найду ее сразу, то позднее сделать это будет куда труднее. Эта мысль удесятерила мои силы. Одна рука у меня была сломана — единственное повреждение, которое я получил в катастрофе — но я не замечал боли.

Я по-прежнему не обращал внимания на стоны и призывы несчастных, лежавших кругом меня. Я все шел и шел, пока не достиг места, где, как я знал, я найду ее мертвой или живой.

Внезапно я кинулся вперед, быстро, быстро, бросая круговые взгляды, в глазах застыла тревога, граничащая с безумием. Наконец я увидел ее. Этого было довольно.

С сердцем, неистово бившимся в груди, второй раз в жизни, я снова стоял на коленях рядом с Грейс Брертон. "Какой же рок, — спрашивал я себя, всякий раз помещает Джеффри Хита подле Грейс Брертон, когда с ней случается несчастье?" О, как я молил, чтоб оно всегда было так! Как я был бы тогда счастлив! Какой честью оказалось бы для меня посвятить свою жизнь тому, чтобы быть ее ангелом-хранителем, оберегать ее ото всех опасностей, какие могли бы угрожать ее юной и чистой жизни!

Стоя подле нее на коленях, я созерцал ее прекрасное лицо, черты которого всегда носил в своем сердце, и ее очи, свет которых ослеплял мою душу! Она не потеряла сознания, как то случилось в первый раз. Ее большие и чистые глаза с глубоким взглядом не были закрыты как при смерти. Она даже заметила меня, узнала, и улыбка, за которую я готов был отдать царство, будь оно у меня, пробежала по ее губам в минуту, когда она узнала меня. Она улыбнулась, но я все же понял, что она сильно страдает.

— Ах, — молвила она, — это снова вы! Как вы бесконечно добры! Вы, без сомнения, мой добрый ангел. Вы меня уже ведь спасли однажды.

— Я спас вас однажды?..

— О, нет, не смейте отрицать это. Вы были так предупредительны, так добры, я никогда этого не забуду.

Стало быть, она все знала! Кто-то — несомненно, старая камеристка — ей рассказала. Мысль о том, что она знает и что уважение ее ко мне не пострадало, заставила странно содрогнуться все мое существо.

Нежно, со всевозможными предосторожностями, положил я стройное тельце на свою здоровую руку. Грейс не была тяжелой, но вес, лежащий целиком на одной руке и на одном плече — на другую руку и плечо мне рассчитывать не приходилось — причинял мне жестокую боль.

Я, как мог, скрывал от нее свою изувеченную руку, и она так и не заметила, что я ранен. Грейс жаловалась лишь на рану на ноге, которая, говорила она, была придавлена каким-то обломком вагона. Она добавила, что боль не была сильной, но, судя по чрезвычайной бледности лица, черты которого болезненно исказились, она жестоко страдала. В нескольких сотнях ярдов от места катастрофы и в некотором отдалении от дороги, окаймлявшей железнодорожный путь, я заметил маленький домик со стенами из красного кирпича. Там-то я и сложил свою драгоценную ношу.

Тем временем все, что в человеческих силах, было сделано для облегчения страданий других пассажиров поезда. Мало кому из них удалось избежать ран более или менее серьезных. Множество людей приехало и пришло с соседней станции, и все лихорадочно работали над спасением жертв крушения и расчисткой железнодорожного пути. Из ближайших деревень приехало несколько врачей, и каждый из них деятельно и сколько доставало сил заботился о тех, кто получили самые тяжелые ранения.

Уверившись, что голубка моя в безопасности, на хорошей постели в одной из комнат небольшого коттеджа, я обратился к одному из врачей, человеку средних лет. В его пристальном и проницательном взоре, безошибочно определявшем серьезность каждого случая, казалось, сверкали молнии. Стоило взглянуть на него, и тут же возникала мысль — вот уж, точно, человек, который знает свое дело.

— Эта юная особа — мисс Грейс Брертон, знаменитая актриса, — сказал я.

Он, надо думать, верно истолковал напряженную озабоченность, выраженную на моих искаженных чертах, когда я спросил его мнение по поводу раны. Голос его дрожал от волнения и жалости, когда он отвечал мне:

— Весьма печально. Это, право слово, самый печальный случай из всех, какие мне доводилось видеть. Мисс Брертон больше не сможет выступать на сцене: она останется на всю жизнь калекой.

Минул год после трагического происшествия, о котором я только что рассказал, — всего лишь год, но мне он показался двадцатью годами, — и вот Грейс Брертон стала моей женой.

Я бы женился на ней гораздо раньше, позволь она мне это. Изо всех сил я стремился отстоять свое право работать и бороться ради нее; но моя милая из месяца в месяц, по своей деликатности, ничего не желала слышать о замужестве.

— У меня нет никакого права выходить за вас замуж, — говорила она. — Я могу быть вам только обузой, ведь профессия ваша требует полного внимания и напряжения сил.

Да, она говорила так, но она любила меня! И я знал, что она меня любит. Не то бы я скрылся с глаз ее и продолжал бы неотступно служить ей, не стесняя своим докучливым присутствием. Нет, нет, никогда я не мог бы пасть столь низко, чтобы думать только о себе и воспользоваться беспомощностью несчастной калеки.

Я остался, стало быть, рядом с нею, нисколько не смущая ее, моя преданность ей никогда не ослабевала, и я всеми силами давал ей понять, что без нее жизнь моя была бы мучительным одиночеством в безысходной пустоте.

Наконец-то моя любовь восторжествовала: та, что была самой знаменитой из актрис, та, которой поклонялись, словно богине, стала женою Джеффри Хита, нищего актера, ведущего тягостную борьбу за существование.

И тогда последовали годы небывалого напряжения, непрестанных трудов, годы, на протяжении которых я силился — о, как я работал! — добиться известности, с тем чтобы поднять свое имя на высоту, которую достигло имя моей возлюбленной, имя, бывшее у всех на устах и на слуху у каждого в кратковременную пору ее славы. Сколь недолог был триумф этого гениального дитя, и сколь, тем не менее, ярок и ослепителен!

Даже печаль высокого света, вследствие постигшего ее несчастья, изволила продлиться несколько недель. Все искренно сожалели о несчастной участи юной артистки, слава которой оказалась "самой яркой звездой театрального сезона".

Через год после нашей свадьбы у нас появилась восхитительная малышка. Мать захотела назвать ее Барбарой — это имя было ей особо дорого, и она произносила его с трогательной теплотой:

— Барбара Брертон — какое красивое имя! О, как оно будет смотреться на афише! — говорила она, ибо Грейс заставила меня пообещать, что наша девочка будет воспитана как будущая актриса.

— Если только она унаследовала хоть частицу таланта своей матери, то это будет великая актриса, — отвечал я.

Итак, нашей малютке предстояло стать артисткой. Увы! впоследствии мне не раз пришлось пожалеть об этом решении, и я готов был предпочесть, чтобы дочь моя умерла, так и не выйдя на подмостки, чем ослепила бы своей поразительной красотой всех, кто ее увидел в свете огней театральной рампы.

По просьбе моей возлюбленной супруги я начал обучение малышки Баб театральному искусству с самых младых лет. Ей было, наверное, не более восьми, когда я в присутствии матери дал ей первый урок. О, я прекрасно помню, как это было! Под моим руководством она целую неделю репетировала маленькие сценки, а затем я назначил день, когда она должна была сыграть перед нами всю пьесу.

В ее годы мы, разумеется, не ждали увидеть ничего выдающегося. То была всего-навсего небольшая проба, просто с целью выяснить, есть ли у ребенка природный дар к сцене. Я с тщанием выбрал небольшую пьеску со множеством положений и ситуаций. Патетика, гнев, печаль — все чувства были тонко выражены в роли, которую я назначил нашей малютке.

В пьесе значилось всего лишь две роли: я начал играть свою и со смешанным чувством ждал дебюта дитя-артистки. Глядя на Грейс, сидящую в другом конце комнаты, я не мог сдержать улыбки удовлетворения, заметив в ее чертах возбуждение, придавшее щекам оттенок, какой я так давно не видел на ее бледном и бескровном лице.

Миниатюрный спектакль блестяще начался и завершился полным триумфом нашей маленькой актрисы. То, что она оказалась куда более способной, чем бывает в ее годы, у нас более не вызывало сомнений. Ее дар перевоплощения был столь явен, умение направлять голос столь бесспорно, что пришлось увериться: она унаследовала свое искусство от матери.

— У нее есть дар, и она будет очень красива.

Вот что сказала Грейс, когда наша малышка, положив свою бедную усталую головку на подушку, заснула крепким сном.

Прошло еще два года, не отмеченных особенными событиями, а затем наступил величайший перелом во всей моей жизни.

Бремя ответственности и упорный труд постепенно позволили мне достичь высот в моем ремесле. Об актере Джеффри Хите начали говорить гораздо более прежнего. Я долго дожидался подходящей возможности сделать "свой прорыв" в большое искусство, в которое был столь страстно влюблен. И вот эта возможность представилась — совершенно внезапно и непредвиденно, как это часто и бывает. Я только что заключил долгосрочный контракт с одним лондонским импресарио, и через пару дней мне предстояло уехать с его труппой на гастроли в провинцию.

Вечером я сидел между женой и дочерью в нашем Скромном, но счастливом доме, и мне неожиданно подали Записку, в спешке нацарапанную директором знаменитого театра, что в западном квартале Лондона. В ней значилось:

"Грегори серьезно заболел и не может играть роль Отелло. В интересах театра прошу вас срочно явиться и показать, на что вы способны".

Через пять минут я собрался.

— Пожелай мне удачи, Грейс, сегодня вечером я удивлю многих! воскликнул я и в крайнем возбуждении вышел из дому.

Завсегдатаи театра, в котором мне предстояло выступить, числились среди самых просвещенных и тонких знатоков сцены в Лондоне. Горячие поклонники драмы и приверженцы Шекспира до мозга костей, они редко соглашались лицезреть актера, выступающего на замене. Но я долго молился, чтобы мне предоставилась такая возможность. И вот молитвы мои были услышаны, и я знал, что успех обеспечен, я был совершенно уверен, что добьюсь его.

Роль Отелло была моим боевым коньком. Множество раз я с успехом исполнял ее в провинции, но еще никогда не играл так, как в тот вечер. "Завтра, — говорил я себе, — я стану знаменитостью".

Дрожь прошла у меня по телу, когда я очутился на сцене в первом выходе моего героя. Еще мгновенье — и Джеффри Хит перестал для меня существовать, я совершенно забыл о нем. Душой и телом я стал горделивым, страстным, ревнивым мавром.

По одному из тех курьезных предчувствий, которые заставляют нас предвидеть важные события нашей жизни, я догадался, что добьюсь успеха, но я и предположить не мог, что тот будет таким полным и сокрушительным. В конце каждого акта великой драмы зал неистовствовал. Полнейшая тишина — лучший признак напряженного внимания публики и свидетельство безграничной власти актера над нею — сохранялась до конца каждого акта, и всякий раз, как опускался занавес, меня приветствовал взрыв аплодисментов, какого мне прежде слышать не доводилось.

То были минуты моего актерского торжества. После каждого действия публика вызывала меня, чтобы я мог вновь и вновь принять восторженные овации своих почитателей.

Когда после спектакля я наконец возвращался домой, сердце мое переполняла небывалая радость, душа ликовала. Я думал о том, что жизнь, исполненная мучительного труда, непрестанных занятий, завершилась и что теперь я смогу наконец пожинать плоды своего упорства. Небу известно, что я долго, весьма долго ждал этого, и мой звездный час настал.

Да, он настал наконец! Джеффри Хит сделался знаменитостью, звездой сцены, его имя было на устах у всего Лондона, Критики говорили обо мне, как о сокрытом гении, поражались, как могло случиться, что столь одаренный артист так долго оставался в безвестности. Фурор, произведенный мной, был невероятен — в том ни у кого не оставалось сомнений. Сколько это продлится покажет только время.

Но мне жаль Джорджа Грегори, несравненного интерпретатора героев Шекспира, единовластно царствовавшего прежде на подмостках Лондона. Он внезапно умер через два дня после вечера, когда меня вдруг пригласили подменить его в спектакле. Бедняга! его быстро забыли! Он пал, как солдат на поле битвы, и как о солдате никто о нем больше не вспоминал, благо вместо него оказался другой, способный занять его место. Публика и не

думала печалиться по поводу его исчезновения и кончины, потому что взошла моя звезда, занявшая всеобщее внимание.

Был конец лондонского театрального сезона, и тем не менее каждый вечер я играл в переполненном зале. Даже те, кто никогда надолго не задерживался в городе, не уехали и остались ради того, чтобы увидеть только что открытого трагика.

Столь стремительная благосклонность фортуны вынудила меня отказаться от намерения провести гастроли в провинции в составе старой моей труппы, и я принялся спешно готовиться к собственным гастролям, полный надежды, что коль скоро я был провозглашен звездой, то успех мне обеспечен!

О, как я был счастлив своим успехом! ведь я добивался его из любви к моей дорогой Грейс. Как никогда прежде я был полон решимости опекать ее, покуда мы будем жить в этом мире вместе!..

Я привык верить, видя грустный взгляд ее восхитительных глаз цвета морской волны, что и она чувствует и думает так же, но она ни словом не обмолвилась об этом. Она, без сомнения, полагала, что такое признание могло быть мне тягостно.

О, как я любил ее! как обожал ее милое, необыкновенно-прекрасное лицо, пусть жизнь и оставила на нем следы неизгладимых страданий!

Мои первые гастроли, в новом для меня качестве «звезды», длились три месяца, три месяца непрерывного успеха. Когда же они закончились, произошло событие, омрачившее мою жизнь, наполнившее ее печалью и унынием, рассеять которые не удастся уже никогда.

В самом деле, годы прошли с той поры, как умерла моя бедная Грейс, но я до сих пор не могу сдержать горючих слез — вот и сейчас брызнувших у меня из глаз — когда я рассказываю вам, как это благородное создание сломилось под бременем жизни с той же милой и смиренной улыбкой, что помогала ей бремя это переносить. Немного, весьма немного могу я сказать по этому поводу.

Моя супруга и наше дитя вдвоем сопровождали меня в моих гастролях. Им обеим очень хотелось видеть мои выступления, и они часто сидели в директорской ложе, где могли быть свидетельницами бурных оваций, встречавших меня при каждом моем выходе на сцену.

Последним городом, где я должен был дать несколько спектаклей перед возвращением в Лондон, оказался тот самый, где юная актриса Грейс Брертон провела свой знаменитый дебют. Жители того города ничем не походили на ваших праздных фатов. Уж коли им довелось однажды стать зрителями игры гениальной актрисы, они не могли забыть этого события и свято хранили память о нем в сердце.

Ни один из тех, кто аплодировал тогда Грейс Брертон и был жив еще, не забыл об этом. И когда они узнали, что я и есть муж несчастной калеки, они принялись готовить мне горячий прием независимо от того, окажусь ли я его достоин как артист. Вечер моего первого выступления перед ними отчетливо запечатлелся у меня в памяти, ибо он был самым триумфальным и вместе с тем самым грустным во всей моей театральной карьере.

Я не слышал ничего равноценного тем единодушным, неистовым аплодисментам, которые встретили нас при нашем вступлении в театр, за исключением разве тех, что обрушились на Грейс в вечер ее последнего спектакля, который она здесь сыграла. Тогда никому не могло прийти в голову, что в огнях рампы она появилась в последний раз.

Зрители были чрезвычайно внимательны уже с самых первых реплик моего героя. Театральные критики были стреляные воробьи, провести на мякине их было невозможно: на лету они схватывали малейший намек на ошибку или неточность, но именно они и были способны мгновенно оценить хорошее исполнение.

Я надеялся понравиться этим славным, чудесным людям. Я стремился к этому не только из чувства профессионального долга, но и потому, что здесь полюбили и сумели в свое время оценить по достоинству мою дорогую голубку.

Когда после спектакля я присоединился к супруге и дочери у главного входа, нас дожидалась неимоверная толпа. Эти добрые люди полагали, что они еще не выказали нам своих истинных чувств. Несомненно, они желали также показать, что не забыли прошлого, что они помнят восхитительную девушку, гений которой доставил им столь тонкие радости.

Я прекрасно понимал, что их энтузиазм не обращен лишь ко мне одному. О, нет, я не был настолько глуп или тщеславен, чтобы подумать такое, и когда я нес Грейс к ожидавшему нас экипажу, я чувствовал себя куда более гордым и счастливым, чем если бы эти восторги предназначались мне одному.

Шумная, волнующаяся толпа продержала нас на сквозняке достаточно долго, и я уже начал бояться, как бы моя супруга не простудилась. Во время спектакля зал оказался набит чуть ли не до потолка, стало быть, было душно и жарко, и резкий переход к холодной сырости ночи мог, как я опасался, повредить ее здоровью. Да, сотни человек, окружавших нас, надолго задержали нас на сквозняке, и задержка эта оказалась роковой.

Когда миновали первые часы моей беспредельной печали, я весь погрузился в воспоминания, пытаясь хоть в них отыскать какое-то облегчение. Весьма странно, что столь нежное создание вернулось умереть в тот самый город, который был свидетелем ее первого и последнего триумфа, и смогла убедиться, что его обитатели еще помнят ее и любят. В конце концов, это было только справедливо, и мысль о том, что Грейс Брертон спит в могиле, не оставленной без внимания, добавляет в чашу моих страданий некий горький и приятный аромат.

Итак, то, чего я всего более опасался, все же случилось. Коварный ночной воздух сделал свое смертельное дело. Мой бедный, мой нежный цветок начал вянуть, и расцвести ему уже было не суждено.

Простуда осложнилась воспалением легких, и менее чем через неделю мы с дочерью остались одни. Впрочем, что нужды говорить о ее смерти? Подобно всем благородным жизням, ее жизнь угасла в смирении и мире. С улыбкой, озарявшей ее все еще прекрасное лицо, с благословением на устах к тем, кого она покидала, она опочила, подобно ангелу, возвращающемуся в свой горний мир света и радости.

Дикая, безумная боль долгие недели терзала меня. Я расторг все контракты, потому как был просто не в состоянии выйти на сцену. Я оказался совершенно уничтожен жестокостью внезапно постигнувшего меня несчастья. Как побитый зверь, я метался из стороны в сторону, ничего не понимая и ни о чем не заботясь.

Те, кто знают меня, говорят, что я так и не оправился от этого удара, что рассудок мой пострадал. Может быть, так оно и есть. В одном я уверен: если бы не наше дитя, давно бы меня не было на свете. Только она одна, наша малютка, придавала смысл моей жизни, и я молил Бога дать мне силы жить дальше ради блага нашей малышки.

Бедная моя Барбара, сиротка, оставшаяся без матери! О, какой отважной маленькой женщиной она была в те дни траура! Какие усилия она прилагала, чтобы сдержать слезы, которые, как я видел, готовы были брызнуть из ее глаз цвета морской волны, таких нежных, так похожих на глаза матери! Сколько раз она часами сидела рядом со мной, обхватив мою шею ручками и страстно шепча мне слова утешения, мудрость которых никак не вязалась с ее летами.

Моя любовь к этому прелестному дитя с восхитительными, прекрасными волосами стала единственным смыслом моей жизни. То была спасительная реакция после долгих недель и месяцев невыразимой боли и отчаяния. Передо мной, таким образом, снова была цель в этой жизни, и без нее все стало бы унынием и одиночеством.

После этого события, уничтожившего все мои былые амбиции и отравившего столь долго чаянную мной славу, мною овладело чувство смутной тревоги и беспокойства. Я не мог более оставаться в Англии, и в продолжение пяти лет странствовал за границей, иногда служа своему ремеслу, иногда оставив его.

Перед отъездом я поручил Барбару заботам дальней родственницы ее матери, старой и доброй женщины, под покровительством которой, как я был уверен, дочь моя будет в полной безопасности. Я также все устроил для того, чтобы она могла поступить в большой пансион, где ей должны были дать прекрасное образование. С этой целью, а также чтобы удовлетворить другим требованиям, я ассигновывал годовую сумму в размере ста фунтов, источником которой была маленькая рента, унаследованная Барбарой от матери.

Трижды за эти пять лет я приезжал в Англию, чтобы свидеться с дочерью, и каждый раз находил ее повзрослевшей, красота ее расцветала, изумительно повторяя красоту матери.

В последний раз я взял Барбару с собой за границу, желая приобщить к занятиям, связанным с профессией, которой ей вскоре предстояло заняться. О, как я сожалел об обещании, данном ее покойной матери, когда размышлял обо всех несчастьях, обо всех соблазнах и искушениях,

какие, как я знал, будут осаждать очаровательное дитя на этом пути. Как бы то ни было, она сама любила ремесло артиста и отныне не могла бы от него отказаться без огромных усилий. Часы, свободные от занятий в пансионе, она посвящала театральным упражнениям и преуспела куда больше, чем я мог ожидать. Ее трудолюбие в сочетании с природным даром делали исключительно приятной мою задачу приобщить ее к искусству сцены.

Еще два года мы странствовали на континенте, посещая все театры, оказывавшиеся у нас на пути, и постоянно с болью, но вместе с тем и с удовольствием я отмечал крайнее нетерпение дочери, стремившейся как можно скорее дебютировать на сцене.

Дин Форестер! — вот имя, которое гремело по всему Лондону, когда Барбара Брертон, юная дебютантка, выступила в своем первом спектакле и покорила всех — не столько своим талантом, сколько поразительной красотой. А красивые женщины, известное дело, быстро становятся знаменитостями. То же случилось и с Барбарой Брертон, и слава молодого актера начала меркнуть перед ослепительным светом, источаемым красотой молодой артистки.

Еще пару лет назад никто и слыхом не слыхивал о Дине Форестере. Он буквально словно с неба свалился. Звезда его стремительно взошла где-то в провинции, после чего он сразу же получил ангажемент на ту же роль в Лондоне, и карьера его была сделана.

Для своих триумфов он избрал самый фешенебельный театр в Западном Лондоне. Каждый вечер этот театр был заполнен сливками лондонского света, сделавшего Форестера своим кумиром. За что бы он ни взялся, какую бы роль ни исполнил, все ему удавалось, успех неизменно превосходил все ожидания, и деньги рекой лились на его банковский счет.

Помимо того, у славы его было еще одно прочное основание: блистательно сделанные им постановки шекспировских пьес, С поразительной точностью, с изумительным реализмом передавал он сценические эффекты в бессмертных шедеврах английского гения. Никогда прежде драматический спектакль не ставился с таким тщанием. Громкая слава, которая вознесла его на самый верх театрального Олимпа, где он, модный и признанный артист, царствовал подобно Зевсу-громовержцу, гарантировала, что никто не мог сравниться с ним в интерпретации героев великого драматурга.

Однако старые театралы, помнившие еще Гамлетов, Отелло и Ромео в исполнении корифеев прошлых времен, оставались весьма сдержанны в отношении его: их не устраивала какая-то неискренность, манерная декламация и преувеличение, кои порой угадывались в его трактовке сценических характеров. Эти тонкие ценители говорили о нем не как о действительно великом актере, а как о порождении моды. По их мнению, его никак нельзя было причислить к мастерам сцены!

Но это не имело значения: сии строгие критики, как оно всегда и бывает, не замечались вовсе его восторженными поклонниками, и он так и остался полубогом, которому они неистово поклонялись.

В ту пору Дину Форестеру только исполнилось тридцать три года. Примечательно изящный, он был прекрасно сложен, стан строен и гибок. Его отличительной особенностью была высоко и прямо вознесенная голова, напоминавшая голову льва своими длинными льняными волосами, ниспадавшими со лба назад волнообразною массою.

Немало признанных красавиц воспылало к нему безумной страстью. Злые языки поговаривали, что именно это обстоятельство и было причиной его стремительного взлета.

Знаменитый актер сидел в первом ряду среди зрителей, впервые увидевших Барбару Брертон на театральной сцене. Представление давали в субботу утром, так что, помимо поддержки восторженных поклонников Дина Форестера, на спектакле присутствовали и другие почитатели театра. Все сходились во мнении, что выступление молодой артистки было успешным.

Критики хвалили ее игру, отмеченную умением и талантом, но в особенности расхваливали они ее редкую красоту и изысканную грацию — такого зрелища, говорили они, уже давно не наблюдалось на сцене.

В пору своих одиноких странствий за границей, когда дочь моя продолжала занятия в пансионе, я постепенно оставил профессию актера, достигнув в ней всего, что мог. Но если у меня теперь и не хватало мужества и энергии, которых требует напряженный сценический труд, зато свои время и таланты я посвящал отныне сочинению драм. И успех на этом поприще превзошел все ожидания. Многие мои пьесы были благосклонно приняты публикой. Говорили, что они интересны, потому что оригинальны.

— Но почему, Хит, в ваших пьесах всегда столько патетики? — добавляли мои друзья. — Развязки у вас всегда такие грустные!

— Вам, право, стоит предоставить мне писать так, как я хочу и как могу! — обыкновенно отвечал я.

Через неделю или две после дебюта Баб я случайно встретил Форестера, и разговор естественно зашел о будущем, которое уготовано моей дочери в мире театра.

— Послушайте, Хит, с той минуты, как я впервые ее увидел, — заявил он, — меня неотступно преследует одна только мысль, и я пользуюсь этой возможностью, чтобы сделать вам предложение. Оно, если только дочь ваша его примет, станет, я уверен, основой величайшего успеха, когда-либо виденного на сцене. Знайте же: моим заветным желанием всегда было поставить "Ромео и Джульетту" достойно прекраснейшего творения Шекспира. Но пока я не увидел вашу дочь, я все никак не мог сыскать исполнительницы, отвечающей моему идеалу. Да, я не встретил ни одной, которая показалась бы мне достойной, чтобы доверить ей роль Джульетты в той чудо-постановке, что я обдумываю дни и ночи напролет, да-да, в постановке, которая, если вы примете мое предложение, будет, клянусь вам, самой совершенной, самой сенсационной из всех, когда-либо сыгранных на сцене. Позвольте же вашей дочери сыграть Джульетту! Соглашайтесь! Я знаю, что вы согласитесь. Весь Лондон сойдет с ума, и ваша дочь станет самой знаменитой женщиной в Европе.

Я неотрывно смотрел на него, пока он говорил, и страстная убежденность, запечатленная на его лице, произвела на меня глубокое впечатление.

Через три месяца после этого разговора состоялась премьера "Ромео и Джульетты". Дин Форестер сказал правду, когда уверял, что Лондон примет на «ура» его постановку. Со сценической точки зрения никогда еще не было поставлено более красивого спектакля. Никогда прежде ни на одну пьесу деньги не тратились в таком изобилии. Ничто еще не ставилось с такой заботой о полном соответствии тексту.

Оптимистические прогнозы Форестера целиком подтвердились. Успех его предприятия был беспрецедентный.

Это было также периодом славы для Барбары Брертон. Похвалы и лесть лились на нее со всех сторон, и юная артистка — в том не было ничего удивительного — вдруг почувствовала, что самые дерзкие ее мечты осуществились. Неудивительно также, что этот шквал восторгов и обожания ее испортил. Все это вскруживало прежде и куда более взрослые и опытные головы, нежели ее маленькая неискушенная головка!

Задолго до завершения постановки "Ромео и Джульетты" я, живший лишь ради дочери, вдруг заметил, что Амур поранил ее своей стрелою. Я прекрасно видел, что Баб была счастлива, когда выходила вечером в театр, и грустна весь последующий день, поскольку отдых разлучал ее с человеком, которого, как я догадался, она полюбила всею душою.

Когда я обнаружил это, я не мог решить — радоваться мне или горевать. Я знал только, что все сделал бы, все отдал и все перенес, лишь бы уберечь мою Барбару от малейшей печали или сердечной муки.

По вечерам я преклонял колена перед кроватью в уверенности, что моя покойная супруга, мой ангел, была там, чтобы бдеть над своей дочерью и мужем. Ей не в чем было бы меня упрекнуть: разве не воспитал я нашу маленькую Баб так, что она пошла по пути, который указала ей моя Грейс?

И тогда мысли мои уносились в будущее, ко времени, когда и меня тоже уже не будет здесь, чтобы оберечь нашу красавицу от ловушек, расставленных на ее пути. И мне подумалось, что было бы хорошо, было бы только справедливо доверить судьбу ее порядочному человеку. Поэтому, когда я отдавал свою малютку в жены Дину Форестеру, человеку, уверявшему меня, что он будет любить Барбару любовью, которая угаснет не иначе как с жизнью, я думал, что поступаю верно.

Казалось, что благосклонность Лондона к шедеврам в интерпретации Форестера все растет и растет и что так оно будет всегда. Месяц за месяцем театр ломился от зрителей. И все же, в конце концов, было необходимо решиться на отъезд из Лондона, чтобы удовлетворить также ангажементам из провинции.

Вслед за турне с "Ромео и Джульеттой" по провинции последовали настойчивые предложения из Америки, столь соблазнительные, что Дин Форестер решил отправиться туда со всею

труппою. Ему обещали великолепный прием, ему и его восхитительной жене, которая стала самой знаменитой и наиболее ценимой красавицей своего времени.

Отъезд дочери и ее мужа сильно меня взволновал, после чего наступила реакция: я впал в беспросветное уныние. Чувство неизбывного одиночества неотступно мучило меня, неделю за неделей я пребывал в отчаянии, подпитываемом смутными предчувствиями надвигающейся катастрофы, которые затем сменялись страшными приступами меланхолии, коим я с некоторого времени стал подвержен.

Тем не менее, новости, поступавшие из-за океана, неизменно сообщали о новых триумфах Баб, все превозносили ее врожденную грацию и редкую красоту. О, как я гордился дочерью в эти минуты! Дни и ночи я проводил в молитвах о ней, заклиная Бога уберечь ее от всех невзгод и опасностей!

Как я был далек от мысли, что моей непрестанно возносимой молитве может быть дан такой ответ! Как мучительно и жестоко должны были быть разрушены мои надежды!..

И вот в один из вечеров, приблизительно через месяц после отъезда дочери в Америку, когда я по своему обыкновению сидел в одиночестве в своей маленькой комнате — наполовину кабинете, наполовину гостиной — служанка сообщила мне о приходе посетительницы, дамы, как сказала она, желающей говорить со мной по срочному делу.

Я поднялся и попросил ввести нежданную гостью. Когда она вошла, я сразу увидел, что она очень молода и красива. На лице ее застыло выражение крайней удрученности. В больших голубых глазах, пылавших каким-то особенным огнем, я прочитал нечто, заставившее мое сердце сжаться от жалости к бедному дитя она и в самом деле была всего лишь ребенком; стоя передо мной, она вся трепетала, как лепесток цветка.

— Чем я могу помочь вам, дитя мое? — сказал я, заботливо усаживая ее напротив себя у очага.

Пламя озарило ее черты, и я смог внимательнее ее рассмотреть. Черты лица ее, за исключением глаз, были миниатюрные, почти детские. Разглядывая это личико, я подумал, что мне редко доводилось видеть большую красавицу. Она казалась репродукцией с картины, где нарисованы ангелы, полные невинной грации и детской чистоты. Ее нежный и юный голосок дрожал от волнения, когда она ответила мне, а восхитительные глаза медленно наполнились слезами.

— Боюсь, сударь, что никто мне не может ничем помочь! Но я скоро умру и никого не буду больше стеснять. Я знаю это, но чувствую, что прежде должна поговорить с вами и все вам сказать. Великий актер Дин Форестер, женившийся на вашей дочери, — мой муж!

— Дитя мое! — вскричал я. — Вы с ума сошли! Что вы такое говорите? Во имя Неба, отвечайте!

— Сударь, я не сошла с ума. Я говорю вам правду. О, если б только Богу было угодно, чтоб это не было правдой! Нет, я не сумасшедшая. Но я скоро умру, и я должна рассказать вам свою историю.

Неторопливо, проникновенно, поведала она мне свою печальную историю. Я слушал ее не прерывая. В правдивости несчастной сомневаться не приходилось. Ее чистые, детские уста не могли запятнать себя ложью — я знал это. И я знал также, что Барбара, наша маленькая Баб, теперь обесчещена, лишена того, что только есть у женщины самого ценного и святого — непорочной репутации. Я понимал, что отныне всеобщее презрение будет довлеть над нею.

Итак, мне открылось, что Дин Форестер — подлец и мерзавец, и я тогда же поклялся, что месть моя человеку, опозорившему мою семью, будет ужасна.

Зачем мне задерживаться на удручающих подробностях измены, жертвою которой стал бедный ребенок, пришедший ко мне поведать свою трагическую повесть? То довольно банальная история: красивое личико, молодость, доверчивость, сердце, полное любви, честь девы и злодейство мужчины — вот и все!

Гертруда, бедная Гертруда Лей, была вполне достойной парой безвестному актеру, но Дин Форестер — любимец публики, модная знаменитость, он баловень общества, испорченный модой, — скоро утомился ею, оставил ее, отбросил в сторону, словно надоевшую игрушку.

— Вы будете отмщены, Гертруда! От меня он не уйдет! — воскликнул я. Он разбил два верных, любящих сердца, погубил две чистые души. Клянусь, он больше не сможет стать причиной других несчастий. Я, Джеффри Хит, ему воспрепятствую!

Когда несчастное дитя закончило свой грустный рассказ, ее маленькая усталая головка поникла, а прекрасные глаза закрылись, чтобы больше никогда не видеть света.

Осторожно и с нежностью я перенес ее на свое ложе и оставил там, а сам ушел в другой конец дома, чтобы найти убежище, хоть какое-то успокоение неистовству страстей, бушевавших в моем разгоряченном мозгу.

Но тщетно! Я поклялся себе, что отныне мне не могло быть успокоения, пока я не исполню свое дело — не накажу злодея, разрушевшего счастье моей дочери.

Когда через решетки окна пробились наконец первые лучи нарождающегося утра, я встал, чтобы проведать бедняжку, которой дал кров на ночь. Она была мертва! Ее маленькая усталая душа наконец обрела покой. Она отправилась в страну, где ей уже не грозило никакое разочарование.

Дойдя до этого места в своем повествовании, старый актер поднялся с деревянной скамейки, на которой недвижимо сидел в продолжение всего рассказа, и пару раз молча прошелся по камере. Лицо его в эти минуты сделалось совершенно бледно и являло собой вид самый странный и пугающий. Я понимал, что он изо всех сил старается обуздать неистовые страсти, бушующие у него в груди. Я даже встревожился. Однако первые же слова, сказанные им специфически ясным и звучным голосом, меня успокоили:

— Не бойтесь, прошу вас, — сказал он. — Я уже вполне овладел собой, хотя и сам испугался приступа, но все, как видите, обошлось. Я вас долго не задержу — последний акт драмы краток, но поучителен. Звоните к последнему акту!

Сцена великого финала моей трагедии развернулась в Нью-Йорке, куда я прибыл двумя неделями позже после кончины бедной малютки Гертруды. С той поры жажда, неутомимое желание мести всецело завладело мною, ничто не могло меня удержать. В лихорадочном нетерпении я приближал ту минуту, когда Дин Форестер будет истекать кровью от смертельной раны, нанесенной моей рукой.

Говорят, что я сошел с ума в тот день, когда с радостью в сердце задумал план этой жестокой развязки. Быть может, и правы те, кто так говорят, только в моем безумии была своя логика.

В былые дни моя слава достигла апогея именно в Нью-Йорке, именно там зрители с лихвой оценили мой актерский дар. Приехав, я отправился прямо к дочери и застал их обоих — ее и мужа — весьма, надо сказать, удивленными моим внезапным появлением, Я прилагал величайшие усилия, чтобы не дать чувству негодования, клокотавшему у меня в груди, прорваться наружу.

Со спокойствием и твердостью в голосе я объяснил им, что предпринял эту поездку единственно с намерением развеяться и отдохнуть в городе, который я так любил в дни своей юности. Когда вечерний спектакль закончился и мы вернулись домой, всю ночь, до самого рассвета, я провел за вином и трубкой в обществе человека, труп которого я неистово, всем сердцем желал видеть у своих ног.

Мы строили замыслы на будущее, которым, как я прекрасно знал, не суждено было исполниться. Я пристально смотрел Дину Форестеру в лицо, когда обратился к нему с предложением, согласившись на которое, он подписал бы себе смертный приговор:

— Так вы говорите, что "Ромео и Джульетта" будет значиться на афише не более недели? Что ж вы собираетесь поставить после? По-моему, вам стоило бы заменить эту пьесу на «Гамлета». Я тогда бы сыграл в вашем спектакле Лаэрта, а уж успех я вам обещаю. С моей стороны, — продолжал я, — это, конечно, причуда — еще раз выступить в роли, принесшей мне когда-то шумный успех именно здесь, в Нью-Йорке. Только представьте: "Джеффри Хит — в своем первом выступлении после десятилетнего перерыва и в последнем в его артистической карьере — шесть эксклюзивных представлений!" Такой анонс, уж точно, привлечет множество народу, — сказал я в заключении.

Дину Форестеру эта идея очень понравилась, и дело было решено.

Как я и предвидел, анонс с романтическим оттенком сделал свое дело: в желающих попасть на спектакль недостатка не было. В первый вечер, когда мы давали "Гамлета, принца Датского" с Джеффри Хитом в его старой и знаменитой роли Лаэрта, главный театр Нью-Йорка был битком набит публикой, и тысячи желающих попасть на спектакль так и не смогли проникнуть в театр из-за отсутствия места.

Исполнение Дином Форестером роли меланхолического принца на самом деле было превосходно. Он вызвал бурю восторгов, декламируя знаменитый монолог "Быть или не быть..." Но внутри меня все клокотало от злорадного смеха, пока стихи лились с его уст, озвученные богатым голосом приятного тембра. Я смеялся, потому как знал, что уста эти скоро сомкнутся навсегда и власть, которой он покорял тысячу зрителей, собиравшихся каждый вечер его послушать, будет навеки разрушена.

О, да, самое сильное его очарование заключалось в этом превосходно поставленном голосе, то раскатистом подобно грому, чтобы бросить какое-нибудь поношение, то ясном, серебристом, когда он шептал слова любви возлюбленной. О, немногие имели силы сопротивляться столь красивому голосу! Никто не ведал, что он разрушил и убил во мне. Никто не мог знать, что он погубил две бесценные жизни, разбил два любящих женских сердца.

В конце каждого акта меня вызывали вместе с человеком, которого я через какие-нибудь несколько минут собирался хладнокровно убить.

Наконец настала сцена дуэли, сцена, в которой в этом же самом театре двадцать лет назад я добился огромного успеха. Все говорили, что я — лучший фехтовальщик, когда-либо появлявшийся на подмостках. Эта сцена всегда была моим morceau de resistance. И данный вечер также должен был стать вечером моего триумфа, но триумфа куда более осязаемого свойства!

Дуэль началась при молчаливом внимании публики, сочувственно следившей за развитием действия. Все затаили дыхание. В зале царило безмолвие смерти, был слышен лишь звон клинков, ударявшихся друг о друга.

— Раз! Два! Раз! Два! — Гамлет сделал последний выпад, и тут я привел своего противника в замешательство, не отбив его атаки, как то было положено по строгим канонам искусства.

Вот она, искомая возможность!

Стремительно я сорвал со своей рапиры, заранее мной подготовленной, тонкую шишечку и, отступив на два шага назад, изо всех сил, удвоенных неистовством страсти, сделал выпад и вонзил клинок по самую рукоятку в тело Дина Форестера!

— О! о... вы убили меня, Хит! — простонал он сдавленным голосом, судорожно глотая воздух, и мертвый тяжело рухнул на спину.

— Кончено! Давайте занавес! — с глумливым смехом вскричал я.

Когда через полчаса меня выводили из театра, я спросил, где моя дочь, наша маленькая Баб...

— Она лежит рядом с мужем! Она умерла! — был ответ.

Вот и вся моя история, сударь. А теперь прощайте! — и, закрыв лицо руками, старый актер разрыдался как дитя.

*1894 г.*

**Доктор Краббе обзаводится пациентами**

Интересно, многие ли помнят Тома Уотерхауза Краббе, студента-медика, учившегося в нашем городе? С таким человеком достаточно встретиться лишь однажды, чтобы никогда уже его не забыть. О гениях мы привыкли, в основном, читать: в жизни они встречаются не так уж часто, но с Краббе довольно было поговорить минут пять, чтобы сказать себе — вот человек, в котором горит по меньшей мере искорка той тончайшей, неуловимой субстанции, какую принято именовать гениальностью.

Мысль его отличалась смелой оригинальностью, а формы ее выражения убедительной основательностью, явно указывавшей на то, что задействовано тут нечто куда большее, нежели просто незаурядный ум. Краббе учился нерегулярно, урывками и, тем не менее, стал одним из лучших студентов своего выпуска — и самым независимо мыслящим, это уж точно.

Ох, уж этот Краббе! Даже в заблуждениях своих он ухитрялся соблюдать восхитительную оригинальность. Помню, с каким усердием доказывал он экзаменатору, что шпанская мушка произрастает в Испании! А как убедительно использовал он пять капелек сабинового масла, чтобы вызвать ими как раз то самое состояние, которое оне призваны облегчать!

Внешне Краббе меньше всего походил на гения: он не страдал худобой и бледностью, не отращивал длинных волос. Напротив, жизнь в этом широкоплечем детине била ключом, голос его более всего напоминал бычий рев, а хохотал Краббе так, что слышно было на другом конце города. Сей добропорядочный христианин обладал, помимо всего прочего, мощной мускулатурой и был отличным регбистом — едва ли не лучшим форвардом во всем Эдинбурге.

Вспоминаю свою первую встречу с Краббе. Уже тогда непоколебимая логика и храбрость этого человека заставили меня проникнуться к нему уважением.

Произошло это в 1878 году на одном из эдинбургских собраний, посвященных Болгарским событиям. Зал был набит до отказа, вентиляция не работала, так что я не слишком расстроился, когда выяснилось, что все места заняты и мне придется стать у самой двери. Прислонившись к стене, я мог одновременно и дышать свежим воздухом, и внимать тем яростным филиппикам, что ораторы один за другим адресовали правительству консерваторов.

Аудитория в своих симпатиях проявляла бурное единодушие. Каждый аргумент, каждая саркастическая реплика вызывали в зале взрыв шумного одобрения. Ничто не нарушало атмосферы всеобщего согласия до тех пор, пока…

Очередной оратор умолк, чтобы промочить горло, и слушатели притихли. Внезапно из самой гущи толпы отчетливо и ясно донеслось:

— Все это очень мило, но чем занимался Гладстон…

Зал взвыл от возмущения. Раздались крики: "Выставить его вон!"

— Так чем занимался Гладстон в 63-м? — не унимался голос.

На смельчака обрушился шквал угроз и оскорблений: "Вон!.. В окно его!.. Прочь из зала!" Один за другим зрители вскакивали со своих мест, размахивали тростями и, вытягивая шеи, пытались хотя бы краешком глаза взглянуть на вконец обнаглевшего консерватора.

— Так чем занимался Гладстон в 63-м году? — грохотал бунтарь. — Я настаиваю на ответе!

Последовал новый взрыв негодования. В центре зала образовался небольшой человеческий водоворот, после чего от толпы отделился боевой отряд и понес врага к выходу. Тот отчаянно лягался и размахивал руками, но, несмотря на отчаянное сопротивление, был-таки спущен с лестницы.

Поскольку после этого небольшого спектакля заседание приняло несколько монотонный характер, я вышел на улицу, чтобы насладиться прохладой. У входа, прислонившись к фонарному столбу и попыхивая трубкой, в пальто, изорванном в клочья, стоял мой любознательный друг. По одежде угадав в нем своего будущего коллегу, я решил воспользоваться тем преимуществом, что дает медикам дух тайного братства, царящий в этой профессиональной среде.

— Простите, вы, если не ошибаюсь, медик? — начал я.

— Да. Томас Краббе, студент университета, — ответил он.

— Моя фамилия Бартон. Простите за любопытство, но не могли бы вы меня просветить: чем все-таки занимался Гладстон в 63-м?

— Не имею ни малейшего представления, друг мой. — Краббе взял меня под руку и повел куда-то по улице. — Видите ли, в зале было чертовски душно, мне хотелось курить, а выбраться самому было не под силу — я ведь оказался зажат в самой гуще. Вот я и решил заставить их вынести меня на руках, что в конечном счете и было сделано. Неплохо придумано? Если других дел у вас больше нет, пойдемте поужинаем у меня в берлоге.

— С удовольствием, — ответил я.

Вот так началась моя дружба с Томасом Краббе.

Краббе получил диплом на год раньше меня и уехал в большой британский порт с намерением там прочно обосноваться. Казалось, его ждут блестящие перспективы: как-никак человек этот, наряду с глубочайшими познаниями в медицине, обретенными в основательнейшем из учебных заведений мира, обладал еще и тем неуловимым даром, с помощью которого доктор мгновенно завоевывает симпатии пациента, заставляя проникнуться к себе полным доверием. Диву даешься, как редко встречается сочетание этих двух качеств.

Тот милый доктор, мадам, что так виртуозно излечил юного Чарли от кори, заодно поразив вас очаровательными манерами и умным лицом, был в колледже полным тупицей и посмешищем курса! А жертва вашего небрежения, бедный доктор Зубрилкер — тот, что так нервничал, не зная, куда деть руки, — был удостоен золотой медали за оригинальный научный труд и ни в чем не уступал обучавшим его профессорам.

Что поделаешь: встречают нас по одежке, а провожают, ума так и не оценив!

Итак, Краббе со своим новеньким дипломом и еще более свеженькой юной супругой отправился в город... назовем его — Бриспорт. Я поступил ассистентом к доктору в Манчестере и первое время ничего не слышал о своем друге, не считая того, что деятельность свою он начал в лучшем стиле и немедленно сделал заявку на первоклассную клиентуру.

В одном медицинском журнале мне попалось на глаза необычайно глубокое и детальное исследование доктора Краббе под заголовком: "Странное появление дискосферической кости в желудке утки", но в целом (если не считать еще нескольких заметок об эмбриологии рыб) вел он себя неподобающе скромно.

И вот в один прекрасный день, к своему изумлению, я получил телеграмму от миссис Краббе. Она умоляла меня спешно явиться в Бриспорт и поговорить с мужем, дела которого стали совсем плохи. Попросив у шефа отпуск, я сел в первый же поезд и отправился в путь, не на шутку обеспокоенный странным известием о состоянии своего друга.

Миссис Краббе встретила меня на станции. По пути она рассказала мне, что Тома мучает множество самых разнообразных тревог, отчего он совершенно пал духом. Расходы на содержание дома огромны, пациентов же можно пересчитать по пальцам. Он очень хотел бы со мной поговорить — что если мой практический опыт окажется ему чем-то полезен?

Внешне Краббе определенно изменился к худшему и выглядел как изможденный труп. Прежняя бесшабашная веселость явно покинула моего друга, хотя, увидев меня, он заметно просветлел.

Поужинав, мы втроем собрались на военный совет. Тут-то Краббе и изложил передо мной суть своих проблем. — Ради всего святого, Бартон, скажи, что мне делать! — воскликнул он. — Прославься я чем-нибудь, и все бы пошло как по маслу, но на мою дверную табличку никто и внимания не обращает, тем более, что врачей в районе — что сельдей в бочке. Не удивлюсь, если окажется, что все тут полагают, будто я — доктор богословия. Ладно бы еще мои конкуренты были стоящими специалистами, так нет же! Все это — ископаемые сморчки, отставшие от времени на полвека, не меньше! Взять хотя бы старого Маркхэма, который живет вон в том кирпичном доме и лечит практически весь город. Готов поклясться, он понятия на имеет, в чем разница между локомоторной атаксией и гиподермическим спринцеванием, но поди ж ты — известен в массах! Покорность, с какой это стадо больных баранов плетется к нему в приемную, просто-таки отвратительна!

А чего стоит Дэвидсон, что живет чуть дальше по этой же дороге! Хочешь знать, кто он? Член Американского Лингвистического общества! Вот так. На днях рассуждал в медицинском собрании об эписпастическом параличе представь, перепутал его с эписпастическим ликвором. А заработки этого типа на порядок выше моих!

— Ну, так стань известным, начинай публиковаться, — сказал я.

— Но о чем писать, скажи на милость? — взмолился Краббе. — Где взять хотя бы одну историю болезни, если больных — нет?! Наливай себе и давай-ка сюда бутылку.

— Может быть, тебе самому пару историй выдумать? Ну, для начала хотя бы?

— Хорошая мысль, — задумчиво проговорил Краббе, — Тебе, кстати, не попадалась моя "Дискосферическая кость в желудке утки"?

— Попадалась. По-моему, вышло неплохо.

— Неплохо — не то слово. Уточка-то моя, дружище, костяшку домино сожрала! Ко мне она слетела, ну, словно ангел с небес! Потом я взялся за эмбриологию рыб, поскольку рассудил так: если даже я в этом деле ровно ничего не смыслю, то уж по меньшей мере 95 процентов населения в этом — мои полные единомышленники. Но выдумывать от начала и до конца целые истории болезней… Не слишком ли это смело?

— Тяжкий недуг требует сильнодействующих средств, — заметил я. Помнишь старика Хобсона из нашего колледжа? Раз в год он отправляет в "Бритиш медикэл" письмо, обращаясь к читателям с просьбой сообщить ему, во сколько сейчас обходится содержание лошадей в деревне. А потом в справочнике напротив своего имени указывает "Автор оригинальных вопросов и реплик научного свойства, регулярно публикуемых научными изданиями".

Хохот Краббе прозвучал как в лучшие наши студенческие годы.

— Ладно, старина, — наконец сказал он, — продолжим наш разговор завтра. В конце концов, ты у нас гость: нельзя же мне быть таким эгоистом. Пойдем побродим: обозрим наши бриспортские красоты, если можно так выразиться.

С этими словами он набросил на себя какое-то траурное пальтишко, нацепил очки, нахлобучил шляпу с уныло отвисшим краем, и остаток дня мы провели, прогуливаясь туда-сюда и обсуждая всякую всячину.

На следующий день военный совет собрался повторно. Было воскресенье: мы уселись с трубками у окна и принялись разглядывать уличную толпу, перебирая один за другим возможные планы завоевания местной публики.

— Трюк Боба Сойера? Пройденный этап, — уныло отчитывался Краббе. — Да, прихожу в церковь, сижу там какое-то время, потом сломя голову выбегаю в самый разгар службы… Все без толку — никто не знает, кто я такой! В прошлом году накатал перед парадным чудную ледовую дорожку: на протяжении трех недель ежедневно полировал ее по ночам. За все это время поскользнулся на ней только один человек, да и тот поковылял через дорогу к приемной Маркхэма. Ну, разве это не ужас?

— Это — ужас, — согласился я.

— Наверное, следовало бы с апельсиновыми корками поэкспериментировать, — продолжал Том, — но, слушай, когда перед домом врача весь тротуар ядовито-желтый, по-моему, это так противно!

— Противно, согласен, — кивнул я.

— Как-то ночью явился ко мне парень с разбитой башкой, — вспомнил Том. — Я наложил ему швы, но он оставил кошелек дома! Через неделю пришел снимать швы — снова без денег! По сей день этот парень, Джек, где-то разгуливает с куском моей веревки в голове, — и пока я не увижу денег, она там останется!

— А не сотворить ли нам несчастный случай, благодаря которому ты стал бы известен широкой публике? — предположил я.

— Дорогой мой, это мне как раз и нужно. Пропечатай мое имя в "Бриспорт кроникл", и пять сотен годовых, считай, в кармане. Тут же отношения почти семейные: люди хотят одного — точно знать, что я — здесь, с ними. Но если не уличной дракой и не увеличением численности своего семейства, то как еще я могу им сообщить о себе? Ах, эта Дискосферическая кость в утке! — как могла бы она взволновать сердца людей! Подхвати благую весть Гексли, или кто другой, для меня это был бы блестящий дебют. Но все восприняли известие с таким отвратительным спокойствием, будто домино — это утиный корм.

— Слушай, вот что я сделаю, — заключил он, разглядывая дворовую живность. — Надрежу каждой дно четвертого желудочка и подброшу всю компанию Маркхэму. От этого у них развивается дьявольский аппетит: старик и вся его челядь мигом помрут с голоду. Что скажешь, Джек?

— Слушай, Томас, ты хочешь увидеть свое имя в газетах — правильно я тебя понял?

— Суть моих стремлений сформулирована тобой исключительно точно.

— Ну так, Бог свидетель, ты его там увидишь!

— А?.. Правда? Это почему же?

— Перед нами сейчас — достаточно многочисленная толпа, так ведь, Том? продолжал я. — Они ведь возвращаются из церкви? Произойди там сейчас какая-нибудь неприятность, она не осталась бы незамеченной.

— Надеюсь, Джек, ты не собираешься порезвиться в толпе с ружьишком, чтобы обеспечить меня клиентурой?

— Что если бы завтра в «Кроникл» появилась статейка примерно следующего содержания:

"Печальное происшествие на Джордж-стрит. Граждане нашего города чинно покидали церковь на Джордж-стрит после утренней службы, когда вдруг, к их величайшему ужасу, модно одетый молодой джентльмен приятной наружности зашатался и без чувств рухнул на мостовую. Его подняли и понесли, дергающегося в ужасных конвульсиях, в приемную знаменитого доктора Краббе, который в ту же секунду выразил готовность оказать пострадавшему помощь. Мы рады сообщить вам, что вскоре молодой человек (оказавшийся достаточно известным в своих кругах гостем нашего городка) не только оправился от припадка, но и благодаря квалифицированной помощи специалиста смог вернуться в отель, где и продолжает сейчас свое выздоровление".

Что ты на это скажешь?

— Великолепно, Джек, великолепно!

— Ну что же, друг мой, я и есть твой модно одетый незнакомец. Обещаю, что в приемную к Маркхэму меня не понесут.

— Радость моя, какое же ты сокровище! Разумеется, против того, чтобы я тебе чуточку кровь пустил, ты возражать не станешь?

— Пустил… что?! Буду, и еще как, черт побери!

— Я вскрою тебе самую малюсенькую вену! — взмолился Том.

— Ни даже малюсенького капилляра, — отрезал я. — Слушай меня очень внимательно: если ты не пообещаешь вести себя по отношению ко мне достойно, я сейчас же откажусь от этой затеи. Глоток бренди я еще, пожалуй, стерплю, но не более того!

— Ладно, получишь ты свой бренди, — проворчал Том.

— Ну что ж, я готов. Могу забиться в конвульсиях прямо у ворот твоего сада.

— Отлично, старина.

— Кстати, припадки какого типа тебе более по душе? Эпилептический, апоплексический — это элементарно. Но, может быть, ты жаждешь чего-то более экзотического? Каталепсия, судороги продавца, шахтерский нистагм?

— Погоди, дай-ка подумать, — сказал Том и минут на пять умолк, попыхивая трубкой.

— Сядь-ка, Джек, — сказал он наконец. — Знаешь, мы могли бы придумать что-нибудь и получше. Понимаешь, припадок — дело не слишком опасное: ну да, врач оказал помощь — подумаешь, какой герой. Раз уж мы взялись за это дело, то отработать должны на все сто. У нас будет только одна попытка. Если тот же модно одетый гость нашего города задумает вновь забиться в конвульсиях, люди заподозрят подвох.

— Пожалуй, что и заподозрят, — согласился я. — Но, черт побери, ты ведь не надеешься, что я

свалюсь со шпиля собора ради того только, чтобы дать тебе возможность осмотреть мои останки? Выкладывай, что у тебя на уме: если мысль здравая — я к твоим услугам. Итак, что мне предстоит?

Некоторое время Том сидел в глубоких раздумьях.

— Ты плавать умеешь? — вымолвил он наконец.

— И очень неплохо.

— Сможешь продержаться под водой минут пять?

— Думаю, без труда.

— Воды не боишься?

— Да я ничего не боюсь.

— Тогда давай выйдем и прогуляемся по окрестностям. Мне не удалось больше вытянуть из него ни слова. Некоторое время я просто быстро шагал рядом со своим другом, не имея ни малейшего представления о его намерениях. Свою первую остановку мы сделали у небольшого дока, по соседству с которым находился металлический навесной мост.

Том окликнул существо в высоких ботфортах, напоминавшее человека-амфибию.

— Гребные лодки у вас тут есть? Напрокат их сдаете?

— Да, сэр, — ответил человек.

— В таком случае, всего вам хорошего. — И к величайшему негодованию лодочника, выраженному, надо сказать, достаточно громко, мы отправились дальше. На этот раз, как оказалось, — к таверне под вывеской "Веселый морячок". Есть ли тут свободные койки? Да, есть. Ну, и прекрасно.

Мы направились к аптеке. Имеется ли тут гальваническая батарея? Получив очередной утвердительный ответ, Том Краббе с самодовольной ухмылкой повел меня обратно, оставив за спиной у себя целую вереницу крайне раздосадованных горожан.

Вечером за чашей пунша он изложил нам свой план. Военный совет в составе той же троицы обсудил его, видоизменил и, в конечном итоге, одобрил. Прямым следствием этого решения явилось мое немедленное переселение в бриспортскую гостиницу.

Следующим утром я проснулся от солнца, светившего прямо в окно, выпрыгнул из постели и взглянул на часы. Было почти девять.

"Остался всего час, а идти целую милю", — пробормотал я и стал одеваться так быстро, как только было возможно.

"Ну что ж, — возобновил я свой внутренний монолог, затачивая бритву, если сегодня имени Тома Краббе не появится в газетах, меня в том никто упрекнуть не сможет. Есть ли человек, который ради меня решился бы на такое?"

Завершив туалет, я залпом осушил чашку кофе и отправился в путь. В то утро жизнь в Бриспорте била ключом. Улицы кишмя кишели людьми. Извиваясь червем, я по Ватерлоо-стрит выбрался на старую площадь, пересек ее и подошел к дому Краббе. В момент моего появления у вышеописанного дока с навесным мостом часы собора пробили десять.

На мосту, перегнувшись вниз через перила, стоял человек. Очки и шляпа с печально отвисшим краем выдавали в нем Томаса Уотерхауса Краббе, бакалавра медицинских наук.

Я с самым безразличным видом прошел мимо него, поболтался немного на причале и побрел к лодочной станции. Наш вчерашний друг стоял в дверях с короткой трубкой во рту.

— Могу я взять лодку на час? — спросил я.

— Одну минутку, сэр, только принесу весла, — просиял он. — Хотите, я погребу для вас, сэр?

— Да, пожалуй, — ответил я. Повозившись немного, он сумел-таки спустить на воду хилого вида суденышко, в которое сам же первым и прыгнул.

— Будем курсировать вдоль доков, — сказал я. — Хочу понаблюдать за местным судоходством.

— Ага, отлично! — обрадовался лодочник и оттолкнулся от берега. Добрую половину следующего часа мы действительно болтались у доков, после чего повернули обратно и вскоре приблизились к тому самому маленькому причалу, откуда начали свой путь.

Часы показывали половину одиннадцатого и людей вокруг было видимо-невидимо. Похоже, половина населения Бриспорта решила в это утро собраться вокруг бриспортского моста. Меланхоличного вида шляпа маячила невдалеке.

— Ну что, сэр, причаливаем? — спросил лодочник.

— Дайте-ка весла, — сказал я. — Хочу немного размяться. Поменяемся местами.

— Осторожнее, сэр! — завопил он, увидев, как я пошатнулся. Берегитесь!

Лодочник предпринял отчаянную попытку меня задержать, но было поздно: издав трагический вопль, я зашатался и рухнул в бриспортские воды. Похоже, до этого момента я и сам не вполне сознавал, на что иду. Когда густая липкая жижа смыкается у тебя над головой, это, скажу вам, не слишком приятно. Достав дно ногами, я оттолкнулся и устремился к поверхности.

Казалось, сам воздух ожил от людского гвалта.

— Кидай веревку!.. Где крюк?.. Хватай его!.. Да вот же он!

Получив от лодочника меткий удар по голове (очевидно, веслом), я снова пошел ко дну, предусмотрительно набрав в легкие побольше воздуха. Когда я всплыл снова, мой знакомец в сапогах вцепился мне в волосы с такой яростью, будто вознамерился содрать скальп.

— Не сопротивляйтесь, я вас сейчас спасу! — завопил он.

Но я отпихнул спасителя и нырнул снова. В третий раз сопротивление оказалось тщетным: он поддел мне ворот крюком и, как ни пытался я остаться в воде подольше, был вскоре с позором вытянут на берег.

Итак, с самым что ни на есть мертвенно-синим видом я разлегся на каменном причале, испытывая одно только желание — расхохотаться.

— Бедный парень, он мертв! — загалдели вокруг. — Скорее за доктором!.. Бегите к Маркхэму!.. Да нет же, он совершенно мертв… Перевернуть бы его вниз головой… Прощупайте пульс… По спине ему понаддайте!

— Стоп, прекратите! — торжественно прозвучал знакомый голос. — Я врач. Что здесь произошло?

— Человек утонул! — грянул хор. — Расступитесь!.. Станьте в крут!.. Пропустите врача!

— Меня зовут доктор Краббе. Господи, бедный юноша. А ну, отпустите его руку! — рявкнул он на человека, пытавшегося прощупать мой пульс. — Ишь чего, на вену вздумал давить! Да любая помеха кровообращению в такой ситуации может оказаться фатальной!

Во имя даже спасения собственной жизни трудно было тут удержаться: в восторге от находчивости Тома, я хмыкнул — боюсь, довольно-таки громко.

По толпе прокатился вздох изумления. Том торжественно снял шляпу.

— Предсмертный хрип, — тихо произнес он. — Юная душа отлетела от тела. Но, может быть, силой науки удастся вернуть ее на место? Перенесите тело в таверну.

Меня торжественно водрузили на взявшийся откуда-то оконный ставень, и вдоль причала потянулся печальный кортеж. Возглавлявший компанию труп был, несомненно, самым жизнерадостным ее участником.

Наконец мы добрались до «Морячка»: здесь меня раздели и уложили на самую лучшую кровать. Новость о несчастном случае, похоже, разнеслась по округе: за окнами гудела толпа, да и на лестнице было не протолкнуться.

Том разрешил пропустить в комнату лишь десяток самых влиятельных людей города, но зато

каждые пять минут адресовал собравшейся под окном толпе устные сообщения:

— Ничего не поделаешь, мертв. Потоотделение прекратилось. Пульса нет. Но будем биться до последнего, в этом и состоит наш долг.

— Может быть, принести бренди? — спросила хозяйка.

— Да. И принесите еще полотенца, таз и сидячую ванну. Но бренди в первую очередь.

Первую же попытку себя напоить труп встретил с сердечнейшим одобрением.

— Глядите-ка, пьет, — удивилась хозяйка, поднесшая стакан к моим губам.

— Рефлекторная реакция, не более того, — пояснил Том. — Действия покойника совершенно автоматичны. Да-с, сударыня, любой труп выпьет тут вам весь бренди, если только правильно направить поток жидкости по пищеводу. Отойдите-ка в сторону. Попробуем применить метод воскрешения мертвецов, предложенный Маршаллом Холлом.

Граждане почтительно расступились, образовав круг, а Том снял пальто и, взобравшись на кровать, принялся вращать меня из стороны в сторону — да так, словно поставил перед собой цель вывихнуть все суставы до единого.

— Хватит, черт побери! — прорычал я, и он действительно сделал паузу, но для того лишь, чтобы броситься к окну и завопить.

— Никаких признаков жизни! — после чего с удвоенной энергией взялся за дело.

— Теперь попробуем метод Сильвестра! — Истекая потом, Том, принялся проделывать надо мной какие-то еще более мучительные операции.

— Безнадежно! — воскликнул он и благоговейно натянул мне на голову простыню. — Посылайте за коронером. Он отошел в лучший мир. Вот моя визитка. — Последние слова были адресованы только что прибывшему полицейскому инспектору. — Доктор Краббе с Джордж-стрит. Позаботьтесь о том, чтобы детали происшествия были описаны с максимально возможной точностью. Бедный юноша!

Потерев у себя платком под глазом, Том двинулся к двери, сопровождаемый сочувственным стоном толпы. Он уже опустил ладонь на дверную ручку, но вдруг замер, словно осененный блестящей идеей, и вернулся к кровати.

— Может быть, есть еще небольшая надежда? Мы ведь не прибегали пока к магической силе электричества, этой утонченнейшей из субстанций, по природе своей родственной нервной энергии. Нет ли рядом аптеки?

— Есть, сэр, как раз за углом. Там аптекарем мистер Маклаган.

— Ну, так бегом к нему! Жизнь человеческая на волоске! Несите мне самую мощную гальваническую батарею, да поживее!

Добрая половина толпы снялась с места и понеслась к мистеру Маклагану, создавая невообразимую сутолоку. Наконец раскрасневшиеся посланники вернулись. Один из них держал в руках сияющий ящик из красного дерева, судя по всему, и скрывавший в себе спасительное устройство.

— Ну, а теперь, джентльмены, должен сообщить вам, что я стану сейчас, по-видимому, первым врачом в Британии, осмелившимся использовать целебную силу электричества столь неожиданным образом. Много лет назад в Вене, еще будучи студентом, я стал свидетелем тому, как нечто подобное проделал Рокиланский — знаменитый ученый. Итак, внимание: отрицательный полюс я присоединяю к солнечному сплетению, а положительный — ко внутренней стороне коленной чашечки. Когда-то на моих глазах этот метод произвел настоящее чудо: кто знает, вдруг то же самое произойдет и сейчас?

Так и случилось.

Трудно сказать, была ли то случайность, или отчаянный бес, всегда сидевший в Томе, взял верх. Он утверждает, что я стал жертвой несчастного случая. Как бы то ни было, мощная батарея Бриспорта пропустила через мое тело максимально возможный ток.

— Плевать на хозяйку! — рявкнул я. — Ты погубил меня. Я чувствую себя громоотводом!

— Бедный малый ожил, но разум его помрачен! — заорал Том, снова обращаясь к толпе. — Ему кажется, будто он превратился в громоотвод. Освободите дорогу, мы идем к кэбу. Вот так, хорошо… Теперь помогите мне его туда всунуть. Жизнь этого человека уже вне опасности. Одеться он сможет и у себя в гостинице. На случай, если у кого-нибудь из вас есть дополнительная информация, которая поможет мне лучше понять природу этого странного случая, сообщаю свой адрес: Джордж-стрит, 81. Запомнили? Доктор Краббе, Джордж-стрит, 81. Ну, а теперь прощайте, друзья, и всего вам хорошего!

Чтобы предотвратить дальнейшие разоблачения, Том впихнул меня в кэб, и мы тронулись под восторженный рев счастливой толпы.

Задержаться в Бриспорте с тем, чтобы в полной мере оценить последствия своего подвига, мне не удалось. В тот вечер Том закатил ужин с шампанским, но в самый разгар этого буйного веселья принесли телеграмму от шефа, которой мне предписывалось ближайшим поездом отбыть в Манчестер. Я все же дождался утреннего выпуска "Бриспорт кроникл" и скоротал скучные часы обратного пути за чтением красочных описаний приключившегося со мной несчастья.

Доктору Краббе и чудесному воздействию электричества на утопленника было уделено целых полторы колонки. Впоследствии новость эта была перепечатана лондонскими газетами и удостоилась самого серьезного комментария в журнале «Ланцет».

Относительно же финансовых последствий нашего маленького эксперимента мне остается судить лишь по письму самого Тома Краббе, которое я приведу полностью:

"Привет, мой Воскрешенный Труп!

Думаю, ты хотел бы знать, как идут дела в Бриспорте. Что ж, слушай.

Мой мальчик, Дэвидсона и Маркхэма я срезал вчистую. Уже на следующий день после нашей милой проделки я получил в свое распоряжение: ссадину на ноге (помнишь, тот младенец?), разбитую голову (женщина, на которую он упал), рожистое воспаление и бронхит. Еще через день чудненький перезревший рак бросил Маркхэма на произвол судьбы и переметнулся ко мне. Добавь еще сюда пневмонию и человека, который проглотил шестипенсовик. С тех пор в моем журнале появляется с десяток новых имен ежедневно; на этой неделе собираюсь еще и перед домом устроить что-то вроде ловушки.

Когда соберешься открыть свое дело, тут же дай мне об этом знать. Как бы занят я ни был, непременно приеду и, уж поверь, обеспечу тебя клиентурой, пусть даже ради этого мне придется весь день простоять вниз головой в бочке с дождевой водой.

До свидания. Привет от супруги. Твой навек.

Томас Уотерхаус Краббе,

бакалавр медицины, Эдинбург.

Бриспорт, Джордж-стрит, 81".

*1884 г.*

**История "навесного Спидигью"**

Среди любителей крикета имя Уолтера Скаугелла не нуждается в дополнительных рекомендациях. Еще в 90-х он начал выступать за университетскую команду, а с начала нового столетия сделался бессменным лидером в команде своего графства. Его долгая и славная карьера игрока прервалась только с началом мировой войны. После трагических военных лет Уолтер Скаутелл не нашел в себе душевных и физических сил вернуться на прежнюю стезю, но с крикетом окончательно не расстался, являясь членом совета клуба графства и одним из самых лучших и опытных судей во всем Соединенном Королевстве.

Оставив большой спорт, Скаугелл продолжал вести активный образ жизни и часто совершал длительные пешие прогулки по лесным угодьям заповедника Нью-Форест, близ границы которого стоял его дом. Подобно всем мудрым людям, во время своих странствий по лесным дебрям Скаугелл старался передвигаться бесшумно, в результате чего нередко оказывался свидетелем сцен и событий, которые обычно недоступны взору случайного прохожего, не привыкшего соблюдать тишину. Однажды вечером ему посчастливилось наблюдать за барсуком, пробирающимся в свою нору в отвесном склоне берега ручья. Часто попадались на лесных прогалинах маленькие группы благородных оленей. Иногда тропинку пересекала осторожная лиса, готовая скрыться или метнуться в сторону при первом намеке на близость человека. Но как-то раз ему довелось встретить в чаще людей, и эта встреча оказалась куда более удивительной, чем со всеми прочими обитателями заповедного леса.

По оба конца узкой, длинной лужайки высились два гигантских дуба. Разделяло их футов тридцать или сорок, и между ними, на высоте более пятидесяти футов, была протянута толстая веревка. Кому-то пришлось здорово потрудиться, чтобы привязать ее на таком расстоянии от земли. По обе стороны веревки на стандартной дистанции друг от друга располагались крикетные калитки. Худой и высокий молодой человек в очках подавал мячи, которых у него, похоже, имелось в достатке, с одной стороны импровизированной площадки, а на другой их принимал парнишка лет шестнадцати во вратарских перчатках. Точнее будет сказать, что он ловил мячи, не попадавшие в калитку, потому что ни один поданный мяч не касался поверхности земли. Подающий наносил удар таким образом, что каждый мяч взмывал почти вертикально вверх, перелетал над натянутой веревкой и под очень острым утлом опускался на стойки калитки.

Скаугелл несколько минут наблюдал за необычным зрелищем, не выходя из кустарника. Сначала происходящее показалось ему чистейшей воды глупостью, но постепенно он начал усматривать в действиях игроков скрытый смысл. Во-первых, чисто технически выполнить подобную подачу, то есть поднять мяч над веревкой и попасть при этом в площадь калитки, требовало верного глаза и точного расчета траектории, а во-вторых, поражала стабильность, с которой этот удивительный молодой человек, выполняя раз за разом сложный крученый удар, как легко определил наметанный глаз старого профессионала, попадал мячом либо в верхнюю перекладину калитки, либо прямо в руки защитника. За такой стабильностью непременно должна была стоять длительная практика.

В конце концов любопытство мистера Скаугелла возобладало над деликатностью. Он вышел из-за кустов на поляну, повергнув своим появлением обоих участников игры в очевидное смущение. Они выглядели так жалко и виновато, словно занимались чем-то предосудительным и были застигнуты с поличным. К счастью, Уолтер Скаугелл был джентльменом, светским человеком с безупречными манерами и обаянием, и ему без особого труда удалось успокоить молодых людей.

— Прошу простить меня за вторжение, — заговорил он с наигранной веселостью, — но я тут проходил мимо, и мне стало страшно интересно, чем вы занимаетесь. Я сам старый игрок, так что вы должны понять мое любопытство. Могу я спросить, господа, что именно вы пытаетесь изобразить?

— Да просто решили размяться немного и покидать мячики, — с притворной скромностью ответил старший. — Видите ли, поблизости у нас не найти подходящей площадки, вот мы с братом и отыскали это местечко в лесу.

— Вы подающий?

— Д-да, вроде того.

— За какой клуб выступаете?

— Собственно… Мы играем только по средам и субботам. Наша деревня называется Бишопс-

Брэмли.

— И вы всегда подаете подобным образом?

— Ну, что вы! Нет, конечно, просто я решил немного потренироваться и проверить кое-какие идеи.

— Мне представляется, вы добились весьма высокой точности.

— Я стараюсь. Вы знаете, сначала я попадал куда угодно, только не в калитку, но со временем приспособился. Не знал даже, в каком приходе искать улетевшие мячи, зато сейчас сами видите.

— Вижу, вижу…

— Простите, сэр, вы сказали, что сами играли когда-то. Могу я узнать ваше имя?

— Уолтер Скаугелл.

Настороженность во взгляде молодого человека сменилась восторгом и обожанием — так во все времена смотрят на чемпионов зеленые юнцы.

— Похоже, мое имя вам знакомо?

— Уолтер Скаугелл! Оксфорд и Гемпшир. Последний раз выступал в 1913 году. Средняя результативность на подаче в том сезоне — шестнадцать калиток из семидесяти двух за игру, а на приеме — двадцать семь с половиной очков.

— Боже правый!

Младший брат, подошедший с другой стороны площадки, весело расхохотался.

— У Тома всегда так, — пояснил он. — Уизден и Лиллиуайт в одном лице. Он способен без раздумья выдать вам послужной список любого игрока и результаты любого клуба во всех розыгрышах с начала века.

— Ну и ну! У вас, должно быть, отличная память.

— Не в этом дело, сэр, просто я очень люблю крикет, — больше всего на свете! — воскликнул Том с внезапной откровенностью, часто проявляющейся у застенчивых людей, встретивших внимательного и сочувствующего слушателя. — К сожалению, хотя сердце мое принадлежит этой игре, именно оно не позволяет мне играть так, как я мечтаю. Понимаете, сэр, у меня врожденная астма, и если я подвергаю себя слишком сильным нагрузкам, возникает аритмия сердца, В команде Бишопс-Брэмли меня держат из-за моей медленной подачи, и, пока я не допускаю слишком много промахов, бегать мне особенно не приходится.

— Так вы говорите, что еще не пробовали эти ваши высокие подачи — не знаю, как вы их называете, — в настоящей официальной игре?

— Нет. Пока нет. Сначала я хочу довести их до совершенства. Видите ли, мечта всей моей жизни — изобрести совершенно новую подачу, и я уверен, что смогу это сделать. Вспомните хотя бы Босанкета и его крученые мячи, Он всего лишь пораскинул мозгами и нашел способ так зацепить битой мяч, чтобы казалось, будто он летит в одну сторону, а на самом деле резко сворачивает в другую. Вот я сказал себе: природа наградила тебя слабым сердцем, Том, но с головой у тебя все в порядке, а значит, в твоих силах выдумать что-нибудь новенькое. Я называю эти подачи «навесными». "Навесной спидигью" — вот как будут когда-нибудь называться такие мячи!

Скаугелл добродушно рассмеялся.

— Не хотелось бы заранее разочаровывать вас, юноша, но на вашем месте я бы не очень рассчитывал на успех. Мне кажется, любой защитник с хорошим зрением и быстрой реакцией без труда примет такой мяч, как обычную высокую подачу.

Лицо Спидигью сразу омрачилось. Для него мнение такого специалиста, как Скаугелл, звучало чем-то вроде вердикта председателя Верховного Суда. Он никогда прежде не обсуждал свою идею с действительно первоклассным крикетистом и теперь не находил слов и мужества для защиты собственного изобретения. Неожиданно на помощь старшему ринулся младший брат.

— Быть может, мистер Скаугелл, вы не до конца оценили идею Тома, заметил он. — Том ведь не просто так этим занимается — он думал над своей подачей очень долго. Секрет заключается в том, что с большей высоты мяч падает с большей скоростью и почти отвесно, как будто подающий находится над головами принимающих. Плюс ко всему новая схема расстановки игроков.

— Вот как? И как же вы собираетесь по-новому расставить игроков?

— Все, за исключением одного или двух, размещаются во внутреннем секторе вблизи калитки, — поспешил перехватить у брата инициативу Спидигью-старший. — Это девять игроков. Одного я выдвигаю вперед. Все. Остальные восемь выстраиваются в цепь: трое по периметру кона, один в середине с внутренней стороны, двое по бокам и двое позади. В результате принимающий не знает, куда ему отбивать. Вот и весь расклад вкратце.

Скаугелл задумался. Ему стало ясно, что молодой человек продумал все действительно до мелочей. Он подошел к калитке.

— Вас не затруднит сделать парочку подач, — обратился он к Тому Спидигью. — Хочу еще раз взглянуть, как это выглядит с позиции принимающего.

С этими словами он взял в обе руки свою трость и пригнулся в ожидании мяча. Том подал, и мяч, взмыв высоко-высоко в воздух, с неожиданно высокой скоростью опустился на землю рядом со стойкой калитки. Скаугелл снова задумался. Ему пришлось принимать на своем веку великое множество мячей, но ни разу под таким утлом. Да, сегодня у него набралось немало пищи для размышлений.

— Скажите, неужели вы ни разу не пробовали эту подачу на публике?

— Ни разу!

— А вам не кажется, что уже пора?

— Полагаю, можно рискнуть.

— Когда?

— Трудно сказать. Дело в том, что я редко выхожу подающим в первом составе. В основном меня выпускают на замену или держат в запасе. Конечно, если тренер разрешит мне сыграть…

— Об этом я позабочусь, — пообещал Скаугелл. — Когда у вас следующая игра?

— В субботу. Ежегодный матч против Мадфорда.

— Отлично. В субботу постараюсь приехать и посмотреть своими глазами, как сработает ваша затея.

Скаугелл сдержал слово и явился на встречу двух деревенских команд, вызвав небывалый ажиотаж среди игроков обеих соперничающих сторон. Перед матчем он имел серьезный разговор с капитаном и тренером команды Би-шопс-Брэмли, в результате которого Том Спидигью впервые вышел на поле в роли основного подающего. Что подумали о его навесных подачах игроки соперников, сказать сложно, поскольку они с превеликим трудом принимали любые подачи. Тем не менее, из старого коровника, служившего трибуной для зрителей, Уолтер Скаугелл, оценивая наметанным глазом знатока открывающиеся перспективы, досмотрел игру до конца. Во время перехода подачи он подошел к Спидигью и тронул его за плечо.

— Мне кажется, у вас получается неплохо.

— Не совсем. Никак не могу поднять мяч на должную высоту. Да и вообще, эти мадфордцы совсем принимать на могут!

— Согласен. Согласен и с тем, что вы можете еще улучшить игру. А теперь послушайте меня. Если я правильно понял, вы служите заместителем директора в местной школе, не так ли?

— Совершенно верно.

— Вы можете взять отпуск на один день, если я договорюсь с вашим начальником?

— Это можно устроить.

— Прекрасно. Тогда я жду вас в следующий четверг. Любительский матч. Команда гостей сэра Джорджа Сандерсона против "Лесных бродяг" из Рингвуда. Я хочу, чтобы вы вышли подающим за команду сэра Джорджа.

Том Спидигью покраснел от удовольствия.

— Ох… не может быть… вы серьезно? — вот и все, что он смог пролепетать в ответ.

— Я постараюсь обо всем договориться, — успокоил его Скаугелл. Кстати, принимать вы умеете?

— В среднем — девять очков за подачу, — не без гордости похвастался Спидигью. Скаугелл рассмеялся.

— Ладно, сойдет. Я обратил внимание, что около ворот вы неплохо держитесь.

— Да, обычно меня ставят хранителем.

— Значит, договорились. Пойду поговорю с директором школы, а с вами надеюсь в скором времени снова увидеться.

Следует казать, что Уолтер Скаугелл с большим рвением занялся этим, с первого взгляда, незначительным делом. Он посетил школу в Тоттоне и имел беседу с ее директором — пожилым, суровым и неразговорчивым человеком. К счастью, оказалось, что старик в молодости тоже занимался спортом. Когда Скаугелл все ему объяснил, директор размяк и согласился отпустить Тома. Правда, он недоверчиво рассмеялся, выслушав объяснение посетителя, и заявил без обиняков, что все это глупости и ничего из этого не выйдет.

— А я считаю, что у нас есть шанс, — сказал Скаугелл.

— Глупости! — упрямо повторил старик.

— Ваша школа может прославиться.

— Может, конечно, — согласился директор, — но все равно это глупости!

Скаугелл еще раз встретился с ним на следующее утро после игры с "Лесными бродягами".

— Как видите, система работает, — сказал он с ноткой торжества в голосе.

— Как же! Против третьесортных игроков что хочешь сработает!

— Я бы не сказал, что у «Бродяг» такие уж плохие игроки. Взять хотя бы Дональдсона или Мерфи. Они показали приличный класс. Говорю вам, после игры это были самые удивленные люди во всем графстве Гемпшир! Я взял с них слово молчать до поры.

— Зачем?

— Неожиданность — половина победы. А теперь пора подняться ступенькой выше. Клянусь Юпитером, может получиться великолепная шутка! — И оба бывших спортсмена разразились оглушительным хохотом, предвкушая развитие событий в ближайшем будущем.

В те дни внимание всей Англии сосредоточилось на одном: предстоящем пятом межконтинентальном матче между сборными командами Англии и Австралии. Грядущая встреча напрочь вытеснила из умов людей политику, бизнес и даже грабительские налоги. До этого Англия сумела дважды победить с незначительным перевесом, а в двух поединках уступила австралийцам с таким же минимальным разрывом. Всего через неделю поле стадиона Лорд станет ареной очередной решающей битвы между гигантами. По всей стране болельщики обсуждали шансы английской дружины и кандидатуры игроков.

То были горячие деньки для членов Отборочного Комитета, и во всем Лондоне трудно было найти троих столь же задерганных людей, как сэр Джеймс Джилпин, мистер Тардинг и доктор Слоупер. Они ежедневно собирались в зале заседаний комитета и с мрачным видом изучали список возможных претендентов на место в команде. Каждая кандидатура обсуждалась и обсасывалась со всех сторон. Во внимание принимались самые свежие итоги выступлений того или иного игрока во внутренних соревнованиях, но больше всего споров возникало по принципиальному вопросу: привлекать в сборную универсальных игроков, владеющих

одинаково хорошо подачей и приемом, или брать тех, кто преуспел в чем-то одном. Таких, к примеру, как Уорсли из команды Ланкашира, чей средний показатель игры на приеме достигал фантастической цифры — семидесяти одного. Или виртуоза подачи Скотта из Лейчестер-шира, занимающего в списке принимающих одно из последних мест. Неделя таких трудов превратила трех цветущих джентльменов в нервных, сварливых стариков.

— Самое главное — выносливость игрока, — заявлял сэр Джеймс, старший по возрасту и наиболее опытный из членов комитета. — Трехдневный матч — это уже тяжело, а ведь предстоящий поединок, согласно регламенту, может продолжаться целую неделю. Многие хорошие игроки из верхней части списка уже в годах и могут не выдержать этой гонки до конца.

— Согласен, — поддержал его Тардинг, сам неоднократно выводивший на поле сборную Англии. — Я тоже целиком и полностью голосую за свежую кровь и новые методы. Беда в другом: мы настолько детально изучили все их подачи, а они — наши, что теперь обе команды могут играть практически с закрытыми глазами. Обе стороны могут рассчитывать набрать за подачу по пятьсот очков, и перевес той или другой команды будет ничтожным.

— Вот этот ничтожный перевес нам с вами и предстоит обеспечить, серьезно заметил доктор Слоупер, имеющий среди поклонников крикета репутацию величайшего среди живущих знатока этой игры. — Эх, если бы только нам удалось подкинуть им что-нибудь новенькое! Вот только что — когда они играли почти со всеми графствами и назубок выучили каждый наш трюк?!

— Да что новенького вообще можно изобрести в нашем деле? — недоуменно вскинулся Тардинг. — Все уже давно разложено по полочкам и изучено вдоль и поперек.

— Ну, не скажите, — возразил сэр Джеймс. — В конце концов, крученый и резаный мячи вошли в употребление при нас с вами, джентльмены, хотя, конечно, Босанкеты не рождаются каждый день. Одно могу сказать: за каждым ударом по мячу должны стоять не только мускулы, но и мозги тоже.

— Как странно, друзья, что наш разговор принял вдруг такой оборот, заметил доктор Слоупер, вытаскивая из кармана конверт. — Вот это письмо мне прислал старина Скаугелл из Гемпшира. Он пишет, что готов приехать и переговорить с нами по первому зову, если только мы сочтем нужным с ним встретиться. В письме он приводит примерно те же доводы, что мы с вами только что обсуждали: свежая кровь и тайное оружие — вот его нынешний девиз.

— А он не пишет, случайно, где искать это "тайное оружие"?

— Как это ни удивительно, он пишет, что уже нашел. По словам Скаугелла, он откопал где-то в глухой провинции никому не известного паренька, выступающего то ли за "Навозных Жуков" из деревни Большое Болото, то ли за «Салоедов» из городка Безымянного, то ли еще за что-то в этом роде. Так вот, Скаугелл предлагает, ни больше ни меньше, поставить этого типа подающим в основной состав на предстоящий матч. Бедняга Уолтер, должно быть, перегрелся на солнышке.

— Послушайте, коллеги, старина Скаугелл был одним из лучших капитанов за всю историю, и мне кажется, что с ходу отвергать его совет не стоит. Что именно он пишет?

— Ничего конкретного, но энтузиазм так и брызжет из-под пера. "Для меня это настоящее озарение!" — это одна фраза. А вот другая: "Никогда бы не поверил, если бы не видел собственными глазами". И еще: "После они, конечно, разберутся, но первый раз может застать их врасплох". Вот такие у него взгляды.

— А где живет этот вундеркинд?

— Скаугелл отправил парня в Лондон на тот случай, если мы пожелаем на него посмотреть. Здесь номер телефона гостиницы «Тенкерей» в Блумсбери.

— Итак, джентльмены, что будем делать?

— На мой взгляд, это все пустая трата времени, — заявил Тардинг. — В наше время чудеса больше не случаются. Кроме того, подумайте, друзья, что скажут публика и пресса, если мы все-таки решим поставить этого малого?

Сэр Джеймс упрямо выпятил вперед свою седую бороду.

— Плевать я хотел на публику и на прессу! — рявкнул он. — Мы собрались здесь, чтобы

следовать собственному опыту и суждениям, и будь я проклят, если отступлюсь от этого в угоду зевакам и борзописцам!

— Поддерживаю, — кивнул доктор Слоупер. Тардинг пожал широкими плечами.

— По-моему, у нас и без того достаточно забот, чтобы гоняться за синей птицей. Однако, если вы оба настаиваете, я не стану возражать. Раз вам так хочется, тащите сюда это чудо и давайте вместе посмотрим.

Полчаса спустя донельзя смущенный молодой человек предстал перед очами знаменитой троицы и подвергся весьма пристрастному допросу. На все вопросы Том Спидигью ответил в меру своего разумения; впрочем, большинство из них совпадало с теми, что Уолтер Скаугелл уже задавал во время их первой встречи в лесу.

— Итак, мистер Спидигью, в подтверждение своих притязаний вы приводите в качестве критерия одну-единственную игру, в которой вам впервые в жизни довелось иметь дело с классными игроками. Позвольте узнать, что именно вы сделали в той встрече?

Вместо ответа Том выудил из бокового кармана уже изрядно потершуюся на сгибах газетную вырезку и протянул ее спрашивающему.

— Это было напечатано в "Гемпширском телеграфе", сэр.

Сэр Джеймс пробежал заметку глазами, а затем стал зачитывать выдержки из нее вслух:

"В немалое изумление повергла публику манера подачи молодого игрока Т. И. Спидигью". Гм-м… Двусмысленное замечание. Подача — это вам не клоунада! В конце концов, крикет — дело серьезное. "Семь калиток из тридцати четырех". Что ж, это совсем неплохо. Дональдсон хороший принимающий, но вы, как я вижу, сумели его выбить. Как? И Мерфи тоже! Так-так, молодой человек… Хорошо. Будьте любезны пройти в павильон и подождать. Там на стенах немало картинок, которые могут заинтересовать любого истинного ценителя крикета. Мы вас вызовем еще, только чуть позже.

Как только юноша покинул зал заседаний, все три члена комитета уставились друг на друга в напряженном молчании.

— Вы не можете так поступить! — первым не выдержал Тардинг. — Никто этого не поймет. Это же безумие, совершеннейшее безумие включать в сборную игрока деревенской команды, которому однажды удалось в любительском матче выбить семь из тридцати четырех. Нет, я положительно отказываюсь участвовать в этой профанации!

— Спокойно, спокойно, друг мой, — умиротворяюще заговорил сэр Джеймс. Давайте сначала хорошенько все обмозгуем, а потом уж будем решать.

Они все "хорошенько обмозговали" и полчаса спустя снова пригласили Тома Спидигью. Сэр Джеймс сидел в центре, поставив на стол локти, сложив вместе кончики пальцев на обеих руках и подавшись вперед в типичной манере выносящего приговор судьи. Вердикт его звучал следующим образом:

— Мы тут посовещались и решили, мистер Спидигью, что для вынесения окончательного суждения необходимо прежде должным образом познакомиться с вашим методом. Вы должны понимать, что мы не можем без веских оснований совершить шаг, который способен вызвать бурю негодования и осуждения в спортивных кругах и у болельщиков. Поэтому мы предлагаем вам пока оставаться в Лондоне, а завтра утром, сразу после восхода солнца, будем ждать вас на стадионе. Возьмете спортивную форму и пройдете через боковой вход. Мы подберем дюжину игроков, взяв с них слово хранить тайну. Постараемся выбрать достойных доверия людей, но таким образом, чтобы среди них было не меньше половины действительно первоклассных принимающих. На поле для тренировок мы установим калитки, вы расставите игроков по вашей схеме и покажете нам свой трюк в максимально приближенных к реальным условиях. Если у вас ничего не получится, мы на этом расстаемся. Если получится… Если получится, мы вернемся к рассмотрению ваших претензий.

— Бог мой, сэр! Но я же не собирался выдвигать никаких претензий! О чем вы говорите, сэр?!

— Ну, не вы, так ваш друг, мистер Скаутелл… Но речь сейчас не об этом. Мы решили устроить вам испытание. Разумеется, завтра мы трое обязательно будем присутствовать. Мы и еще несколько доверенных лиц, чье мнение для нас важно. Если вы настаиваете на присутствии мистера Скаутелла, можете отправить ему телеграмму. В любом случае, основным условием

остается соблюдение полной секретности. Мы все прекрасно понимаем, что только полная неожиданность может выбить из колеи соперников, — в противном случае вся затея не имеет смысла. Поэтому вы будете держать рот на замке — так же, как и мы.

На следующее утро на тренировочном поле стадиона Лорд состоялась одна из самых удивительных игр за всю историю крикета. Эта часть спортивной арены ограждена от посторонних взглядов высокой каменной стеной, но ранние прохожие в тот день с удивлением слышали доносившиеся из-за нее голоса игроков и хлесткие удары битой по мячу. Самые суеверные могли даже вообразить, что это сошлись в схватке тени великих игроков прошлого, и если бы нашелся такой смельчак, который сумел забраться на стену и бросить взгляд на поле, перед взором его предстали бы, быть может, легендарные гиганты былых времен, такие, как Билли Мердок, ведущий в неудержимую атаку своих знаменитых «Долговязых».

Импровизированный матч продолжался с четырех до шести часов утра, и после завтрака Отборочный Комитет принял самое рискованное, смелое и сенсационное решение за всю историю существования сборной Англии: на следующей неделе Том Спидигью выступит подающим за национальную команду.

— Скажу сразу, джентльмены, — уныло заявил Тардинг, — если этот бродяга нас подведет, я этого не перенесу. Заранее предупреждаю: на игру я возьму с собой заграничный паспорт, а ко входу на стадион вызову такси. До конца лета вы сможете писать мне в Париж, до востребования.

— Успокойся, старина, — ободрил его сэр Джеймс. — Совесть наша чиста, а решение принято в интересах дела. В конце концов, у нас в команде еще десяток великолепных игроков, кроме него. Если даже случится худшее — что ж, один пассажир корабля не потопит.

— А я уверен, что худшего не произойдет! — упрямо возразил доктор Слоупер. — Черт побери, разве мы с вами не видели все своими глазами? Что еще, по-вашему, мы должны были сделать? Будем надеяться, джентльмены, но я все-таки впервые в жизни выпил сегодня перед завтраком рюмку виски с содовой.

На следующий день список кандидатов был опубликован в прессе, и сразу же поднялся жуткий вой. Имена десяти претендентов на место в сборной не вызвали особых комментариев, так как все ожидали увидеть в основном составе именно их. Челлен, Джонс и левша Уидли славились быстрой и мощной подачей, а Питере, Муар, Джексон, Уилсон и Грив занимали верхние строчки в списке лучших принимающих. Ни у одного из них средний показатель не опускался ниже пятидесяти — великолепный уровень для конца весеннего сезона. Еще двое Хэнвелл и Гордон — были универсалами, отлично играющими на любой позиции. Помимо блестящего владения всеми тонкостями приема и подачи, они отличались в поле кошачьей реакцией и подвижностью. Ни одна из этих кандидатур не могла вызвать особого недовольства у широкой публики, но кто такой, черт бы его побрал, Томас И. Спидигью?! Никогда еще в редакциях газет на Флит-стрит не было такого ажиотажа и такого полного отсутствия информации даже у съевших зубы на спортивных репортажах газетных зубров. Репортеры тщетно опрашивали всех известных крикетистов, — те пребывали в полнейшем неведении, как и сами журналисты. Никто ничего о нем не знал, а те, кто знал, вынуждены были молчать в силу данной ими клятвы соблюдать секретность. Самые фантастические слухи носились в воздухе. Вот только несколько выдержек из тогдашней прессы: "Мы обладаем проверенной информацией, что Спидигью — это всего лишь псевдоним, под которым выступит всемирно известный игрок, вынужденный скрывать свое настоящее имя по семейным обстоятельствам". "Публика стадиона Лорд будет немало поражена, увидев на поле джентльмена с угольно-черной кожей. По нашим сведениям, Томас И. Спидигью — выходец с Ямайки. Он остался в Англии после последнего визита сборной Вест-Индии и поселился в Дербишире, где готовился к выступлению за сборную Англии, хотя мы по-прежнему не понимаем, за какие заслуги его включили в состав". "Как нам стало известно, Томас Спидигью — малаец-полукровка, проявивший несколько лет назад в Рангуне экстраординарные способности в игре в крикет. Говорят, что он выходит на поле в набедренной повязке и ловит мячи не только руками, но и ногами. Возникают серьезные сомнения, имеет ли право этот человек выступать за британскую команду". "Спидигью, Томас И. - директор престижной частной школы на севере Англии, Его феноменальные способности в крикете не получили должного проявления в силу приверженности м-ра Спидигью к академической карьере. Хорошо знающие его люди выражают уверенность..." Были еще десятки публикаций такого же плана, но были и другие, изрядно попортившие нервы членам Отборочного Комитета: "Кто ответит публике, почему трое стареющих джентльменов, имея богатейший выбор талантливых игроков, прибегли, судя по их решению, к методу лотереи? Возможно, в избранном ими кандидате и таятся некие скрытые способности, но к борьбе на действительно высоком уровне он просто не готов, так как не имеет практически никакого опыта, не говоря уже об опыте международных встреч.

Решение Отборочного Комитета заставляет поневоле усомниться в здравости рассудка некоторых его членов". В том же примерно ключе прохаживались в адрес членов комитета и другие издания.

Кончилось все так, как и следовало ожидать. Если уж ищейки с Флит-стрит взяли след, кому-нибудь из своры непременно удастся докопаться до истины. До сих пор неизвестно, каким образом репортеры "Дейли спортсмен" вышли на Тома Спидигью, но их репортаж произвел небывалую сенсацию, а ревностно хранимый секрет сделался всеобщим достоянием. В газете появилось интервью с деревенским старейшиной, сопровождаемое комментарием автора, после чего весь Лондон едва не лопнул со смеха.

"Нет, я нисколечки на удивлен, — заявил нам престарелый садовник м-р Хоббс, — малыш Спидигью всегда был шибко умный и вечно возился с мячиками. Вы бы посмотрели, как он разнес своими подачами этих придурков из Мадфорда. А уж те-то — явились, не запылились, даже шарабан наняли! Очень, очень ишкушный молодой человек, — это я вам говорю!"

Газетный репортер был куда более категоричен в своих комментариях, показав себя патриотом в широком смысле этого слова:

"Члены Отборочного Комитета безусловно совершили, мягко выражаясь, не до конца продуманный поступок. Возможно, у них еще есть время отказаться от такого абсурдного выбора. Мне кажется, их решение граничит с оскорблением наших австралийских друзей-соперников. Для меня очевидно, что место м-ра Спидигью, каким бы «ишкушным» игроком он ни представлялся некоторым своим землякам, на деревенском лугу, но никак не на поле главного лондонского стадиона. Быть может, ему хватает мастерства разделаться с "приехавшими на шарабане придурками" из соседней деревни, но хватит ли у него опыта и таланта справиться с первоклассными игроками, собранными из лучших команд Австралийского континента? Мне представляется, что произошла трагическая, но все-таки поправимая ошибка, и редакция нашей газеты употребит все свое влияние, дабы заставить Отборочный Комитет пересмотреть это неприемлемое для подавляющего большинства решение".

"Мы тщательно просмотрели все записи и отчеты крикетного клуба в деревне Бишопс-Брэмли, — писал еще один репортер. — Этот рукописный журнал хранится в баре местной гостиницы "Пятнистая Корова" и представляет собой весьма оригинальный документ. Наш претендент на звание мастера международного класса мелькает на его страницах подозрительно редко — как оказалось, по той простой причине, что на большинство игр он заявлялся не в основном, а в запасном составе! Столкнулись мы с трудностями и при определении средних показателей игры м-ра Спидигью, поскольку у председателя клуба, по всей видимости, недостает грамоты для соответствующего анализа. Остается довольствоваться теми отрывочными сведениями, которые мы все же сумели извлечь из попавшего в наши руки талмуда. За текущий год м-р Спидигью был подающим девять раз. Лучший показатель — пятнадцать калиток, средний одиннадцать, В прошлом году юный кандидат в сборную страны выступал еще реже и еще хуже: средний показатель результативных подач — всего девять! Помимо прочего, молодой человек служит заместителем директора средней школы в Тоттоне и не отличается крепким здоровьем, страдая от периодических приступов астмы и аритмии сердца. Как можно ставить такого человека на решающий матч сборной?! Этот выбор до сих пор кажется чьей-то злой, дикой шуткой! Впрочем, мы полагаем, что широкой публике решение Отборочного Комитета особого веселья не доставит, что же касается членов вышеупомянутой организации, то как бы им не пришлось потом смеяться сквозь слезы, если, конечно, они сочтут необходимым настаивать на своем невообразимом выборе".

Таковы были в большинстве своем отклики прессы, но, справедливости ради, следует отметить, что некоторые издания взяли не столь непримиримый тон в своих публикациях. Так, например, спортивный обозреватель «Тайме» писал:

"Нельзя забывать, что сэр Джеймс и двое его коллег — сами бывшие игроки с огромным стажем и уникальным опытом, чей авторитет никогда прежде не подвергался сомнению. Раз уж все мы доверили им право выбора, нам стоит, на мой взгляд, позволить им сделать его самостоятельно. Помимо колоссального опыта, у членов комитета несомненно имеется независимая информация, пока неизвестная широкой публике. Я считаю, что нам лучше положиться на суждение экспертов и терпеливо ожидать самой игры, которая и даст ответ на все вопросы".

А трое членов комитета упорно отказывались реагировать на газетную травлю и не собирались склоняться перед разыгравшимся штормом. Они не давали никаких объяснений, отказывались от интервью и не показывались на людях. Они залегли на дно, как медведь в

берлогу, а всем окружающим оставалось только терпеливо дожидаться дня, когда должен будет состояться назначенный матч. Все мы помним великолепную погоду, выдавшуюся в первый день матча. Калитки австралийского производства и палящее солнце над полем, казалось, способствовали тому, чтобы игроки соперника чувствовали себя как бы в домашних условиях. Но именно англичане повели с первых же минут игры. Гигант Котсмор, лучший подающий у австралийцев, о котором говорили, что он быстрее Грегори и коварней Спофуорта, никак не мог достать мячом перекладину калитки на половине противника. Он подавал артистически, с непревзойденным вдохновением, но финальный анализ в конце первого дня состязаний показал удручающий результат: три калитки из ста сорока двух! Немного лучше показал себя виртуоз крученых подач Сторр — четыре из девяноста шести. Две калитки записал на свой счет Кейд. У англичан лучшим на поле был капитан Муар. Он набрал семьдесят три очка. Шестьдесят четыре, пятьдесят семь и пятьдесят одно очко принесли команде Питере, Грив и Хэнвелл соответственно. Достижения остальных были скромнее, но также выражались двузначными числами. У всех, кроме одного. Как вы, наверное, уже догадались, этим исключением стал Томас И. Спидигью, эсквайр, как значилось на табло с результатами первого дня соревнований, где против его имени стоял обидный прочерк. Его противником был игрок с очень быстрой подачей. Как признался потом сам Том Спидигью, за всю игру он ни разу не смог даже увидеть летящий в него мяч и при этом так сильно нервничал, что защищаемые им ворота только чудом остались в неприкосновенности. В общей сумме сборная Англии набрала в тот день четыреста тридцать два очка, удовлетворив этим довольно неплохим, кстати сказать, результатом даже самых взыскательных болельщиков. На следующий день команды поменялись ролями. За час до начала игры толпа болельщиков превышала сорок тысяч человек, а к моменту появления на поле судей пришлось закрыть ворота стадиона, так как на всем огромном пространстве этой классической арены не осталось ни одного свободного стоячего места. Вслед за судьями выбежала на поле английская сборная. Игроки заняли позиции у ворот, перебрасывая мячи из одной руки в другую по освященной временем традиции. Последними появились двое принимающих из сборной Австралии: Мор-ленд из команды Виктории, многими почитавшийся за лучшего принимающего в мире и обладающий быстроногостью страуса и каучуковыми запястьями, и «твердокаменный» Донахью, разбивший сердца и надежды великого множества подающих своим невозмутимым спокойствием и непробиваемой защитой. Именно он отбил первую подачу знаменитого Челлена из команды Йоркшира, взрывного, импульсивного и скоростного северянина. Еще шесть красивейших мячей послал йоркширец один за другим, и все они вернулись обратно, отраженные неподражаемым ударом с полуоборота, типичным для популярного квинслендца. Первый блин получился комом.

А затем Муар перебросил мяч Спидигью и подал ему знак начинать. Капитан англичан был одним из присутствовавших на испытании и имел представление о потенциальных возможностях молодого коллеги. Сначала у Тома никак не получалось сосредоточиться — слишком велико было его волнение, но в конце концов, благодаря помощи со стороны капитана и других игроков, он все-таки сумел завершить расстановку по придуманной им схеме. Когда расстановка закончилась, многотысячная толпа на трибунах дружно ахнула, а принимающие соперника начали растерянно моргать и оглядываться по сторонам, словно не доверяя собственным глазам. Лишь один игрок остался за коном, торча там, как одинокий утес посреди прерии. Зато внутренняя часть площадки стала похожей на митинг в Гайд-Парке. Игроки толклись рядом друг с другом, закрывая привычные линии защиты. Им понадобилось немало времени, чтобы привыкнуть к такому раскладу, а Спидигью терпеливо ждал, стоя у кромки поля и с виноватой кривой улыбкой теребя в руках мяч. Члены Отборочного Комитета сгрудились у окна их персональной закрытой ложи. Лица их выражали тревогу и нескрываемую озабоченность.

— Бог мой! Это невыносимо! — пробормотал Тардинг.

— Такси вызвали? — поинтересовался доктор Слоупер, пытаясь изобразить на лице подобие ехидной усмешки.

— Конечно! Это мой последний оплот в этом мире!

— А для троих там места хватит? — спросил сэр Джеймс. — Господи! Что он творит! Пятеро на одной короткой линии — и ни одного, чтобы подстраховать! Скорей бы уж начинали — нет ничего хуже такого вот ожидания!

Свою первую подачу Томас Спидигью сделал в мертвой тишине. Это был самый обычный медленный мяч, направленный по центру ворот противника. В любое другое время Морленд, не задумываясь, отправил бы его далеко за пределы площадки. Но сегодня его порядком смутила непонятная возня с непривычной расстановкой игроков противника. Ему померещилось, что те приготовили какую-то скрытую ловушку. Поэтому он аккуратно отыграл

мяч назад, прямо на подающего, и приготовился к приему следующего, который оказался точной копией предыдущего и с которым Морленд расправился аналогичным образом.

Произошло непредвиденное: Спидигыо потерял уверенность в своих силах и оказался не в состоянии на глазах у десятков тысяч зрителей разыграть ту навесную подачу, ради которой его и пригласили в сборную. Вместо этого он начал тянуть время, избрав самый пагубный путь, какой только можно было избрать. Он подавал верховые мячи, но ни один из них не взлетал достаточно высоко. Это были стандартные верховые подачи, выполненные без блеска, подкрутки и высокой скорости; такие подачи наверняка вызывают у принимающих счастливые улыбки, когда снятся им по ночам. Третий мяч Спидигью подал вообще немного в сторону, и тут уж успокоившийся Морленд проявил себя во всей красе. Пушечным ударом он послал мяч далеко-далеко, мимо одинокого сторожа на внешней стороне кона англичан. Со свистом разрезая воздух, этот мяч пролетел через весь стадион и врезался в ограду. Пот выступил на лицах троих пожилых джентльменов в закрытой ложе. Они беспомощно переглянулись и стиснули зубы. Следующий мяч опять оказался «конфеткой» для Морленда, будучи послан прямо ему в грудь. Он направил его в обвод столпившихся игроков сборной Англии своим знаменитым поворотом кисти так, что мяч благополучно ударился о землю. Теперь уже полностью обретя прежнюю уверенность, принимающий австралийцев дождался следующей подачи из счастливых сновидений и от души врезал по мячу битой, послав его за пределы стадиона на крышу соседней гостиницы. Публика разразилась аплодисментами; английские болельщики обожают удары навылет, даже когда их наносят соперники. На табло появились первые цифры: четырнадцать очков в первых пяти подачах. Такого начала сборная Австралии не знала за всю историю межконтинентальных встреч.

— Мы надеялись, что он сумеет побить рекорд — вот он и побил! — горько произнес Тардинг, не скрывая разочарования.

Сэр Джеймс при этом принялся свирепо жевать седой, обвисший ус, а доктор Слоупер начал в немом отчаянии заламывать пальцы. Капитан Муар, занимающий позицию в центре, подбежал к заметно сникшему подающему.

— Давай, парень, подвесь им свечку, как ты показывал нам во вторник. И не бойся ты, соберись! Выброс все из головы, и тогда мы еще зададим им жару!

Спидигью судорожно схватил мяч и усилием воли заставил себя послать его высоко вверх, стараясь вызвать в памяти картину залитой солнцем лужайки в заповедном лесу, натянутую над ней веревку и лицо младшего брата у калитки на противоположной стороне. Но уверенность покинула его, а вместе с ней и привычная меткость. Под дружный хохот зрителей мяч взмыл на пятьдесят футов и принимающему пришлось бежать назад, чтобы оказаться в точке приземления. Смех перерос в свист, когда судья жестом показал перелет.

Последняя, седьмая, подача. Том знал, что этот мяч скорее всего станет последним, который ему будет позволено подать в этом матче. Он подошел к кромке. Огромное поле плыло перед глазами. Обидный смех трибун оказался последней соломинкой, окончательно сломившей боевой дух молодого игрока. Но в минуты полного отчаяния безвыходность положения порой приходит человеку на помощь, и тогда он говорит себе: "Терять больше нечего. Хуже уже не будет. Почему бы не рискнуть в последний раз?" За всю свою игровую практику Том Спидигью не посылал мяч на такую высоту. Трибуны весело оживились, когда мяч устремился прямо в зенит. Все выше и выше поднимался он, являя своей траекторией самую абсурдную подачу, когда-либо виденную поклонниками крикета. Даже судья не выдержал и засмеялся, поддержанный большинством игроков на австралийской половине поля. Описав крутую параболу, мяч устремился прямо в центр калитки. Морленд, радостно осклабившись, размахнулся и нанес по мячу могучий удар с полуоборота, отправивший его, как и в предыдущие разы, за пределы поля. Сердце Спидигью упало, и он мрачно уставился себе под ноги, ощущая в душе смертельную тоску и невыразимую горечь. Все кончилось, и он навеки потерял свой шанс! Но хуже всего было сознавать, что он подвел не только себя, но и членов комитета, товарищей по команде, да и всю Англию. В эти мгновения он страстно желал одного: чтобы земля разверзлась у него под ногами и единственным памятником незадачливому игроку остался бы шрам на безупречном травяном газоне стадиона Лорд. Но что это? Смех трибун внезапно умолк, сменившись растерянностью и недоумением, словно произошло нечто невероятное. Том поднял глаза. Морленд небрежной походкой шел в сторону раздевалки. Проходя мимо, он взмахнул над головой битой то ли в шутку, то ли всерьез грозя сопернику. А хранитель калитки нагнулся и что-то поднял с земли. Это была перекладина. Забыв обо всем и видя перед собой только опускающийся сверху мяч, великий Морленд случайно задел ногой собственную калитку и сбил перекладину. Спидигью выиграл последнюю подачу! Тишина сменилась аплодисментами. Подошедший Муар весело похлопал Тома по спине. Теперь на табло значился совсем другой расклад: четырнадцать очков против

одной пораженной калитки.

Подача опять перешла к Челлену, но как ни закручивал он свои мячи, непробиваемый Донахью отражал их с невозмутимым хладнокровием, а один из них умудрился выбить за пределы поля. Но на последней подаче Челлена произошло маленькое чудо. Спидигью играл в поле, на своей прежней позиции, когда заметил краем глаза что-то красное справа от себя на уровне пояса. Машинально вытянув руку, он внезапно почувствовал, как в рукавице как будто затрепыхалось живое существо. Не вполне доверяя своим ощущениям, он поднес рукавицу к глазам и долго смотрел на оранжевый новенький мяч. Никогда в жизни не приходилось ему видеть более прекрасного зрелища! Каким образом угодил мяч прямо в рукавицу, навсегда осталось загадкой для молодого крикетиста, но по теории вероятности даже несокрушимая стена может со временем дать трещину! Как бы то ни было, в одну минуту из шута Томас Спидигью превратился в героя дня. Болельщики подбадривали его одобрительными возгласами, когда он занял место у кромки для своей второй серии из семи мячей. Счет к этому времени был двадцать одно очко против двух калиток.

Но на вторую подачу вышел совсем другой Томас Спидигью. Этот Том сумел преодолеть прежние страхи. К нему вернулась былая уверенность. Даже если он не добудет своей команде больше ничего, не беда — он уже заработал достаточно. Но он прекрасно знал, что способен на большее, и был полон решимости показать максимум. Том вновь обрел наигранную на тренировках точность, чувство дистанции, коварную мягкость исполнения, цепкую расчетливость. Он нашел себя и твердо настроился никогда больше не терять!

Блестящие австралийские принимающие, эти быстроглазые, быстроногие парни с отменной реакцией, с насмешливой улыбкой отбивающие самые быстрые и самые хитро закрученные медленные мячи из арсенала лучших английских игроков, оказались в полной растерянности. На их глазах происходило непонятное, к которому они не были готовы, которого не ожидали, о котором никогда не слышали и которое не имело аналогов в истории крикета. Спидигью на тренировках отработал свою подачу с пятидесятифутовой траекторией с точностью — до доли дюйма. Каждый мяч опускался либо на перекладину, либо между стойками калитки. А Том подавал и подавал, каждый раз поражая цель с точностью пристрелянной гаубицы. Баттен, сменивший Морленда, попытался отбить одну из таких подач и промахнулся. Чистый мяч! Стейкер хотел снять мяч прямо с перекладины, но в результате разнес собственную калитку, да еще и биту сломал, а мяч приземлился акку-рат посреди всего этого разгрома. Когда же принимающему все-таки удавалось отбить подачу, результат, как правило, был невысок. Лишь однажды мяч улетел за пределы поля. Пятый принимающий продержался недолго: быстрая подача одного из англичан угодила в стойку прямым Попаданием, и счет стал тридцать семь к пяти. Затем Спидигью последовательно вывел из игры Болларда и Уайтлоу, разрушив их калитки двумя удачными навесами. Мун и Картер продержались дольше других. Последний гонялся за каждым мячом, как кошка за мышкой. Какое-то время казалось, что они сумели приспособиться к навесным, хотя каждый раз отбить их удавалось с большим трудом. Но и они в конце концов пали жертвой новоизобретенной тактики: один нерасчетливо выдвинулся вперед и принял мяч на грудь, а со вторым расправился Хэнвелл, сумевший-таки провести свой коронный мяч. Вскоре из игры был выбит последний австралиец, и первый этап второго дня соревнований завершился с разгромным счетом. Сборной Австралии удалось набрать всего семьдесят четыре очка.

Толпы болельщиков сначала приветствовали такой исход бурными аплодисментами, но быстро притихли и не торопились покидать места, как бы пытаясь осознать и переварить происшедшее на их глазах чудо.

Где-то в середине игры Тардинг отвернулся от окна и крепко пожал руки обоим коллегам. Сэр Джеймс откинулся на спинку кресла и закурил сигару. Доктор Слоупер облегченно вытер лоб своим знаменитым красным платком.

— Слава Богу, все в порядке, но ни за какие коврижки, джентльмены, я не согласился бы пережить все это еще раз! — пробормотал он.

Поразительный эффект произвел результат игры на членов обеих сборных. Англичане выглядели как будто в чем-то виноватыми, словно сомневаясь в душе, этично ли применять против ничего не подозревающего соперника такие новомодные методы. Австралийцы казались ошеломленными и даже вроде бы обиженными.

— Какой счет? — спросил капитан Баттен, уходя в раздевалку.

А счет был следующим: Том Спилигью выбил семь калиток из тридцати одной!

Сразу после завершения подачи возник животрепещущий вопрос: удастся ли повторить еще

раз это чудо? На следующую подачу англичан австралийцы вновь выставили в первоначальном составе Морленда и Донахью. Почти сразу всем стало ясно, что непробиваемый «твердокаменный» Донахью вовсе не так уж непробиваем. Более того, он оказался совершенно беспомощен перед навесными подачами Спидигью. Ну как, скажите на милость, отбить мяч, который падает прямо на голову под прямым углом? Австралиец не нашел ничего лучшего, кроме как подставлять под мяч биту. Тот просто подскакивал на три фута вверх и попадал в руки хранителю ворот. Ноль очков. Баттен и Стейкер делали простую прямую отмашку, и мяч летел прямо в толпу игроков соперника, которые только этого и ждали. Вскоре, однако, сделалось очевидно, что новая подача также имеет уязвимые места, и универсальный игрок, обладающий игровым чутьем, вполне способен к ней приспособиться. Морленд первым показал пример товарищам по команде, раз за разом принимая подачи Спидигью придуманным им способом, впоследствии получившим название "возвратный плоский мяч". Никто прежде не применял такого приема: Морленд поворачивался боком и отправлял мяч через голову хранителя калитки за пределы площадки. Сегодня, когда головы игроков защищены шлемами, этот метод далеко не так опасен, но в тот день после игры тот же Грив признавался, что чувствовал бы себя увереннее, имея в кармане страховой полис. Англичане в ответ поставили дополнительного игрока на кромке поля на одной линии с калиткой, но изобретательный Морленд тут же нашел способ, как обойти и это препятствие. В конечном счете, этот гениальный игрок уже в первом матче разработал комплексную защиту от навесных подач, которая в наше время считается классической и единственно возможной. Не менее изобретательный Уайтлоу стал принимать подачи, отступив на шаг назад от своей калитки и отбрасывая принятые мячи низом на внешнюю сторону площадки соперника. Это заставило Спидигью срочно перебросить туда еще двоих игроков, в результате чего придуманная им схема расстановки затрещала по швам. Эта парочка продержалась дольше всех, набрав девяносто очков, и когда Хэнвелл выбил-таки из игры неугомонного Уайтлоу, счет был сто тридцать против шести.

Однако все старания этих двух гигантов уже не могли изменить главного: команда Австралии была обречена. Ничего удивительного: такие гении, как Морленд, способные мгновенно адаптироваться к изменившимся условиям, встречаются крайне редко. А обычный игрок в крикет, пусть даже очень высокого класса, к такому подвигу не готов. И главная причина в том, что профессиональный крикетист — существо в высшей степени консервативное и к новым методам непривычное. Зеленый мальчишка из деревенского клуба имел бы больше шансов найти противоядие подачам Спидигью, нежели все эти многоопытные ветераны с громкими именами, чье пристрастие к ортодоксальным методам не позволяло им видеть дальше собственного носа. Стоило только внести в игру некий революционный элемент, отменяющий, по сути, веками наработанные правила и условности, как эти матерые игроки оказались беспомощны, словно малые дети. Они не смогли найти ответа на вопрос, как отбить отвесно падающий мяч, хотя и сделали все возможное, чтобы не ударить в грязь лицом. Почти не вызывает сомнения, что англичане, окажись они на месте австралийцев, вели бы себя точно так же. Но судьба распорядилась иначе, и лучший результат, показанный последними, был бесконечно далек от прогнозируемого до начала матча. Морленд был единственным, кто до конца сражался на равных и проявил свой экстракласс, набрав семьдесят семь очков. Второй день игр завершился в шесть вечера. Австралия набрала сто семьдесят четыре очка. Спидигью поразил восемь калиток из шестидесяти двух. Англичане одержали убедительную победу по всем показателям с гигантским отрывом в сто восемьдесят четыре очка.

Ну что ж, то был замечательный день с не менее замечательным концом. Мы не будем здесь пересказывать факты, ставшие уже достоянием истории, и вспоминать, как высыпавшая на поле восторженная толпа болельщиков смела все барьеры, усадила на плечи яростно протестующего Тома Спидигью и с триумфом пронесла его в раздевалку. Не будем мы и повторять восторженные хвалы в адрес виновника торжества, которому раз за разом пришлось выходить и показываться неугомонным зрителям. Когда те устали от славословий по поводу показанной им игры, они принялись петь дифирамбы его родной деревне Бишопс-Брэмли. Затем капитан английской сборной в кратком спиче сравнил Спидигью с Котсмором в его лучшие годы. Потом пришла очередь выступить лидеру австралийцев Баттену.

— Вы выиграли, потому что сумели подложить нам свинью, — заявил тот, разведя руками, — только я пока еще не совсем понял, какой она породы. Скажу лишь, что у нас дома мы играем в немножко другой крикет.

Следом за игроками пришел черед членов Отборочного Комитета. Им хлопали с тем же энтузиазмом, с каким прежде забрасывали грязью. Тардинг во всеуслышание рассказал об ожидавшем его такси.

— Между прочим, я его еще не отпустил, — признался он, — но теперь, полагаю, могу сделать это с чистым сердцем.

Том Спидигью больше никогда не играл в крикет — не позволяло больное сердце. Его лечащий врач заявил, что этот матч слишком сильно отразился на здоровье его пациента, и поэтому он запрещает ему в дальнейшем выходить на поле. И все же, к лучшему или к худшему — а многие до сих пор считают, что именно к худшему, — но Том Спидигью навсегда оставил свой след в истории крикета.

Англичане восприняли одержанную победу больше с удивлением, чем с восторгом. Австралийские газеты первое время склонялись к тому, чтобы обвинить соперников в нечестной игре, но потом и до них дошла вся абсурдность ситуации, суть которой состояла в том, что никому не известный игрок из третьего дивизиона по существу в одиночку выиграл международный матч. Когда же эта мысль окончательно прояснилась, Сидней и Мельбурн присоединились к мнению своих лондонских оппонентов в том, что все происшедшее следует рассматривать как величайший розыгрыш за все времена существования игры под названием крикет.

*1928 г.*

## Примечания

**1**

Захиреддин Мухаммед Бабур(1483–1530) великий узбекский поэт, а также падишах Индии, основатель государства Великих Моголов, потомок Тимура (Тамерлана), в 1526-27 гг. завоевал большую часть Северной Индии. Его сборник лирических стихов — «Диван» — состоит из традиционных любовных газелей и, помимо того, содержит великолепные четверостишия.

**2**

Эрнан (Фернандо) Кортес(1485–1547) — испанский конкистадор. В 1519-21 гг. завоевал Мексику; в 1522-28 гг. — губернатор, а в 1529-40 гг. — генерал-капитан Новой Испании (Мексики). В 1540 г. прибыл в Испанию и участвовал в 1541 г. в военной экспедиции против Алжира.

**3**

"Божественный" Август(до 27 г. до Р. Х. Гай Октавиан), полное имя: Гай Юлий Цезарь Октавиан Август — (63 г. до Р. Х. - 14 г. после Р. Х.) — первый римский император, внучатый племянник Цезаря.

**4**

Тир- современный город Сур в Ливане. Сидон — город к северу от Тира, современный город Сайда в Ливане.

**5**

Тенедос- остров, находящийся в непосредственной близости от места на побережье Малой Азии, где стояла Троя.

**6**

Давидвторой (после Саула) царь Израильско-Иудейского государства в X веке до Р. Х. Соломон — третий царь Израильско-Иудейского государства (965–928 гг. до Р. Х.), сын Давида и Вирсавии. назначенный отцом на трон в обход старших сыновей.

**7**

Перистиль- прямоугольный двор, сад или площадь, окруженные крытой колоннадой. В античной архитектуре перистиль — составная часть жилых и общественных зданий.

**8**

Атриум, или атрий, — первая комната от входа в дом: передняя, гостиная, приемная или зал.

**9**

Эргастул- в Древнем Риме тюрьма для рабов, а иногда и должников, большей частью под землей. Эргастул имелся в каждом поместье, реже в городских домах. Рабы, закованные в цепи, должны были выполнять там под присмотром эргастулярия (надзирателя) особо тяжелые работы.

**10**

мусорщик

**11**

Домициан провозгласил себя богом, поэтому в его честь строились храмы и приносились жертвы.

**12**

Имеется в виду Милон из Кротона — легендарный древнегреческий атлет, живший в VI веке до Р. Х.

**13**

"Каракалл"- название длинного галльского плаща, любимого облачения этого императора.

**14**

Римские Орлы, или Орлы легионов, укрепленное на древке золотое скульптурное изображение орла, официальный штандарт каждого римского легиона.

**15**

Да здравствует!(лат.)

**16**

"Все из яйца."(лат.)

**17**

Поэма Вергилия о земледелии. В этом произведении автором сделана первая для той эпохи попытка обобщить накопленные сведения по сельскому хозяйству. Поэма согрета искренней любовью к природе и земледельческому труду.

Эти названия в топонимике Англии сохранились до наших дней. Например, город Гастингс, близ которого в 1066 году произошла знаменитая битва между войсками англосаксонского короля Гарольда и нормандского герцога Вильгельма.

**19**

Кожа- древняя мера семейного земельного надела. Приблизительно 100 акров (акр =0,4 га).

**20**

прибл. 12 м.

**21**

Джордж (Генри) Борроу(1803–1881) — писатель, переводчик, лингвист и путешественник. Знал более десяти языков. В юности некоторое время странствовал с цыганами. В 1833-35 гг. выполнял обязанности представителя Библейского общества в Санкт-Петербурге. Позже занимался аналогичной деятельностью в Испании, распространяя там протестантский перевод «Библии», за что несколько раз подвергался кратковременному тюремному заключению. Популярность пришла к Борроу после опубликования романов «Лавенгро» (1851) и "Цыганский барон" (1857), во многом носящих автобиографический характер. Издал словарь цыганского языка. С детства страдал нервными расстройствами.

**22**

В 447 г. саксы под предводительством короля Лейи (в других написаниях — Элла — Aelle) высадились на юго-восточном побережье Англии и, разбив бриттов, основали там собственное королевство. Отсюда название графства — Сассекс.

**23**

Династия Тюдоров правила Англией с 1485 по 1603 гг. Изначально род Тюдоров владел землями в Гвинедде и южной части Уэльса.

**24**

Особая стихотворная форма в древнеанглийской поэзии.

**25**

Т. е. — исповедуют они католичество или англиканство.

**26**

Братья Хенгист(?-488 г.) и Хорса (?-455 г.) — вожди англосаксонских племен, появившихся в Британии в 449 г. по приглашению короля Вортигерна, позвавшего их для борьбы с нашествием скоттов и пиктов, и захватившие Кент, где основали собственное королевство.

**27**

Янош Хуньяди- (ок. 1407–1456 гг.), в 1446–1452 гг. — регент Венгерского королевства. В 1441–1443 гг. провел ряд успешных походов против османских завоевателей. В 1456 г. разбил османские войска в Белградской битве.

**28**

Имеется в виду знаменитый сумасшедший дом Бедлам (разговорное название, закрепившееся за Королевским Вифлеемским госпиталем, основанным в 1247 г.), расположенный в южной части Лондона.

**29**

Кударше (фр.) — название чрезвычайно сложного галстучного узла.

**30**

Так проходит слава Мирская!(лат.)

**31**

Миддл-Темпл- известная лондонская юридическая корпорация, где готовят адвокатов для судов высшей инстанции.(П. Г.)

**32**

Британская акционерная компания, организованная в 1670 г. для торговли пушниной с североамериканскими индейцами, соперничавшая с французами.

**33**

Очевидно, имеется в виду Уильям Уокер (1824–1860 гг.), участвовавший в повстанческом движении в Нижней Калифорнии, Мексике и Никарагуа.

**34**

Dianea muscipula — растение-хищник, подобное росянковым, с листьями, приспособленными для ловли насекомых и мелких беспозвоночных животных.

**35**

Марка американского короткоствольного крупнокалиберного пистолета.

**36**

Так в США и Великобритании называется гражданское должностное лицо, в обязанности которого входит расследование случаев насильственной или внезапной смерти.

**37**

Мексиканская клетчатая шаль или плед.

**38**

Эвклид- древнегреческий математик, автор первого из дошедших до нас теоретических трактатов по математике, жил предположительно в начале III века до Р. Х.

**39**

Джон Вильям Коленсо(1814–1883) — английский теолог и математик.

**40**

"Дорогой Том!

За моей хижиной у Долкаррегского прииска — это та, что крыта войлочной крышей — имеется большая куча камней. Подними самый верхний из них (у которого форма пирамиды) — и найдешь табакерку; кури табак и сохрани табакерку в память о своем брате.

Альфред."(фр.)

**41**

проклятая жажда золота(лат.)

**42**

разбитого сердца(фр.)

**43**

Стоунхендж- крупнейшее мегалитическое сооружение типа кромлехов в Южной Англии возле г. Солсбери. Состоит из врытых вертикально в землю камней высотой до 8,5 м и лежащих на них каменных плит, образующих замкнутый круг диаметром в 30 м.

**44**

Бэйтаун- "городу залива".

**45**

Устами одного из действующих лиц по ходу рассказа дается подробное разъяснение, что оно именно российское.(А. К. Д.)

**46**

Синий бант, или синяя лента, отличительный знак принадлежности к Обществу трезвости.

**47**

Уильям Гладстон(1809–1898) — премьер-министр Великобритании, лидер либералов.

**48**

спинномозговая жидкость

**49**

Томас Гексли(1825–1895} — английский биолог, соратник Дарвина.

**50**

Непроизвольные судорожные движения глазного яблока, наблюдаемые, в частности, у шахтеров(греч.)

**51**

Следователь, ведущий в Великобритании и США дела о скоропостижной или насильственной смерти.(англ.)